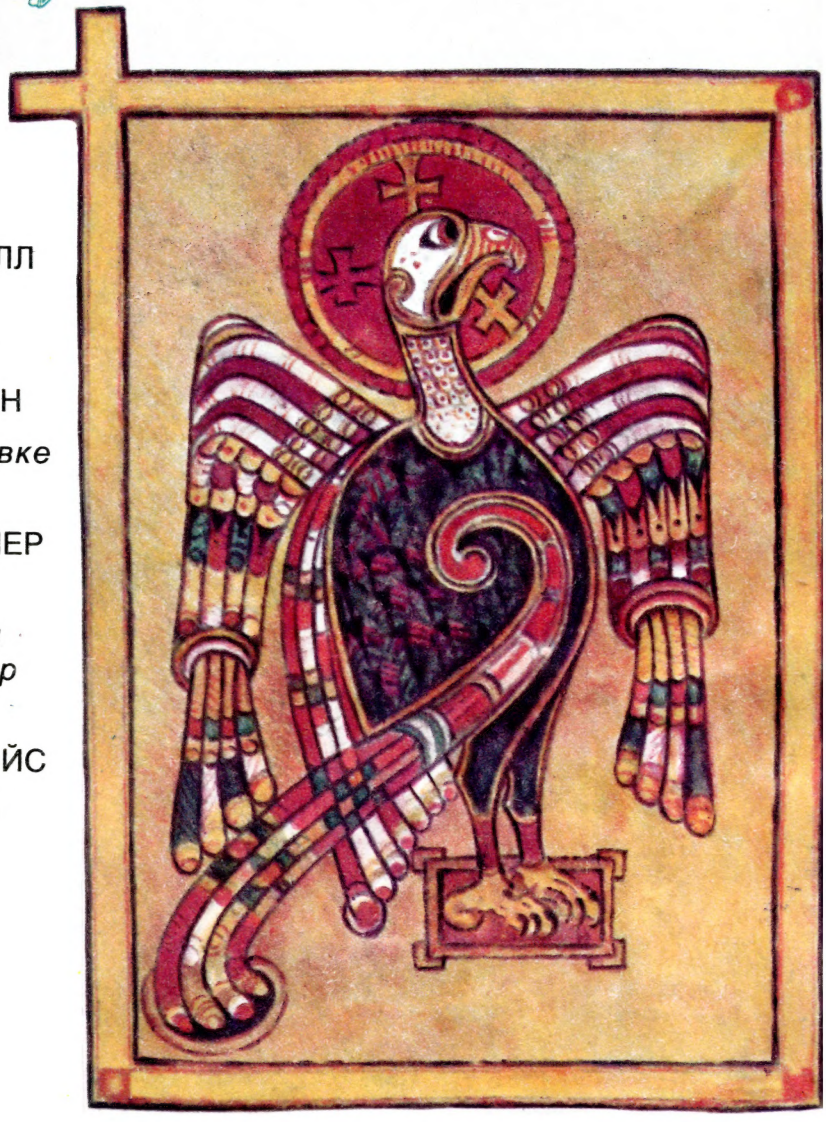
ISSN 0130-6545

2. 1995

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ирландская литература: не только Джойс



В номере:

ДЖОН БЭНВИЛЛ
Улики

БРЕНДАН БИЭН
Говоря о веревке

УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЕЙТС
Единственная ревность Эмер

ДЖЕЙМС ДЖОЙС
Кошка и черт

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
МОСКВА

Этот номер журнала посвящен большой литературе маленькой страны. Литературе, давшей миру Свифта и Голдсмита, Шоу и Уайльда, Йейтса и Джойса.

Не признавая государственных границ и географических пределов, ирландский творческий ген — вместе с ирландцами — распространился по всему миру, и его присутствие ощутимо сегодня в ведущих литературах мира.

Сочетание трагизма и юмора, экспрессия, филигранное формальное мастерство всегда были отличительными качествами, фирменным знаком ирландской литературы, которой меньше всего подходит ярлык «провинциальная», «региональная» вне зависимости от того, на каком языке — английском, ирландском — она написана.

Посвящая целую журнальную книжку феномену ирландской литературы, мы отдаем дань великой художественной традиции, которая яркой и прочной нитью вплетена в ткань литературы XX столетия.

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А. О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Этот номер журнала выходит в свет при содействии и поддержке Посольства Ирландии в России, а также:

Arbat Irish House and the Valdai Shopping Mall
Cultural Relations Committee of Ireland
Garden Ring Group
Moscow Duty Free

Главный редактор

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О. Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н. Я. КАЗАРЦЕВА — заведующая отделом критики и публицистики
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, С. К. АПТ, П. Л. ВАЙЛЬ,
Е. Ю. ГЕНИЕВА, А. А. ГЕНИС, В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА,
А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ, А. М. ЗВЕРЕВ, Вяч. Вс. ИВАНОВ,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ, А. С. МУЛЯРЧИК,
Д. Б. РЮРИКОВ, М. Л. САЛГАНИК, Е. М. СОЛОНОВИЧ, П. М. ТОПЕР
Н. Л. ТРАУБЕРГ, М. А. ФЕДОТОВ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

2 февраль 1995

СОДЕРЖАНИЕ

Ирландские триады *(Перевод с английского А. Ливерганта)* 8

ДЖОН БЭНВИЛЛ — Улики *(Роман. Перевод с английского и вступление А. Ливерганта)* 9

Из современной поэзии. МАРТИН О'ДИРАН, БРЕНДАН КЕННЕЛЛИ, ЭНТОНИ КРОНИН, ДЕСМОНД ИГАН *(Перевод с ирландского и английского Г. Кружкова)* 102

ЮДЖИН МАККЕЙБ — Жертвы. (Ферманагская история. *Перевод с английского и вступление А. Ливерганта)* 108

БРЕНДАН БИЭН — Говоря о веревке *(Трагикомедия в трех актах. Перевод с английского Иосифа Бродского)* 161

ДЖЕЙМС ДЖОЙС — Кошка и черт *(Перевод с английского А. Ливерганта. Иллюстрации Джеральда Роуза)* 199

АЙЛИШ НИЙ ГИВНЕ — Вышивка цветочками *(Рассказ. Перевод с английского В. Воронина)* 203

МОРИС КЕННЕДИ — Владивосток *(Рассказ. Перевод с английского Л. Локшиной)* 210

УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЕЙТС — Единственная ревность Эмер *(Пьеса для танцовщиков. Перевод с английского Г. Кружкова. Вступление В. Ряполовой)* 221

Ирландские пословицы *(Перевод с английского А. Ливерганта. Иллюстрации Карен Бейли)* 233

Гений места

ПЕТР ВАЙЛЬ — Улица и дом (Джойс — Дублин, Конан Дойл — Лондон) 237

Критика

ШЕЙМАС ДИН — Век ирландской литературы *(Перевод с английского О. В.)* 245

У книжной витрины 252

Ирландская литература на страницах «ИЛ» . 254

Авторы этого номера . . . 255

© Иностранная литература, 1995.

В следующем номере «ИЛ»

Маленькая повесть американского ученого-физика АЛАНА ЛАЙТМАНА **«Сны Эйнштейна»** рассказывает об Альберте Эйнштейне и о том, как рождалась его знаменитая теория относительности.

Фантасмагорические и подлинно драматические события, насыщенные к тому же черным юмором, разыгрываются в романе известного французского прозаика, поэта и музыканта БОРИСА ВИАНА **«Осень в Пекине».**

На страницах шутливо-серьезной **«Американской энциклопедии на все случаи жизни»** читатель познакомится с афоризмами политиков, философов, актеров, комиков, писателей, журналистов.

Статья БОРИСА ХЛЕБНИКОВА **«Картинки с выставки. Заметки с Франкфуртской книжной ярмарки»,** из которой читатель узнает, что ожидает книгу в третьем тысячелетии.

На первой стр. обложки — миниатюра из «Книги из Келлса» (VIII—IX вв.).
На второй и третьей страницах обложки — работы современных ирландских художников:
картина Мартина Гейла (р. 1949) «Пробуждение» (1986);
гобелен Луиса де Броки (р. 1916) «Ирландские цыгане» (1948).

По вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103791, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

В Москве журнал можно приобрести в редакции, в Доме книги на Новом Арбате и в киоске Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы.

Художественный редактор **С. И. Мартемьянова**

Технический редактор **С. В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47, факс 233-50-61

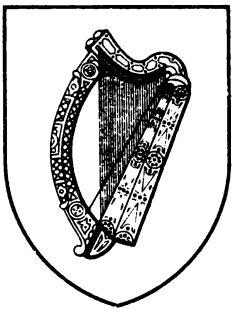
Журнал выходит один раз в месяц.

При участии издательства «Известия», Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 18.11.94. Подписано в печать 18.01.95. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная. Бумага типографская. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 26,7. Заказ № 295

Тираж 46 500 экз. Цена по подписке 4500 р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16



Я благодарен редакции «Иностранной литературы» за то, что журнал взял на себя труд перевести на русский язык и познакомить читателя с ирландской литературой двадцатого столетия как можно шире.

Родственные связи между русскими мастерами слова и писателями моей страны совершенно поразительны. Связи эти объясняются — по крайней мере, частично — определенным сходством исторического пути, проделанного нашими народами. Еще в девятнадцатом веке большинство населения и в Ирландии, и в России состояло из крестьян, в то время как писатели составляли лишь узкий, элитарный слой. И хотя политическими параллелями увлекаться не стоит — тем более когда речь идет, с одной стороны, об огромной империи, а с другой — о маленькой колониальной стране,— писатели обеих стран и в девятнадцатом, и в первой половине двадцатого века немало сделали для того, чтобы в России и в Ирландии победили демократия и социальная справедливость.

Находясь на разных концах европейского материка, наши писатели тем не менее довольно быстро обнаружили между собой немало точек соприкосновения и начали перенимать друг у друга накопившийся литературный опыт. Тургенев, к примеру, заметил как-то одному своему читателю, что над «Записками охотника» он начал работать под влиянием Марии Эджуорт, автора «Замка Рэкрент», первого ирландского романа из крестьянской жизни. С другой стороны, Джеймс Джойс не раз повторял, что толстовский рассказ «Много ли человеку земли нужно» — лучший в мировой литературе. Стихи романтика Томаса Мура, «пробудившие спящую арфу» конституционного национализма, пользовались в Ирландии начала прошлого века огромным успехом. И хотя в сегодняшней, независимой Ирландии слава Мура несколько потускнела, не будем забывать, что его стихами зачитывались такие великие русские поэты, как Пушкин и Лермонтов, что влияние Мура испытывали на себе многие русские писатели XIX века. Перу Джеймса Кларенса Мэнгана, самого, быть может, значительного из тех ирландских поэтов XIX века, которые, по словам Йейтса, «пели горе подсластить», принадлежит стихотворение «Сибирь», писавшееся во времена опустошительного для Ирландии Картофельного голода 1845—1847 годов и проникнутое чувством глубокой скорби и безысходности в годину национального бедствия. Отрадно тем не менее сознавать, что в этом стихотворении ирландский патриот протягивает руку жертвам самодержавия, томящимся в сибирской ссылке. Тема многовекового страдания в России и Ирландии поднимается в весьма своеобразном стихотворении Зинаиды Гиппиус «Почему», написанном в сентябре 1917 года.

В книгах Гоголя и Достоевского, Толстого и Чехова, в их образной системе, а также в исканиях чисто формальных ирландские писатели всегда находили немало общего. В ирландской художественной литературе начала века ощущается отчетливое, пусть и косвенное, влияние русского литературного опыта. И прежде всего влияние это дает себя знать в новелле, жанре, в котором ирландский творческий потенциал нашел свое наиболее всестороннее выражение. Тургенев, Чехов, Горький, другие русские новеллисты оказали существенное воздействие на таких ирландских писателей, как Джордж Мур, Дэниэл Коркери, Фрэнк

О'Коннор, Шон О'Фаолейн, а из современных прозаиков — и на Уильяма Тревора. На мой взгляд, интерес к русскому литературному опыту во многом связан у ирландских писателей, во-первых, с их отказом от идеализации и мифологизации Ирландии, которые ассоциируются в первую очередь с ранними произведениями У. Б. Йейтса, и, во-вторых, с поворотом к реализму, психологическому письму, к прочной связи между формой и содержанием.

Вообще, взаимовлияние русской и ирландской литературы остается одной из самых увлекательных, хотя и недостаточно на сегодняшний день изученных, глав в литературной истории Ирландии.

В ирландской критике последнего десятилетия заметна тенденция освободиться от основополагающего влияния У. Б. Йейтса. (Эта тенденция, кстати говоря, с очевидностью прослеживается в книгах и статьях одного из ведущих, наиболее одаренных и неоднозначных современных ирландских критиков Шеймаса Дина, также представленного на страницах «ИЛ».) Специалистам по творчеству Йейтса всегда было свойственно противопоставлять выспренние образы его патрицианского воображения прославлению обыденности, пошлости жизни, характерному для творчества Джеймса Джойса, всему тому, что Джордж Оруэлл называл способностью Джойса «писать о привычном», «выставлять напоказ слабоумие человеческого рассудка». В этой связи следовало бы отметить, что Йейтс предвосхитил собственных критиков, которые развили мысль, впервые высказанную самим Йейтсом в стихотворении «Цирк гасит огни» [1]:

Да, я любил эффект и мизансцену,—
Забыв про то, что им давало цену.

В этом, одном из лучших поздних стихотворений поэта, которое недвусмысленно подчиняет интеллект чувству, Йейтс перебирает в памяти свои поэтические темы и приходит к горькому выводу об их несостоятельности перед лицом старости. Завершается стихотворение чисто джойсовским признанием:

Как вспомнишь все, не оберешься срама,
Пора, пора уж мне огни тушить;
Что толку эту рухлядь ворошить!

Пример Йейтса и Джойса можно рассматривать как своеобразный вызов их последователям: либо, дескать, состязайтесь с нами, либо ниспровергайте. Их соперничающие поэтики воспринимаются теперь как своего рода диалектика последующего развития ирландской литературы. Борьба двух начал, йейтсианского и джойсовского, в ирландской литературе XX века ощущается и в произведениях, публикуемых в этом номере журнала. Проявляется соперничество двух классиков, например, при сравнении усложненной городской интеллектуальной поэзии Энтони Кронина и элегического романтизма Мартина О'Дирана, который обращается в стихах к безвозвратно потерянному миру своего детства. Особенно же наглядно борьба этих двух начал дает себя знать при сопоставлении «Единственной ревности Эмер» Йейтса и «Смертника» Брендана Биэна [2]. Если героическая драма Йейтса создавалась на эпическом материале, в ней выводились такие герои ирландской мифологии, как Кухулин и Ойсин, то Биэн черпает свое вдохновение из отнюдь не героической обстановки дублинской тюрьмы пятидесятых годов. И вместе с тем, при всей грубости и неромантичности, в пьесе Биэна ощущается та самая Ирландия, которая вдохновила Йейтса. Приговоренный к смерти заключенный (отсюда и название пьесы) незнаком с ирландским языком, однако каждую ночь вместе с сокамерниками он затаив дыхание прислушивается, как молодой парень с Атлантического побережья, посаженный за незаконное изготов-

[1] Перевод Г. Кружкова. *(Прим. перев.)*

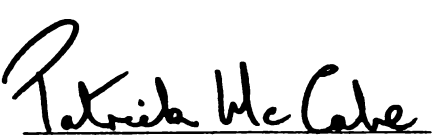
[2] Пьеса Б. Биэна публикуется в журнале под названием «Говоря о веревке» *(Прим. ред.)*

ление виски, поет старинные любовные песни на ирландском языке. Таким образом, нельзя не признать, что наследство, оставленное нам Йейтсом и Джойсом, основывается на борьбе противоположных начал, обогащает нашу литературу.

Притом что в большинстве своем материалы этого номера переводились с английского языка, есть в Ирландии и другая, более древняя литература. С раннего средневековья и до середины девятнадцатого века, когда страну окончательно подорвали голод и массовая эмиграция, большая часть ирландцев говорила на ирландском языке. Ирландский язык принадлежит к кельтской группе индоевропейских языков. Литература на ирландском языке создавалась поэтами, которые одновременно были и исполнителями собственных сочинений, и учеными, и переписчиками. В районах, где говорят по-ирландски, столь колоритная фигура до недавнего времени еще не являлась редкостью. Поэт, для которого родной язык ирландский, был для своего окружения явлением заметным, авторитетным, ярким, с ним считались, его даже побаивались. Дарование бардов приравнивалось к волшебным чарам, их слова и поступки постоянно обсуждались, о них слагались бесконечные истории. Только во второй половине девятнадцатого века рукописи на ирландском языке перестали переписываться от руки и начали набираться типографским способом. В результате возникли такие не традиционные для литературы на ирландском языке жанры, как пьеса, роман, автобиография.

В истории литературы на ирландском языке в XX веке заложен парадокс: число людей, говорящих по-ирландски, продолжает сокращаться, тогда как сам язык бурно развивается, писатели ищут новые формы выражения. Я очень рад, что в этом номере представлены стихотворения Мартина О'Дирана, одного из тех авторов, кому современная литература на ирландском языке обязана своим расцветом в первую очередь. В стихах, написанных в Дублине, где прошла трудовая жизнь поэта, О'Диран постоянно возвращается на родину, на почти пустынный, но красивый остров из известняка Инишмор в Атлантическом океане, близ берегов Ирландии. В его поэзии постоянно звучит мотив родной земли и изгнанничества, столь характерный для ирландской литературы на обоих языках.

Любая подборка из современной литературы неизбежно носит произвольный характер; такая подборка примечательна не только включенными, но и не включенными в нее произведениями. Хотя в ирландский номер журнала при желании можно было бы отобрать совсем другие вещи, редакция «Иностранной литературы» представляет современную ирландскую литературу во всем ее богатстве и разнообразии, за что в первую очередь мы должны поблагодарить переводчиков. Ведь если бы не их искусство, нам бы не удалось наладить связи между литературами на разных языках и мы бы превратились (говоря словами критика Джорджа Стайнера) в «самонадеянных прихожан, окруженных молчанием». Хочется надеяться, что этот номер журнала возобновит и обогатит диалог между ирландской и русской литературами, диалог, у истоков которого стояли Томас Мур и Пушкин, Мария Эджуорт и Тургенев.



ПАТРИК МАККЕЙБ
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Ирландии в России

ИРЛАНДСКИЕ ТРИАДЫ

Перевод с английского А. ЛИВЕРГАНТА

Триада как триединство, тройственность лиц, предметов, понятий вообще характерна для ирландской мифологии: три богини — эпонимы Ирландии; три бога ремесла с северных островов; три божества войны; изображения трехликих и трехголовых божеств; на одном из древнекельтских памятников бык несет на себе трех птиц и т. д.

Объединенное в триады (Trecheng Breth Féni) собрание средневековых пословиц и афоризмов (всего их насчитывается более трехсот) датируется, по мнению большинства специалистов, второй половиной IX века, однако по своей форме и содержанию многие триады восходят к так называемым «Назиданиям» (Telosca Cormaic), которые приписываются языческому ирландскому королю Кормаку Макарту, жившему в III веке н. э.

Самый известный английский перевод триад выполнен выдающимся современным ирландским поэтом, издателем, переводчиком, лауреатом многих литературных премий Томасом Кинселлой (род. в 1928 г.). В 1955 году ирландские триады в переводе Кинселлы вышли отдельным изданием в Дублине: Thirty Three Triads, Translated from the 12th Century Irish.— Dublin: Dolmen Press, 1955.

● **Три достоинства, почитаемые в Ирландии: умный стих, мелодия на арфе, искусство брить щеки.**

● **Три вещи, подымающие настроение: чувство собственного достоинства, выпивка, ухаживание за женщиной.**

● **Три вещи, что всегда присутствуют в доме добропорядочного человека: пиво, баня, жаркий огонь.**

● **Три темноты, куда не пристало ходить женщине: темнота тумана, темнота ночи, темнота леса.**

● **Три глухоты этого мира: обреченный, которого предостерегают; нищий, которого жалеют; женщина, которой не дают предаваться разврату.**

● **Три грубости этого мира: молодость, что смеется над старостью; здоровье, что смеется над болезнью; мудрец, что смеется над дураком.**

● **Три звука изобилия: мычание дойной коровы, шум кузницы, скрежет плуга.**

● **Три человека, которые лишают себя свободы: хозяин, что продает свою землю; королева, что сходится с деревенским парнем; сын поэта, что не пошел по стопам отца.**

● **Три тонкости, на которых стоит мир: тонкая струя молока, льющегося в ведро; тонкий стебель пшеницы; тонкая нить пряжи в пальцах добропорядочной женщины.**

● **Три скудости, что лучше изобилия: скудость пустой болтовни, скудость коров на небольшом лугу, скудость друзей вокруг чана с пивом.**

ДЖОН БЭНВИЛЛ

Улики

РОМАН

Перевод с английского А. ЛИВЕРГАНТА

От переводчика

По некоторым чисто формальным признакам роман Джона Бэнвилла, на сегодняшний день, пожалуй, самого крупного и авторитетного (наряду с Уильямом Тревором) ирландского прозаика, известного русскому читателю лишь по повести 1973 года «Берчвуд», вполне можно отнести к детективному жанру. Однако «Улики» — факт литературы серьезной, никак не развлекательной, роман Бэнвилла — вклад, и значительный, в богатейшую исповедальную литературу XX века. У Фредди Монтгомери, эгоиста и сластолюбца, философа и аморалиста, сына века,— целая галерея знаменитых предшественников; достаточно назвать хотя бы набоковского Гумберта Гумберта, Мерсо из «Постороннего» Камю. Наследников Ницше и Достоевского роднит презрение к человечеству и как следствие — вседозволенность, родовая черта всех «лишних людей» двадцатого столетия. В своей исповеди герой Бэнвилла пытается объяснить самому себе, суду и читателю, почему он совершил убийство: «Я лишил ее жизни,— говорит он,— ибо она никогда не была для меня полноценным живым существом». В этой фразе — мироощущение, приведшее к величайшим трагедиям XX века.

Не лишен герой Бэнвилла и национальных черт. Фредди отличает чисто ирландское умение покатываться со смеху, забавлять читателя и забавляться самому в самые, казалось бы, неподходящие трагические минуты. Он шутит, когда Раскольникову, Гумберту или Мерсо было бы не до смеха. Трагикомическая диалектика, столь свойственная О'Кейси и Биэну, О'Флаэрти и Джеймсу Стивенсу, дает себя знать и в «Уликах»: у героя Бэнвилла и в этом смысле полная вседозволенность; в лучших традициях ирландской литературы он ерничает и каламбурит, походя рассуждая на темы, для легкомысленного отношения «заповедные». Искусством «смеяться на собственных похоронах» Фредди Монтгомери, при всем своем нарочито презрительном отношении к соотечественникам, владеет, надо отдать ему должное, с чисто ирландским блеском и непринужденностью.

Так что теперь, благодаря Джону Бэнвиллу, и в ирландской литературе появился «лишний человек»: циничный и сентиментальный, непосредственный и желчный. Сосредоточенный на самом себе и к себе безжалостный. Неприкаянный и несчастный. Ирландский Раскольников.

Часть I

1

Милорд, в связи с вашей просьбой сообщить суду все, как было, своими словами, могу сказать следующее. Здесь меня держат взаперти, словно какое-то экзотическое животное, так, будто я — последний, чудом выживший экземпляр давно вымершего вида. Такого зверя, пожирателя невинных девушек, хищника жестокого

© 1989 by John Banville

и коварного, что разгуливает по клетке и мечет за прутья ослепительные зеленые молнии, надо бы показывать людям, чтобы потом, когда они уютно свернутся клубочком в своих постелях, им было о чем вспомнить. Когда я попался, они отталкивали друг друга, чтобы взглянуть на меня хоть краешком глаза. Если бы за это с них брали деньги, они бы, думаю, с удовольствием раскошелились. Они выкрикивали оскорбления, грозили мне кулаками, злобно скалились. В этой толпе, вызывающей и ужас и смех одновременно, было что-то ненастоящее: по тротуару, словно статисты в массовке, топтались парни в дешевых плащах, женщины с кошелками, были тут и два-три каких-то траченых нервных типа — эти стояли молча, поедая меня голодными, завистливыми глазами. Когда охранник набросил мне на голову одеяло и затолкал в патрульную машину, я рассмеялся: в том, что в жизни, пошлой по обыкновению, осуществлялись самые мои мрачные фантазии, было что-то невыразимо смешное.

Кстати об одеяле. Интересно, они его в тот раз специально захватили, или оно у них всегда лежит в багажнике, наготове? Сейчас такие вещи почему-то меня занимают, я над ними постоянно размышляю. Пресмешно я, должно быть, выглядел, сидя, точно манекен, на заднем сиденье, когда машина, гудя из важности, неслась по мокрым, залитым солнцем улицам.

Так я попал сюда. Больше всего, помню, поразил меня шум. Несусветный грохот, истошные вопли, свист, взрывы смеха, ругань, рыдания. Иногда, правда, и здесь воцаряется тишина, как будто все мы одновременно немеем от внезапно охватившего нас то ли великого страха, то ли великой тоски. В эти минуты воздух в тюремных коридорах неподвижен, точно стоячая вода; ноздри улавливают едва слышный запах карболки — чем не покойницкая! Поначалу казалось, что этот запах принадлежит мне, что его сюда принес я. Может, так оно и есть? Необычен здесь не только воздух, но и дневной свет, даже снаружи, во дворе,— как будто с ним что-то стряслось, как будто с ним, прежде чем он дошел до нас, что-то сделали. У него здесь какой-то едкий, лимонный оттенок, и потом, он разной насыщенности: то его не хватает, а то он, наоборот, слепит глаза. О темноте, о том, что она здесь тоже бывает разная, я, пожалуй, распространяться не буду.

Моя камера. Камера как камера. Чего о ней говорить.

Подследственным достаются лучшие камеры. И правильно: кто знает, меня ведь могут и оправдать. Господи, как же больно смеяться! Что-то сразу начинает давить на сердце — чувство вины, не иначе. Здесь у меня есть стол и нечто вроде кресла. Есть даже телевизор, хотя теперь, когда дело мое sub judice [1] и в новостях обо мне ни слова, смотрю я его редко. Водопровод и канализация оставляют желать лучшего. Подтекают — как и я. Надо бы завести себе мальчика. Мальчика с пальчик. А вернее, с пальчиком. Какого-нибудь юнца — шустрого, покладистого и не больно привередливого. Думаю, это не так уж сложно. Да и толковый словарь раздобыть тоже не мешает.

Хуже всего то, что всюду пахнет спермой. Не продохнуть.

Должен признаться, что свое пребывание здесь я рисовал в романтическом свете. Я-то воображал, что со мной будут носиться, поместят в особое крыло, отдельно от других заключенных, что посещать меня будут суровые, важные особы, что я буду рассуждать на злобу дня, вызывая зависть у мужчин и очаровывая дам. «Какая, однако, проницательность! — поразятся они.— Какая эрудиция! А нам-то рассказывали, что вы зверь, жестокий, бесчеловечный,— но теперь, когда мы увидели вас, услышали, что вы говорите...» Я живо представлял себе, как встаю в позу, как мой аскетичный профиль смотрится на фоне зарешеченного окна, как тереблю в нервных пальцах надушенный носовой платок и загадочно улыбаюсь — чем не Жан-Жак, эстет и убийца в одном лице.

Все вышло иначе, совсем иначе. Впрочем, и других крайностей не было тоже: ни известных всем нам по «голубому экрану» тюремных бунтов или массовых побегов, ни групповых изнасилований, ни убийств, когда одни во время прогулки втихаря «мочат наседку», а другие, двое рыжих с квадратными челюстями, затевают для отвода глаз между собой драку. Ничего этого здесь нет. Здесь вообще то же самое, что и там, на воле, только всего больше. Удобств, например. Камеры отапливаются так, что чувствуешь себя, точно в инкубаторе, а между тем заключенные постоянно жалуются на сквозняки, говорят, что по ночам их знобит, что у них стынут ноги. Еде

[1] Передано в суд *(лат.). (Здесь и далее — прим. перев.)*

тут тоже придается большое значение: беря в руки тарелку с супом, мы вздыхаем и принюхиваемся, как истинные гурманы. Когда же кто-то получает передачу, об этом мгновенно узнает вся тюрьма. «Слыхали? Она прислала ему слоеный пирог. Домашней выпечки!» Прямо как в школе: то же сочетание невзгод и уюта, та же потаенная тоска, тот же шум — и везде, всегда этот особый, густой, тошнотворный запах нечистой мужской плоти.

Говорят, что, когда здесь сидели политические, все было по-другому. Они гуськом ходили вверх-вниз по лестницам и громко переругивались на скверном ирландском, чем немало веселили уголовников. Но затем политические устроили то ли голодовку, то ли еще что-то, их перевели в отдельную тюрьму, и жизнь вновь пошла своим чередом.

Интересно, почему все мы такие вялые, податливые? Не из-за того ли порошка, который, по слухам, нам подсыпают в чай, чтобы заглушить похоть? А может, дело в наркотиках? Ваша честь, я знаю, доносчиков не любит никто, даже прокурор, но я считаю своим долгом поставить суд в известность: там, где я нахожусь, идет бойкая торговля запрещенным товаром. Есть несколько вертухаев, то бишь надзирателей, которые в этом деле замешаны,— могу назвать их, если, конечно, вы меня не выдадите. Достать здесь можно любую отраву: амфетамины и барбитураты, героин и кокаин, транквили, сонники, травку — на любой вкус... Поймите меня правильно, ваша честь, я вовсе не думаю, что вам знаком весь этот тюремный жаргон, я и сам-то узнал его совсем недавно, только когда попал сюда. Само собой, интересуется этим делом в основном молодежь. Доходяг этих сразу видно: спотыкаясь, семенят по проходам, словно сомнамбулы, взгляд отрешенный, на губах тоскливая улыбочка. Есть, правда, среди них и такие, которые не улыбаются — и, похоже, не улыбнутся больше никогда. Люди это конченые. Стоят себе и тупо, напряженно смотрят куда-то в сторону: так, без единого звука, отворачиваются от нас раненые звери, как будто мы для них лишь призраки, как будто боль они испытывают совсем в другом мире...

Но дело не только в наркотиках. Мы тут лишились чего-то очень важного, нам выбили почву из-под ног. Старые рецидивисты, отпетые негодяи, совершившие невиданные по жестокости преступления, переваливаясь, точно старые вдовы, бродят по тюрьме — бледные, изнеженные, обрюзгшие, толстозадые. Они прилежно роются в библиотечных книгах, а некоторые даже вяжут. Есть хобби и у молодых: эти робко, бочком подходят ко мне в комнате отдыха и с блеском в телячьих глазах, краснея от смущения, демонстрируют свою очередную поделку. Кажется, покажи они мне еще один парусник в бутылке — и я не выдержу. И в то же время у кровопийц этих, у насильников, у истязателей такой грустный, такой забитый вид. Когда я думаю о них, то почему-то (сам не знаю почему) перед моим мысленным взором предстает узкая полоска жухлой травы и деревце, которые можно увидеть из окна моей камеры, если прижаться щекой к решетке и, скосив глаза, посмотреть вниз, по диагонали, через стену с колючей проволокой.

Встаньте, пожалуйста, положите руку вот сюда, отчетливо произнесите ваше имя. Фредерик Чарльз Сент-Джон Вандервельд Монтгомери. Клянетесь ли вы говорить правду, одну только правду, ничего, кроме правды? Не смешите меня. Я хочу сразу же пригласить моего первого свидетеля. Мою жену. Дафну. Да, именно так ее звали — и зовут. Почему-то имя это обычно вызывает улыбочку. А по-моему, оно как нельзя лучше подходит к ее меланхоличной смуглой близорукой красоте. Я вижу, как она, мое лавровое деревце [1], полулежит на залитой солнцем поляне и, слегка нахмурившись, недовольно поджав губки, смотрит куда-то вдаль, а рядом с ней, с камышовой трубкой, самодовольно приплясывает и резвится какой-то влюбленный в нее божок, принявший обличье фавна. Этот отвлеченный, чуть-чуть недовольный взгляд и привлек к ней мое внимание. В ней не было ничего запоминающегося, ничего особенно хорошего. Просто она мне подходила. Быть может, уже тогда я думал о том времени, когда мне понадобится, чтобы меня кто-то — все равно кто — простил, а ведь на такое способен лишь мне подобный.

Когда я говорю, что в ней не было ничего особенно хорошего, я вовсе не имею в виду, что она была порочна или развратна. Шероховатости ее натуры не шли ни

[1] Согласно греческому мифу, нимфа Дафна, преследуемая влюбленным в нее Аполлоном, была превращена богами в лавровое дерево.

в какое сравнение с глубокими расселинами, бороздившими мою душу. Если ее и можно было в чем-то обвинить, то разве что в нравственной лени. Были вещи, на которые ее попросту не хватало, какими бы важными они ни представлялись ее пресыщенному вниманию. Она, например, совершенно не занималась нашим сыном, хотя, пусть по-своему, и любила его; просто заботы, связанные с ребенком, ее, по существу, не занимали. Я не раз видел, как она смотрела на него с отсутствующим выражением, будто пытаясь припомнить, кто он, какое он, собственно, имеет к ней отношение, как он сюда попал и почему катается по полу у ее ног. «Дафна! — бубнил я.— Ради Бога, очнись!» — и тогда, причем довольно часто, она и на меня смотрела точно так же, тем же пустым, бессмысленным взглядом.

Ловлю себя на том, что не могу не говорить о ней в прошедшем времени. Что ж, так, наверно, и должно быть. А между тем она часто навещает меня в тюрьме. Придя в первый раз, она поинтересовалась, как мне здесь живется. «Как?! Шумно! Людно!» — ответил я, и она, слегка кивнув головой и слабо улыбнувшись, стала разглядывать других посетителей. Мы хорошо понимаем друг друга, этого у нас не отнимешь.

Под лучами южного солнца леность ее преображалась в сладострастную истому. Почему-то мне запомнилась раскаленная от полуденного средиземноморского зноя комнатка с зелеными ставнями на окнах, узкой кроватью и стулом, как на картине Ван Гога. Где это было? Ивиса? Искья? Может, Миконос? Всегда остров — пожалуйста, клерк, зафиксируйте эту деталь; возможно, она еще нам пригодится. Раздеваться Дафна умела, надо сказать, поразительно быстро; каким-то неуловимым движением плеч она выскальзывала одновременно из юбки, блузки, трусиков, как будто все это было одним предметом туалета. Дафна — крупная женщина, но не толстая, не полная даже; хотя и грузная, но хорошо сложенная. Всякий раз, когда я видел ее обнаженной, мне хотелось погладить ее, как гладят скульптуру, ощупывая ладонью изгиб за изгибом, проводя большим пальцем по длинным плавным линиям, ощущая прохладную бархатистость камня. Возьмите на заметку последнее предложение, клерк, в нем, может быть, заложен глубокий смысл.

Жгучий полдень в этой комнате — и в бессчетном числе других, точно таких же... Господи, сейчас от одной мысли об этом начинает бить дрожь. Я не мог устоять перед ее простодушной обнаженностью, перед тяжестью и цельностью этой смуглой плоти. Она неподвижно, как в нирване, лежала рядом и не сводила глаз с темного потолка или же с полоски пробивавшегося сквозь ставни раскаленного белого света, пока наконец мне не удавалось — каким образом, непонятно — потревожить в ней какой-то тайный нерв, и тогда она тяжело и в то же время проворно поворачивалась и с протяжным стоном, словно падая с высоты, тесно прижималась ко мне, впивалась мне в горло и начинала на ощупь, точно слепая, шарить пальцами по моей спине. Она никогда не закрывала глаза, в ее тусклых нежных серых зрачках таилось что-то беспомощное, особенно когда она слегка щурилась от саднящей боли, которую я ей причинял. Не могу передать, как это возбуждало меня, как возбуждал этот страдальческий, беззащитный взгляд, столь ей не свойственный в любое другое время. Когда мы ложились в постель, я пытался заставить ее остаться в очках, чтобы вид у нее был еще более потерянный, еще более беззащитный, но это мне, к каким бы уловкам я ни прибегал, не удавалось ни разу. Попросить же прямо я, разумеется, не мог. А потом она — так, словно ничего не произошло,— вставала и, подхватив рукой рассыпающиеся волосы, неторопливо шла в ванную, а я лежал, бессильно раскинувшись на влажных простынях, и судорожно ловил губами воздух, как будто только что перенес тяжелый сердечный приступ... Что ж, было отчего.

Думаю, Дафна даже не подозревала, какое волнение я испытывал. Я старался скрывать свои чувства. Не подумайте только, что делал я это потому, что боялся оказаться в ее власти. Просто для наших отношений подобные эмоции были бы, скажем так, неуместны. Между нами с самого начала установилась молчаливая договоренность вести себя сдержанно, не давать воли чувствам. Да, мы понимали друг друга, но это ведь вовсе не значит, что мы друг друга знали или стремились узнать. Как бы мы, подумайте сами, сохранили столь важную для нас обоих естественную уважительность к партнеру, если б с утра до ночи изливали друг другу душу?

А как приятно было, дождавшись послеобеденной прохлады, встать с постели

и спуститься в гавань по узким улочкам, расчерченным солнцем и тенью на строгие геометрические фигуры. Я любил наблюдать за Дафной, которая всегда шла впереди: сильные плечи, крутые бедра, в сложном ритме они плавно покачивались в такт шагам под светлым летним платьем. Любил я наблюдать и за аборигенами, которые, согнувшись над бокалами пастиса и наперстками крепчайшего, мутного кофе, постоянно косились на нее своими рачьими глазами. Что, ублюдки, хочется? Перехочется.

В гавани имелось непременное кафе, всегда одно и то же, независимо от острова: несколько столиков на открытом воздухе, пластмассовые стулья, покосившиеся зонтики от солнца с рекламой «Стеллы» или «Перно» и смуглый толстяк хозяин — стоит, прислонившись к дверному косяку, и ковыряет во рту зубочисткой. Одинаковые были и завсегдатаи: какие-то тощие подозрительные типы в выцветших от времени бумажных костюмах, неприступного вида женщины с задубевшей от солнца кожей, тучный старик с седеющими бакенбардами, в теннисной кепке с длинным козырьком и — как без них? — два-три гомика с браслетами на запястьях и в фасонных сандалиях. Из этих людей и состояло наше общество, наш круг, наша компания. Обычно мы не знали, кого как зовут, и называли друг друга «приятель», «старик», «шеф», «дорогая». Мы пили бренди или анисовую водку, всегда выбирая из местного ассортимента что-то подешевле, громко судачили об общих знакомых, о посетителях других кафе, на других островах, и при этом поглядывали друг на друга; мы широко улыбались собеседнику и украдкой — сами не зная зачем — за ним следили; быть может, чтобы не упустить момент, когда он расслабится, и укусить побольней. Господа присяжные, вы же наверняка нас видели в толпе аборигенов, когда туристами рыскали в поисках достопримечательностей: вы бросали на нас проникновенные взгляды, а мы не обращали на вас никакого внимания.

Мы, Дафна и я, всегда находились в центре внимания и принимали почести с величественной бесстрастностью низложенных короля и королевы, что ежедневно ждут вестей о начале контрреволюции, не оставляя надежды вернуться обратно во дворец. Я замечал, что местные жители в большинстве своем относятся к нам с опаской: время от времени я ловил на себе или испуганный, подобострастный, собачий какой-то взгляд или же злобный блеск, вороватый и угрюмый. Я немало думал над этим явлением, мне оно представляется существенным. Что было в нас — а вернее, в нашем поведении — такого, что производило на них впечатление? Да, оба мы крупные, хорошо сложенные, красивые люди — но дело, скорее всего, было все же не только в этом. Нет, в результате длительных размышлений я пришел к выводу, что в нас они чувствовали какую-то цельность, органичность, естественность, которой им самим так не хватало и которая, как они полагали, была им недоступна. В их глазах мы были... ну да, мы были героями.

Все это, конечно же, было в высшей степени нелепо. Нет, постойте, я же дал слово говорить правду — на самом деле мне это доставляло удовольствие. Мне доставляло удовольствие нежиться на солнце в обществе неподражаемой и пользующейся сомнительной репутацией спутницы жизни, равнодушно принимая дань восхищения от своей разношерстной свиты. На губах у меня играла легкая улыбочка — хладнокровная, терпимая, чуть-чуть презрительная, адресованная в основном тем, кто поглупее, кто выделывал перед нами антраша в шутовском колпаке с колокольчиками, кто проказничал, хохмил и сам же от души хохотал. Я смотрел им в глаза и видел там свой возвышенный образ, а потому на мгновение забывал, что́ я собой представляю в действительности: такое же, как и они, жалкое ничтожество, терзаемое любовью и ненавистью, одиночеством и страхом, мучимое сомнениями и идущее навстречу смерти.

В результате я попал в лапы проходимцев: почему-то я убедил себя в своей непогрешимости. Говорю это, милорд, вовсе не для того, чтобы оправдать свои поступки, а лишь затем, чтобы объяснить их. Кочевая жизнь, которую мы вели, переезды с острова на остров порождали иллюзии. Солнце, соленый воздух вытравливали значимость из происходящего, лишали истинного его смысла. Мои инстинкты, инстинкты нашего племени, эти тугие пружины, закаленные в темных лесах севера, там, на юге, растянулись, да, ваша честь, растянулись. В самом деле, как опасность, порок могли сочетаться с этим нежным, лазоревым, акварельным климатом? А потом, плохое никогда ведь не случается с нами, плохие люди никогда не бывают нашими знакомыми. Американец, к примеру, казался мне ничуть не хуже

всех тех, с кем мы тогда общались. Откровенно говоря, он казался мне ничуть не хуже меня самого — верней, не хуже человека, каким я сам себя тогда представлял, ведь было это, разумеется, раньше, чем я обнаружил, на что способен.

Американцем я называю его потому, что не знал или забыл его имя,— вполне возможно, он вообще не был американцем. Говорил он по-американски в нос — привычка, почерпнутая, видимо, из кино — и имел обыкновение, разговаривая, щуриться, чем очень напоминал мне какого-то киноактера. Всерьез я его при всем желании воспринимать не мог и презабавно его изображал (я всегда был отличным имитатором), вызывая у пораженных слушателей громкий смех узнавания. Сначала я решил было, что он еще очень молод, но Дафна, улыбнувшись, посоветовала мне обратить внимание на его руки. (Такие вещи она подмечала.) Он был долговяз, мускулист, лицо у него было скуластое, а волосы — коротко, по-мальчишески, стриженные. Ходил он в обтягивающих джинсах, в сапогах на высоких каблуках и подпоясывался кожаным ремнем с огромной пряжкой. То, что он работает под ковбоя, чувствовалось сразу. Назову я его... постойте, назову-ка я его, пожалуй, Рэндольфом. Дафна ему явно приглянулась. Я с интересом следил за тем, как он, засунув руки в оттопыренные карманы, медленно приближался к ней и — с уверенностью и в то же время с некоторой опаской, как и многие другие до него,— начинал ее обнюхивать; о его намерениях, как и о намерениях всех остальных, свидетельствовала какая-то напряженная белизна между глаз. Со мной же он держался настороженно-вежливо, называя меня «другом» и даже — надо же придумать такое! — «коллегой». Хорошо помню, как он первый раз подсел к нам: локти положил на стол, а своими паучьими ножками обвился вокруг стула. Казалось, он извлечет сейчас из кармана кисет и прямо у нас на глазах, лениво, одной рукой скрутит себе сигаретку. Официант, Пако или Пабло, юный мозгляк с горящими глазами и аристократическими замашками, принес нам по ошибке не то, что мы заказывали, и Рэндольф, воспользовавшись этим, сурово его отчитал. Бедный парень стоял втянув голову в плечи под градом оскорблений и в этот момент больше чем когда-либо похож был на деревенского увальня. Когда же он поплелся прочь, Рэндольф победоносно взглянул на Дафну и усмехнулся, продемонстрировав длинные желтые зубы, и я подумал, что он очень смахивает на верного пса, который необычайно гордится тем, что принес к ногам своей хозяйки дохлую крысу. «Черномазое отродье»,— небрежно процедил он, презрительно прищелкнув языком, «Подавись, сукин ты сын!» — в сердцах закричал я и одним движением перевернул на него заставленный бутылками столик. Нет, нет, разумеется, я ничего подобного не сделал. Как бы мне ни хотелось вывалить разбитые бокалы на его нелепо раздутую промежность, я себе такого не позволил бы — в то время, во всяком случае. Вдобавок мне тоже доставляло удовольствие, и немалое, видеть, как получил по заслугам Пабло или Пако, этот прохвост с проникновенным взглядом, нежными ручками и сальными, кустистыми, точно волосы на лобке, усиками.

Рэндольф любил разыгрывать из себя человека бывалого, отчаянного. В разговорах с нами он то и дело намекал на какие-то темные делишки, которые он якобы проворачивал в никому не известном Стейтсайде. Я же, со своей стороны, всячески поощрял рассказы о его героических подвигах, втайне получая удовольствие от всех этих «я ему все начистоту выложил», «и не с такими разбирались», «меня не проведешь». Было что-то необычайно смешное в том, как этот проходимец хитро косится, как в самых рискованных местах — якобы из скромности — запинается, какой у него при этом победительный вид, как он, точно цветок, раскрывается под солнечными лучами моих поощрительных кивков и исполненных благоговейного ужаса восклицаний. Я вообще всегда испытывал удовлетворение от мелких грешков своих ближних. Обходиться с дураком и лжецом так, будто во всем мире нет его умней и честней, делать вид, что веришь каждому его слову, любым его ужимкам, доставляет мне какое-то особое, ни с чем не сравнимое наслаждение. Поначалу Рэндольф уверял, что он художник, но, после того как я задал ему несколько нехитрых вопросов, он, и глазом не моргнув, стал писателем. В действительности же (о чем он поведал мне как-то ночью, выпив лишнего) жил он тем, что сбывал местным нуворишам наркотики. Я, сами понимаете, изобразил полнейшее недоумение, однако рассказ его запомнил и в дальнейшем, когда...

Нет, хватит, надо бы поскорей покончить с этим. Короче, я попросил его

одолжить мне денег. Он отказал. Тогда я напомнил ему, что́ он мне рассказывал, напившись, и заметил, что guardia [1] этой историей наверняка заинтересуется. Он не поверил своим ушам. Подумав, он сказал, что у него самого таких денег нет, придется их для меня доставать — есть люди, к которым он может обратиться. И, замолчав, прикусил нижнюю губу. Я ответил, что меня это устраивает, что мне абсолютно безразлично, откуда он возьмет эти деньги. К своему удивлению и, не скрою, радости, я оказался неплохим шантажистом. По правде говоря, я не рассчитывал, что Рэндольф воспримет мои слова всерьез, но, судя по всему, я недооценил его малодушие. Он раздобыл деньги, и пару месяцев мы с Дафной жили припеваючи, ни в чем себе не отказывая; все шло великолепно, вот только Рэндольф ходил за мной по пятам. Такие слова, как «одолжить» и «расплатиться», он воспринимал до обидного буквально. Я же не выдал его гнусный секрет, внушал я ему, разве этого мало? Это люди серьезные, возражал он, изо всех сил пытаясь изобразить на лице улыбку, их вокруг пальца не обведешь. Вот и прекрасно, не унимался я, приятно слышать, что имеешь дело, пусть и не напрямую, с профессионалами. Тогда он пригрозил, что назовет им мое имя. Я расхохотался ему в лицо и ушел. Его слова, что бы он там ни говорил, я по-прежнему всерьез не воспринимал. Однако спустя несколько дней по почте пришел небольшой сверток, на котором я с трудом разобрал собственный адрес: писавший был явно с грамотой не в ладах. Дафна, что было с ее стороны опрометчиво, сама развернула посылку и обнаружила внутри металлическую коробку из-под трубочного табака «Балкан собране» (ни вашим, ни нашим — я это так расценил), а на выложенном ватой дне — странной формы хрящевидный, покрытый корочкой запекшейся крови кусок мяса, в котором я — правда, далеко не сразу — узнал человеческое ухо. Судя по неровному срезу, операция стоила немалых усилий и делалась чем-то вроде хлебного ножа. Чтоб побольней. Это наверняка входило в их планы. Помню, у меня даже мелькнула мысль: а ведь правильно, что ухо,— это же как-никак страна тореадоров. Забавно, ничего не скажешь.

Я отправился на поиски Рэндольфа. На левом виске, под волосами, у него была повязка из корпии, а сверху — не первой свежести бинт. С Диким Западом он у меня больше не ассоциировался. Теперь — словно судьба решила все же подтвердить его притязания на право называться художником — он стал поразительно похож на несчастного безумца Винсента, каким после любовной драмы тот изобразил себя на знаменитом автопортрете. Казалось, при виде меня он вот-вот заплачет — так ему было себя жалко, так он негодовал. Теперь, сказал он, сам с ними разбирайся, ты должен им, а не мне, я-то уже расплатился — и он с угрюмым видом провел рукой по своей забинтованной голове. Затем обозвал меня нехорошим словом и скрылся. Несмотря на полуденный зной, по спине у меня, точно рябь по воде, пробежал легкий озноб. Я задумался. Мимо, приветливо кивнув, проехал старик на ослике. Где-то невдалеке гулко зазвонил церковный колокол. Почему, допытывался я у себя, почему я так живу?

Не сомневаюсь, на этот вопрос суд бы тоже хотел получить ответ. С моим-то происхождением, образованием, с моей... да, с моей культурой, как мог я жить такой жизнью, общаться с *такими* людьми, попадать в *такие* истории?! Вы хотите ответа на такой вопрос? Я не знаю ответа. Вернее, знаю, но он слишком сложен, слишком запутан, давать его здесь не стоит. В свое время я, как и все, верил, что определяю ход своей жизни собственными решениями, однако постепенно, по мере того как прошлое копилось у меня за спиной, стало понятно: я делал то, что делал, лишь потому, что не мог иначе. Только, пожалуйста, не подумайте, милорд, что я пытаюсь каким-то образом оправдать себя, тем более — защитить. Я целиком отвечаю за свои поступки — в конечном счете, это ведь то единственное, что я вправе назвать своим,— и заранее заявляю, что приму без возражений решение суда, каким бы оно ни было. Позволю себе, однако, при всем уважении к суду задать один-единственный вопрос: уместно ли придерживаться принципа моральной виновности, коль скоро не существует более такого понятия, как свобода воли? Это ведь, уверяю вас, штука очень непростая, из тех, о которых мы — от нечего делать — так любим порассуждать поздним вечером, попивая какао и покуривая.

Повторюсь: я вовсе не всегда считал жизнь тюрьмой, где все наши действия

[1] Полиция *(исп., итал.)*.

зависят от прихоти некоей неведомой и бесчувственной силы. Напротив, в молодости я воображал себя зодчим, который в один прекрасный день воздвигнет над собой потрясающее здание, нечто вроде огромного павильона, просторного и светлого; павильон этот, мечтал я, вместит меня целиком, и в то же время я буду ощущать в нем полную свободу. Смотрите, скажут люди, увидев издалека это великолепие, смотрите, какая стройность, какая прочность, да, это он, в этом нет никаких сомнений, это он, тот самый человек. Однако все это было делом будущего, пока же я ощущал себя незащищенным и одновременно невидимым. Как бы описать это странное ощущение какой-то легковесности, неустойчивости, призрачности? Другие люди, казалось, обладают телесностью, материальностью, чего так не хватало мне. Среди них, этих больших беззаботных существ, я чувствовал себя ребенком в окружении взрослых. Я наблюдал за ними широко раскрытыми глазами, недоумевая, как в этом непостижимом и абсурдном мире им удается сохранить хладнокровие, уверенность в себе. Только поймите меня правильно: я вовсе не был увядшей лилией, я смеялся, веселился и куражился вместе с лучшими из них — вот только внутри, в той зловещей, погруженной во мрак галерее, что я зову своим сердцем, я стоял, неуверенно переступая с ноги на ногу и приложив ко рту руку,— молчаливый, завистливый, в себе неуверенный. Они понимали — или, по крайней мере, принимали реальность; у них была своя, взвешенная, продуманная точка зрения, были убеждения. Этих людей отличал широкий взгляд на вещи — как будто они не понимали, что все в мире распадается на бесчисленные мелочи. Они рассуждали о причине и следствии так, словно считали возможным отделить одно событие от других и подвергнуть его тщательному анализу в чистом, вневременном пространстве, вне безумного водоворота происходящего. О целых народах они позволяли себе судить как об одном человеке; мне же судить, хотя бы с малой долей ответственности, даже об одном человеке представлялось в высшей степени опрометчивым. Они, эти люди, не ведали границ.

На беду, примеры для подражания возникали у меня не только во внешнем мире, но и во внутреннем; во мне словно бы завелся надсмотрщик, от которого я должен был тщательно скрывать отсутствие убеждений. Скажем, если я что-то читал и какой-то довод мне сначала безусловно нравился, а потом, при ближайшем рассмотрении, обнаруживалось, что я абсолютно не понял, что хотел сказать автор, больше того — понял его слова «с точностью до наоборот», мне приходилось мгновенно проделывать сальто в воздухе, убеждая себя, свое второе «я», этого неумолимого внутреннего цензора, что все, сказанное автором, справедливо, что, по правде говоря, я и сам всегда так думал, а если и не всегда, то это лишь свидетельство моей беспристрастности; всякий непредубежденный человек, дескать, меняет точку зрения, сам того не замечая. После чего я отирал пот со лба, откашливался, расправлял плечи и, подавив смятение, продолжал в том же духе. Но почему я говорю все это в прошедшем времени? Неужели что-то изменилось? Разве что мы с надсмотрщиком поменялись местами: он вышел наружу, а я, сжавшись от страха, затаился внутри.

Интересно, понимает ли суд, чего стоит мне это признание?

Наукой я занялся, чтобы обрести уверенность. Нет, не так: наукой я начал заниматься для того, чтобы меньше ощущалось отсутствие уверенности. Вот способ, решил я, возвести прочную основу на песке, который повсюду, который постоянно уходит у меня из-под ног. И в науке, надо сказать, я преуспел, тут у меня имелось какое-то особое чутье. Помогало мне и то, что в глобальных вопросах, таких, как реальность, истина, этика, у меня не было своего мнения; больше того, в науке я обнаружил до боли знакомый образ непредсказуемого, бурлящего мира, в котором материя всегда была и остается водоворотом случайных коллизий. Занимался я статистикой, теорией вероятности. Область эта запутанная, в подробности я здесь входить не собираюсь. Скажу лишь, что я обладал какой-то холодной проницательностью — даром, даже по строгим меркам моей дисциплины, отнюдь не маловажным. Мои курсовые работы считались образцом ясности и четкости. Мои профессора, неопрятные старики с дурным запахом изо рта, души во мне не чаяли; они признавали во мне ту неумолимую жесткость, отсутствие которой вынуждало их всю жизнь вещать с университетской кафедры. И вот тогда-то меня и высмотрели американцы.

Как я любил Америку! Жизнь на пастельном, залитом солнцем Западном

побережье испортила меня навсегда. Я до сих пор вижу эти места во сне, все, как было, без малейших изменений: горы цвета охры, залив; огромный, изящный, подернутый туманом красный мост. Мне казалось, что я стою на каком-то высоком сказочном плато, в какой-то Аркадии. Какое богатство, какая легкость, какая невинность! Из всех сохранившихся воспоминаний выберу одно, наугад. Весенний день, университетское кафе. Час дня. Снаружи, на площади у фонтана, нежатся на солнце обворожительные девушки. В тот день мы побывали на лекции заезжего профессора, мага и волшебника, одного из тех, кто приобщен к таинствам науки; вот он сидит за нашим столиком, пьет из бумажного стаканчика кофе, грызет фисташки. Это долговязый, худой, довольно нелепый человек с огромной копной курчавых, начинающих седеть волос. У него быстрый, живой, с искорками злобы взгляд; он непрерывно шарит глазами, словно пытается отыскать что-то смешное. Дело в том, друзья, изрекает он, что все в этом проклятом мире — случайность, чистой воды случайность. Тут губы его кривятся в акульей ухмылке, и он подмигивает мне, такому же чужаку, как и он. Сидящие за столом преподаватели, крупные загорелые мужчины в рубашках с короткими рукавами и в туфлях на толстой подошве, глубокомысленно кивают; один скребет подбородок, другой лениво поглядывает на свои толстые, точно компас, ручные часы. Мимо, играя на флейте, проходит мальчик в шортах и без рубашки. Девушки у фонтана медленно, по двое, подымаются и так же медленно уходят, осторожно ступая на траве и крепко, точно нагрудники, прижимая книги к груди. Господи, неужели я и в самом деле был там? Здесь, сейчас, все это кажется мне скорее сном, чем воспоминанием: музыка, нежные вакханки и мы — прозрачные, неподвижные фигуры; мудрецы, сидящие за стеклом, в котором отражается зелень.

Им все во мне нравилось: и акцент, и галстук-бабочка, и довольно мрачное обаяние Старого Света. Мне было тогда двадцать четыре, однако в их обществе я чувствовал себя чуть ли не пожилым. Они бросались на меня с такой горячностью, словно занимались самоусовершенствованием. Как раз тогда в самом разгаре была война, одна из тех мелких войн, что они время от времени ведут вдали от своих берегов,— и все, абсолютно все выступали против этой войны. Кроме меня, разумеется: я не желал иметь ничего общего с их маршами протеста, сидячими забастовками, с их удручающими попытками перекричать — а не переспорить — друг друга. Но даже мои политические взгляды — а вернее, отсутствие таковых — их не отпугнули, и в моей постели, роняя нежные свои лепестки, перебывали дети-цветы всех цветов и размеров. Мало кого из них я запомнил по отдельности; когда я вспоминаю их, перед моими глазами встает некий гибрид с руками одной, глазами другой, рыданиями третьей. От тех дней, тех ночей сохранился теперь лишь легкий горько-сладкий привкус и чувство, да и то мимолетное, какой-то воздушной легкости, какого-то, как бы это сказать, сладострастного, атараксического (да, да, толковый словарь мне достать удалось) блаженства, которое я ощущал после их ухода; все тело, благодаря их нешуточным стараниям, блаженно ныло, а плоть омывалась бальзамом их пота.

В Америке я и повстречал Дафну. Как-то во второй половине дня, обедая у одного профессора, я стоял на крыльце с наполненным до краев бокалом джина в руке и вдруг услышал: на лужайке кто-то говорил со знакомым акцентом — мягким и в то же время чистым, словно звук воды, падающей на стекло; чувствовалась в этом голосе и какая-то свойственная всем нам апатия. Я повернулся и тут же увидел ее: платье в цветочек, старомодные туфли, лохматая, по моде того времени, голова. Рядом в пестром пиджаке стоял какой-то мужчина и, жестикулируя, что-то ей объяснял. Дафна же кивала с серьезным видом, пропуская мимо ушей решительно все, что ей говорилось. Я мельком взглянул на нее и отвернулся — сам не знаю почему. У меня был очередной приступ хандры, да и выпил я к тому времени немало. Этот мимолетный взгляд явился, между прочим, символом нашей совместной жизни. Последующие пятнадцать лет я постоянно от нее так или иначе отворачивался — вплоть до того момента, когда, ранним утром, я стоял, держась за поручни, на палубе уплывавшего с острова парохода, глубоко вдыхал илистый запах гавани и довольно равнодушно махал ей и ребенку, оставшимся где-то далеко внизу, на причале. В тот день, впервые, не я отвернулся от нее, а она — от меня. Отвернулась (как я теперь понимаю) окончательно, с неспешной и невыразимо печальной решимостью.

История, в которую я попал, была одновременно и глупой, и жутковатой. Чувствовал я себя довольно странно. То, что произошло, казалось нереальным, чем-то вроде тех кошмарных снов, из которых какой-нибудь бездарный толстяк делает потом третьеразрядный фильм. Я упорно отгонял от себя эту историю, как отгоняют сон, каким бы зловещим он ни был, однако вскоре история эта, точно какое-то страшное насекомое, приползла, шевеля щупальцами, обратно, и тогда меня бросало в жар от ужаса и стыда — стыда за собственную глупость, за поразительную недальновидность, которая обернулась для меня такими неприятностями.

Поскольку Рэндольф, судя по всему, играл в этой истории второстепенную роль, я ожидал, что главными действующими лицами будут комедийные «бандиты с большой дороги», «крутые» молодчики с низкими лбами и маленькими жидкими усиками; они, рисовалось мне, встанут в кружок, запустят руки в бездонные карманы и будут молча пялиться на меня, криво улыбаясь и лениво жуя зубочистку. Я не угадал: меня пригласил к себе седовласый идальго в белоснежном костюме, он крепко, по-дружески пожал мне руку и сообщил, что зовут его Агирре. Идальго был любезен и немного опечален. Обстановка никак не соответствовала его благородному облику. По узкой лестнице я поднялся в комнату над баром — грязную, с низким потолком, покрытым клеенкой столом и парой плетеных стульев. На полу под столом сидел и сосал деревянную ложку чумазый младенец. Из угла на меня пялился громадный телевизор, на необъятном экране я увидел свое отражение — непомерно длинный, худой, изогнутый, точно лук. Пахло чем-то жареным. Сеньор Агирре с едва заметным брезгливым выражением провел ладонью по сиденью плетеного стула, сел, разлил по бокалам вино и любезно со мной чокнулся. «Я бизнесмен,— сказал он,— самый обыкновенный бизнесмен — не какой-нибудь там знаменитый профессор,— тут он улыбнулся и слегка поклонился,— но ведь даже в бизнесе, насколько мне известно, существуют определенные правила, определенные моральные обязательства. Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду.— Я молча покачал головой. В этот момент я чувствовал себя мышкой, с которой играет холеный, ленивый старый кот. Агирре опечалился еще больше.— Взятое в долг,— тихо проговорил он,— следует возвращать. Это закон коммерции». И он выразил надежду, что я войду в его положение. Воцарилось молчание. Я с изумлением смотрел на него: так вот он какой, настоящий мир, мир страха, боли и возмездия,— это место серьезное, это тебе не залитая солнцем спортивная площадка, где я с легкостью растратил целую кучу чужих денег. «Мне придется вернуться домой,— выговорил я наконец и сам не узнал собственный голос,— там мне помогут достать нужную сумму; есть друзья, родственники, я смогу занять у них...» Агирре задумался. «Вы поедете один?» — поинтересовался он. В первый момент я не понял, к чему он клонит. А потом отвел глаза и медленно проговорил: «Да, да, жена с сыном, скорее всего, останутся здесь». В этот момент мне почудилось, что у меня за спиной раздался сатанинский смех, какое-то зловещее кудахтанье. Агирре улыбнулся и подлил в бокалы вина — самую малость. Младенец, все это время игравший с моими шнурками, вдруг громко заскулил: от волнения я и не заметил, как случайно задел его ногой. Сеньор Агирре насупился и что-то крикнул через плечо. В ту же секунду дверь за его спиной распахнулась и в комнату заглянула, что-то недовольно пробурчав, необычайно толстая молодая женщина со злым лицом. На ней было черное без рукавов платье со смятыми оборками, лоснящийся черный парик величиной с пчелиный улей и, под стать парику, огромные черные искусственные ресницы. Она шагнула вперед, вытащила, тяжело сопя, ребенка из-под стола и отвесила ему оглушительную оплеуху. Ребенок вздрогнул, с изумлением уставился на нее своими круглыми глазами и зашелся в крике. Женщина злобно покосилась в мою сторону, схватила деревянную ложку, швырнула ее на стол, после чего, прижав ребенка к своему необъятному бедру, выбежала из комнаты и с грохотом захлопнула за собой дверь. Сеньор Агирре с извиняющимся видом пожал плечами. И опять улыбнулся — озорно, ласково. «Какого вы мнения о здешних женщинах?» Я ответил не сразу. «Будет вам,— весело сказал он,— не может быть, чтобы вы не составили себе мнения по столь животрепещущему вопросу».— «Они очаровательны, совершенно очаровательны,— ответил я,— самые очаровательные представительницы слабого пола, каких мне только приходилось встречать». Он радостно кивнул — другого ответа он, кажется, от меня и не ждал. «Нет,— возразил он,—

нет, они слишком смуглые — даже в тех местах, которые обычно закрыты от солнца.— И, подавшись вперед и легонько постучав пальцем по моему запястью, он расплылся в своей ласковой, лукавой улыбке.— Северные женщины — совсем другое дело! Ах, эти светлые северные женщины! Какая у них белая кожа! Такие нежные! Такие хрупкие! Ваша жена, к примеру»,— добавил он. Последовала еще одна гнетущая пауза. Внизу, в баре, громко играла музыка. По радио передавали репортаж о бое быков. Стул, на котором я сидел, словно в предупреждение, громко подо мной скрипнул. Сеньор Агирре поставил локти на стол, сложил в пирамиду свои длинные, как на картинах Эль Греко, пальцы и посмотрел на меня сквозь них. «Ваша жена,— сказал он с сильным придыханием,— ваша жена — красавица. Вы ведь скоро за ней вернетесь?» По сути дела, это был не вопрос. Что мне было ему сказать? Что было делать? Впрочем, и это тоже не вопросы.

Дафну я в подробности посвящать не стал. Судя по всему, она все поняла сама и отнеслась к моим словам спокойно. Она вообще ко всему относилась спокойно — в этом отношении ей не было равных.

Домой я добирался долго. В Валенсию пароход пришел только в сумерки. Ненавижу Испанию — злобную, тупую страну. В городе пахло похотью и хлоркой. Я сел в поезд, в купе третьего класса, куда, кроме меня, набилось еще с полдюжины вонючих крестьян в дешевых костюмах. Спать я не мог — было жарко, болела голова. Тепловоз, отдуваясь, тянул состав в гору, колеса без конца бубнили одну и ту же фразу. Над Мадридом брезжил рассвет — туманная, точно выстиранная, полоска синевы. Я вышел из здания вокзала, увидел в небе стаю птиц, что носились, кружа и падая, на громадной высоте, и, удивительное дело, испытал вдруг какое-то радостное чувство, от которого по всему телу пробежала дрожь, а на глаза навернулись слезы. Произошло это, вероятно, от бессонницы, от горного разреженного воздуха. Интересно, почему я так ясно помню эту привокзальную площадь, цвет неба, птиц, охватившую меня радостную дрожь? А потому, скажете вы, что в тот момент я находился на распутье, будущее испытывало меня, и я, сам того не замечая, выбрал неверный путь. Вот что вы мне скажете, не правда ли? Вы, которые во всем видите скрытый смысл, жаждете этот скрытый смысл постичь, жаждете так сильно, что у вас потеют руки и горит лицо! Спокойно, Фредерик, спокойно. Простите мне эту вспышку, ваша честь, просто все дело в том, что я не верю, будто эти мгновения — да и любые другие тоже! — имеют какой-то скрытый смысл. По всей видимости, что-то они могут значить, даже иметь какую-то ценность, но только не скрытый смысл.

Ну вот я и излил вам душу.

Итак, где же я был? В Мадриде. Проездом. Я опять сел в поезд и покатил на север. По дороге мы останавливались буквально на каждом полустанке — казалось, этой ужасной стране не будет конца. Один раз мы битый час простояли невесть где, в какой-то глуши. Я сидел в гулкой тишине и тупо пялился в окно. За встречной, заваленной мусором железнодорожной колеей тянулось бесконечное желтое поле, а за ним, вдалеке — гряда синих гор, которые я принял было за облака. Припекало солнце. Мимо, устало хлопая крыльями, пролетела ворона. Послышался чей-то кашель. Как странно, что я здесь, подумалось мне, именно здесь, а не где-то в другом месте. Впрочем, находиться в другом месте было бы, наверное, ничуть не менее странно. Я хочу сказать... ох, сам не знаю, что я хочу сказать... В купе было душно, от сидений исходил какой-то пыльный, затхлый запах. Приземистый чернявый мужчина с низким лбом встретился со мной глазами, и в эту секунду мне вдруг стало ясно: скоро, совсем скоро я совершу что-то очень плохое, чудовищное, непростительное. Нет, я не предчувствовал — слово «предчувствие» не передает того, что я ощутил,— я знал, не могу объяснить, каким образом, но знал. Я был потрясен самим собой, дыхание мое участилось, лицо, как будто от смущения, стало подергиваться, однако помимо шока я испытал еще и какое-то шутовское ликование. А крестьянин между тем по-прежнему смотрел на меня в упор. Он сидел, подавшись немного вперед, спокойно сложив руки на коленях, и глядел исподлобья — одновременно и сосредоточенно, и остраненно. Эти люди всегда так смотрят — они настолько плохо сами себя знают, что им кажется, будто действия их остаются незамеченными. Такое впечатление, что смотрят они на вас откуда-то из потустороннего мира.

Конечно же, я знал, не мог не знать, что я убегаю.

2

Я предполагал, что приеду в дождь, и в Холихеде действительно моросил теплый мелкий дождик, но когда мы вышли в залив, солнце появилось опять. Море было спокойным — маслянистый гладкий мениск какого-то поразительного розовато-лилового оттенка, высокий и изогнутый. Из переднего салона, где я сидел, казалось, что нос корабля подымается все выше и выше, словно и весь корабль вот-вот поднимется в воздух. Небо впереди было бледно-бледно-голубым и серебристо-зеленым в малиновых пятнах. С застывшим, мечтательным видом, с идиотской улыбочкой деревенского увальня я не отрываясь смотрел на морскую гладь. Признаюсь, к тому времени я уже успел выпить причитающуюся мне порцию беспошлинного алкоголя, и кожа у меня на висках и вокруг глаз напряглась. Однако в безмятежном состоянии я пребывал не только от выпитого, но и из-за нежной красоты, меня окружавшей, из-за естественной доброты мира. Взять хотя бы закат. Какими яркими красками он расписан! А облака, море, это умопомрачительное сине-зеленое пространство... Кажется, краски эти специально созданы для того, чтобы утешить заблудшего, несчастного странника. Иногда мне думается, что наше присутствие здесь, на земле, вызвано какой-то космической ошибкой, что предназначались мы совсем для другой планеты, с другим устройством, другими законами, иным, более низким, небосводом. Я пытаюсь представить, где же находится наше истинное место — должно быть, где-то в самом дальнем конце галактики. Те же, кому изначально предназначалось жить здесь, неужели они сейчас там — озадаченные, тоскующие по дому, как и мы? Нет, они бы давно уже вымерли. Как могли они выжить, эти нежные земляне, в мире, созданном специально для *нас*?

Голоса́ — вот что вывело меня из оцепенения. В первый момент я подумал, что они нарочно, в шутку говорят с таким произношением. Двое дымящих сигаретами краснолицых докеров, таможенник в фуражке — мои соотечественники. Я миновал просторный, обшитый изнутри жестью коридор и погрузился в позолоченные чертоги солнечного летнего вечера. Мимо прошел автобус, проехал на велосипеде рабочий. Старые часы на башне по-прежнему отставали. Я даже удивился — так все было трогательно. Ребенком я любил бывать тут, любил причал, прогулки вдоль моря, эстраду, выкрашенную в зеленый цвет. Здесь меня всегда почему-то охватывало какое-то сладостное чувство уныния, легкого сожаления, как бывает, когда в воздухе только что растаяли последние в этом сезоне звуки причудливой веселой мелодии. Мой отец называл этот городок исключительно Кингстаун — на местную тарабарщину он не разменивался [1]. Обычно он привозил меня сюда по воскресеньям, а иногда, в школьные каникулы, и по будням. Из Кулгрейнджа ехать было далеко. Машину он ставил прямо на шоссе, чуть повыше пристани, давал мне шиллинг и исчезал, предоставляя мне проводить время, как он выражался, «по своему усмотрению». Хорошо помню, как я, эдакой принцессой-лягушкой, восседаю на высоком заднем сиденье «моррис-оксфорда», самозабвенно смакую мороженое в вафельном рожке, аккуратно, выверенными движениями облизывая тающий сладкий шарик, и поглядываю на прогуливающихся по набережной, а те бледнеют при виде моих прищуренных злых глаз и жадного, побелевшего от мороженого языка. Я сижу у открытого окна машины и вдыхаю соленый морской воздух вперемешку с дымом, который валит из трубы почтового парохода, стоящего на якоре невдалеке. Флаги на крыше яхт-клуба полощутся и хлопают на ветру, а густой лес мачт в гавани покачивается и позванивает на манер какого-нибудь восточного оркестра.

Моя мать никогда не сопровождала нас в этих воскресных «вылазках». Теперь-то я знаю: поездки в Кингстаун нужны были отцу для того, чтобы навещать подружку, которую он тут завел. Впрочем, я что-то не припомню, чтобы он особенно осторожничал — во всяком случае, не больше, чем обычно. Это был невысокий, стройный, хорошо сложенный человек с бесцветными бровями, такими же бесцветными глазами и с маленькими светлыми усиками, в которых было что-то неприличное, словно они являлись естественным продолжением той нежной, вьющейся растительности, что незаметно перекочевала на его лицо с места прямо противоположного. В обрамлении этих усиков рот его казался невероятно живым: жадный, подвижный, ярко-красный, брюзжащий и огрызающийся. Отец вообще все

[1] Официальное ирландское название Кингстауна — Дун-Лэаре.

время чем-то был недоволен, постоянно злился, кипел от обиды и возмущения. По натуре, однако, этот с виду агрессивный, неуживчивый человек был, как мне теперь кажется, трусом. Он жалел себя, он был убежден, что жизнь обошлась с ним несправедливо. В отместку за эту несправедливость он всячески баловал себя, старался доставить себе как можно больше удовольствий. Он носил туфли ручной работы, галстуки от Шарве, пил дорогие красные вина и курил сигареты, которые доставлялись в герметически закупоренных жестянках прямиком с Берлингтон-аркейд [1]. У меня до сих пор хранится (а вернее, хранилась) его бамбуковая трость. Ею он особенно дорожил и любил демонстрировать мне, как она сделана — из четырех (или восьми?) сортов ротанга, сплетенных непревзойденным мастером. Все премудрости этой работы он растолковывал мне с такой серьезностью, что я с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться. Он ошибочно полагал, что по его имуществу можно судить о нем самом, и гордился своими вещами, точно дворовый мальчишка — рогаткой. В нем вообще было что-то детское, несолидное, неистребимо мальчишеское. Мы словно бы поменялись местами: он, взрослый, немолодой уже человек, был по сравнению со мной ребенком, а я, мальчишка,— взрослым, уставшим от жизни, озлобленным. Подозреваю, что он даже немного меня побаивался. В свои двенадцать-тринадцать лет я был одного с ним роста и веса, ибо если цвет волос я унаследовал от него, то комплекцию — от матери и уже подростком склонен был к полноте. (Да, милорд, вы видите перед собой человека средней упитанности, внутри которого затаился толстяк. Один раз, всего один раз, его выпустили — и смотрите, что из этого вышло!)

Надеюсь, у вас не создалось впечатления, что я недолюбливал своего отца. Беседовали мы нечасто, но, в общем, ладили; между нами существовало определенное взаимопонимание. Побаивался не только он меня, но и я, из чувства самосохранения,— его; у нас сложились отношения, которые, в том числе и нами самими, ошибочно принимались за взаимное уважение. Мы оба, и это нас объединяло, с нескрываемым отвращением относились к миру. Я замечаю, что перенял смех отца, короткий, едва слышный, гортанный смешок — единственную его реакцию на происходящее в мире. Национальная рознь, войны, катастрофы его нисколько не волновали: жизнь, настоящая жизнь, кончилась, в его понимании, в тот день, когда последний вице-король отплыл от здешних берегов,— все последующие события были для него не более чем стычками между крестьянами. Он и в самом деле пытался убедить себя, будто у нас, католиков Ирландского замка [2], было великое прошлое; «да, сэр,— любил говорить он,— да, сэр, мы католики Ирландского замка — и гордимся этим!» Думаю, однако, что в словах этих было больше досады, чем гордости. В глубине души, мне кажется, он стыдился того, что не был протестантом; будь он протестантом, ему не пришлось бы столько всего объяснять, не пришлось бы постоянно оправдываться. Он изображал себя фигурой трагической, джентльменом старой школы, который пережил свое время. Хорошо представляю себе отца в эти воскресные дни в обществе его любовницы — пышной, надо полагать, дамочки с легкомысленными вьющимися локонами и глубоким вырезом, перед которой он, дрожа, опускается на одно колено; он не отрывает от нее восхищенного взгляда, усики его топорщатся, а влажный рот молитвенно приоткрыт. Но нет, какое право имею я издеваться над ним! По правде говоря, я всегда был об отце неплохого мнения, хотя и мечтал убить его и жениться на собственной матери,— оригинальная и соблазнительная мысль, которую часто с глубокомысленным видом внушает мне мой адвокат.

Но я отвлекся.

Обаяние Кингстауна, то бишь Дун-Лэаре, на Дублин не распространялось. Со своего места, переднего сиденья в верхнем салоне двухэтажного автобуса — места привычного, любимого! — я с трудом узнавал город. За те десять лет, что меня здесь не было, что-то с ним произошло, какая-то беда. Куда-то подевались целые улицы, а на месте старых домов выросли отвратные коробки из стали и черного стекла. Старинная площадь, где мы с Дафной одно время жили, была стерта с лица земли, и на ее месте возникла огромная, залитая цементом автостоянка. Здание

[1] Имеется в виду Берлингтонский пассаж в Лондоне, где находятся небольшие, очень дорогие магазины.

[2] Католики Ирландского замка — католики — приверженцы Британской короны; Ирландский замок — резиденция вице-короля в Дублине.

церкви — церкви! — и то, если верить табличке, продавалось. Да, случилось что-то непоправимое. Даже воздух в этом городе казался отравленным. Несмотря на позднее время, еще не погас слабый отсвет дня — густой, тяжелый от пыли, чем-то напоминавший дымку, какая бывает после взрыва или большого пожара. Прохожие затравленно, словно они чудом выжили, озирались по сторонам, шли нетвердой, шатающейся походкой. Я вышел из автобуса и влился в толпу, однако головы старался не подымать, боясь, что взгляду моему предстанет нечто ужасное. За мной по пятам, прося милостыню, бежали босоногие мальчишки. На каждом шагу попадались пьяные — эти едва держались на ногах, сквернословили, смотрели перед собой тупым, одурманенным взглядом. На лестнице, ведущей в винный погребок, примостилась экзотическая парочка: молодой человек со свирепым, изрытым оспой лицом и гривой оранжевых волос и девушка с неподвижным взглядом, в римских сандалиях и в поношенном черном, как вакса, платье. Оба они с головы до ног были обвешаны веревками, цепями и еще чем-то, напоминающим патронную ленту, а в ноздри у них вдето было что-то вроде роскошных золотых запонок. Подобное зрелище я видел впервые и решил, что эти молодые люди — члены какой-то таинственной секты. Я прибавил шагу и нырнул в паб Уэлли. Нырнул — иначе не скажешь.

Я ожидал, что изменился и паб. Я любил эту забегаловку, частенько выпивал там в бытность свою студентом, да и потом, когда работал в институте. Я всегда чувствовал себя здесь как дома, хотя было в этом заведении что-то нечистоплотное. Я знаю, давно уже ходят разговоры о том, что у Уэлли свили себе гнездышко гомосеки, но хочется надеяться, что суд не станет обращать внимания на те намеки, которые в этой связи делаются, особенно в желтой прессе. Сам я не гомосексуалист, при этом ничего против них не имею — хотя, конечно же, их презираю: становится тошно всякий раз, как думаешь о том, чем они занимаются. Их присутствие вносило в атмосферу паба какое-то безудержное веселье и в то же время легкую, едва ощутимую тревогу. Я любил, когда меня с ног до головы охватывала нервная дрожь, любил ощущение невесомости, которое шариком ртути прокатывалось у меня по спине, стоило всей их компании неожиданно взорваться визгливым по-птичьи смехом или же, напившись, начать скандалить и крушить все вокруг. В тот вечер, спрятавшись в паб Уэлли от раненого города, я сразу же их увидел: человек шесть гомиков сидели у самого входа и, утробно хихикая и лапая друг друга, о чем-то оживленно шептались. Сам же Уэлли восседал за стойкой. Он еще больше растолстел (кажется, куда уж больше!), однако в остальном ничуть за десять лет не изменился. Я тепло с ним поздоровался; подозреваю, что он меня узнал, хотя, естественно, виду не подал: Уэлли любил изобразить из себя человека угрюмого, неуживчивого. Я заказал гигантскую порцию джина с тоником, и он, недовольно вздохнув, тяжело сполз с высокого табурета. Двигался Уэлли очень медленно, словно сквозь воду, плывя в своем жире, как медуза. Между тем мне стало заметно лучше. Я рассказал Уэлли, что видел продающуюся церковь, но он только пожал плечами: дескать, ничего удивительного, теперь такое в порядке вещей. Когда он ставил передо мной стакан с джином, сидевшие у дверей гомосеки неожиданно один за другим с громким смехом повскакивали из-за стола и Уэлли сердито посмотрел в их сторону, поджав губы, отчего маленький его ротик почти совершенно исчез в складках многоярусного подбородка. Он демонстрировал презрение к такого рода завсегдатаям, хотя, ходили слухи, и сам не чурался мальчиков, которых держал в большой строгости — не уступая в ревности и жестокости героиням Бердслея.

А я пил джин. В джине есть что-то особенное, быть может, дух лесной чащи, из-за чего, когда я его пью, то почему-то думаю о сумерках, о тумане, о мертвых девах. В тот вечер джин звенел у меня во рту, как подавленный смех. Я обвел глазами сидевших вокруг. Нет, паб Уэлли не переменился, абсолютно не переменился. Это заведение, что там ни говори, мне по душе: приглушенный мрак, зеркала, ряд бутылок над стойкой бара — и каждая мерцает в темноте на свой лад. Да, да, настоящее ведьмовское логово — тут тебе и страшная, толстая ведьма, и компания веселых гномов. Не обошлось и без великана-людоеда — c'est moi [1]. Я блаженствовал. Не скрою, люблю все нелепое, все двусмысленное. Во второразрядных

[1] Это я *(франц.)*.

кабаках вроде этого с меня сваливается бремя происхождения и образования, и я чувствую, я чувствую... сам не знаю, что я чувствую. Не знаю. Опять я говорю не в том времени. Я повернулся к Уэлли и, протянув ему стакан, зачарованно смотрел, как он вновь наливает волшебное зелье в мой маленький серебряный кубок. Он опустил в джин лед, и жидкость мгновенно вспыхнула голубым светом. На что она похожа? Ну конечно, на глаза, голубые глаза.

Я же сказал, мертвые девы. Господи.

Так я сидел у стойки, пил и беседовал с Уэлли о чем попало — его участие в беседе сводилось лишь к пожатию плечами, тупому похрюкиванью и какому-то особенному, злому хихиканью. Постепенно гул, что всегда начинается у меня в голове во время путешествий, прошел, и я испытал такое чувство, как будто не было никаких пароходов и поездов, а кто-то пронес меня по воздуху и опустил прямо сюда — хмельного, счастливого, непередаваемо, волшебно незащищенного. Десять лет, которые я провел в разъездах, показались мне чем-то эфемерным, каким-то сказочным странствием. Все ушло в прошлое: и острова в лазоревом море, и жгучий полдень за зелеными ставнями, и Рэндольф, и сеньор Агирре, и даже жена с ребенком. В далекое прошлое. Поэтому, когда в бар вошел Чарли Френч, я поздоровался с ним так, словно видел его вчера.

Знаю, Чарли настаивает на том, что в пабе Уэлли мы не встречались, что он вообще ни разу там не был. Что ж, я могу ошибаться: возможно, мы увиделись в пабе и не в первый день моего приезда — но увиделись именно там, в этом нет никаких сомнений. Хорошо помню этот момент: гомики о чем-то громко шепчутся в углу, Уэлли — привычным, неподражаемо презрительным движением запястья — протирает бокал, а я сижу за стойкой, в кулаке у меня зажат стакан с джином, а между ног — старый, видавший виды чемодан из свиной кожи. И тут в дверях, в мятом полосатом костюме и в стоптанных туфлях, возникает мой забывчивый Эвмей [1]; на лице у него смущенная улыбка, а в глазах неясная еще догадка. Впрочем, очень может быть, что в памяти у меня действительно смешались два совершенно разных события. Очень может быть. Что еще сказать? Надеюсь, Чарльз, эта оговорка хоть немного сгладит ту боль, которую я вам причинил.

Меня называют бессердечным, но это не так. Я очень сочувствую Чарли Френчу. Я причинил ему немало страданий, тут двух мнений быть не может. Я ославил его на весь свет. Такой человек, как Чарли, должен был перенести это очень тяжело. Он же повел себя хорошо. Просто превосходно. В последнюю минуту, минуту страшную, страшную до смешного, когда меня уводили в наручниках, он смотрел на меня не укоризненно, а как-то печально. Он почти улыбался. И я ему за это благодарен. Сейчас он вызывает у меня чувство вины и досады, но он был моим другом и...

Он был моим другом. Какая простая и в то же время трогательная фраза. Мне кажется, я произношу ее впервые. Записывая эти слова, я даже на мгновение замер... Что-то подкатило к горлу, так, словно я... словно я сейчас разрыдаюсь. Что же со мной происходит? Может, это и называется перевоспитанием? Может, я и в самом деле выйду отсюда совсем другим человеком?

Бедняга Чарли не сразу узнал меня, и ему явно стало не по себе оттого, что в таком заведении к нему обращается, да еще так фамильярно, совершенно незнакомый человек. Я же испытывал ни с чем не сравнимое удовольствие невидимки. Я предложил ему выпить, но он, с подчеркнутой вежливостью, мое предложение отклонил. Он постарел. Ему было немногим больше шестидесяти, но выглядел он старше. Он сутулился, у него появилось маленькое, похожее на яйцо, брюшко, а пепельного цвета щеки покрыты были густой сеточкой лопнувших сосудов. Вместе с тем он производил впечатление человека уравновешенного, чего раньше не было. Казалось, что он, как бы это сказать... что он занял наконец подобающее ему место. Когда я с ним познакомился, он приторговывал картинами и антиквариатом, теперь же у него был солидный, я бы даже сказал, величественный вид, что особенно бросалось в глаза на фоне аляповатой обстановки паба. Да, у него сохранилось прежнее, одновременно озорное и застенчивое, выражение, но, чтобы это выражение заметить, надо было как следует приглядеться. Поначалу он косился на меня с опаской, криво улыбаясь, но затем углядел, вероятно, в моих глазах что-то

[1] Эвмей — свинопас, один из немногих слуг, сохранивших верность Одиссею во время его странствий.

знакомое и, узнав меня, облегченно вздохнул, громко, с придыханием рассмеялся и осмотрелся. Я хорошо запомнил этот взгляд: казалось, он обнаружил, что у него расстегнуты брюки, и испуганно озирается по сторонам — не заметил ли кто-нибудь еще? «Фредди! — воскликнул он.— Ну и ну!» Слегка трясущимися пальцами он сунул в рот сигарету и выпустил в потолок густой клуб дыма. Я попытался вспомнить, когда же мы познакомились. Он приезжал к нам в Кулгрейндж еще при жизни отца и без дела слонялся по дому с каким-то загадочным, виноватым видом. С родителями он познакомился еще до войны, и нередко, сидя вместе за бутылкой, они вспоминали ежегодные балы для членов охотничьего клуба, поездки в Дублин на скачки и прочие развлечения. Я слушал все эти разговоры с безграничным презрением, издевательски поджимая губы с пробивающимся над ними подростковым пушком. В такие минуты они, все трое, особенно моя мать с ее маникюром, перманентом и низким — пропитым и прокуренным — голосом, похожи были на занятых в старомодной комедии провинциальных актеров. Надо, однако, отдать должное Чарльзу: не думаю, чтобы он всей душой отдавался ностальгическим воспоминаниям. Не мог же он не замечать, как громко, с надрывом, хохочет моя мать, как, едва заметно, истерически дрожит ее хриплый, надтреснутый голос; какие полные невыразимой ненависти взгляды украдкой бросает на нее отец — бледный, с прямой спиной, примостившийся на самом краешке стула, с неподвижными, выпученными, как у гончей, глазами. Когда между родителями начиналось такое, они забывали все на свете, своего единственного сына, своего лучшего друга, и сливались в каком-то макабрическом трансе. В результате нам с Чарли ничего не оставалось, как общаться друг с другом. Держался он при этом с некоторой осторожностью, словно я был чем-то, что могло в любой момент взорваться прямо у него в руках; в те дни я и впрямь был очень вспыльчив, весь кипел от нетерпения и раздражения. Пару мы собой являли, надо думать, презабавную, однако ладили — на каком-то глубинном уровне. Быть может, он видел во мне сына, которого у него никогда не будет, а я в нем — отца, которого у меня никогда не было. (И эту мысль тоже внушает мне мой адвокат. Интересно, что вы на это скажете, Maolseachlainn [1]? Так о чем я? Да, о Чарли. Однажды он взял меня, тогда еще совсем мальчишку, на скачки. Оделся Чарли, как положено: серый твидовый костюм, коричневые высокие башмаки и небольшая, лихо сдвинутая на глаза фетровая шляпа. Прихватил он с собой даже бинокль, однако настроить его, судя по всему, так толком и не сумел. Смотрелся он отлично, вот только слишком уж пыжился; казалось, сейчас он покатится со смеху, издеваясь над самим собой и над своими притязаниями. Мне тогда было лет пятнадцать. В буфете он любезно осведомился, какое виски я буду пить, ирландское или шотландское,— и поздно вечером привез меня домой безобразно, бессовестно пьяным. Отец был в бешенстве, мать смеялась. Чарли же сохранял полную невозмутимость, делая вид, что ничего не произошло, и, когда я, качаясь, поплелся спать, незаметно сунул мне в карман пятерку.

Ах, Чарли, я виноват перед вами, в самом деле виноват.

Так вот, словно бы тоже вспомнив былое, он, в свою очередь, решил угостить меня и неодобрительно поджал губы, когда я заказал джин. Сам-то он предпочитал виски, которое было для него такой же личиной, как и полосатый костюм, стоптанные туфли ручной работы и пышная поседевшая теперь шевелюра, которая, как любила говорить моя мать, обрекала его на громкую славу. Чарли, однако, всегда удавалось каким-то образом славы избегать. Я поинтересовался, чем он занимается. «У меня картинная галерея»,— ответил он и с рассеянной улыбкой обвел глазами паб, словно сам был удивлен этим обстоятельством. Я кивнул. Так вот почему он так приосанился, вот почему теперь у него такой самонадеянный вид. Я живо представил себе: пыльная комната в каком-то захолустье, по стенам развешано несколько мрачных, однотонных пейзажей; секретарша, старая дева с крашеными волосами, постоянно препирается с ним из-за каждого пенса представительских денег, зато на Рождество не забывает подарить ему галстук в папиросной бумаге. Бедный Чарли! Теперь он вынужден воспринимать себя всерьез, днем и ночью думать о коммерции и бегать от художников, которые требуют с него денег за свою мазню. «Нет, позвольте уж мне»,— сказал я и, вытащив банкноту из быстро худеющей пачки, бросил ее на стойку.

Откровенно говоря, я подумывал о том, чтобы взять у него в долг. И знаете,

[1] Ваша честь *(ирл.)*.

что мне помешало? Уверен, вы будете смеяться, но я не занял у него денег, ибо счел это дурным вкусом. И дело тут вовсе не в моей щепетильности — в свое время, чтобы удержаться на плаву, я обращался к услугам людей, куда менее кредитоспособных, чем Чарли. Возможно, остановило меня и то, что мы с ним и в самом деле могли быть отцом и сыном — не *моим* отцом, конечно, и, уж разумеется, не *его* сыном,— которые по случайности встречаются в борделе [1]. Напряженные, угрюмые, чего-то стыдясь, мы хвастались и блефовали, мы чокались, мы пили за доброе старое время. Но продолжалось это недолго, вскоре мы оба запнулись и погрузились в молчание. И тут Чарли вдруг с какой-то чуть ли не болью посмотрел на меня и низким, бесстрастным голосом спросил: «Фредди, что ты с собой сделал?» А потом, устыдившись, отпрянул от меня, безнадежно улыбнулся и вновь выпустил изо рта густой клуб табачного дыма. В первый момент я пришел в бешенство, но затем скис. К таким вопросам я в тот день был не готов, а потому глянул на висевшие на стене, за стойкой, часы и, притворившись, что не понял его, сказал, да, он прав, у меня был тяжелый день, я перебрал, после чего допил джин, пожал Чарли руку, взял чемодан и вышел.

По сути дела, это был все тот же вопрос: почему, Фредди, почему ты так живешь? Ответ на этот вопрос я обдумывал наутро, по дороге в Кулгрейндж. Небо было под стать моему настроению: серое, низкое, тяжелое. Автобус подпрыгивал на ухабах узких сельских дорог с тем же глухим, надтреснутым гулом, с каким стучала у меня в висках кровь. Позади меня грудой обломков были свалены мириады моих случайных поступков. Была ли среди этого гигантского вороха случайностей хотя бы одна (одно принятое решение, один заранее избранный маршрут, один запланированный поворот), которая бы объяснила мне, как же я мог дойти до жизни такой? Нет, конечно, не было. Мой жизненный путь, как, кстати, жизненный путь любого человека, даже ваш, милорд,— это не принятые решения, не заранее избранные маршруты, а сплошные шатания, нечто вроде медленного падения, врастания в землю под постепенно растущим весом всего того, что не удалось сделать. И в то же время я понимал, что кому-нибудь вроде Чарли, тому, кто смотрит снизу, я, вероятно, казался каким-то сказочным существом, шагающим по заоблачным высям, подымающимся все выше и выше и, наконец, бросающимся с головокружительной высоты и совершающим непостижимый, искрометный полет с объятой пламенем головой. Но я не Эвфорион [2]. И даже не его отец.

Сам по себе вопрос неверен, вот в чем беда. Ведь он предполагает, что наши действия определяются волевыми решениями, логикой, тщательным взвешиванием фактов, то есть всем тем по-кукольному судорожным подергиванием, которое принято называть совестью. Я жил так, как жил, потому что жил так, как жил,— иного ответа быть не может. Когда я смотрю назад, как бы пристально я ни вглядывался, я не вижу отчетливой границы между разными жизненными этапами. Это сплошной поток — хотя поток, должно быть, слово тут недостаточно сильное. Скорее что-то вроде деятельного безделия, бега на месте. Впрочем, даже такой бег был для меня слишком быстрым, я всегда немного отставал, плелся, можно сказать, в хвосте собственной жизни. В Дублине я слыл провинциальным мальчишкой из Кулгрейнджа, в Америке — зеленым юнцом из Дублина, а на островах — кем-то вроде американца. И мне все время чего-то не хватало. Все было впереди, предвкушалось, ожидало своего часа. Застряв в прошлом, я все вглядывался в бескрайние просторы будущего. И вот теперь можно, мне кажется, сказать, что будущее наконец наступило.

Вся эта болтовня ничего не значит. Ничего путного. Просто забавляюсь, погружаюсь, теряюсь в хаосе слов. Ведь слова здесь — это роскошь, это чувственность, это все, что осталось у нас от богатого, щедрого мира; мира, которого нас лишили.

О Господь, о Христос, освободи меня отсюда.

О Кто-нибудь.

---

[1] Аллюзия на «Улисса» Дж. Джойса, где в 15-м эпизоде происходит встреча Стивена Дедала и Леопольда Блума в публичном доме.

[2] Эвфорион — в древнегреческой мифологии прекрасный юноша, родившийся от союза Ахилла с Еленой.

Я должен сделать паузу, опять болит голова. Головные боли последнее время участились. Не беспокойтесь, ваша честь, вызывать сержанта или пристава нет необходимости — это ведь всего лишь головная боль. Я не сойду с ума, не стану рвать на себе волосы и, горько рыдая, звать свою... Впрочем, вот и она, моя матушка. Собственной персоной. Твоя очередь давать свидетельские показания, мать.

3

До Кулгрейнджа я добрался в середине дня. Я сошел с автобуса, и тот, кокетливо вильнув мне на прощанье толстым своим задом, покатил, громыхая, дальше. Мотор стих вдали, и над полями вновь воцарилась гулкая летняя тишина. Небо было по-прежнему обложено тучами, но кое-где уже пробивались солнечные лучи, стало светлее, свинцовый цвет сменился на более мягкий, жемчужно-серый. Я неподвижно стоял на дороге и озирался по сторонам. Привычное всегда таит в себе неожиданности. Все было на месте, все ждало меня: и покосившиеся ворота, и аллея, и продолговатый луг, и дубовая роща — мой дом! Все было абсолютно таким же, как раньше, разве что чуть поменьше, чем мне запомнилось, не в натуральную величину. Я засмеялся. Впрочем, это был не столько смех, сколько вскрик, выражение удивления и узнавания. Всякий раз, когда я вижу такое — деревья, переливающиеся на солнце поля, мягкий, нежно льющийся свет,— я чувствую себя странником, который вот-вот покинет эти места. Но и приезжая куда-то, я все время словно бы отворачивался, бросал долгие взгляды вспять, на землю, которую потерял. Перекинув плащ через плечо и подняв с земли старенький чемодан, я двинулся по аллее в сторону дома — блудный сын, пусть и не умирающий с голоду, пусть и не первой молодости. Из-за изгороди мне навстречу выбежала собака. Она издала гортанный рык и злобно, по самые десны, оскалилась. Я остановился. Не люблю собак. Эта была черно-белая, с бегающими глазками, она припала животом к земле и, не переставая грозно рычать, заметалась вокруг меня. Прикрыв колени чемоданом, точно щитом, я стал ругать ее, как непослушного ребенка, но голос мой предательски сорвался на фальцет, и на какую-то долю секунды мне почудилось, что где-то в листве звучит приглушенный смех, как будто несколько человек спрятались за деревьями и за мной наблюдают. Но тут кто-то засвистел, и пес, заскулив, виновато поплелся к дому. На верхней ступеньке крыльца стояла мать. Она смеялась. И в тот же момент, словно некий знак свыше, из-за туч выглянуло солнце. «Господи,— сказала она,— это ты, а я уж решила, что у меня галлюцинации».

Я в нерешительности. Нет, не в том дело, что мне не хватает слов. Скорее наоборот. Сказать нужно столько, что не знаю, с чего начать. Я испытываю такое чувство, будто медленно, нетвердой походкой пячусь назад, держа на вытянутых руках огромный, громоздкий и в то же время невесомый груз. Она — это так много и одновременно — ничто. Сейчас надо быть очень осторожным, ведь почва у меня под ногами зыбкая. Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что мои слова, что бы я ни сказал, вызовут лишь снисходительный смех у доморощенных психологов, которыми набит зал суда. Когда подымается материнская тема, простота не поощряется. И тем не менее попытаюсь говорить честно и просто. Ее имя Дороти, хотя все звали ее Долли — сам не знаю почему: ничего кукольного в ней никогда не было [1]. Напротив, она — крупная, сильная, с широким лицом и густыми, точно у жены лудильщика, волосами. Ничего неуважительного в этом описании нет: мать по-своему хороша собой, в ее облике есть что-то величавое и в то же время непосредственное. С детства она запомнилась мне своим постоянным, но отдаленным присутствием: похожа на изваяние с неподвижным взором, красива недоступной, древнеримской красотой — точно мраморная статуя в дальнем конце лужайки. С возрастом, правда, она потолстела: ноги оставались стройными, а вот бедра раздались — несоответствие, которое, в бытность мою подростком, болезненно интересующимся подобными вещами, наводило на мысль о том, какая же требуется сложная архитектура, чтобы такие красивые коленки переходили под юбкой в такую

[1] Doll *(англ.)* — кукла.

бесформенную талию. «Привет, мать»,— сказал я и отвернулся, ища глазами что-нибудь постороннее. Я уже злился. Она всегда оказывала на меня подобное действие: стоило мне подойти к ней, как во мне просыпались раздражение и злоба. Я был удивлен. Я-то думал, что после десяти лет разлуки между нашей встречей и первым приступом сыновней изжоги пройдет хотя бы минута, так нет же: стиснув челюсти, я скосил злобный взгляд на пучок сорной травы, пробивавшейся из трещины в каменных ступеньках, на которых она стояла. Если она и изменилась, то незначительно: грудь, которую иначе как пышной не назовешь, теперь опала и покоилась аккурат на диафрагме; под носом пробивались едва заметные усики. На ней были мешковатые вельветовые брюки и длинная шерстяная кофта с отвисшими карманами. Она спустилась по ступенькам мне навстречу и вновь засмеялась. «Ты растолстел, Фредди,— сказала она,— у тебя появилось брюшко». И с этими словами она — вы не поверите! — двумя пальцами, большим и указательным, игриво оттянула мне кожу на животе. Эта женщина, эта женщина... что тут сказать? Меня, тридцативосьмилетнего джентльмена с неотразимым средиземноморским загаром, крупного ученого, мужа и отца, человека солидного и, судя по выражению лица, едва ли доброго, она — вы только представьте! — ущипнула за живот, да еще разразилась при этом хриплым смехом. Согласитесь, ничего удивительного, что сынок в конце концов угодил в тюрьму! Собака, почуяв, что хозяйка против меня ничего не имеет, робко подошла и попыталась лизнуть мне руку, чем я и воспользовался, сильно ударив ее ногой под ребра. От этого мне полегчало, но ненамного и ненадолго.

Есть ли на свете что-то, что воскрешало бы прожитое с такой силой и пронзительностью, как запах дома, в котором прошло детство? Я стараюсь, на что суд наверняка обратил уже внимание, избегать обобщений, но ведь всех нас без исключения охватывает непроизвольная судорога узнавания при первом же дуновении этого едва заметного, ничем не примечательного, простоватого запаха, который и запахом-то не назовешь, скорее эманацией, чем-то вроде вздоха, издаваемого тысячью известных, но невостребованных вещиц, которые в сумме своей и составляют то, что называется домом. Я вошел в прихожую и на мгновение испытал такое чувство, будто беззвучно переместился во времени. Я замер на месте и внутренне содрогнулся. Вешалка со сломанным зонтиком, на каменном полу по-прежнему отстает одна плитка. «Отвяжись, Пятнистый, черт бы тебя побрал!» — раздался за моей спиной голос матери, и собака взвизгнула. По какой-то необъяснимой причине я ощутил вкус яблок, и мне смутно почудилось, будто произошло что-то очень важное, будто все вокруг меня, словно по мановению волшебной палочки, разом исчезло и тут же, в одно мгновение, сменилось своей точной копией, точной до мельчайших, микроскопических подробностей. Я сделал шаг вперед, в этот подмененный мир, с бесстрастным, как положено в таких случаях, выражением лица, и мне показалось, что я слышу прерывистый облегченный вздох: удался сложный трюк и на сей раз.

Мы вошли в кухню, у которой был вид пещеры, где обитало какое-то громадное дурно пахнущее чудовище. «Господи, мать,— сказал я,— ты что, *живешь* здесь?» В кухонном шкафу посуда была свалена вперемешку с предметами женского туалета, какими-то запиханными по углам старушечьими обносками. Из-под буфета торчали три-четыре пары обуви, и казалось, будто их обладатели лежат на полу, тесно прижавшись друг к другу,— притаились и слушают. Здесь собралась мебель со всего дома: узкий, изящный секретер из отцовского кабинета, горка орехового дерева из гостиной, обтянутое бархатом кресло с откидной спинкой и полысевшими подлокотниками, в котором когда-то погожим воскресным днем, не издав ни единого звука, умерла моя двоюродная бабушка Алиса, крошечная мерзкая старушонка. Огромный допотопный радиоприемник, некогда главная достопримечательность холла, теперь, весь скособоченный, притулился на сушилке и что-то тихо мурлыкал себе под нос, подмигивая зеленым глазом. Чистой кухню нельзя было назвать, при всем желании. На столе лежала открытая амбарная книга, а рядом, среди тарелок с объедками и немытых чашек, валялись счета и квитанции. В этот день, по-видимому, мать занималась делами. У меня мелькнула было мысль сразу же изложить ей причину — корыстную — своего приезда, но, подумав с минуту, я от этой идеи отказался. Она же, словно сообразив, что́ у меня на уме, с улыбкой перевела взгляд с меня на разбросанные по столу бумаги и обратно. Я отвернулся

и посмотрел в окно. За домом какая-то приземистая девица в бриджах прогуливала нескольких коннемарских пони, и тут я припомнил, что в одном из своих редких и не вполне грамотных писем мать между делом сообщала мне о какой-то авантюре, связанной с лошадьми. Она тоже подошла к окну, и некоторое время мы вместе смотрели на понуро бредших по кругу лошадей. «Вот уроды, правда?» — весело сказала она, прервав молчание. К раздражению, которое я испытал по приезде, прибавилось теперь и ощущение бесполезности, тщетности всего происходящего. Ощущение это, впрочем, всегда было мне свойственно. Значение подобного состояния (а может, и побудительной силы) историки и философы, думается, недооценивают. Кажется, я сделал бы все, чтоб только избавиться от него,— все что угодно. Мать тем временем рассказывала мне о своих клиентах, в основном японцах и немцах. «Купили всю страну с потрохами, Фредди, уж ты мне поверь»,— говорила она. Пони они приобретали для своего избалованного потомства и платили за них, о чем мать доверительно сообщила, расплывшись в счастливой улыбке, сумасшедшие деньги. «Психи, чего с них взять»,— заключила она. Мы засмеялись, а потом опять погрузились в рассеянное молчание. Солнце падало теперь на лужайку, а огромное белое облако медленно раскрывалось над изнемогающими от жары буками. Я стоял и думал о том, как глупо хмуриться в такой день. Стоял измученный, раздраженный, руки в карманах, и где-то глубоко внутри капля за каплей копилась во мне тоска — нечто вроде серебристого ихора [1], чистого, прозрачного, невиданно драгоценного. Да, дом — это всегда неожиданность.

Мать настаивала, чтобы я походил по дому, «осмотрелся», как она выразилась. «В конце концов, мой мальчик,— сказала она,— наступит день, когда все это будет твоим». И хмыкнула — гортанно, по-своему. Что-то я не припоминаю, чтобы в прошлом ее так просто было развеселить. В ее смехе было что-то почти развязное, какая-то распущенность. Меня эта развязность несколько выбила из колеи, и я подумал, что мать могла бы вести себя и попристойнее. Она закурила и отправилась показывать мне дом; из ее левой клешни торчали пачка сигарет и коробок спичек, а за спиной, следуя в ее дымном фарватере, маячил я. Дом гнил на глазах, в отдельных местах так сильно и быстро, что даже я был потрясен. Мать говорила не закрывая рта, а я тупо кивал, глядя на сырые стены, на вздувшиеся полы и рассохшиеся оконные рамы. В моей бывшей комнате кровать была сломана, а из матраса что-то росло. Вид из окна — деревья, край покатого поля, красная крыша сарая — был знаком до боли, как галлюцинация. Вот сервант, который я сам соорудил,— и я тут же увидел самого себя, маленького мальчика с деловито нахмуренным лбом, с тупой пилой в руке, склонившегося над листом фанеры, и мое тоскующее сердце дрогнуло, как будто я вспоминал не себя, а своего сына, любимого и незащищенного, навсегда потерянного для меня в моем же собственном прошлом. Когда я обернулся, матери не было. Я обнаружил ее на лестнице с каким-то странным выражением глаз. Увидев меня, она снова заторопилась и сказала, что я обязательно должен увидеть окрестности: конюшню, дубовую рощу. Она преисполнилась решимости показать мне все, все.

Когда я вышел из дому, настроение у меня немного поднялось. Какой же здесь все-таки свежий воздух. Я слишком долго жил под жгучим южным небом. А деревья, могучие деревья, эти терпеливые, стойкие страдальцы, неподвижно застывшие, словно в смущении, и прячущие от нас полный тоски взгляд. Тараща свои безумные глаза и неловко поеживаясь, появился Пятнистый (мне от этой твари, я вижу, ни за что не отделаться) и медленно пересек вслед за нами лужайку. При нашем приближении девушка из конюшни покосилась на нас с таким видом, будто вот-вот пустится наутек. Звали ее то ли Джоан, то ли Джин — не помню. Большая задница, большая грудь — бесспорно, у матери она вызывала родственные чувства. Когда я заговорил с ней, бедняжка побагровела от смущения и нехотя, будто боялась, что я не отпущу, протянула мне маленькую мозолистую ладошку. Я одарил ее своей коронной ленивой улыбочкой и посмотрел на себя ее глазами: высокий загорелый хлыщ в летнем костюме, стою на лужайке, слегка подавшись вперед, и бормочу нечто несуразное. «Цыган! — внезапно крикнула она.— Ну-ка перестань!» Шедшая впереди лошадь, мелкая, низкорослая, со злыми, пытливыми глазами, вдруг подалась вбок и с очень характерным для них тупым, решительным видом двинулась на меня. Чтобы оттолкнуть ее, я положил руку ей на холку и был потрясен жесткостью,

[1] Ихор — в греческой мифологии жидкость, заменяющая кровь в жилах богов.

материальностью этого животного, его грубой, сухой шкурой, тугой, неподдающейся плотью, теплой кровью. Теперь я казался сам себе уже не загорелым красавчиком, а чем-то бледным, дряблым, податливым. В эту минуту мои пальцы ног, задний проход, влажная промежность вызывали у меня гадливое, тошнотворное чувство. И стыд. Не могу объяснить почему. Вернее, могу, но не хочу. Но тут опять, бросившись под копыта пони, залаяла собака, лошадь захрапела, мотнула мордой и оскалилась. Мать пнула собаку ногой, а девица схватила пони за голову и отвернула ее в сторону. Собака завыла, лошади отпрянули и тревожно заржали. Шум стоял страшный. Все всегда кончается фарсом. И тут только я сообразил, что самое время опохмелиться.

И я опохмелился: сначала выпил джина, потом какого-то пакостного хереса, потом бутылку превосходного бордо из коллекции моего покойного отца — увы, последнюю. Я был уже под сильным градусом, когда спустился в винный погреб за сухим красным вином и присел на край клети, глубоко вдыхая затхлый воздух сумрачного погреба и выдыхая пылающими ноздрями пары джина. Низкое, затянутое паутиной окошко у меня над головой пронзил припорошенный пылью луч солнца. В темноте вокруг меня громоздились давно забытые предметы (потрепанная лошадь-качалка, старый велосипед с высокой рамой, связка допотопных теннисных ракеток), их неясные, стершиеся очертания едва проступали во мраке, и казалось, что винный погреб — это своего рода полустанок, где прошлое ненадолго задержалось на пути в небытие. Я засмеялся. «Старый прохиндей!» — произнес я вслух, и от этих слов тишина лопнула, как оконное стекло. В последние месяцы перед смертью он постоянно бывал здесь. Он, который всю жизнь отличался деловитостью, неуемной энергией, стал вдруг бездельником. Обычно мать посылала меня сюда посмотреть, что он делает; «мало ли что с ним может случиться»,— уклончиво говорила она мне. Я шел в погреб и неизменно заставал его там; то он, забившись в угол, что-то бесцельно вертел в руках, а то без всякого дела, застыв в неестественной позе, молча пялился в темноту. Когда в такие минуты я обращался к нему, он обычно вздрагивал и сердито, надсадным голосом отчитывал меня, точно его застали за чем-то постыдным. Впрочем, подобные сцены долго не продолжались, проходила минута-другая, и он вновь куда-то пропадал. Казалось даже, что умирает он не потому, что заболел, а потому, что его что-то отвлекло от жизни: будто в один прекрасный день, в разгар кипучей деятельности, что-то завладело его вниманием, поманило из темноты, и, потрясенный, он повернулся и покорно направился на зов — с болезненной, озадаченной, как у лунатика, сосредоточенностью. Сколько же мне тогда было? Двадцать два. Или двадцать три? Длительный процесс умирания в равной мере и утомлял, и злил меня. Понятное дело, я жалел его, но, как мне кажется, жалость для меня — это вообще лишь внешнее, благопристойное проявление тайного желания взять слабого за шиворот и хорошенько встряхнуть. Он осунулся, весь как-то съежился. Вдруг выяснилось, что воротнички сорочек слишком велики для этой вихляющей черепашьей шеи с двумя похожими на плохо натянутые струны арфы морщинами. Все сделалось ему вдруг велико, одежда болталась на нем, как на вешалке. Глаза стали большие и затравленные, уже с поволокой. Тогда тоже было лето. Солнечный свет больше был ему не нужен, и он предпочитал отсиживаться здесь, в мшистой полутьме, среди сгущающихся теней.

Я с трудом встал, сунул под мышку несколько пыльных бутылок и начал подыматься по сырым каменным ступеням.

И все же умер он наверху, в большой передней спальне, самой просторной в доме комнате. Всю ту неделю стояла невыносимая жара. Балконную дверь открыли и выдвинули кровать изножьем на балкон. Он лежал, откинув одеяло и обнажив свою высохшую грудь. Он отдавал себя солнцу, бескрайнему небу, он таял в голубом в золоте летнем свете. Его руки... Его быстрое, учащенное дыхание. Его...

Хватит. Я же говорил о матери.

Я поставил бутылки на стол и только начал стирать с них пыль и паутину, как мать сообщила мне, что больше не пьет. Я удивился: в прежние времена она пила наравне с самыми стойкими мужчинами. Я посмотрел на нее, она пожала плечами и отвернулась. «Врачи запретили»,— сказала она. Я присмотрелся. У нее действительно слегка запал левый глаз и немного перекосило рот. Я припомнил, каким

странным, неестественным движением она зажала в левой руке сигареты и спички, когда повела меня осматривать дом. Мать вновь пожала плечами. «Небольшой удар,— пояснила она.— В прошлом году». «Небольшой удар» — какое странное выражение, подумалось мне. Как будто какая-то в целом доброжелательная, но нерасчетливая сила нанесла ей легкий, дружеский удар и, по чистой случайности, причинила боль. Теперь она смотрела на меня искоса, с искательной, по-детски грустной улыбочкой. С такой улыбочкой признаются обычно в каком-нибудь грешке, самом тривиальном, но мешающем жить. «Очень тебе сочувствую, старушка»,— сказал я и стал ее уговаривать послать всех врачей к чертовой матери и пропустить стаканчик. Мать молчала; казалось, она не слышит моих слов. И тут произошла поразительная вещь. Эта девица, Джоан или Джин — пойду на компромисс и буду называть ее Джейн,— вдруг вскочила со своего места и, в порыве сострадания, неловким, похожим на борцовский прием движением обняла мать и положила руку ей на лоб. Я ожидал, что мать оттолкнет ее, поставит на место, но нет, она сидела неподвижно, ничего, по-видимому, не имея против того, что эта деревенщина ее обнимает; на лице у нее застыла все та же искательная улыбочка. Я не сводил с нее глаз, держа бутылку навесу, над своим бокалом. Невероятно. Огромное бедро девицы прижималось к плечу матери, и мне тут же вспомнился круп лошади, которая теснила меня на лужайке с таким же точно упрямым, тупым видом. Некоторое время в комнате стояла тишина, но тут толстуха — Джейн, я имею в виду — поймала на себе мой взгляд, побледнела, убрала руку с головы матери и поспешно вернулась на свое место. Возникает вопрос: если человек — это больное животное, безумное животное (а у меня есть все основания так думать), то как, спрашивается, объяснить эти едва заметные, непроизвольные жесты доброты и заботы? Не кажется ли вам, милорд, что люди, подобные нам с вами (уж простите, милорд, что я позволил себе к вам приобщиться), что-то упустили, упустили нечто универсальное, некий общий принцип, который так прост, так очевиден, что никому и в голову не приходило рассказать нам о нем. А между тем все они, эти люди, знают, о чем идет речь, и знание это, мой ученый друг, является эмблемой их братства. Их тысячи и тысячи — молчаливых, печальных, посвященных в тайну людей. Они смотрят на нас из зала суда и ничего не говорят, только едва заметно улыбаются, и в их улыбке, как и в улыбке матери, сквозят сострадание и мягкая ирония. Мать подалась вперед, погладила девицу по руке и сказала, чтобы та не обращала на меня внимания. Я не верил своим глазам. Что ж я такого сделал? Девушка сидела, вперившись в тарелку, и шарила по столу в поисках ножа и вилки. Щеки ее горели; казалось, слышно было, как они потрескивают на огне. И все оттого, что я так посмотрел на нее? Бедный ты бедный великан-людоед. Я вздохнул и отправил в рот картофелину. Безвкусную, недоваренную. Как бумага. Надо бы еще выпить.

«Ты что это, опять хандришь, Фредди?» — спросила мать.

Я, кажется, еще не говорил о своей хандре. Страшное дело. В такие минуты мир вокруг тускнеет, как будто воздух чем-то перепачкан. Даже в бытность мою ребенком окружающие пугались, когда у меня портилось настроение. «Опять он не в себе, да?» — говорили они, нервно хихикая и стараясь держаться от меня подальше. В школе же я наводил на всех ужас... но нет, не буду утомлять вас воспоминаниями о школе. Тут я заметил, что моя угрюмость больше не вызывает у матери беспокойства. В ее перекошенной улыбочке чувствовалась теперь неприкрытая издевка. Я сказал, что видел в городе Чарли Френча. «Чарли?!» — воскликнула она и, смеясь, покачала головой. Я кивнул. «Бедный Чарли,— сказала она,— он из тех людей, про кого только и говорят: «Ого!», вот так, а потом смеются». И вновь воцарилась вялая тишина. И зачем только я вообще сюда ехал? Я поднял бутылку, обнаружил, что она пуста, взял другую, зажал ее между коленей и, покачиваясь и сопя, стал вытаскивать пробку. Хлоп! — готово. За окном на лужайке сгущались сумерки, медленно догорал летний день. Мать поинтересовалась Дафной и ребенком; при мысли о них в груди у меня что-то екнуло и мучительно — до колик — защекотало. Вот уж не знаешь, смеяться или плакать! Джейн (нет, не могу ее так называть, имя это ей не подходит)... Джоан убрала посуду, и мать извлекла из кухонного буфета — что бы вы думали? — графинчик портвейна и поставила его передо мной. «Надеюсь, дамы могут не выходить из-за стола? — сказала она все с той же издевательской усмешечкой.— Впрочем, я уже настолько стара, что вполне

сойду за мужчину». Тут я решил посвятить ее в свои финансовые затруднения, но очень скоро запутался и вынужден был замолчать. К тому же мать, по-моему, слушала меня не очень внимательно. Она сидела вполоборота к потемневшему от сумерек окну — старая, глаза слезятся, выпуклый лоб, скуластое лицо, доставшееся ей в наследство от ее голландских предков, приспешников короля Билли [1]. «Тебе бы пошел гофрированный воротник, мать,— сказал я,— гофрированный воротник и кружевной чепец». Я громко засмеялся, а потом нахмурился. Джейн с опаской предложила мне чашку кофе. «Нет, спасибо, милочка»,— сухо заметил я вельможным тоном и взглянул на свой стакан, который, против ожидания, оказался пустым, а потому был незамедлительно — причем на удивление твердой рукой — наполнен вновь. Время шло. В сизых сумерках перекликались птицы, а я сидел и слушал — оцепеневший, погруженный в себя, тоскуя и радуясь одновременно. Сидел долго, а затем, потянувшись, встал, облизнул губы и, осовело мигая, осмотрелся. Мать и девица исчезли.

Он умер вечером. Комната еще не успела остыть от полуденной жары. Я сидел на стуле у его кровати, перед открытой балконной дверью и держал его за руку. Восковую на ощупь. Как светел и легок был в тот день воздух над деревьями. Голубой и чистый — как бескрайние небеса детства. Одной рукой я обнял его за плечо, другую положил ему на лоб. А он сказал: не обращай на нее внимания. Он сказал...

Хватит. Довольно. Меня там не было. Я вообще ни разу не присутствовал при чьей-нибудь смерти. Он умер в одиночестве, ускользнул потихоньку, воспользовавшись тем, что никто не видит. Развязал нам руки. К тому времени как я приехал из города, его уже обрядили — в последний путь. Он лежал на постели со сложенными на груди руками и с плотно закрытыми глазами — мальчик-паинька, да и только. Волосы аккуратно зачесаны назад. Уши, я это запомнил, очень белые. И вот что поразительно: от всегдашней его злости, от всегдашнего негодования, от всей этой бешеной, необузданной энергии не осталось и следа.

Я взял со стола недопитый графинчик портвейна и поплелся наверх. Колени у меня подгибались и дрожали, точно я тащил кого-то на спине. Я напрасно шарил по стенам в поисках выключателя и шел в полутьме, налетая на мебель, ругаясь и смеясь. В результате я ошибся дверью и попал в комнату Джоанны. (Вспомнил! Ее звали Джоанна.) Она, как видно, еще не спала, прислушиваясь к шуму на лестнице,— во всяком случае, стоило мне приоткрыть дверь, как она тут же включила ночник. Я стоял, покачиваясь, на пороге и молча пялился на нее. Джоанна лежала на громадной продавленной кровати, натянув простыню до самого подбородка, и я готов был биться об заклад, что она и сейчас в бриджах, в своем мешковатом пуловере и даже в сапогах. Она ничего не сказала, только испуганно улыбнулась, и у меня вдруг возникла дикая мысль улечься с ней рядом, как есть, в туфлях и в костюме,— пусть приласкает теперь *мою* пьяную голову своей пухленькой, молодой, такой уютной ручонкой. Днем я не обратил внимания на ее потрясающие огненно-рыжие волосы, теперь же они были разбросаны по подушке и при свете ночника переливались так, что я едва не вскрикнул от восторга. Но момент был упущен, и, сухо кивнув, я, подобно старому седовласому привидению, молча удалился и, медленно, величественно прошествовав по коридору, вошел в комнату, где мне была постлана постель. И тут только я обнаружил, что по дороге куда-то делся портвейн.

Я сел на край кровати, широко расставил ноги, свесил руки между колен и в этой позе замер. Внезапно я почувствовал смертельную усталость; голова раскалывалась, глаза горели — но заставить себя лечь я все равно не мог. Я напоминал себе ребенка, который целый день пропадал невесть где и, вернувшись домой, не чует ног от усталости. Да, и я тоже пропадал невесть где. Медленно разводя, словно пловец, руками, я начал развязывать шнурки: одна туфля упала, а потом...

Проснулся я словно от сильного толчка; в ушах звенело так, как будто в голове у меня взорвалась бомба. Мне снилось какое-то мясо. Было довольно светло, но сообразить, что это — рассвет или еще сумерки, я был не в состоянии. Где я нахожусь, тоже поначалу оставалось загадкой, и даже когда стало ясно, что это Кулгрейндж, комнату я узнал далеко не сразу. Очень высокая и длинная,

[1] Имеется в виду Вильгельм III Оранский (1650—1702) — правитель Нидерландов, английский король с 1689 года.

с большими, доходящими до пола окнами. У нее был убогий и в то же время такой обиженный вид, как будто она знавала лучшие времена. Я осторожно встал с постели, подошел к окну и взглянул на лужайку. Трава была серой, под деревьями лежали голубиного цвета тени. Голова гудела. Вероятно, все-таки уже рассвело: в дубовой роще, под свинцовым небом одинокая птица испытывала светлеющий воздух тягучей, повторяющейся нотой. Я прижался лбом к окну и задрожал от влажного холодного прикосновения стекла. В дороге я провел почти всю неделю, мало ел и много пил — и теперь это сказывалось. Ощущение было такое, будто меня вывернули наизнанку; веки обжигали глаза, слюна отдавала пеплом. Мне чудилось, будто сад — украдкой, потихоньку — следит за мной или, во всяком случае, ощущает мое присутствие, знает, что кто-то (сколько таких, должно быть, уже перебывало здесь за эти годы!), стоя в проеме окна, ломает себе руки и затравленно смотрит вдаль, а сзади давит на него невесомый мрак комнаты. Спал я одетым.

Сон. (Суду необходимо знать о моих снах.) Сон этот совершенно неожиданно всплыл в памяти. Ничего особенного, впрочем, в нем не происходило. Вообще в моих снах не бывает того нагромождения событий, каким любят похвастаться многие; мне скорее снятся всевозможные душевные переживания, настроения, чувства, которые нередко сопровождаются весьма активными физическими действиями: я рыдаю или же начинаю метаться, скрежещу зубами, смеюсь, кричу. В этот раз мне снилось, что меня тошнит, во всяком случае, когда я проснулся, у меня першило в горле. Мне снилось, будто я впился зубами в грудину какого-то существа — не исключено, что и человека. Возможно, мясо это было обварено кипятком, так как было мягким и белым. Почти совсем остывшее, оно крошилось у меня во рту, как комки жира, и, пытаясь справиться с тошнотой, я судорожно глотал воздух. Поверьте, ваша честь, пересказывать такие вещи доставляет мне не больше удовольствия, чем суду их выслушивать. Впрочем, как вам известно, это еще не самое худшее. Как бы то ни было, я жевал эти тошнотворные куски, и меня пучило даже во сне. Вот, собственно, и все, что мне снилось,— если не считать подспудного ощущения чего-то запретного; ощущения вынужденного и в то же время необычайно приятного. Погодите, об этом хотелось бы поподробнее — это важно, сам не знаю почему. Какая-то безымянная сила заставляла меня поглощать эту гадкую пищу, неумолимо стояла надо мной скрестив руки, следя за тем, как я урчу, чавкаю, пускаю слюни... И все же, несмотря на все это, а может даже, и благодаря этому, несмотря на немой ужас, на тошноту, что-то потаенное во мне ликовало.

Кстати, когда я листаю словарь, меня поражает бедность языка в обозначении или описании всего дурного. Зло, злодеяние, напасть — все эти слова выражают некое действие; сознательное или, по крайней мере, активное зло. Они не дают определения дурному в его бездейственном, нейтральном, самодостаточном состоянии. То же и прилагательные: ужасный, отвратительный, гнусный, подлый и так далее. Они ведь не столько описательны, сколько оценочны; в них ощущается порицание, смешанное со страхом. Правда, странно? Вот я и задаю сам себе вопрос: а может, такой вещи, как *зло*, вообще не существует, раз все эти подозрительно туманные и неточные слова — это лишь своего рода уловка для сокрытия того обстоятельства, что за ними ничего нет. А что, если все эти слова — попытка сотворить зло? В самом деле, может, и есть нечто вроде зла, но это «нечто» создано словами, а не нашими поступками. От подобных рассуждений у меня голова идет кругом; кажется, будто почва уходит из-под ног. Так о чем шла речь? Да, о снах. Был у меня еще один часто повторяющийся сон... но нет, об этом как-нибудь в другой раз.

Я стою у окна в родительской спальне. Да, я только сейчас осознал, что в этой комнате когда-то — в свое время — спали родители. Предрассветная мгла постепенно уступала место бледному утру. От вчерашнего портвейна губы у меня слиплись. Комната, дом, сад, поля — все казалось мне каким-то странным (я вообще ничего не узнавал сегодня) — странным и в то же время знакомым, как бывает... ну да, как бывает во сне. Я стоял у окна в мятом костюме, с головой, как котел, с гадким привкусом во рту, стоял, широко раскрыв глаза, но еще не до конца проснувшись, и неподвижно, с немым изумлением страдающего амнезией пялился на освещенную солнцем полоску травы. А впрочем, разве я не всегда такой, в большей или меньшей степени? В самом деле, когда задумываешься над этим, то

кажется, будто бóльшую часть жизни я именно так и прожил — между сном и явью, не в силах отличить сумрачный мир грез от солнечного мира реальности. В мою память врезались места, мгновения, события, которые были настолько незыблемыми, единственными в своем роде, что я даже не до конца уверен в их существовании, но которые, вспомни я их в то утро, произвели бы на меня более непосредственное и сильное впечатление, чем вещи, меня окружавшие. Одно из таких мест — прихожая в фермерском доме, куда меня еще ребенком посылали как-то купить яблок. Я вижу полированный каменный пол пунцово-красного цвета. В нос бьет терпкий запах политуры. В кадке — сучковатая герань, на стене напротив — большие часы с маятником, без минутной стрелки, откуда-то из глубины дома доносится голос хозяйки, она что-то о ком-то спрашивает. Кругом поля, они залиты светом; бесконечный, тягучий августовский день. И я там. Навсегда. Когда я вспоминаю эти мгновения, я — там, как никогда не был в Кулгрейндже, как никогда, наверное, не был — и не буду — нигде, никогда; когда я вспоминаю эти мгновения, я — или, вернее, что-то главное во мне — там даже в большей степени, чем в тот день, когда я ходил за яблоками на ферму, затерявшуюся среди бескрайних полей. Полностью, целиком — нигде, ни с кем, никогда, в этом весь я. Даже ребенком я казался себе путешественником, отставшим от поезда. Жизнь была для меня беспрерывным ожиданием, постоянным хождением взад-вперед по перрону, высматриванием поезда. Повсюду стояли люди, они закрывали мне обзор, приходилось вытягивать шею, вставать на носки. Да, и в этом тоже, пожалуй, весь я. Весь я.

Я спустился на кухню. Дом спал. В утреннем свете у кухни был какой-то посвежевший, жизнерадостный вид. Я передвигался на цыпочках, боясь нарушить царившую в доме затаенность; казалось, я, непосвященный, присутствую на какой-то торжественной и таинственной церемонии. Собака лежала на грязном, старом коврике у плиты, положив голову на лапы и глядя на меня глазами, в которых отражался лунный серп. Я заварил чай и только присел за стол, чтобы дать ему настояться, как в кухню, в мышино-сером, туго подпоясанном под грудью халате, вошла Джоанна. Волосы ее, стянутые на затылке конским — как ей и положено — хвостом, были и в самом деле какого-то необыкновенного, золотисто-красного цвета. Я мгновенно — и уже не в первый раз — представил себе, какого у нее цвета волосы совсем в другом месте, но тут же устыдился, как будто злоупотребил доверием обездоленного ребенка. Увидев меня, она замерла в дверях, готовая обратиться в бегство. Я поднял чайник для заварки, тем самым словно приглашая ее ко мне присоединиться. Она прикрыла дверь, с испуганной улыбкой проскользнула мимо меня, обошла стол и достала из кухонного шкафа чашку и блюдце. У нее были красные пятки и очень белые толстые икры. На вид ей было лет семнадцать, не больше. В моей затуманенной с похмелья голове родилась вдруг шальная мысль: девица наверняка в курсе финансового положения матери. Не может же она не знать, например, приносят эти пони доход или нет. Я расплылся в широкой, по-мальчишески озорной улыбке (которая, сильно подозреваю, больше смахивала в этот момент на кривую стариковскую ухмылку) и предложил ей выпить чаю и поболтать. Однако чай, оказывается, предназначался не ей, а моей матери — Долли, как она выразилась. «Ого! — подумал я.— Долли, недурно!» После этого она тут же ретировалась, вцепившись в блюдце обеими руками и с застывшей улыбочкой уставившись на наполненную чашку — не расплескать бы.

Когда она ушла, я с угрюмым видом огляделся по сторонам, ища разбросанные накануне по столу бумаги: счета, расписки, квитанции,— но ничего, ровным счетом ничего не обнаружил. Верхний ящик маленького секретера, стоявшего раньше в отцовском кабинете, был заперт на ключ. Я решил было взломать его, но одумался: с похмелья я мог не рассчитать сил и разнести в щепки весь секретер.

Я пошел бродить по дому с чашкой чая в руках. В гостиной ковер был свернут, окно разбито, а пол усыпан битым стеклом. Тут только я заметил, что не обут. Я открыл ведущую в сад дверь и вышел — как был, в носках. В промытом, бархатистом воздухе стоял густой запах прогретой солнцем травы, и слабый, едва слышный,— навоза. На лужайке, подобно завалившемуся театральному заднику, лежала черная тень от дома. Нерешительно шагнув на мягкий, податливый торф и почувствовав, как между пальцами ног проступила роса, я вдруг ощутил себя стариком: походка нетвердая, в руке дрожит чашка с блюдцем, отвороты брюк отсырели и измялись. За растущими под окном розами не ухаживали уже много лет,

и окно едва угадывалось за густыми зарослями шиповника. Поблекшие, отяжелевшие, розы поникли, висели гроздьями. Их тускло-розовый цвет, да и освещение всего сада вызывали во мне какую-то неясную ассоциацию. Я наморщил лоб. Ну да, конечно, картины. Я вернулся в гостиную. Стены были пусты, а на старых обоях то тут, то там обозначились квадраты и прямоугольники с более четким, невыцветшим рисунком. Неужели она... Я осторожно поставил чашку на каминную полку и несколько раз медленно, глубоко вздохнул. «Сука,— вслух произнес я,— голову даю на отсечение, что именно так она и поступила». За мной по дощатому полу тянулись мокрые перепончатые следы.

Я переходил из комнаты в комнату, осматривая стены. Потом с той же целью обследовал второй этаж, хотя заранее знал, что и там ничего не найду. Я стоял на площадке между первым и вторым этажом и тихонько ругался, как вдруг до меня донеслись чьи-то приглушенные голоса. Я распахнул дверь спальни. Мать и Джоанна сидели рядышком на огромной продавленной кровати. Они, не без некоторого удивления, посмотрели на меня, и на какую-то долю секунды я замер: в моем сознании родилась — и тут же угасла — мимолетная и совершенно бредовая мысль. Мать была в вязаной желтой ночной кофте с помпонами и с крошечными атласными бантами, отчего походила на исполинских размеров пасхального цыпленка. «Где, скажи на милость, картины?» — тихо проговорил я и сам удивился своей выдержке. После этого, как бывает в комедии, мы затараторили одновременно, каждый говорил свое, мать повторяла: «Что? Что?», а я кричал: «Картины! Картины, черт побери!»; через минуту, однако, оба выдохлись и замолчали. Все это время девица пялилась на нас, медленно переводя взгляд с одного на другого, точно наблюдала за игрой в теннис. Когда мы замолчали, она прикрыла рукой рот и засмеялась. Я повернулся к ней, и она покраснела. Последовала короткая пауза. «Жду тебя внизу, мать»,— сказал я таким ледяным голосом, что даже сам знобко поежился.

Когда я спускался вниз по лестнице, мне показалось, что из спальни слышится приглушенное хихиканье.

Мать явилась в кухню босиком. Вид ее набухших мозолей и больших желтых ногтей раздражал меня. Она облачилась в какое-то немыслимое одеяние из переливчатого шелка и своим нездоровым румянцем напоминала старых шлюх Тулуз-Лотрека. Я изо всех сил старался, чтобы мать не заметила, какое отвращение я испытываю. Она с таким беззаботным видом прошлась по кухне, как будто меня там не было. «Итак?» — изрек я, однако она лишь небрежно приподняла бровь и откликнулась: «Итак — что?» На ее лице появилось даже нечто похожее на самодовольную улыбку. Это-то меня и добило. Впав в неистовство, я орал, размахивал руками, топал ногами. «Где они? Где картины?! — кричал я.— Что ты с ними сделала? Я *требую* ответа. Они принадлежат мне, это мое наследство, мое будущее, будущее моего сына». Ну и так далее. Меня самого поразил мой праведный гнев, чувство ущемленной справедливости. Я раскис. В эти минуты я испытывал к себе такую жалость, что в любой момент мог разрыдаться. Какое-то время мать не перебивала меня; она застыла в театральной позе, уперев руку в бок, откинув назад голову, и изучала меня, издевательски скривив губы. А потом, дав мне выговориться и воспользовавшись тем, что я, переведя дух, замолчал, перешла в наступление. И я еще смею требовать? Я, который бросил свою овдовевшую мать, укатил в Америку и женился, даже не поставив ее в известность... Да, и ни разу не показал ей ребенка — ее внука, между прочим. Я, который уже десять лет, точно цыган, мотается по всему свету, ни черта не делая, проживая те жалкие гроши, что остались от отца, и отбирая у нее последнее... Какое право, визжала она, какое право имею я вообще что-то требовать?! Она замолчала, словно ожидая ответа. Я несколько опешил. Я забыл, какова она, когда разойдется. Впрочем, через минуту, собравшись с духом, я обрушился на нее с новыми силами. А она — на меня. Все было как встарь. Молот и наковальня, да, молот и наковальня! Поединок наш, видимо, был столь захватывающим, что даже собака приняла в нем участие: с лаем и визгом она заплясала вокруг, припадая на передние лапы, пока мать не огрела ее хорошенько и не прикрикнула, чтобы та утихомирилась. Я обозвал мать сукой, она меня — ублюдком. «Если я ублюдок,— выпалил я,— то нетрудно догадаться, кто ты такая», на что мать с быстротою молнии отпарировала: «Если я сука, то кто же в таком случае ты, щенок?!» Да, это был поединок равных соперников, ни в чем не уступа-

ющих друг другу. Мы вели себя, как обезумевшие от ярости дети — нет, не дети, а огромные доисторические чудовища, какие-нибудь мастодонты, что рвут друг другу глотки, топча лианы и вырывая с корнем деревья. В воздухе стоял густой, удушливый запах крови. Попрятавшись в кустах, на нас снизу вверх в ужасе взирали маленькие безобидные существа. Наконец, пресытившись, мы расцепили бивни и разошлись в стороны. Я обхватил обеими руками свою бедную голову, а она подошла к раковине и, взявшись одной рукой за кран и тяжело дыша, выглянула в окно. Мы слышали учащенное дыхание друг друга. В уборной наверху послышался шум спускаемой воды, шум приглушенный, вкрадчивый, словно девица тактично напоминала нам о своем присутствии. Мать вздохнула. Она продала картины Бинки Беренсу. Я не удивился. Беренсу — кому же еще. «Все?» — спросил я. Она не ответила. Шло время. Она вздохнула опять. «Деньги достались тебе,— сказала она.— Все, что было. Мне он оставил одни долги.— Она вдруг рассмеялась.— Сама виновата,— добавила она,— не надо было выходить за ирландца». Она обернулась в мою сторону и пожала плечами. Теперь настала моя очередь вздыхать. «Господи,— сказал я,— о Господи».

Совпадения в свидетельских показаниях на суде интереса не вызывают — вы, я уверен, не могли не заметить этого, ваша честь, с вашим-то опытом; с совпадениями происходит примерно то же, что и с шутками, которые, по идее, должны вызывать смех, но встречаются почему-то гробовым молчанием. Даже отчеты о самых противоестественных поступках обвиняемого выслушиваются с абсолютной невозмутимостью; когда же речь заходит о каких-то там совпадениях в его жизни, публика и вовсе начинает шаркать ногами, прокуроры и адвокаты — покашливать, а газетчики — с отсутствующим видом рассматривать лепнину на потолке. И вовсе не потому, что не верят в совпадения, а потому, надо думать, что совпадения эти сбивают всех с толку. Создается такое впечатление, будто некто, таинственный устроитель всего этого запутанного, странного действа, который до сих пор не ошибался ни на йоту, вдруг позволил себе лишнее, немного переусердствовал, чем всех разочаровал и, можно сказать, огорчил.

Меня поражает, например, какую роль в моем деле играет живопись. Ведь если бы не картины (а вернее, коллекционирование картин), мои родители никогда бы не познакомились с Хельмутом Беренсом. Мой отец (я уже упоминал об этом?) числил себя ценителем живописи. Причем ценителем в буквальном смысле этого слова: его интересовали не картины, как таковые, а их цена. Пользуясь давней репутацией лошадника и «своего парня», он завоевал расположение престарелых знакомых, в чьих домах лет тридцать — сорок назад он высмотрел пейзаж, или натюрморт, или прокопченный портрет какого-нибудь косоглазого предка; портрет, который сейчас мог бы, пожалуй, кое-что стоить. Отец отличался безупречным чутьем и зачастую опережал наследников престарелого коллекционера всего на каких-нибудь несколько часов. Хорошо представляю себе, как он, взмыв по крутой лестнице в спальню умирающего старца, стоит, скорбно склонившись над широкой кроватью, и, при тусклом свете свечи, вкладывает пятерку в желтую, ссохшуюся руку. Насобирал он, таким образом, немало ерунды, однако имелось в его коллекции и несколько вещиц не совсем негодных и, может даже, чего-то стоящих. Лучшие картины он выпросил у одной выжившей из ума старой леди, за которой, в бытность ее юной девицей, недолгое время волочился его же собственный родитель. Он необычайно гордился своей предприимчивостью, полагая, видимо, что это ставит его в один ряд с такими крупномасштабными пройдохами прошлого, его кумирами, как Гуггенхаймы, Пирпонт Морганы, да и Беренсы тоже. Быть может, из-за этих картин он и познакомился с Хельмутом Беренсом. Быть может, именно эти картины они и не поделили у одра старой леди: злобно сузив глаза и стиснув зубы в бешеной решимости, они тянули за раму каждый в свою сторону.

И с Анной Беренс я тоже встретился благодаря живописи — встретился вновь, так будет точнее. Знакомы-то мы были с детства. Помню, как в Уайтуотере меня однажды отправили на детскую площадку поиграть с ней. Это с ней-то! Лучше не придумаешь. Даже в те дни она держалась независимо, поглядывая на своих сверстников с той едва заметной ироничной улыбочкой, что во все времена выбивала у меня почву из-под ног. Впоследствии в Дублине она время от времени возникала в нашей буйной студенческой жизни — сдержанная,

молчаливая, неприступно красивая. Называли мы ее, естественно, «Снежная королева». Потом я потерял ее из виду, напрочь забыл об ее существовании, пока однажды в Беркли (вот тут-то и начинаются совпадения) не обнаружил ее в картинной галерее на Шаттек авеню. Я не знал, что она в Америке, однако, увидев ее, ничуть не удивился: где бы она ни оказывалась, она везде смотрелась естественно. С минуту я неподвижно стоял посреди улицы и не отрываясь смотрел на нее — любовался ею. Картинная галерея представляла собой большой высокий белый зал со стеклянным фасадом. Анна стояла, прислонившись к столу, и читала какие-то бумаги. Она была в белом платье. Волосы, ставшие от солнца серебряными, уложены были в сложную прическу, на плече спереди лежала толстая коса. В матовом галерейном освещении она и сама смотрелась, как галерейный экспонат. Я вошел и заговорил с ней, с восхищением глядя на ее длинное, слегка асимметричное лицо с близко поставленными серыми глазами и тонким, изящным ртом. Мне почему-то запомнились два крошечных белых пятнышка у нее на переносице, в том месте, где особенно туго натянута кожа. Она была мне рада — по-своему, сдержанно, но рада. Когда я говорил, она внимательно следила за моими губами. На стене висели два-три огромных холста, решенных в шутливом, минималистическом стиле того времени; в своей пастельной обнаженности они мало чем отличались от просвета голой стены по соседству. Я поинтересовался, не хочет ли Анна что-нибудь здесь купить. Вопрос мой ее позабавил. «Я здесь работаю»,— сказала она, отбрасывая с плеча свою тяжелую светлую косу. Я пригласил ее пообедать, но Анна отрицательно покачала головой. Она дала мне свой телефон. Когда я выходил на залитую солнцем улицу, прямо над головой пронесся, всколыхнув воздух, реактивный самолет, и сразу же запахло кипарисами и бензином, а со стороны университетского городка потянуло слезоточивыми газами. Все это было пятнадцать лет назад. Я смял карточку, на которой она записала номер телефона, собираясь ее выбросить. Но не выбросил.

Жила она в горах, в деревянном — под тирольский,— крытом дранкой домике, который снимала у какой-то безумной вдовы. По дороге к ней я не раз порывался выйти из автобуса и вернуться домой: так отпугивали меня и раздражали ее ироничный, оценивающий взгляд, непроницаемая улыбка. Когда я звонил ей, она цедила слова, а пару раз, прикрыв трубку рукой, говорила еще с кем-то. И все же в то утро я побрился особенно тщательно, надел новую рубашку и, для пущей важности, прихватил с собой увесистую книгу по математике. Когда автобус с трудом полз в гору по узким дорогам, я испытал вдруг чувство отвращения, в эти минуты я казался себе каким-то бесстыжим, похотливым существом, ничтожным и подобострастным — пупырчатая, в прожилках кожа, дряблая плоть, голубая, как у младенца, рубашонка, бесформенная, зажатая в руках книга, похожая на сверток с мясом. День выдался облачный, в сосняке стоял туман. Я взбежал на крыльцо по влажной от росы зигзагообразной лесенке, осматриваясь с выражением неподдельного интереса и стараясь — как всегда, когда я нахожусь в незнакомом месте,— выглядеть безупречно. Анна была в шортах, с распущенными волосами. От вида ее пепельно-серых волос, непринужденной позы и длинных голых ног у меня засаднило в горле. В доме стоял полумрак. Несколько книг, эстампы, на двери соломенная шляпа. Хозяйские кошки оставили на коврах и стульях недвусмысленные следы и резкий, цитрусовый, совсем не такой уж неприятный запах.

В шезлонге, положив ногу на ногу, сидела Дафна и лущила горох, бросая горошины в никелированную вазу. Она была в купальном халате, с полотенцем на голове. Как видите, еще одно совпадение.

О чем мы говорили в тот день? Что делал я? Сел, надо полагать, выпил пива, вытянул ноги и безмятежно откинулся в кресле. Сам ведь я себя не вижу. Зато хорошо вижу, что происходит вокруг: присматриваю, прикидываю, беру на заметку. Анна сновала между гостиной и кухней: приносила сыр, апельсины, ломтики авокадо. Было воскресенье. Вокруг стояла мертвая тишина. Я подошел к окну; между деревьями подымался туман. Зазвонил телефон, Анна взяла трубку и, отвернувшись, что-то прошелестела. Дафна мне улыбнулась. Взгляд у нее плыл: казалось, она старается охватить разом все окружающие ее предметы. Она встала, передала мне вазу и оставшиеся стручки и ушла наверх. Через некоторое время она вернулась одетая, с сухими волосами и в очках, так что сначала я даже не узнал ее;

решив, что это соседка Анны по дому. И тут только я сообразил: ведь это ее я видел в саду на обеде у профессора Х. Я начал было рассказывать ей об этом, о том, что мы уже встречались, но потом осекся — точно так же, как в первый раз, тогда, в саду, почему-то передумал и не заговорил с ней. Она забрала у меня обратно вазу с горохом и снова опустилась в шезлонг. Снова зазвонил телефон, и Анна, что-то промурлыкав в трубку, тихо засмеялась. Мне пришло в голову, что мое присутствие едва ли для них обременительно: не будь здесь меня, они делали бы абсолютно то же самое. Мысль эта утешала. На обед меня не приглашали, но то, что я остаюсь, как видно, подразумевалось. После еды еще долго сидели за столом. Туман сгустился, давил на окна. Вижу, как они сидят напротив меня в молочных сумерках: брюнетка и блондинка, вид у обеих заговорщицкий, точно они предвкушают какое-то удовольствие, точно задумали — мягко, не зло — надо мной подшутить. Как же давно все это было; кажется, прошло целое столетие, тогда мы были еще совсем невинны — если это можно назвать невинностью. Едва ли.

Признаюсь, я увлекся ими, их внешностью, самообладанием, их небрежной самовлюбленностью. Они олицетворяли собой идеал, к которому я, сам того не подозревая, давно стремился. В те дни я еще занимался наукой, хотел стать одним из великих, непроницаемых технократов, тайных властелинов мира. Но тут нежданно передо мной открылось иное будущее, как будто по мановению этих двух женщин внезапно рухнула гигантская каменная стена и, когда поднявшаяся пыль рассеялась, взору моему предстала бесконечная, ослепительная даль. Обе они были великолепны — и томные, и искрометные одновременно. Они напоминали мне искательниц приключений из романов прошлого века. В Нью-Йорк они приехали зимой и постепенно стали перемещаться на запад, к этому буро-золотистому, залитому солнцем берегу, где они и затаились сейчас, словно стоя на цыпочках, взявшись за руки, расставив локти и вглядываясь в безбрежные просторы Тихого океана. Хотя в этом доме они уже прожили без малого полгода, существование их было столь незаметно, столь мимолетно, что в комнатах их присутствие почти не ощущалось. Казалось, у них нет даже собственных вещей — висевшая на двери соломенная шляпа и та принадлежала давно съехавшему жильцу. Вероятно, у них имелись друзья или, во всяком случае, знакомые (если судить по телефонным звонкам), но сам я ни разу никого не видел. Время от времени, правда, на них сваливалась хозяйка дома, смуглое существо с трагическим выражением лица, с испепеляющим взглядом и черными как смоль волосами, стянутыми в тугой узел, пронзенный резной деревянной заколкой. Одевалась она как индианка, отдавая предпочтение многочисленным стеклянным бусам и разноцветным шарфикам. Она с отсутствующим видом бродила по дому, распространяя терпкий мускусный запах духов, говорила не глядя, через плечо, а потом вдруг, совершив головокружительный балетный прыжок, опускалась на диван в гостиной и часами рассказывала о своих невзгодах (вызванных в основном тем, что она с дрожью в голосе называла «несложившейся личной жизнью»), не забывая при этом исправно подливать себе из бутылки кальвадос, которым она напивалась до бесчувствия и который хранила в запертом буфете на кухне. Ужасная женщина, я ее не переносил: змеиная кожа, напомаженный рот, постоянная истерика, сусальное одиночество. Мои дамы, однако, находили ее занятной. Они любили ее изображать, да и цитировать тоже. Иногда, слушая, как они ее передразнивают, я думал: а что, если в мое отсутствие они точно так же издеваются и надо мной: вальяжно обмениваются глубокомысленными замечаниями, утрируя мою ленивую манеру говорить, и тихо посмеиваются, причем делают это словно бы нехотя, как будто в их шутке нет решительно ничего смешного.

Смеялись они и над Америкой, особенно над Калифорнией. Сколько раз мы, все втроем, покатывались со смеху, потешались над американцами, именно тогда вступавшими в период истового жизнелюбия, который мы, золотая молодежь бестолковой старушки Европы, уже давно прошли,— так, во всяком случае, нам хотелось думать. Какими наивными они нам казались с этими их цветами, пахучими сигаретками, с их надуманной религиозностью. Чего греха таить, я втайне испытывал чувство вины оттого, что их высмеиваю. Ведь, приехав сюда впервые, я был от этой страны без ума, а потому теперь чувствовал себя так, словно вслед за остальными подымаю насмех какое-то счастливое добродушное существо, какую-то молоденькую толстушку, к которой всего несколько минут назад втихаря,

воспользовавшись всеобщим весельем, прижимался всем телом, утробно мыча от немыслимого восторга.

Быть может, презрение было у нас формой ностальгии, тоски по родине? Жить там, среди этих нежных, как на палитре, красок, под этим безупречно голубым сводом было все равно что жить в ином, волшебном мире. (В те дни мне часто снился дождь — настоящий, зарядивший на весь день ирландский дождь,— как будто я знал о нем понаслышке, сам же никогда не видел.) А может, насмешки над Америкой были своего рода защитной реакцией? Иногда, правда, нам (а может, только мне одному?) приходило в голову, что и мы тоже бываем порой немножко, самую малость, смешны. Не веет ли и от нас абсурдом, с нашими твидовыми костюмами, практичной обувью, с нашими искусственными интонациями и вызывающе вежливым поведением? Случалось, я замечал, как какой-нибудь человек, которому предстояло стать мишенью наших насмешек, при виде нас сам с трудом сдерживал улыбку. Бывало даже, что и мы вдруг переставали смеяться, смолкали, словно ощущая какую-то неловкость, что-то вроде вины, которая в этот момент витала над нами, точно дурной, неприличный запах. Трио изгоев, повстречавшихся на этой бескрайней площадке для игр,— что может быть романтичней?

Мы составляли треугольник, и примерно через месяц после нашей первой встречи произошло то, что рано или поздно должно было произойти. Мы сидели на заднем крыльце, пили джин и курили нечто отвратное на вкус и с весьма странным действием. День был жаркий и хмурый. Прямо над нами, в самом центре белого неба, стояло похожее на медную монетку солнце. Я следил за тем, как куст жимолости, росший возле самого крыльца, со всех сторон обсасывает целое облако колибри. Дафна — она была в шортах, в купальнике и в босоножках на высоких каблуках — встала и, слегка покачиваясь и жмурясь, нетвердой походкой направилась в дом. Я последовал за ней. В мыслях у меня ничего такого не было — просто я пошел за очередной порцией льда или за чем-то еще. После яркого уличного света я почти ничего не видел: куда бы я ни поворачивал, перед глазами у меня разверзалась громадная черная дыра. В поисках Дафны я вяло бродил по дому, идя на звук позвякивавшего в ее стакане кубика льда,— из кухни в гостиную, из гостиной в спальню. Занавески были спущены. Дафна сидела в янтарном полумраке на краю кровати и смотрела прямо перед собой. Почему-то вдруг у меня сильно заболела голова. Она одним длинным глотком допила джин, и мы легли рядом. Стакан, однако, она из рук не выпустила, и из него мне на плечо, в пазуху над ключицей, выкатилась бусинка льда. Губы у нее были прохладные и влажные. Она начала что-то говорить и тихо засмеялась мне в рот. Одежда, точно бинты, сковывала наши движения, и я, хрипя, вцепился в нее обеими руками. В следующий момент мы были уже голые. Последовала тревожная пауза. Где-то поблизости играли дети. Дафна положила руку мне на бедро. Глаза у нее были закрыты, она улыбалась, подняв брови, как будто прислушивалась к какой-то далекой, неясной и чуть-чуть смешной мелодии. У меня за спиной послышался шорох, я повернул голову. В дверях стояла Анна. Я увидел себя ее глазами: поблескивающие в полутьме ляжки, бледные ягодицы, по-рыбьи ощеренный рот. Постояла с минуту в нерешительности, подошла к кровати, опустив, словно в глубокой задумчивости, глаза, села рядом с нами и стала раздеваться. Мы с Дафной лежали обнявшись и молча за ней наблюдали. Она сняла через голову блузку и энергично тряхнула головой, как вынырнувший на поверхность воды пловец. От металлической застежки на спине у нее остался розовато-лиловый отпечаток. Почему-то она казалась мне гораздо старше нас обоих — уставшая от жизни, немного потасканная; взрослый человек, который дал себя вовлечь в не совсем приличную детскую игру? Дафна затаила дыхание, пальцы ее все сильнее сжимались на моем бедре. Слегка приоткрыв рот и чуть нахмурившись, словно испытывая смутное замешательство, она пристально вглядывалась в обнаженное тело Анны. Я слышал, как громко бьется ее сердце — и мое тоже. Казалось, мы оба присутствуем при ритуальном раздевании.

Да это и был ритуал. Мы втроем сплелись на кровати, словно участвуя в какой-то древней церемонии труда и молитвы, имитируя возведение, строительство чего-то: гробницы, скажем, или храма с куполами. Как серьезны, как задумчивы мы были в эти мгновения, как бережно касались тел друг друга. Ни один из нас не произнес ни слова. Вот женщины обменялись первым, целомудренным еще поцелуем. Они улыбались — с некоторой даже робостью. У меня дрожали руки. Я уже

испытал однажды такое же удушливое ощущение греховности: было это давно, в Кулгрейндже, когда я, еще совсем ребенок, однажды зимой, под вечер, затеял на лестнице потасовку с двумя своими кузинами — тот же ужас и недоверие, то же похотливое, болезненное, детское ликование. В полузабытьи мы погружались и прижимались, содрогались и вздыхали. Время от времени один из нас хватался вдруг за двух других — по-детски нетерпеливо, с каким-то жадным исступлением; хватался и тихонько, еле слышно вскрикивал — как будто от боли или от неизбывной тоски. Были мгновения, когда мне казалось, будто со мной не две женщины, а одна: таинственное, потустороннее многорукое существо, чьи мысли под непроницаемой маской мне не разгадать вовек. Почувствовав, как во мне накапливается последняя судорога, я на дрожащих руках поднялся над Дафной, которая уперлась ногами мне в поясницу, и посмотрел сверху вниз на них обеих: с ласковой жадностью, рот в рот, они терзали друг друга, и на какую-то долю секунды, сквозь застилавшую глаза пелену, я увидел, как головы их сливаются, светлая и темная, пятнистый барс и лоснящаяся пантера. Но тут в паху у меня началось содрогание, и я рухнул на них — торжествующий и испуганный.

Потом в моих объятиях, удерживая меня в себе, оставалась одна Дафна, Анна же встала, подошла к окну, подняла одним пальцем парусиновую занавеску и выглянула наружу в подернутый дымкой полуденный зной. По-прежнему слышались детские голоса. «Там, на горе, школа,— пробормотала Анна, а затем, тихо рассмеявшись, прибавила: — Уж я-то знаю!» Это была излюбленная фраза безумной вдовы. Вдруг все вокруг сделалось почему-то печальным, серым и ненужным. Дафна прижалась лицом к моему плечу и беззвучно зарыдала. Эти детские голоса я буду помнить всегда.

Странная это была встреча. Больше она не повторилась. Ни разу. Я много размышляю об этом сейчас — и не по очевидной причине, а потому, что отношения наши меня озадачивают. В самом по себе акте, в любви втроем, не было ничего примечательного: в те дни этим занимались все. Нет, меня поразило тогда (и поражает до сих пор) моя на удивление пассивная роль в этом полуденном действе. Из нас троих я был единственным мужчиной, а между тем я чувствовал, что проникаю не я в них, а они в меня — мягко, неуклонно. Мудрецы наверняка скажут, что я был лишь связующим звеном между ними, тем мостиком, по которому они — на ощупь, легко и быстро — шли в объятия друг к другу. Возможно, так оно и было, но это не столь важно и, уж естественно, далеко не самое главное. Меня не покидает чувство, что в тот день совершался обряд, в котором Анна Беренс была жрицей, а Дафна — жертвой, я же — не более чем подспорьем. Со мной они обращались, как с каменным фаллосом, сгибаясь и извиваясь передо мной с колдовскими вздохами. Они...

Они прощались. Ну конечно, прощались. Мысль эта пришла мне в голову только что. В тот день они не обретали друг друга, а расставались. Отсюда и грусть, и чувство пустоты, отсюда и горькие слезы Дафны. Ко мне, во всяком случае, все это отношения не имело. Никакого.

Что ж, и у тюрьмы, как видите, есть определенные преимущества: находится и время, и досуг дойти до всего своим умом, проникнуть в суть вещей.

Ощущение, что они соединились в одно целое, которое я испытал в конце нашей любовной сцены, еще долго не покидало меня. Они и сейчас ассоциируются у меня с двойным профилем, выбитым на монете; лица безмятежные, многозначительные, взгляд устремлен вдаль; нечто вроде парных добродетелей: скажем, Невозмутимость и Стойкость или, еще лучше, Молчание и Жертвенность. Мне запомнилось, как Анна оторвала свой распухший блестевший рот от лона Дафны и, повернувшись ко мне лицом, на котором играла всезнающая кривая улыбочка, отодвинулась в сторону, чтобы и я мог видеть разбросанные колени девушки, замысловатую и в то же время невинную, наподобие разрезанного пополам фрукта, щель. В этом коротком эпизоде отречения и обретения, как я теперь понимаю, был заложен глубокий смысл. С него-то все и началось.

Не помню, как я делал Дафне предложение, ее рука и без того, как говорится, была мне отдана. Поженились мы туманным жарким августовским днем. Свадебная церемония получилась скомканной и довольно жалкой. Все это время у меня болела голова. Нашими свидетелями были Анна и мой коллега из университета. После

окончания официальной части мы, все вчетвером, вернулись в тирольский домик и выпили дешевого шампанского. Праздник не удался. Коллега мой, сославшись на дела, через полчаса ушёл, и мы остались втроем, погруженные в тревожное, непроницаемое молчание. В воздухе, точно скользкие, хищные рыбы, плавали недоговоренности. Прервала молчание Анна; молодые хотят, наверно, остаться наедине, сказала она, улыбнувшись своей всезнающей улыбочкой, и удалилась. И тут вдруг я впал в смятение. Я вскочил и, стараясь не смотреть на Дафну, стал собирать пустые бутылки и бокалы. Из кухонного окна видно было окутанное дымкой солнце. Я стоял у раковины, смотрел на призрачные черно-синие деревья, росшие на склоне холма, и чувствовал, что в углах глаз собрались две огромные, толстые, совершенно необъяснимые слезы. Собрались, но не упали.

Не знаю, любил ли я Дафну в том смысле, какой принято вкладывать в это слово, зато я знаю определенно: я любил ее привычки. Вам не покажется странным, черствым, возможно даже, бесчеловечным, если я скажу, что по-настоящему меня интересовали только ее внешние проявления? А впрочем, не все ли мне равно, что кому покажется. Существует только один способ узнать другого человека — наблюдать за его поведением. Во внешнем, поверхностном и есть глубина. Вот Дафна нетвердой походкой идет по комнате в поисках очков, осторожно касается предметов, читает, водя по строкам кончиком пальца. Вот она отворачивается и украдкой заглядывает в кошелек, лоб нахмурен, губки крепко сжаты — точно тетушка, что копается в портмоне в поисках шиллинга племяннику на конфеты. Ее скупость, неожиданные, по-детски трогательные приступы жадности. Много лет назад, уж не помню, где это было, я разыскал ее под конец вечеринки: стоит у окна, в белом платье, в сумрачном свете апрельского утра. Она была тогда в полузабытьи, из которого я, пьяный и злой, бесцеремонно ее вывел... а ведь я мог, Господи! — я же мог отступить в тень и написать ее портрет, всю ее, до мельчайших, до трогательнейших подробностей, на пустой внутренней стенке своего сердца, и на портрете этом она была бы безмолвной, пылкой, как в тот предрассветный час — моя темноволосая, моя загадочная прелесть.

Мы быстро — и, как всегда, без слов — договорились покинуть Америку. Я бросил свои изыскания, бросил университет, отказался от академической карьеры, оставил все не задумываясь — и еще до конца года мы отплыли в Европу.

5

Maolseachlainn Мак Гилла Гунна, мой адвокат и, как он уверяет, мой друг, известен своим умением вникать в любые мелочи. Истории о его прогрессивном методе ходят повсюду — от судебной канцелярии до тюремных камер. Он помешан на мелочах. Это крупный, неуклюжий человек в необъятном полосатом костюме, с большой квадратной головой, всклокоченными волосами и крошечными, бегающими глазками. Думаю, жизнь, потраченная на копание в грязных делишках чужих людей, не прошла ему даром. От всего его вида исходит ущемленное самолюбие. Говорят, что в суде он мечет громы и молнии, но когда он сидит за стареньким столом здесь, в тюремной консультации, нацепив железные очки на большую, как тыква, голову, скрючившись в три погибели над бумагами, что-то строча своим четким, бисерным почерком, слегка задыхаясь и бормоча себе под нос,— он напоминает мне одного толстого мальчика, моего одноклассника: тот, бедолага, тянулся ко мне всей душой, а я заставлял его делать за меня уроки.

В настоящее время Maolseachlainn очень интересуется, почему это первым делом я отправился в Уайтуотер. А почему бы и нет? С Беренсами ведь я был хорошо знаком — с Анной уж во всяком случае. В Ирландии меня не было десять лет, и я, как и полагается другу семьи, решил нанести визит вежливости. Но такого рода объяснения моего адвоката, судя по всему, не устраивают. Maolseachlainn хмурится, задумчиво мотает гениальной головой и, сам того не сознавая, вновь погружается в процессуальные тонкости. «Если я вас правильно понял, вы в гневе покинули дом своей матери на следующий же день после приезда, не так ли?» — «Насколько я могу судить, вы впали в ярость, узнав, что коллекция вашего отца была продана Хельмуту Беренсу, да еще за ничтожную сумму, не правда ли?» — «А кроме того, у вас, если не ошибаюсь, и без того были все основания испытывать

ненависть к Беренсу как к мужчине, ведь он попытался, кажется, наставить рога вашему отцу в...» — «Постойте, дружище,— перебил я его,— последнее обстоятельство стало известно позже». Он всегда ужасно переживает, когда я вот так разрушаю его стройную теорию. Что ж, ничего не поделаешь, факты — вещь упрямая.

Адвокат понял меня правильно: я действительно опять повздорил с матерью и пулей вылетел из дома (собака, ясное дело, неслась следом, норовя вцепиться мне в пятку). Однако скандал возник не из-за Бинки Беренса — во всяком случае, не только из-за него. Если мне не изменяет память, препирались мы всё из-за того же: деньги, предательство, мой отъезд в Штаты, мой отъезд из Штатов, женитьба, отказ от карьеры, все как обычно... да, и еще из-за того, что она пренебрегла моими наследственными правами ради покупки целого табуна этих паршивых пони, на которых старая дура рассчитывала нажить состояние, чтобы обеспечить себе безбедную старость, падаль, гнусная тварь. Естественно, зашла речь и о девице, Джоанне. Уже перед самым уходом, чеканя каждый слог, я заметил, что, с моей точки зрения, женщине с таким положением в обществе (это у матери-то *положение в обществе?!*) едва ли пристало водить дружбу с девчонкой с конюшни. Признаться, я рассчитывал вызвать бурю негодования, но просчитался. Мать, помолчав с минуту и посмотрев мне прямо в глаза, с беззастенчивой беспечностью заявила, что Джоанна никакая не девчонка, что ей уже двадцать семь лет. «Она...— Тут мать выдержала эффектную паузу.— Она заменяет мне сына, которого у меня никогда не было».— «Что ж,— сказал я, еле сдерживаясь,— счастлив за вас обеих» — и с этими словами выбежал из дому. У ворот, правда, мне пришлось остановиться и перевести дух: я буквально задыхался от ненависти и негодования. Иногда мне кажется, что я ужасно сентиментален.

В Уайтуотер я приехал в тот же вечер. Последний отрезок пути, из деревни, пришлось проделать на такси. Водитель, долговязый, тощий тип в плоской кепке и в старомодном синем фланелевом костюме, с интересом разглядывал меня в зеркало заднего вида и на дорогу смотрел лишь изредка. Я было бросил на него злобный взгляд, но это его ничуть не смутило, наоборот: худое его лицо перекосилось в кривой панибратской ухмылочке. Интересно, почему я так живо запоминаю людей? Они роятся в моем мозгу; стоит мне оторвать взгляд от страницы, как они, вырастая в темноте, со всех сторон подбираются ко мне — молча, с некоторым любопытством и даже, я бы сказал, участием. Они — свидетели, сторонние наблюдатели, которые пришли, без всякой задней мысли, дать показания против меня.

Всякий раз, подъезжая к Уайтуотеру, я испытываю невольное восхищение. Отходящая от дороги подъездная аллея деревьями не обсажена и описывает длинную дугу, поэтому впечатление такое, будто особняк на ваших глазах медленно, плавно поворачивается вокруг своей оси, демонстрируя во всем блеске классическую колоннаду. Такси остановилось на гравиевой дорожке перед главным входом, и вместе с внезапно наступившей тишиной пришло (да, Maolseachlainn, вы были правы) осознание того, что никаких серьезных оснований для приезда сюда у меня нет. С минуту я неподвижно сидел, глядя по сторонам, в тупом, как у пробудившегося лунатика, оцепенении, но тут поймал на себе жадный, выжидательный взгляд таксиста (он все это время наблюдал за мной в зеркало) и вынужден был сделать вид, что знаю, зачем я здесь. Я вышел из машины и остановился, похлопывая себя по карманам и со значительным видом хмурясь, однако провести таксиста не удалось: его хитрая ухмылочка стала еще хитрее, и у меня даже возникло ощущение, что он сейчас по-свойски подмигнет мне. Тоном, не терпящим возражений, я велел ему подождать и стал подыматься по ступенькам. При этом меня не покидало чувство, что я выставлен на всеобщее осмеяние.

Дверь, далеко не сразу, мне открыл маленький, сморщенный, злобный человечек, одетый, как мне сначала показалось, в форму кондуктора автобуса. Несколько длинных жидких прядей очень черных волос смотрелись на его лысом черепе, как мазки гуталина. На меня он взирал с неизъяснимым отвращением. «Сегодня закрыто»,— буркнул он и начал было закрывать дверь прямо у меня перед носом, но я, изловчившись, проскользнул в холл и, медленно потирая руки и улыбаясь, стал смотреть по сторонам с видом наконец-то вернувшегося на родину изгнанника.

«Давненько, давненько я тут не был»,— мечтательно промурлыкал я. Висевший над лестницей великий Тинторетто громогласно взывал к моим чувствам сонмом ангелов и грешников с безумными глазами. Швейцар (если это был швейцар) с волнением приплясывал рядом. Я повернулся и, не переставая широко улыбаться, подошел к нему вплотную. «Нет,— сказал я,— я не турист, я — друг семьи. Скажите, а мисс Беренс, случайно, нет дома?» Мои слова его ничуть не успокоили, он по-прежнему мне не верил, однако велел подождать и понесся по коридору, подворачивая одну ногу и на ходу осторожно приглаживая смазанные бриолином волосики.

Я стал ждать. Тишину нарушало лишь тиканье высоких немецких часов семнадцатого века. На стене, у меня над головой, висели шесть изящных акварелей Бонингтона [1]— таких маленьких, что ничего не стоило спрятать две-три штуки под мышку и спокойно вынести их из дома. Часы натужно вздохнули и глухо пробили полчаса, а в следующую секунду по всему дому, из всех далеких и близких комнат разнесся переливчатый перезвон других часов, и мне показалось, что по дому пробежала легкая дрожь. Я опять посмотрел на картину Тинторетто. А вот Фрагонар. И Ватто. А ведь это только в холле. Что же произошло, чем объяснить, что все это пребывает в таком запустении? Снаружи загудела машина: негромкий, искательный, короткий гудок. Должно быть, таксист решил, что я забыл про него. (Правильно решил.) Где-то в задней части дома хлопнула дверь, и через мгновение я лицом ощутил струю прохладного воздуха. Осторожно ступая по скрипучему паркету, я двинулся по коридору, чувствуя в груди горячее — почти что чувственное — тревожное посасывание. В сущности, я человек робкий и, оказавшись один в большом, пустынном доме, обычно нервничаю. Вальяжная дама с голубыми глазами и пухлой нижней губкой смотрела на меня с картины Фрагонара с выражением неспокойной, но живой задумчивости. Я осторожно приоткрыл дверь, ощутив ладонью приятную, успокаивающую гладкость толстой дверной ручки, и вошел в длинную, высокую, узкую комнату с несколькими окнами. Обои на стене были цвета тусклого золота. Золотым был и воздух — комната залита была тяжелым нежным предвечерним светом. Ощущение было такое, будто я шагнул в восемнадцатый век. Мебели здесь было мало, не больше пяти-шести предметов: изящные стулья с гнутыми лирообразными спинками, инкрустированный буфет, маленький столик золоченой бронзы — все это было расставлено таким образом, что обращала на себя внимание не обстановка, а скорее свободное пространство между мебелью, игра света и тени. Я стоял посреди комнаты и прислушивался. К чему — неизвестно. На низком столике лежала большая и сложная «картинка-загадка», разгаданная лишь наполовину. Некоторые картинки валялись на полу и издали походили на маленькие лужицы, точно что-то пролилось на паркет. Я смотрел на эти «лужицы», и мне вновь почудилось, что по всему дому пробежала легкая дрожь. В дальнем конце комнаты дверь в сад была открыта, и кисейная занавеска пузырилась на ветру. За окном виднелся травянистый склон пологого холма, а на незначительном отдалении одиноко гарцевал геральдический конь. Еще дальше извивалась река с белыми прогалинами на мелководье, за рекой темнели деревья, за ними проступали призрачные очертания гор, а за горами тянулись бескрайние просторы золотисто-синего летнего поднебесья. Мне пришло в голову, что перспектива этого пейзажа каким-то образом нарушена. Казалось, все меня окружавшее: и мебель, и открытое окно, и травянистый склон, и река, и далекие горы — не удаляется от меня, как должно было бы, а, наоборот, приближается, как будто не я смотрю на эти предметы, а они смотрят на меня, как будто горизонт не за лесом и горами, а здесь, в комнате. Тут я повернулся и, поворачиваясь, увидел себя поворачивающимся, увидел — и вижу до сих пор, а порой мне мнится даже, что отныне поворачиваться я обречен всегда, так, словно это и есть мое наказание, мое проклятие, именно это и ничего больше: затаив дыхание, с затуманенным взором, вечно поворачиваться в ее сторону.

Вы видели ее фотографию в газетах, и как она выглядит, знаете. Довольно молодая еще женщина в черном платье с широким белым воротником. Стоит, руки сложены спереди, одна рука в перчатке, другая спрятана, видны только пальцы, согнутые, без колец. Открытый лоб, гладкие волосы зачесаны назад, держатся то ли чепцом, то ли заколкой. Большие черные, чуть раскосые глаза. Нос крупный, губы

[1] Ричард Паркс Бонингтон (1802—1828) — английский художник.

полные. Далеко не красавица. В правой руке сложенный веер — а может, книга. Стоит она, насколько я мог разобрать, в дверях, а за дверьми то ли диван, то ли кровать с парчовым покрывалом. Мрак у нее за спиной непроницаемый и в то же время какой-то загадочно невесомый. Взгляд спокойный, выжидательный, хотя в рисунке рта угадывается вызов, больше того — враждебность. Впечатление такое, что здесь она быть не хочет, а в другом месте не может. Золотая брошь, соединяющая крылья ее широкого воротника,— дорогая и уродливая. Все это вы видели, все это вы знаете. И все же довожу до вашего сведения, господа присяжные, тонкие ценители прекрасного, что, даже зная все это, вы тем не менее не знаете ничего, почти ничего. Вы не знаете назначения, высшего смысла ее присутствия. Вы ведь, в отличие от меня, не увидели ее совершенно неожиданно, в залитой летним солнцем «золотой» комнате. Вы не прижимали ее к сердцу, вы не бросали ее в канаву. И вы... о нет, вы не убивали ради нее.

Я долго стоял на одном месте, вперившись в картину, и постепенно мной овладевало беспокойство, жаркое, стыдливое ощущение самого себя, как будто меня, вонючий мешок потрохов, изучают тщательно и бесстрастно. Причем следили за мной не только глаза на портрете. Абсолютно все — золотая брошь, перчатки, бархатистый мрак на заднем плане, любая точка на холсте — было устремлено на меня. Оторопев, я сделал шаг назад. Тишина словно бы прохудилась, пропуская мычание коров, шум мотора. Я вспомнил про такси и повернулся к выходу. В проеме ведущей в сад двери стояла служанка. Вероятно, она только что вошла и, увидев меня, остановилась как вкопанная: глаза широко раскрыты, нога согнута в колене, одна рука поднята, как будто она прикрывается от удара. Мы оба замерли. За ее спиной по склону холма пробежал, лаская траву, ветерок. Мы молчали. Наконец, не опуская руќи, она медленно, осторожно шагнула назад и слегка оступилась, нащупывая ногой мощеную дорожку. Я испытал необъяснимый, мгновенный приступ ярости — своего рода предзнаменование, легкое дуновение ветра в предвестье приближающейся бури. Где-то звонил телефон. Я повернулся и вышел из комнаты.

В холле не было ни души. Телефон продолжал звонить с какой-то капризной настойчивостью. Я уже вышел на улицу, сбежал по ступенькам, а он все звонил и звонил. Такси, разумеется, не было. Я выругался и заковылял по выложенной брусчаткой аллее в своих испанских мокасинах на тонкой подошве. Низкое солнце било в лицо. Я оглянулся на особняк; окна были охвачены пламенем заката, и казалось, при виде меня они покатываются со смеху. От быстрой ходьбы я вспотел, и меня тут же облепили комары. Я вновь задал себе вопрос: зачем было ехать в Уайтуотер? Вопрос, конечно же, риторический: меня привлек запах денег, точно так же, как эту проклятую мошкару — запах пота. В эти минуты я увидел сам себя, словно смотрел из озаренных пожаром заката окон: тащусь в пыли, вспотевший, злой, тучный, голова опущена, жирная спина согнута, белый костюм помялся под мышками и провис на заду — нелепая, анекдотическая фигура, шут гороховый... И в тот же миг я испытал к себе острую жалость. Господи! Неужели некому мне помочь? Я остановился и тревожно огляделся по сторонам, словно мой благодетель притаился где-то здесь, за деревьями. Тишина отдавала приглушенным злорадством. Я вновь устремился вперед, и тут до меня донесся приближающийся шум моторов: из-за поворота навстречу мне выехал огромный черный лимузин, а за ним — новенький красный спортивный автомобиль. Машины ехали медленно, на почтительном расстоянии друг от друга, лимузин плавно покачивался на рессорах, и в первый момент я решил, что это похоронный кортеж. Я сошел с дороги на газон, но не остановился. Шофер лимузина, здоровенный, коротко стриженный молодец, сидел прямо и держал руль так, словно на нем установлен реактивный снаряд, который при одном неловком движении будет выпущен и поразит цель. Рядом с ним сидел какой-то сутулый, съежившийся старик; когда машина прошуршала мимо, я успел заметить лишь темный глаз, желтый череп и громадные руки, покоившиеся на изогнутой ручке трости. За рулем спортивной машины сидела блондинка в темных очках. Когда она со мной поравнялась, мы посмотрели друг на друга с безразличным любопытством незнакомых людей, хотя я-то ее, естественно, узнал сразу.

Спустя десять минут, когда я плелся уже по шоссе и «голосовал», подняв вверх большой палец, меня догнал спортивный автомобиль. Я знал, что это она. Остановился, обернулся. Она осталась в машине, выжидательно сложив на руле руки.

Последовала короткая борьба без слов — кому сделать первый шаг. Пришлось пойти на компромисс. Я вернулся назад, а она вышла мне навстречу. «Мне показалось, что это ты»,— сказала она. Мы улыбнулись и замолчали. Она была в кремовом костюме и в белой блузке. На ее туфлях виднелись следы крови. Волосы оказались желтее, чем я предполагал, и я решил, что, скорее всего, она красится. Я сказал, что выглядит она великолепно. Сказал искренне, но произнес эти слова как-то несерьезно и покраснел. «Анна»,— проговорил я. Не без некоторого трепета я вспомнил, как однажды, давным-давно, я выкрал конверт от ее письма к Дафне и, запершись в уборной, с бьющимся сердцем поднес конверт к губам, чтобы полизать то место, которое, заклеивая конверт, лизнула она. И тут вдруг до меня дошло: да я же люблю ее! Я понял это и нервно, удивленно рассмеялся. Анна сняла черные очки и вопросительно посмотрела на меня. Руки у меня дрожали. «Поехали, поговоришь с отцом,— сказала она,— подбодришь его».

Ехала она очень быстро, переключая скорости как бы на ощупь, словно стараясь определить закономерность, отыскать тайную формулу, заложенную в основу всех этих мелких, проворных движений. Я был потрясен, даже немного напуган. От нее веяло нетерпеливой самонадеянностью богатых. Мы молчали. Не прошло и минуты, как мы уже подъехали к дому и, разбрасывая гравий, резко затормозили у входа. Анна открыла свою дверцу и, окинув меня долгим взглядом, покачала головой. «Фредди Монтгомери,— сказала она.— Ну и ну!»

Подымаясь по ступенькам к входной двери, она взяла меня под руку. На нее это было не похоже. Когда мы общались много лет назад, она была отнюдь не сторонница подобных нежностей, нежности — да, но не нежностей. «Господи, по-моему, я перебрала»,— сказала она, засмеявшись. Анна ездила в город, в больницу — Беренсу стало плохо с сердцем. В больнице был переполох: в стоявшую на оживленной улице машину подложили небольшое, но на редкость мощное взрывное устройство, и было много жертв. Анна беспрепятственно прошла в отделение скорой помощи. Повсюду лежали распростертые тела. Она смотрела на мертвых и умирающих, и ей казалось, будто сама она родилась заново. «Какой кошмар, Анна»,— сказал я. В ответ она только хмыкнула. «Страшное зрелище,— отозвалась она.— По счастью, у Флинна в «бардачке» нашлась какая-то выпивка». Перед возвращением Анна приложилась к бутылке и теперь начинала об этом жалеть.

Мы вошли в дом. Швейцар в форме как сквозь землю провалился. Я рассказал Анне, как он впустил меня и куда-то исчез, предоставив мне беспрепятственно ходить по всему дому. Она только пожала плечами: наверно, после взрыва все сидят внизу и смотрят телевизор. «Все понятно,— сказал я,— но ведь в дом мог проникнуть кто угодно».— «Ты что же, полагаешь, кто-то мог войти и подложить бомбу?» — спросила она и взглянула на меня с какой-то особой, горькой усмешкой.

Она повела меня в «золотую» комнату. Дверь в сад по-прежнему оставалась открытой, никакой служанки не было и в помине. Меня охватила какая-то робость, и я старался не смотреть в дальний конец комнаты, туда, где висел, чуть накренившись вперед, словно внимательно вслушиваясь, женский портрет. Я присел на краешек стула эпохи Людовика XIV, а Анна открыла резной инкрустированный буфет и, достав оттуда джин, разлила его по стаканам. Льда не было, тоник выдохся, но все это значения не имело — очень уж хотелось выпить. Мне по-прежнему не давала покоя мысль о том, что я все это время любил ее. Я был возбужден, озадачен и ужасно счастлив — как ребенок, которому дали поиграть чем-то очень ценным. «Я любил ее»,— повторял я про себя, вслушиваясь в эти слова. Мысль эта, возвышенная, благородная и немного шальная, как нельзя лучше соответствовала обстановке «золотой» комнаты. Анна мерила ее шагами — от окна ко мне и обратно,— крепко сжимая стакан обеими руками. Краем глаза я видел, как лениво надувается на сквозняке марлевая занавеска. Дрожь пробегала не только по дому; дрожал, казалось, и сам воздух. И тут стоявший рядом со мной на низком столике телефон вдруг проснулся и истошно заверещал. Анна схватила трубку и закричала: «Да! Да! Да! — Она засмеялась.— Какой-то таксист,— сказала она.— Ты что, ему не заплатил?» Я взял трубку и поставил таксиста на место. Она пристально, с каким-то жадным любопытством смотрела на меня. «О Фредди, ты стал такой важный»,— весело сказала она, когда я положил трубку. Я нахмурился. Я не знал, как реагировать на эти слова. В ее смехе, в ее тусклом взгляде было что-то истерическое. Впрочем, и я был не лучше. «Смотри»,— пожаловалась она,

с недовольным видом разглядывая свои залитые кровью туфли. Она щелкнула языкам и, поставив стакан на стол, быстро вышла из комнаты. Я стал ждать. Все это уже было. Я встал, сунул руку в карман и, подойдя к двери в сад, пригубил джин. «Важный» — что она хотела этим сказать? Солнце почти село, и блики света легли на гладкую поверхность реки. Я вышел на террасу. В лицо мне пахнуло живительным, как бальзам, воздухом. Как странно, подумал я, стоять здесь со стаканом в руке, в тиши и покое летнего вечера, когда на сердце такая беспросветная тоска. Я повернулся и посмотрел на дом. Казалось, он быстро летит по неподвижному небу. Хотелось приобщиться к этому богатству, к этой позолоченной свободе. Из глубины комнаты на меня глядели глаза — темные, спокойные, невидящие.

Флинн, широкоплечий коротко стриженный шофер, обогнув дом, подошел ко мне неестественно вкрадчивой походочкой и изобразил на лице подчеркнуто вежливую улыбку, из тех, от которых стынет кровь. Его черные как смоль бандитские усики были так аккуратно подстрижены, что казалось, они написаны углем на его большом, одутловатом лице. Я еще не говорил, что не люблю усов? Есть в них что-то похабное, что-то, вызывающее у меня гадливое чувство. Нет сомнений, тюремный психиатр мог бы объяснить, что́ за этим гадливым чувством скрывается,— как нет сомнений и в том, что в данном случае он бы попал пальцем в небо. В усиках же Флинна было что-то особенно отвратительное. Вид их неожиданно, сам не знаю почему, придал мне сил, и я с готовностью последовал за ним в дом. Столовая больше походила на огромную мрачную пещеру, набитую сокровищами. Вошел, опираясь на руку Анны, Беренс — высокий, худой, в дорогом твидовом костюме, с «бабочкой». Передвигался он медленно, с трудом. Голова у него слегка дрожала; гладкая, куполообразная, она напоминала идеальной формы высушенное яйцо. Последний раз я видел Беренса, должно быть, лет двадцать назад. Не скрою, я испытывал к нему живейшую симпатию. Казалось, он покрыт какой-то необыкновенной, искуснейшим образом изготовленной патиной, на манер тех изящных, соблазнительно маленьких нефритовых статуэток, которые стояли на камине и которые я только что внимательно — и не без задней мысли — рассматривал. Он взял мою руку в свою лапищу и медленно, как тисками, сжал ее, внимательно заглядывая мне при этом в глаза, словно пытаясь обнаружить в них еще кого-то. «Фредерик,— произнес он с придыханием,— ты так похож на свою мать».

Обедали мы за шатким столом, стоящим в эркере высокого, выходящего в сад окна. Приборы были дешевые, посуда — от разных сервизов. В глубинке живут как придется — вот чем запомнился мне Уайтуотер. Этот роскошный особняк не предназначался для людей; все это великолепие не вязалось с людской бессмысленностью, не желало ее терпеть. Я смотрел, как Беренс разрезает кусок мяса с кровью. Эти громадные руки, руки убийцы, поразили меня. Я попытался представить его себе молодым, в серых брюках и блейзере, с теннисной ракеткой в руке («Ой, смотрите, это же Бинки!») — и не смог. Разговор зашел о сегодняшнем взрыве. «Надо же, пять человек погибло,— говорил Беренс,— а сейчас, может, уже и шесть — и все от каких-то двух фунтов взрывчатки!» Он вздохнул и покачал головой. Казалось, он не столько потрясен случившимся, сколько находится под впечатлением. Анна почти ничего не говорила, она была бледна, выглядела усталой и расстроенной. Только теперь я заметил, ка́к она постарела. Женщина, которую я знал пятнадцать лет назад, была по-прежнему здесь, но ее словно бы вставили в более грубую оправу, наподобие климтовских влюбленных. Я посмотрел в окно на фосфоресцирующие серые сумерки и испытал одновременно ужас и смутную гордость от мысли, что́ я потерял, что́ могло бы быть. Облака оставались последним освещенным пятном на небе. Пронзительно засвистел дрозд. Когда-нибудь я потеряю и это тоже, умру, и все исчезнет — это мгновение у этого окна, на самом краю нежной летней ночи. Поразительно, но так оно и есть, этого не миновать. Чиркнув спичкой, Анна зажгла стоявшую на столе свечу, и на какую-то долю секунды у меня возникло чувство парения, колебания в этой нежной, таинственной полумгле.

«Моя мать,— начал было я, однако вынужден был остановиться и откашляться,— моя мать, насколько мне известно, отдала вам какие-то картины...» Беренс устремил на меня свой хищный взор. *«Продала,*— произнес он почти шепотом,— продала, а не отдала». Он улыбнулся. Последовала пауза. Держался он совершенно спокойно. Он очень сожалеет, сказал он, если я приехал специально, чтобы увидеть картины. Он охотно верит, что для меня они многое значат. Но, к сожалению, он

почти сразу же от них избавился. Беренс вновь лучезарно улыбнулся. «Две-три вещицы были вполне милы,— пояснил он,— но здесь, в Уайтуотере, они бы смотрелись неважно».

«Так-то, отец,— подумал я,— это к вопросу о том, насколько хорошо ты разбирался в живописи».

«Видишь ли, мне хотелось помочь твоей матери,— продолжал между тем Беренс.— Она ведь болела. Я заплатил ей гораздо больше, чем эти картины стоили. Ты ей об этом, конечно, не говори. По-моему, она собиралась вложить деньги в какой-то бизнес.— Он засмеялся.— А ведь такая возвышенная особа!» — добавил он. Опять последовала пауза. Беренс с довольным видом вертел в руке нож, ожидая, что скажу я. И тут только до меня дошло: вероятно, он подумал, что я приехал требовать назад картины отца. А что, если, несмотря на все его заверения, он все-таки мать надул? Мысль эта необычайно меня раздразнила. «Выходит, старый подлец,— подумал я, смеясь про себя,— ты ничем не лучше всех нас». Я взглянул на отражавшийся в окне профиль Анны. А она-то кто? Одинокая молодящаяся дамочка с морщинами на шее и крашеными волосами? Возможно, Флинн и обслуживает ее раз в месяц, между мытьем машины и стрижкой усов. Будьте же вы все прокляты! Наполняя свой бокал, я пролил вино на скатерть и остался этим доволен. Мрак, сплошной мрак.

Я рассчитывал, что меня оставят ночевать, но после кофе Анна, извинившись, вышла из-за стола и, вернувшись через минуту, сообщила, что вызвала мне такси. Я обиделся: ехал в такую даль, чтобы с ними повидаться, а мне отказывают в ночлеге. Повисло тягостное молчание. Только что, по моей инициативе, Беренс заговорил о голландской живописи. Интересно, мне это только показалось, или он действительно взглянул на меня с хитрой улыбкой, спросив, заходил ли я в открытую гостиную. Прежде чем я сообразил, что открытой гостиной Беренс называет «золотую» комнату, он вновь заговорил о голландцах. Теперь же он сидел молча, с трясущейся головой, приоткрыв рот, с отсутствующим видом всматриваясь в пламя свечи. Он поднял руку, словно собираясь еще что-то сказать, но тут же медленно уронил ее на колени. В окне вспыхнули фары, послышался гудок. Беренс остался сидеть. «Очень рад был повидать тебя,— пробормотал он, протягивая мне левую руку.— Очень рад».

Анна проводила меня до дверей. Я чувствовал, что повел себя по-идиотски, но в чем именно это выразилось, сообразить не мог. В коридоре гулко отдавались наши шаги — тревожный, несообразный шум. «Сегодня у Флинна свободный вечер,— сказала Анна,— а то бы я попросила его тебя отвезти».— «Ничего страшного»,— буркнул я. Неужели, спрашивал я себя, мы и есть те двое людей, что когда-то, жарким воскресным днем, на другом конце света, на другом конце времени, катались вместе с Дафной голыми по постели? Как мог я вообразить, что когда-то любил ее. «Твой отец в неплохой форме»,— сказал я. Она пожала плечами: «Что ты, он умирает». В дверях — уж не знаю, с какой стати — я нащупал ее пальцы и попытался ее поцеловать. Она отпрянула, да так проворно, что я чуть не упал. Такси загудело вновь. «Анна!» — сказал я и почувствовал, что добавить мне нечего. Она хмыкнула. «Езжай домой, Фредди»,— прошептала она с вымученной улыбкой и медленно закрыла передо мной дверь.

Разумеется, я знал, кто́ сидит за рулем. «Ничего не говори,— резко сказал я таксисту.— Ни слова!» Он бросил на меня печальный, укоризненный взгляд, и мы, громыхая по брусчатке, пустились в обратный путь. Ехать мне было некуда.

6

Сейчас сентябрь. Я здесь уже два месяца. А кажется, что еще дольше. У дерева, которое видно из окна моей камеры, вид невзрачный, унылый, скоро с него начнут падать листья. Словно в ожидании этого, оно дрожит (по ночам мне даже кажется, что я эту дрожь слышу), возбужденно шурша листвой в темноте. Небо по утрам великолепное, головокружительно высокое и чистое. Люблю смотреть, как собираются и рассеиваются облака. Такая огромная, такая тонкая работа. Сегодня была радуга; увидев ее, я громко рассмеялся, словно очень смешной шутке. Время от времени мимо моего дерева проходят люди. Так, видимо, короче. В девять утра

идут секретарши и делопроизводительницы с сигаретами и с причудливыми прическами, а чуть позже — сонные домашние хозяйки с сумками и детьми. Каждый день, ровно в четыре, мимо, еле волоча ноги, проходит школьник с огромным, смахивающим на гроб, ранцем. Попадаются и собаки, эти идут очень быстро, с деловым видом, останавливаются, быстренько орошают дерево и спешат дальше. Другая жизнь, другая жизнь. В последнее время, с наступлением холодов, заторопились все, даже школьник приободрился и прибавил шагу, и из тюремного окна кажется, будто все они летят в зеркально-синем осеннем воздухе.

В это время года мне часто снится отец. Сон один и тот же, меняются лишь обстоятельства. Человек, который является мне во сне,— действительно мой отец, хотя чем-то от него и отличается. Он моложе, крепче, он весел, у него прекрасное чувство юмора. Мне снится, что я приезжаю в больницу или в какое-то другое заведение такого рода и после долгих поисков и расспросов нахожу его сидящим на постели с дымящейся кружкой чая в руке. Волосы у него по-мальчишески взъерошены, на нем пижама с чужого плеча. Он здоровается со мной с застенчивой улыбкой. От волнения, от избытка чувств я порывисто прижимаю его к себе. Он же невозмутим, похлопывает меня по плечу, тихо смеется. Потом я сажусь на стул рядом, и мы какое-то время молчим, не зная, что говорить, куда смотреть. Я понимаю, что совсем недавно он чудом выжил: то ли попал в аварию, то ли потерпел кораблекрушение, то ли перенес тяжелую болезнь. Все несчастья свалились на него из-за его же собственной опрометчивости, безрассудства (это мой-то отец безрассуден?!), и теперь он чувствует себя глупо, стыдится себя самого. Во сне выручаю его всегда я: подаю сигнал тревоги, вызываю «скорую», бросаю в воду спасательный круг. Мой подвиг сидит на кровати между нами, неуправляемый, как сама любовь, запоздалое свидетельство сыновней заботы. Просыпаюсь я с улыбкой, сердце мое переполнено нежностью. Раньше мне казалось, что в этом сне я спасаю отца от смерти, но последнее время я начал понимать, что освобождаю его не от смерти, а, наоборот, от тяжелой жизни. Теперь, по всей вероятности, мне предстоит совершить еще один, такой же подвиг. Дело в том, что сегодня мне сообщили: умерла моя мать.

К тому времени как мы доехали до деревни, последний автобус в город уже ушел, о чем меня с мрачным удовольствием заранее предупредил таксист. Мы сидели в машине на погруженной в кромешную тьму главной улице, возле магазина скобяных изделий, прислушиваясь к урчанию мотора. Водитель повернулся на сиденье, сдвинул кепку, почесал лоб и с интересом уставился на меня, ожидая, что же я буду делать дальше. И опять меня поразило, как смотрят эти люди — с тупой, звериной прямотой. Пришло время дать таксисту имя (зовут его, уж простите, Рок), поскольку еще какое-то время мне придется иметь с ним дело. Он вызвался сам отвезти меня в город, но я отрицательно покачал головой: до города было никак не меньше тридцати миль, а я уже и так ему задолжал. Или же, сказал он с прегадкой льстивой улыбочкой, меня может приютить его мать, миссис Рок — у нее паб с комнатой наверху. Это предложение тоже не особенно меня вдохновило, но на улице было темно и пусто, да и выставленные в витрине инструменты тоже почему-то настраивали на грустный лад, и я согласился. «Да,— слабым голосом сказал я, коснувшись рукой лба,— да, вези меня к своей матери».

Но на месте ее не оказалось — наверно, уже спала, и таксист сам повел меня наверх по черной лестнице, ступая на цыпочках, как большой, трясущийся паук. В комнате было маленькое, низкое оконце, один стул и кровать с углублением посередине, как будто здесь еще недавно лежал покойник. Пахло мочой и портером. Рок стоял в дверях, смущенно улыбаясь и теребя кепку в руках. Я пожелал ему доброй ночи, и он нехотя ушел. Последнее, что я увидел, была его костлявая рука, которой он медленно прикрыл за собой дверь. Я прошелся по комнате, осторожно ступая по скрипучим половицам. Вот не помню, ломал я себе руки или нет? Низкое оконце и продавленная постель создавали ощущение диспропорции: мой рост казался мне слишком высоким, ноги — слишком большими. Я присел на край кровати. В окно пробивался слабый свет. Если наклониться вперед и вбок, можно было увидеть кривой колпак трубы и силуэты деревьев. Я почувствовал себя мрачным героем русского романа: сижу в крохотной комнатушке над пивной, в деревне без названия, в году невесть каком; сижу и вспоминаю, что со мной приключилось.

Всю ночь я не сомкнул глаз. Простыни были влажные и какие-то скользкие — как видно, не я первый вертелся на них после стирки; лежал я неподвижно, сжавшись как пружина,— только поменьше бы с ними соприкасаться. Каждый час где-то вдалеке гулко звонил церковный колокол. Слышны были, как водится, лай собак и мычание коров. Звук моих собственных нервных вздохов выводил меня из равновесия. Время от времени проезжал грузовик или легковая машина, и тогда освещенный прямоугольник быстро проплывал по потолку, сбегáл по стене и таял в углу. Мучительно хотелось пить. Меня преследовали причудливые и непристойные видения. Один раз, уже засыпая, я ощутил внезапное и жуткое чувство падения и, вздрогнув, проснулся. Как я ни пытался гнать от себя мысль об Анне Беренс, она не шла у меня из головы. Что с ней случилось, почему она живет затворницей в этой кунсткамере, ни с кем, кроме умирающего старика, не общаясь? А впрочем, может, ничего и не случилось, все произошло как-то само собой. Может, просто незаметно тянулось время, пока, проснувшись однажды утром, она не обнаружила, что застряла на полпути. Я представил ее печальной и одинокой, навсегда заколдованной в своем волшебном замке и... Какие только безумные мысли не лезли мне тогда в голову, лучше уж лучше об этом не вспоминать. И вот, когда я предавался подобным размышлениям, другая мысль, куда более мрачная, начала раскручивать свою темную пряжу. В результате план мой возник из путаницы разнородных идей о рыцарском долге, спасении любимой и вознаграждении. Уверяю вас, ваша честь, я вовсе не пытаюсь тем самым оправдать свои действия; мне хочется всего-навсего дать понять, чем я руководствовался, объяснить свои поступки, а вернее, то, что стояло за ними,— если это вообще возможно. Часы шли, в маленьком окошке вспыхивали и гасли звезды, и постепенно Анна Беренс слилась в моем сознании с другими женщинами, с которыми я был так или иначе связан,— естественно, с Дафной, с матерью и даже с рыжей девицей с конюшни. Однако под конец, когда уже светало, над моей постелью возникла голландка с висящего в золотой комнате портрета; она спокойно и в то же время испытующе, скептически взирала на меня. Я встал, оделся, сел на стул у окна и стал смотреть, как пепельный свет дня опускается на крыши домов, проникает в листву деревьев. Мозг мой лихорадочно работал, кровь стучала в висках. Теперь я знал, что делать. Я был возбужден и вместе с тем испытывал какой-то сверхъестественный ужас. Снизу до меня донеслись голоса. Мне хотелось поскорее уйти отсюда, уйти и начать действовать. Я подошел было к двери, но передумал, прилег буквально на минуту, чтобы немного успокоиться,— и тут же погрузился в глубокий, дремучий сон. Мне трудно описать это: ощущение было такое, будто меня сбили с ног. Сон длился не больше двух-трех минут. Когда я пробудился, меня трясло. Казалось, трясется все мироздание. Так устрашающе начался — и потянулся — этот день.

Миссис Рок была высокая и худая. Нет, она была маленькая и толстая. Я ее плохо запомнил, да мне и незачем ее помнить. Господи, сколько можно выдумывать карикатур? Я вызову ее в качестве свидетеля, и вы сами составите о ней впечатление. Сначала я подумал, что у нее что-то стряслось — так она мямлила и заикалась,— но потом понял, что она попросту ужасно, мучительно стесняется. В комнатке за баром она накормила меня сосисками, шпиком и кровяной колбасой (не зря же говорят, что плотно едят по утрам только палачи). Тишина стояла такая, что я сам слышал, как работаю челюстями. Тени паутиной висели по углам. На стене я увидел сочную, малиново-кремовую литографию с изображением кровоточащего Христа и фотографию римского папы, благословляющего многотысячную толпу с балкона в Ватикане. Уныние, точно изжога, обжигало внутренности. Рок, он был в подтяжках и в рубашке с закатанными рукавами, возник в дверях и кротко полюбопытствовал, все ли у меня в порядке. «Не то слово! — бодро произнес я в ответ.— Не то слово!» Он стоял и смотрел на меня с ласковой улыбкой, с какой-то счастливой гордостью. Что ж, теперь ему будет, о чем рассказать. Ах, эти бедные, безыскусные души, на которых я оставил свои грязные следы. Ведь он ни разу не напомнил мне про деньги, которые я был ему должен. Специально позвонил по телефону извиниться, что уехал, меня не дождавшись. Я встал и проскользнул мимо него за дверь. «Я на минутку, подышать свежим воздухом»,— обронил я, чувствуя, как по моим губам, словно какая-то липкая патока, скользит притворная улыбка. Он кивнул, и по лицу его легкой тенью пробежала печаль. Ты же знал, что я собираюсь сделать ноги, а? Почему тогда меня не остановил? Нет, не понимаю я этих людей. Я уже говорил. Решительно не понимаю.

Сквозь редеющую дымку пробивалось солнце. Было еще немыслимо рано. Дрожа от нетерпения, я прошелся по главной улице — сначала по одной стороне, потом по другой. Прохожие попадались редко. Интересно, кто это выдумал, что сельские жители рано встают? Проехал фургон с прицепом, в котором везли свинью. В конце улицы был мостик через мелкую бурную речку. Я присел на парапет и некоторое время смотрел на воду. Надо бы побриться. Может, вернуться к Року и взять у него бритву? Нет, на подобное хамство даже я был не способен. Несмотря на ранний час, становилось жарко. То ли оттого, что сидел я на самом солнце, то ли потому, что неподвижно смотрел, как журчит и извивается подо мной речушка, но у меня закружилась голова. В это время, возникнув невесть откуда, со мной заговорил высокий старик в сандалиях и рваном плаще, накинутом на плечо, на манер пледа у шотландских горцев; в руках он держал посох, толстую ясеневую палку. Волосы длинные, борода спутанна. Сам не знаю почему, я живо представил себе его косматую голову на блюде. Говорил он спокойно, громким, хорошо поставленным голосом. Из того, что́ он говорил, я не понял абсолютно ничего — вероятно, он утратил способность членораздельно произносить слова, и в то же время было что-то невыразимо трогательное в том, как он, опираясь на свой посох, согнув одну ногу в колене и не спуская с меня глаз, произносит свой нескончаемый монолог. Я внимательно следил за тем, как в чаще усов шевелятся его губы, и медленно, серьезно кивал головой. Сумасшедшие не пугают меня и даже не выводят из себя. Больше того, бред, который они несут, меня успокаивает. Думаю, происходит это потому, что абсолютно все, от упавшего метеорита до осыцавшейся в пустой комнате штукатурки, имеет для них огромное и равное значение — а следовательно, лишено всякого смысла. Он закончил свою речь и с минуту молча смотрел на меня. А затем угрюмо кивнул и, метнув последний, значительный взгляд, повернулся и зашагал через мост.

Ваша честь, я не забыл свои слова о том, что мной вынашивался некий план. Поверьте, план этот был весьма расплывчатым. Я ведь никогда не был особенно силен в деталях. Ночью, когда цыпленок вылупился из яйца и впервые расправил свои липкие, хрупкие еще крылышки, я сказал себе: с наступлением утра, с началом нормальной жизни ты сам посмеешься над своими бредовыми идеями. И я над ними действительно посмеялся, хотя и задумался тоже. Скажу больше: мне эти идеи смешны и сейчас; я больше чем уверен: не попади я в эту дыру, где мне оставалось лишь предаваться мрачным раздумьям, ничего бы не произошло. Я бы отыскал Чарли Френча, занял бы у него денег, вернулся на остров, заплатил долг сеньору Агирре, после чего забрал бы жену и ребенка, вернулся домой, в Кулгрейндж, помирился с матерью и стал бы, вслед за отцом, мелким землевладельцем. Жил бы себе поживал и был бы счастлив. Ах...

Так о чем я? Да, о плане. Ваша милость, я — не выдающийся ум. Газеты, которые с самого начала подняли жуткий крик (и неудивительно: был ведь мертвый сезон, а я подкинул им такую лихую историю), изображали меня то безрассудным головорезом, то расчетливым, предусмотрительным, хладнокровным чудовищем. Но, клянусь вам, это, да и все вообще, произошло по чистой случайности. Поначалу, лежа без сна эдаким добрым принцем в пряничном домике матушки Рок и глядя, как невинные звезды молча заглядывают в окно, я лишь играл в эту затею, делясь ею с самим собой, как делятся перед сном увиденным и услышанным. Утром же я встал, поднес ее к свету, и она начала приобретать форму и вес. Мне почему-то казалось, что пришла она в голову кому-то другому, мне же следует ее оценить, апробировать. Такого рода взгляд со стороны и был, как я теперь понимаю, основной прелюдией к действию. Быть может, этим в какой-то мере и объясняется то странное чувство, которое я испытал там, на мосту, стоя над журчащей речушкой. Описать его сложно. Я чувствовал, что не имею с самим собой ничего общего. То есть я был прекрасно знаком с этим крупным, рыхлым, светловолосым мужчиной в помятом костюме, сидевшим на парапете и нервно перебиравшим пальцами,— и в то же время ощущение было такое, будто меня (настоящего, думающего, чувствующего меня) заманили в тело, которое мне не принадлежит. Нет, не совсем так. Ведь тот, кто находился внутри меня, был тоже мне чужд — собственно, еще более чужд, чем знакомое мне физическое существо. Я выражаюсь неясно, я понимаю. Я хотел сказать, что находившийся во мне был мне чужд,— но что значит «мне», какое из многих «я» имеется тут в виду? Нет, и это тоже звучит очень

неясно. Скажу лишь, что ощущение это было для меня не ново. Я всегда чувствовал — как бы это сказать? — раздвоенность, да, раздвоенность. Но в тот день чувство это было сильнее, определеннее, чем обычно. Толстячку моему не сиделось внутри, он рвался наружу. Взаперти он просидел так долго, он так извелся, изнервничался, что я знал: вырвавшись наконец из плена, говорить он будет без умолку. У меня все плыло перед глазами. Меня выворачивало наизнанку. Интересно, понимает ли суд, в каком состоянии были у меня нервы,— и не только в тот день, но и все то время. Жену с ребенком я оставил заложниками у опасных людей, сам я не имел ни гроша за душой; даже завещанное мне отцом весьма скудное ежеквартальное пособие я мог получить не раньше чем через два месяца... Измученный, с красными глазами после бессонной ночи, небритый, без денег, заехавший невесть куда, вынашивающий безумные планы — вот в каком состоянии я тогда находился. Что ж удивительного, что у меня все плыло перед глазами, что меня выворачивало наизнанку?

Почувствовав, что деревня пусть лениво, медленно, но просыпается, я двинулся обратно по главной улице, украдкой поглядывая по сторонам, чтобы не встретиться с настырным Роком или, не дай Бог, с его мамашей. Утро было солнечное, безветренное, росистое и какое-то изумленное — будто опьяневшее от своей же собственной первозданности. На тротуаре блестели лужицы. День обещал быть восхитительным. Да, восхитительным.

Ноги сами несли меня к магазину скобяных изделий, тому самому, возле которого Рок остановил машину накануне вечером. Ноги сами принесли, а рука сама толкнула входную дверь, колокольчик звякнул, и я вошел внутрь.

Полумрак, запах парафина и льняного масла; под потолком гроздьями висят какие-то предметы. Низкорослый плотный пожилой лысеющий человек подметал пол. Он был в войлочных домашних туфлях и в светло-бежевом хлопчатобумажном халате из тех, что носили в магазинах во времена моего детства. Он улыбнулся, кивнул мне и поставил метлу в угол, однако заговорил — профессиональный этикет, не иначе,— лишь когда зашел за прилавок, облокотился на него и склонил голову набок. Такому только очков в железной оправе не хватает, подумал я. Мне он понравился с первого взгляда. «Добрый день, сэр»,— произнес он веселым, с хрипотцой голосом. Я уже чувствовал себя много лучше. Он был вежлив именно так, как надо,— без излишней искательности и без малейшего намека на любопытство. Я купил шпагат и рулон оберточной бумаги, а также моток веревки, туго накрученной (я почему-то запомнил это) на барабан, как на перекладину виселицы: это была добротная, крепкая, гладкая пенька, не то что современная искусственная бечевка. Для чего мне нужны были все эти вещи, я представлял себе довольно смутно. Веревка, например, была чистым баловством. Ну и что? Такого естественного, жадного удовольствия я не испытывал уже многие годы — десятки лет! Продавец любовно разложил передо мной на прилавке все мои покупки и, что-то мурлыча себе под нос, одобрительно улыбался. Все это напоминало детскую игру. В этом вымышленном мире я мог иметь все, что хотел. Например, шипорезную пилу с рукояткой красновато-желтого цвета. Или каминные щипцы с ручкой в виде двух приседающих обезьян. Или вон то эмалированное ведро с изящной тенью телесно-голубого цвета, что легла на его правый бок. Все что душе угодно! Вот тут-то мне на глаза и попался молоток. Блестящий, из нержавеющей стали, похожий издали на берцовую кость какого-то быстроногого животного, с бархатистой черной резиновой ручкой, вороненой головкой и гвоздодером. Я ужасно неловок, для меня забить гвоздь — проблема, но иметь такой молоток мне втайне хотелось всегда. Предвижу очередное оживление в зале суда, грубый хохот газетчиков-всезнаек. Однако я повторяю, ваша честь, я настаиваю, многоуважаемые и многоопытные господа присяжные: обладать этой великолепной игрушкой было невинным желанием, жаждой, зудом, который испытывал скрывавшийся во мне обделенный ребенок,— не толстяк, нет, а призрак моего утраченного детства. И тут мой благодетель, мой крестный отец впервые заколебался. «Есть ведь и другие образцы, сэр,— попробовал было переубедить он меня,— менее... (быстрым, захлебывающимся шепотком) менее дорогие, сэр». Но нет, нет, я был не в силах отказать себе в этом удовольствии. Я должен был, просто обязан был приобрести этот молоток. Вон тот. Да, тот, с этикеткой. Или, говоря научным языком, вещественное доказательство номер один.

Я вывалился из скобяной лавки со свертком под мышкой и с затуманенным от счастья взором. На губах моих играла блаженная улыбка подвыпившего школьника. Владелец магазина вышел на порог и долгим взглядом смотрел мне вслед. Руку он пожал мне с каким-то странным, таинственным видом. Может, он был масоном и испытывал меня на предмет вступления в их тайное братство? Но нет, я все же склоняюсь к мысли, что это был просто приличный, добродушный, благожелательный человек. В моих свидетельских показаниях таких, как он, не так уж много.

Деревню, судя по всему, я изучил неплохо. Меня не покидало ощущение, будто я уже здесь бывал и даже делал то же самое: бесцельно слонялся ранним утром по улицам, сидел на мосту, заходил в магазин... Объяснить это я не могу: ощущение есть ощущение. Казалось, мне когда-то приснился пророческий сон, который я забыл, и вот теперь пророчество сбывается. Да и вообще, во всех моих поступках в тот день чувствовалась какая-то неумолимость. Прошу понять меня правильно: неумолимое на моем языке вовсе на значит простительное. Не зря же, в самом деле, в жилах моих течет гремучая смесь католической и кальвинистской крови.

Тут только мне вдруг, с какой-то счастливой непоследовательностью, пришло в голову, что сейчас середина лета.

Это поразительная страна: человек с приличным произношением может добиться чего угодно. Я-то думал, что направляюсь на автобусную остановку выяснить, когда идет в город очередной автобус, однако вместо этого (опять неумолимость!) обнаружил, что стою в деревенском сквере у входа в старенький, покосившийся гараж. Какой-то парень в грязном комбинезоне с чужого плеча, что-то насвистывая уголком рта, накачивал шины. Ржавая табличка у него над головой гласила: «Мельмот: машины напрокат». При моем появлении парень перестал насвистывать и молча воззрился на меня, продолжая беззвучно шевелить губами. «Машины? — спросил я, показывая на табличку.— Напрокат, да?» И я повертел в воздухе воображаемым рулем. Парень ничего не ответил и озадаченно нахмурился, как будто я попросил у него нечто совершенно экзотическое. Тут в дверях появилась полная, грудастая матрона в алой блузке, в черных брюках в обтяжку и в босоножках на высоких каблуках. Ее черные как смоль волосы были зачесаны назад, на щеки спадали вьющиеся прядки. Кого-то она мне напоминала. Матрона сделала парню резкое замечание и провела меня в контору, где я, среди аляповатых цветных открыток, пришпиленных к стене над ее столом, наметанным взглядом отыскал открытку с изображением «моего» острова — и не только гавань, но и бар, тот самый, где я впервые встретился с Рэндольфом-американцем. Я занервничал: это походило на предзнаменование, быть может, даже на предупреждение. Матрона ощупывала меня подозрительным взглядом. И тут только я сообразил, кого она мне напоминает: мать плачущего ребенка в квартире сеньора Агирре.

Достался мне «хамбер»: огромная, тяжелая, на высоких рессорах машина, не настолько старая, чтобы называться допотопной,— просто безнадежно устаревшая. Казалось, предназначалась она для более простой, более невинной эпохи, чем наша; эпохи, населенной взрослыми детьми. От обшивки сидений веяло нечистотами. Я неторопливо проехался по деревне на третьей скорости, глядя на дорогу сверху, как будто меня несли на носилках. Мотор издавал звук, похожий на приглушенное ликование многотысячной толпы. Я заплатил вперед пять фунтов и подписался на квитанции фамилией «Смид» (решив про себя, что «д» вместо «т» — дьявольски тонкий ход). Черноволосая красавица не поинтересовалась даже, есть ли у меня водительские права. Говорю же, это поразительная страна. Мне стало почему-то необычайно легко на душе.

Кстати об автомобильных поездках. Сегодня трое в штатском посадили меня в закрытый автомобиль и повезли на похороны матери. И как повезли! Мы неслись по городу с включенной сиреной, все происходило так же, как во время моего ареста,— только наоборот. Было прелестное солнечное прохладное утро, в воздухе стояла бледная дымка, мостовую кое-где покрывали опавшие уже листья. Я испытывал разноречивые чувства: некоторую, естественно, обделенность, боль, но вместе с тем и душевный подъем, и нечто вроде тоски, которая, однако, не лишена была определенной сладости. Я оплакивал не только свою мать и даже не столько ее, сколько все вообще. А может, это была обычная осенняя меланхолия в необычных обстоятельствах? Сначала мы ехали вдоль реки, и над нами, в высоком небе,

неслись, обгоняя друг друга, прозрачные голландские облака, а потом свернули на юг и покатили по тенистым пригородам. Море, как всегда, поразило меня: чаша голубого с оловянным отливом металла, свет хлопьями подымается над водой. Все трое штатских были заядлыми курильщиками, они сосредоточенно, как будто это входило в их обязанности, курили одну сигарету за другой. «Чем-чем, а этим не грешу»,— сказал я, и они вежливо рассмеялись. Вид у них был напряженный, они то и дело посматривали в окно, как будто ехали на пикник с родственником, который пользовался в городе дурной славой, и боялись, что в его обществе их могут увидеть знакомые. Город остался позади, над полями еще стлался туман, живые изгороди пропитаны были влагой. Похоронили ее на семейном участке, на старом кладбище в Кулгрейндже. Мне не разрешили выйти из машины, даже опустить стекло я не имел права, и это меня нисколько не огорчило: после всего происшедшего я не готов был вот так, запросто выйти в мир. Шофер поставил машину недалеко от разрытой могилы, и сквозь клубы табачного дыма я имел возможность наблюдать в запотевшее стекло все перипетии короткой и заезженной драмы, что игралась среди покосившихся надгробий. Народу пришло немного: пара тетушек да старик, который много лет назад работал у отца на конюшне. Была, разумеется, и рыжая Джоанна: глаза красные, личико распухло от слез, все тот же бесформенный свитер и перекрученная юбка. Чарли Френч стоял чуть поодаль, неловко сцепив на животе руки. Я не ожидал, что он придет. С его стороны это был благородный, больше того — мужественный поступок. Ни он, ни рыжая девица не смотрели в мою сторону, хотя наверняка чувствовали на себе пристальный взгляд моих влажных глаз. Гроб показался мне на удивление маленьким: такая большая яма и такой маленький гроб. Бедная мать. Не могу поверить, что ее нет, никак не свыкнусь с этой мыслью. Кажется, будто она ушла, чтобы освободить место для чего-то более важного. Очередная ирония судьбы: подожди я еще пару месяцев, и не было бы необходимости... Нет, довольно об этом. Завещание будет зачитано без меня — и это совершенно справедливо. Во время нашей последней встречи, в тот день, когда я уехал в Уайтуотер, я чуть было с ней не подрался. В тюрьме она меня не навещала, и я ее не виню. Я ведь не удосужился даже привезти ей внука. Она оказалась не такой стойкой, как я предполагал. Выходит, и ей я тоже загубил жизнь? Сколько их, этих загубленных женских жизней.

Когда траурная церемония завершилась, Чарли Френч прошел мимо машины с опущенной головой. В какой-то момент он заколебался, замедлил шаг, но передумал и пошел дальше. Уверен, он заговорил бы со мной, если б я не сидел в окружении штатских и если бы за ним следом не шли сгоравшие от любопытства тетушки. И если бы... и если бы не ужас всего происходящего.

7

Итак, я выехал из деревни на «хамбер-хоке» с идиотской улыбкой на лице. Мне почему-то казалось, что все мои проблемы остаются позади, я воображал, что они, как и эта деревенька, с каждой минутой становятся все меньше и меньше, растворяются во времени и пространстве. Разумеется, если б я хоть на минуту задумался, то понял бы, что позади остаются не многочисленные проблемы, как мне по наивности представлялось, а всевозможные улики, столь же очевидные и неопровержимые, как кровавое пятно или прядь спутанных волос. Я сбежал из пивной матушки Рок, не расплатившись с ней за ночлег; в деревенской лавке я приобрел все необходимое для кражи со взломом; теперь вот вдобавок украл машину — и все это меньше чем в пяти милях от Уайтуотера, который совсем скоро будет фигурировать как «место преступления». Суд согласится, все это никак не свидетельствует о предумышленности содеянного. (Кстати, почему почти все, что я говорю, может восприниматься как своего рода преамбула к просьбе о смягчении приговора?) Нет, я тогда вообще ни о чем таком не задумывался, а блаженно плыл сквозь солнце и тень по узким пятнистым дорогам, держа левую руку на руле и выставив локоть правой в открытое окно, глубоко вдыхая сельский аромат и ловя ртом дуновение ветерка, пробегавшего по моим волосам. Уж не знаю, чем объяснить такой душевный подъем,— возможно,

я попросту бредил. Как бы то ни было, я твердил себе, что это всего лишь игра и остановиться можно будет в любой момент.

А за деревьями тем временем показался Уайтуотер.

У ворот стоял пустой экскурсионный автобус. Дверца кабины была открыта; нежился на солнце, сидя на ступеньках, шофер. Проехав мимо, я свернул в аллею, и он проводил меня ленивым взглядом. Я помахал ему. Он был в темных очках. Он не улыбнулся. Он меня запомнит.

Впоследствии полиция никак не могла понять, почему я пренебрегал элементарными мерами предосторожности, почему надо было ехать при свете дня, да еще в такой допотопной, бросающейся в глаза колымаге. Но ведь я, вы поймите, настраивался на конфиденциальный разговор с Беренсом, Анне же отводилась, да и то лишь в крайнем случае, роль посредника. Тогда я и представить себе не мог, что кончится все полицией, арестом, газетными шапками... Я-то рассчитывал на самую обычную сделку между цивилизованными людьми, решил, что вести буду себя жестко, но вежливо — не выходя за рамки приличий. Ни о каких угрозах, ни о каком выкупе я, разумеется, и не помышлял. Когда впоследствии я прочел, что́ пишут газетчики (свои статьи обо мне они печатали под рубрикой «Летняя облава»), то, как ни силился, не мог узнать себя в этом хладнокровном, безжалостном убийце. Это я-то безжалостный?! Нет, подъезжая к Уайтуотеру, если я чего и боялся, то никак не полиции, а шофера Флинна с его маленькими свиными глазками и мясистыми боксерскими лапами. Да, от Флинна следовало держаться подальше.

Посередине аллея...

Господи, опять эти бесконечные подробности!

Посередине аллея раздваивалась. Деревянная стрелка со словом ДОМ, написанным на ней белой краской, указывала направо; табличка, на которой значилось ПРОЕЗД СТРОГО ЗАПРЕЩЕН,— налево. Я притормозил. Вот он я: крупное, плохо различимое за ветровым стеклом лицо, бегающие глаза — куда ехать, направо или налево? Чем не иллюстрация к назидательной притче: грешник не ведает, какой путь избрать. Я свернул налево, и сердце мое тревожно сжалось. Глядите, несчастный сворачивает с пути праведного.

Я объехал южное крыло дома, поставил машину на траве и прошел по лужайке к «золотой» комнате. Дверь в сад открыта. Глубокий вздох облегчения. Не было еще и двенадцати. Где-то в поле урчал трактор; его сонное жужжанье казалось голосом самого лета; я и сейчас его слышу: едва различимая, далекая, заунывная песня. Веревку и молоток я оставил в машине, с собой же взял шпагат и рулон оберточной бумаги. И тут вдруг я осознал всю абсурдность задуманного. Я громко засмеялся и, смеясь, вошел в комнату.

Картина (теперь это, должно быть, общеизвестно) называется «Портрет дамы с перчатками». Размер: 82 x 65. По заключению специалистов (которые исходили в основном из покроя одежды), относится холст к 1655—1660 годам. Строгое черное платье с широким белым воротником и манжетами несколько оживлялось брошью и золотым шитьем на перчатках. В чертах лица дамы есть что-то неуловимо восточное (эту мысль я почерпнул из каталога «Картинная галерея Уайтуотер-хаус»). Портрет приписывался и Рембрандту, и Франсу Хальсу, даже Вермеру. Однако вероятнее всего, что картина принадлежит все же кисти неизвестного художника.

А впрочем, какое это имеет значение?

Мне приходилось стоять и перед другими, более значительными полотнами, однако ни одно из них не произвело на меня столь сильного впечатления. Здесь, на стене у меня над столом, висит теперь репродукция этой картины — ее прислала мне (подумать только!) сама Анна Беренс. Когда я подымаю глаза на портрет, у меня колотится сердце. В том, как эта женщина на меня смотрит, в безмолвной капризной требовательности ее глаз есть что-то такое, от чего нельзя скрыться, нельзя отвлечься. Я корчусь под ее неподвижным взором. Она словно бы требует от меня какого-то сверхусилия, какого-то нечеловеческого напряжения, на которое я едва ли способен. Всякий раз мне кажется, что она просит меня оставить ее в живых.

Ее. Конечно же, никакой «ее» нет. Есть только краски и игра света и тени. И все же попытаюсь вдохнуть в нее жизнь. На вид ей лет тридцать пять—тридцать шесть, хотя люди ненаблюдательные считают, что она гораздо моложе. Живет

она с отцом, он купец (табак, специи и — между делом — рабы). После смерти матери на ней весь дом. Мать свою она не любила. Отец боготворит ее, своего единственного ребенка, называет «мое сокровище». Она продумывает меню (у отца слабый желудок), наведывается на кухню и даже — в винный погреб. В маленькой записной книжке, что висит у нее на поясе на золотой цепочке, она ведет опись домашней утвари, пользуясь для этого какими-то ей одной понятными значками — читать и писать она так и не выучилась. С прислугой она строга и вольностей не допускает. Их неприязнь она принимает за уважение. Забот по дому ей мало, ее энергия распространяется и за его пределы: она ухаживает за больными, входит в попечительский совет городской богадельни. Она резка, порой невоздержанна на язык, и в попечительском совете ее недолюбливают, особенно старухи. Иногда, обычно весной или в начале зимы, она хворает. Обратите внимание на нездоровую бледность ее кожи: ее подтачивает неведомый недуг. Тогда она ложится в постель и неделями лежит молча, еле дыша, а за окном, в серебристом северном свете жизнь идет своим чередом. Она пробует молиться, но Господь ее не слышит. Вечерами, ступая на цыпочках, к ней наведывается отец. Слабость дочери пугает его, он вспоминает, как умирала его жена, как ужасно она молчала все последние недели. Если теперь он потеряет и дочь... Но она встает, усилием воли заставляет себя встать, и очень скоро прислуга вновь испытывает на себе ее неуживчивый нрав. Отец же не может скрыть радости, выражается его радость в тихом хихиканье, в шаловливых ласках, в грубоватых шутках. Она с недоумением смотрит на него, а затем вновь возвращается к своим обязанностям. Не понимает она одного: с какой стати взбрело ему в голову заказать ее портрет. «Я стар,— только и твердит он ей,— я старый человек, взгляни на меня». И он стыдливо смеется и отводит глаза. «Мой портрет? — удивляется она.— Мой?! Художнику будет неинтересно меня писать». На это он только пожимает плечами, что поначалу ее смущает, а затем даже немного забавляет: ну хоть бы попробовал настоять на своем. Кажется, он понимает, почему она отказывается позировать, и пытается спорить, однако волнуется, и она, видя, как он суетится, как раздражается, как хватается за манжеты, ловит вдруг себя на мысли, что он и в самом деле постарел. Ее отец — старик. В наблюдении этом есть что-то уныло-комическое, однако объяснить себе, почему это так, она не в состоянии. «У тебя красивые руки,— запальчиво говорит он, сердясь одновременно и на нее, и на себя самого,— как у твоей матери. Мы скажем ему, чтобы он обратил внимание на руки». И вот, чтобы доставить отцу удовольствие, отчасти же из тайного любопытства, она однажды утром является в мастерскую художника. Грязь, убожество — вот что бросается ей в глаза в первую очередь. Кругом пыль, на полу и на мебели пятна краски, на сальной тарелке обглоданные кости, в углу комнаты, на полу — ночной горшок. Не лучше и сам художник: грязный, заляпанный краской халат, черные ногти, багровый, изрытый оспой нос пьяницы. В мастерской дурно пахнет, однако изо рта живописца пахнет еще хуже. Она с облегчением вздыхает: она-то ожидала увидеть юного повесу, с которым опасно иметь дело, а увидела старого, толстобрюхого пьянчугу. Но тут его маленькие, влажные глазки мельком пробегают по ее лицу, и она жмурится, как будто в глаза ей ударил ослепительный свет. Никто еще не смотрел на нее так. Значит, вот он какой, взгляд художника? Есть в нем, в этом взгляде, что-то непристойное. Сначала он ставит ее у окна, но это положение его не устраивает: свет падает не с той стороны. Тогда он начинает водить ее по всей комнате, бесцеремонно хватая за руки выше локтя и переставляя с места на место. Ей бы следовало возмутиться, но она понимает, что здесь ее слова своего действия не возымеют. Он на голову ниже ее. Он начинает делать эскизы, сначала карандашом, потом красками — и велит ей прийти назавтра в то же время. «Да, и наденьте платье потемнее»,— бросает он ей вдогонку. Ну и ну! Ее подмывало сказать ему все, что она о нем думает, но он уже отвернулся и занялся совсем другим делом. Служанка, которая ждет ее у входа в мастерскую, кусает губы, чтобы не рассмеяться. На следующий день она, нарушив договоренность, позировать не приходит и через день тоже — пусть знает. Когда же, на третий день, она все-таки появляется в мастерской, он, ни словом не обмолвившись о пропущенных днях, окидывает придирчивым взглядом ее черное платье (чистый шелк, широкий воротник из испанского кружева) и рассеянно кивает, отчего она приходит

в такое неистовство, что сама себе удивляется. На этот раз он ставит ее перед диваном. «Снимите перчатки,— говорит он,— мне велено написать ваши руки». В его голосе слышится некоторое пренебрежение, и она отказывается. (Только этого еще не хватало!) Он настаивает. Между ними завязывается короткая перепалка, они обмениваются язвительными колкостями, и в конце концов одну перчатку она снять соглашается, после чего тут же прячет руку, которую только что обнажила. Он вздыхает, пожимает плечами, но, поймав на себе ее взгляд, с трудом сдерживает улыбку. По оконному стеклу стекают капли дождя, над крышами стелется дым. В небе большая серебристая дыра. Сначала она нервничает, но затем словно бы переступает через какой-то невидимый барьер, и ею овладевает мечтательный покой. И так каждый день: сначала волнение, затем порыв, а далее тишина и какая-то невесомость, как будто она плывет куда-то, прочь от самой себя. За работой он все время что-то бормочет. Он возбужден: ругается, щелкает языком, вздыхает, охает. Бывает, что он подолгу, утробно сопя, стоит, низко склонившись над холстом, и тогда ей видны лишь его короткие ноги и старые сношенные сапоги. Даже ноги и те пребывают у него в постоянном движении. Ей хочется смеяться, когда он выглядывает из-за мольберта и, прищурившись, шмыгая своим носом-картошкой, сверлит ее колючим взглядом. Смотреть на недописанный портрет, даже мельком, он ей не разрешает. И вот в один прекрасный день с его конца мастерской доносится до нее что-то вроде чуть слышного, но какого-то решительного треска, и он, с выражением усталого раздражения отступив от мольберта, отмахивается от холста и отворачивается, чтобы вытереть кисть. Она подходит и смотрит. Сначала она не видит ничего, так она потрясена — уже одним тем, что он закончил и отвернулся; ей кажется, будто... будто она каким-то образом вышла из самой себя. Минута тянется бесконечно. «Брошка...— изрекает она наконец.— Брошка получилась великолепно...» Звук ее собственного голоса пугает ее; кажется, что за нее говорит кто-то другой. Он смеется — и не ядовито, а с неподдельным удовольствием и, как ей думается, с каким-то даже сочувствием. Тем самым он признаёт... она сама не знает, что́ он признаёт. Она-то думала, что портрет — это все равно что смотреться в зеркало, а с холста на нее глядит кто-то, кого она не узнаёт и в то же время хорошо знает. Она ловит себя на мысли: теперь я знаю, как умирают. Она надевает перчатку и делает служанке знак. Художник что-то бубнит ей в спину, что-то про отца, про деньги, но она не слушает. Она спокойна. Она счастлива. Она чувствует себя онемевшей, опустошенной — улитка одно слово. Она спускается по лестнице, пересекает грязную, погруженную во мрак прихожую и выходит на свет, в будничный мир.

Не попадайтесь на удочку: всему этому также не следует придавать никакого значения.

Я осторожно положил шпагат и оберточную бумагу на пол и только шагнул вперед, как дверь у меня за спиной открылась и в комнату вошла крупная женщина в джемпере и в твидовой юбке. При виде меня — я стоял перед картиной с широко разведенными руками и одновременно смотрел на женщину диким взглядом, пытаясь одной ногой сдвинуть в угол шпагат и бумагу,— она резко остановилась. Пепельные, отливающие синевой волосы, на шее, на тесемке,— очки. Нахмурилась. «Ходить надо вместе с группой,— звонким, хорошо поставленным голосом отчитала она меня,— сколько раз повторять!» Я сделал шаг назад. Человек десять пестро одетых людей сгрудились за ней в дверях и, вытягивая шеи, во все глаза смотрели на меня. «Простите,— неестественно робким голосом проговорил я,— я заблудился». Она нетерпеливо тряхнула головой и, выйдя на середину комнаты, тут же, без остановки, начала вещать нараспев о столах работы Карлена и часах работы Берто, а спустя несколько недель, на допросе в полиции, где ей показали мою фотографию, заявила, что видит меня впервые. Ее подопечные ввалились в комнату, шаркая ногами и исподтишка подталкивая друг друга, чтобы спрятаться от ее сурового взгляда. Они встали, как полагается, полукругом, сцепив, будто в церкви, руки на животе, и начали озираться по сторонам с выражением почтительной безучастности. Какой-то седой тип в гавайской рубахе улыбнулся и подмигнул мне. По правде сказать, я здорово струхнул, у меня вспотели ладони, засосало под ложечкой. Тот душевный подъем, что я испытал по пути сюда, разом испарился, остался лишь горький привкус дурного предчувствия. В первый раз я по-настоящему ужаснулся гнусности задуманного мной предприятия. Я ощущал себя ребенком,

который, заигравшись, очутился вечером в лесу и остолбенел от ужаса: за каждым деревом ему чудятся призраки. Тем временем экскурсовод завершила свою лекцию о сокровищах «золотой» комнаты (портрет, *мой* портрет, удостоился двух предложений и ошибочной атрибуции) и, воздев над головой руку и не переставая говорить, увела свою паству за собой. Они ушли, а я, уставившись на дверную ручку, замер в томительном ожидании: в любой момент эта дамочка могла вернуться и цепко схватить меня за загривок. Где-то во мне тихо, боязливо заскулил чей-то перепуганный голосок. Вообще, мне кажется, суд не вполне отдает себе отчет в том, что по натуре (об этом мне уже приходилось говорить, не так ли?) человек я боязливый и напугать меня ничего не стоит. Но она не вернулась — слышно было, как туристы топочут по лестнице,— и я вновь лихорадочно взялся за дело. Выглядел я в тот момент, наверное, эдаким злодеем из немого фильма ужасов: на лице злобная гримаса, движения судорожные, хищный взгляд из-под кустистых бровей. Хоть и не без труда, я снял портрет со стены, положил его на пол и, стараясь не встречаться глазами с ее испытующим взглядом, стал рвать оберточную бумагу. Никогда бы не подумал, что звук рвущейся бумаги может быть так оглушителен, надсаден,— казалось, в комнате заживо свежуют какого-то гигантского зверя. У меня ничего не получалось, пальцы дрожали, все валилось из рук, листы оберточной бумаги не желали расправляться и скатывались в рулон, нечем было резать шпагат — впрочем, рама была настолько толстой и массивной, а сам портрет — таким громоздким, что завернуть его, даже если б я не волновался, было делом отнюдь не простым. Я ползал на коленях по комнате и что-то бормотал себе под нос, тревожно повизгивая. Все складывалось не так, как хотелось. «Брось,— говорил я себе,— пожалуйста, прошу тебя, брось, пока не поздно», однако мое второе «я», скрежеща зубами, твердило: «Нет, ты не отступишься, ну-ка, трус, вставай, берись за дело». И, повинуясь этому, второму, голосу, я с воем и мычанием вскочил на ноги, обхватил портрет обеими руками и, пошатываясь, тыкаясь в него носом, двинулся к балконной двери. Я чувствовал, что краснею от ее пристального, неотрывного взгляда. И тут... как бы это передать?.. и тут я ощутил, что за этим взглядом скрывается еще чей-то, что за мной следит еще кто-то. Я остановился, опустил картину и увидел *ее* — служанка, как и накануне, неподвижно стояла в дверях, широко раскрыв глаза и подняв одну руку. Хорошо помню, как в голове у меня пронеслось: ну вот ты и попался. Я осатанел. Какое, черт возьми, право имеет мир ставить на моем пути столько препятствий?! Ведь это же несправедливо, несправедливо! «На,— вырвалось у меня,— держи!» — и, вложив ей в руки портрет и развернув ее к себе спиной, я погнал ее перед собой по лужайке. Она ничего не сказала — а впрочем, я бы все равно не услышал. Шла она с трудом: под ногами была трава, в руках — тяжелая картина, куда идти — не видно. Когда она спотыкалась, я подхватывал ее сзади под мышки. Я и впрямь был очень сердит. Мы подошли к машине. Из бездонного багажника воняло рыбой. Внутри лежал традиционный набор предметов таинственного предназначения: домкрат, ключи и прочее (я ведь уже говорил, что с техникой не в ладах), а также грязный старый свитер, который я тогда не сразу заметил: невидимый постановщик всего этого спектакля словно бы невзначай бросил его в угол багажника. Выкинув инструменты на траву, я взял портрет из рук служанки и положил его лицом вниз на затянутое вытертым бобриком дно багажника. Только теперь я впервые увидел его сзади и понял, как картина стара. Триста лет назад холст растянули на побеленной стене и оставили сушить. Я на секунду закрыл глаза: узкая улочка в Амстердаме или Антверпене, солнце пробивается в закопченное окно мастерской, уличные торговцы, перезвон колоколов. Служанка не сводила с меня глаз. У нее были какого-то диковинного цвета глаза: тусклые, фиолетовые и такие прозрачные, что если долго смотреть в них, то казалось, будто видишь ее насквозь. И почему она не убежала? У нее за спиной, у одного из высоких окон второго этажа, сгрудились люди: они таращились на нас, показывали пальцами. Я разглядел очки экскурсовода, пальмы на рубашке американца. Должно быть, я взревел от ярости (как старый лев от взмаха хлыста), ибо служанка вздрогнула всем телом и отшатнулась. Я схватил ее за запястье своей железной клешней и, широко распахнув дверцу машины, без малейшего труда втолкнул на заднее сиденье. Господи, почему она не убежала?! Когда я, бормоча что-то бессвязное и злобно скалясь, сел за руль, то почувствовал какой-то странный, едва слышный металлический запах — так пахнут старые, потертые монеты. Я гля-

нул в зеркало: она сидела прямо за мной, подавшись вперед всем телом и скрючившись, точно ее запихнули в узкую стеклянную банку. Зажата между дверцей и передним сиденьем, локти широко расставлены, пальцы растопырены — чем не застигнутая врасплох героиня душещипательной мелодрамы? И тут я испытал прилив дикого, удушливого нетерпения. Да, именно нетерпения, и еще мучительного замешательства. Меня унизили. Изобличили, вывели на чистую воду. Я был выставлен на всеобщее обозрение: она наблюдала за мной с заднего сиденья, туристы — столпившись у окна, и еще, мнилось мне, десятки, сотни призрачных зевак, явившихся, надо полагать, прообразом той толпы, что скоро, очень скоро с любопытством и ужасом обступит меня. Я включил зажигание и рванул машину с места. От волнения я так спешил, что утратил автоматизм простейших движений. Съехав с травы на брусчатку, я, видимо, слишком быстро отпустил педаль сцепления, и машина забилась в судорогах: капот ходил ходуном, точно зарывающийся в волны нос корабля. Тоскливо чмокали амортизаторы. Стоявшие у окна, надо думать, корчились от смеха. По щеке у меня покатилась капелька пота. Солнце било прямо в глаза, руль нагрелся так, что за него невозможно было взяться. Служанка потянулась к дверной ручке и стала ее теребить, но я огрызнулся, и она тут же отдернула руку и посмотрела на меня расширившимися глазами, как ребенок, которому крепко влетело. У ворот по-прежнему грелся на солнце шофер автобуса. Увидев его, она попыталась было опустить окно, но безрезультатно — вероятно, сломался стеклоподъемник. Тогда она стала колотить по стеклу кулаками. Я резко повернул руль, и машина, чиркнув шинами, неуклюже, с грохотом выехала на шоссе. Теперь мы громко, во весь голос кричали друг на друга, точно выясняющие отношения муж с женой. Она сильно ударила меня в плечо и, вытянув руку, попыталась вцепиться в глаза. При этом большим пальцем она угодила мне в нос, и я испугался, как бы она не разорвала мне ноздрю. Машину бросало из стороны в сторону. Я нажал обеими ногами на педаль тормоза, и мы, плавно съехав в кювет, воткнулись в живую изгородь. Ее отбросило назад. Я повернулся. В руке у меня был молоток. Я оцепенело смотрел на него. Тишина стояла такая, будто оба мы с головой ушли под воду. «Не вздумай»,— сказала она. Сидит скрючившись, как и раньше: забилась в угол, руки согнуты в локтях. Говорить я не мог, меня охватила судорога. Никогда прежде не ощущал я так явственно, с такой грубой силой присутствия другого человека. Теперь, впервые, я имел возможность хорошенько ее рассмотреть: мышиного цвета волосы, плохая кожа, синева под глазами. Внешность у нее была самая заурядная, и в то же время... и в то же время... как бы это сказать... от нее словно исходило сияние. Она закашлялась, выпрямилась и резким движением отбросила назад прядь волос, застрявшую в углу рта.

«Отпусти меня,— сказала она,— иначе тебе не поздоровится».

Орудовать молотком в машине — задача не из легких. Замахнувшись в первый раз, я ожидал услышать гулкий стук, какой бывает от соприкосновения металла и кости,— раздался же глухой шлепок, как от удара по глине или по затвердевшей замазке. «Родничок»,— пронеслось у меня в голове. Я-то думал, что одного хорошего удара будет достаточно, но как показало вскрытие, череп у нее был на редкость крепкий: как видите, ей и тут не повезло. Первый удар пришелся в лоб, прямо над левым глазом. Крови было немного, только блестящая темно-красная вмятинка с попавшими туда волосами. Она передернулась, но сидеть продолжала прямо, слегка покачиваясь и глядя на меня несфокусированным взглядом. Если б вдруг, перегнувшись через сиденье, она не набросилась на меня с воем и кулаками, я бы, очень возможно, на том и остановился. Но тут я вдруг обиделся. Почему мне так не везет? Это же *несправедливо*! Слезы жалости к самому себе навернулись мне на глаза. Я резко отшвырнул ее от себя и, размахнувшись, занес молоток над головой. Удар получился такой силы, что она отлетела к дверце и стукнулась головой об окно; из носа брызнула и побежала по щеке тоненькая струйка крови. Попала кровь и на окно: мелкие, как бусинки, брызги — веером. Она закрыла глаза, отвернулась и, издав горлом низкий, гортанный звук, положила руку на голову, отчего следующий удар — в висок — пришелся на ее пальцы; услышав, как хрустнул один из них, я содрогнулся и чуть было не извинился. «Ох!» — выдохнула она и совершенно неожиданно, как будто внутри у нее все лопнуло, съехала с сиденья на пол.

Опять наступила тишина — звонкая, пугающая. Я вышел из машины

и некоторое время стоял, тяжело дыша. Кружилась голова. Что-то стряслось с солнечным светом — со всех сторон меня окружал подводный мрак. Мне казалось, что от Уайтуотера я отъехал совсем недалеко, и я ожидал увидеть ворота, экскурсионный автобус и шофера, который со всех ног бежит ко мне,— однако стоял я почему-то на совершенно пустом незнакомом шоссе. С одной стороны круто подымалась гора, с другой, за вершинами сосен, виднелись дюны. Наваждение какое-то! Все вокруг, особенно же расплывчатая мерцающая даль и беззаботно убегающая дорога, напоминало наспех намалеванный театральный задник. Тут только я обнаружил, что по-прежнему сжимаю молоток, размахнулся, швырнул его что было силы и, точно завороженный, долго смотрел, как он летит, длинной вибрирующей дугой вращаясь в воздухе,— все дальше и дальше, над голубыми вершинами сосен. А потом меня вырвало — остатками жирного завтрака, который я съел тысячу лет назад, в другой жизни.

Я залез обратно в машину, стараясь не смотреть на то, что в неловкой позе раскинулось на заднем сиденье. Солнечные лучи, бившие в глаза, двоились и троились, и я подумал: уж не треснуло ли лобовое стекло, но потом, приложив руку к лицу, сообразил, что плачу. Это меня подбодрило. И не оттого, что слезы были предвестьем угрызений совести; нет, это был знак какого-то простого, естественного порыва; чувства, которому не было названия, но которое могло оказаться тем последним — и единственным — звеном, что еще связывало меня с обыденностью. Ведь теперь все изменилось, я находился там, где прежде не бывал никогда. Я дрожал, и всё вокруг меня дрожало тоже; окружающие предметы были на ощупь какие-то липкие, вялые, как будто я и все вокруг — машина, дорога, деревья, далекие луга,— как будто все мы, потрясенные, безгласные, соткались из воздуха мгновение назад. Я осторожно, внутренне замирая, повернул ключ в замке зажигания; в эту секунду у меня не было никаких сомнений, что сейчас произойдет нечто совершенно невероятное: раздастся страшный грохот, или небо озарится ослепительной вспышкой, или из-за приборной доски мне на ноги брызнет грязная жижа. Я поехал по середине дороги на второй скорости. Запахи, запахи. У крови был теплый, густой запах. Я хотел опустить окно, но не посмел — испугался: свет снаружи казался влажным и плотным, как желток; мне чудилось, что он забивается в рот, в ноздри.

Я ехал и ехал. От Уайтуотера до города не больше тридцати миль, однако ощущение было такое, что прошло несколько часов, прежде чем показались пригороды. О своем путешествии я почти ничего не помню, то есть не помню, как переключал скорости, как нажимал на газ, как тормозил. Да, я передвигался, но словно бы в хрустальном шаре, бесшумно летя по неведомому, залитому солнцем ослепительному пространству. Ехал я, видимо, очень быстро, ибо запомнилось, как гудел воздух в ушах: тупой, порывистый гул. Скорее всего, двигался я кругами, по одним и тем же узким сельским дорогам. Но вот появились дома, жилые кварталы, беспорядочно разбросанные заводы и супермаркеты величиной с авиационные ангары. Я пялился в лобовое стекло с каким-то сонным оцепенением. Должно быть, у меня был вид человека, который приехал очень издалека и никак не может взять в толк, почему все вокруг и похоже, и не похоже на его дом. Я не знал куда еду; собственно, я никуда и не ехал — я вел машину. Плыть вот так, поворачивая руль одним пальцем, отрешившись от всего, было почему-то очень покойно. Казалось, будто я всю жизнь карабкался на крутую гору, а теперь вот добрался до вершины и блаженно взмыл в небеса. Я чувствовал себя немыслимо свободным. У первого светофора машина остановилась так плавно, точно парила в воздухе. Я находился на перекрестке двух пригородных улиц. Слева, на небольшом, поросшем травой пригорке рос каштан, а дальше тянулся ряд аккуратненьких новых домов. На траве играли дети. Резвились собаки. Светило солнце. Должен сказать, что я всегда питал тайную слабость к таким вот тихим местам, неброским, но остающимся в памяти, где строят, мастерят, копаются в саду. Я откинул назад голову и улыбнулся, наблюдая за игрой детворы. Зажегся зеленый свет, но я не сдвинулся с места. Меня здесь не было, я где-то запропастился, затерялся в каком-то залитом солнцем уголке прошлого. Внезапно, прямо у себя под ухом, я услышал, как кто-то нетерпеливо скребется в стекло. Я подпрыгнул от неожиданности. Какая-то женщина с большим, широким, лошадиным лицом (она напомнила мне мою мать, прости, Господи!) смотрела на меня остановившимся взглядом и что-то говорила. Я приспустил

стекло. Голос у нее был громкий — так, во всяком случае, мне показалось. Я не мог понять, чего она от меня хочет, речь шла о какой-то аварии, она спрашивала, не пострадал ли я. Тут она подалась вперед и, заглянув мне через плечо, приоткрыла рот и застонала. «Боже, бедное дитя!» — вырвалось у нее. Я повернул голову. Теперь все заднее сиденье было в крови — и откуда ее столько у одного человека! На какую-то безумную долю секунды вспыхнула и погасла искра надежды: а что, если действительно была авария, которую я каким-то обазом не заметил или забыл? А что, если какой-нибудь гигантский грузовик врезался в нас и залил сиденье кровью, завалил трупами? Говорить я не мог. Я-то думал, что она мертва,— она же стояла на коленях между сиденьями и водила рукой по стеклу: я отчетливо слышал, как оно скрипит под ее пальцами. Волосы свисали окровавленными прядями, лицо превратилось в восковую маску с медно-красными и малиновыми прожилками. А стоявшая у машины женщина что-то бубнила мне в ухо про телефон, «скорую помощь», полицию-полицию! Я повернулся к ней и злобно оскалился. «Мадам,— веско сказал я (голос мой она впоследствии назовет «культурным» и «властным»),— будьте добры, не вмешивайтесь не в свое дело». Она отшатнулась и в ужасе посмотрела на меня. По правде говоря, я и сам ужаснулся: я никогда не подозревал, что могу говорить таким властным тоном. Я поднял окно, отжал сцепление, рванул машину с места и только тогда — увы, слишком поздно! — заметил, что проехал на красный. Фургон, пересекавший перекресток слева, резко остановился и возмущенно взвизгнул тормозами. Я двинулся дальше, но не проехал и двух кварталов, как увидел, что за мной, с воющей сиреной и бешено вращающимся сигнальным огнем, несется «скорая помощь». Я терялся в догадках. Каким образом могла она так быстро приехать? Впоследствии выяснилось, что это было очередное поразительное совпадение, в этой истории далеко не единственное. «Скорая» искала вовсе не меня, а возвращалась — правильно, с аварии и везла — да, увы! — умирающую женщину. «Скорая» гнала меня перед собой, как зайца; я опустил голову так низко, что едва не касался носом обода руля. В эту минуту меня охватил такой панический ужас, что я вряд ли смог бы остановиться, даже если б захотел. «Скорая» пристроилась мне в спину и, угрожающе мечась из стороны в сторону, оглашенно выла с остервенением взбешенного зверя. Сидевший рядом с шофером санитар, упитанный парень в рубашке с короткими рукавами, с красным лицом и с узкими бачками, глянул на забрызганное кровью окно моей машины с чисто профессиональным интересом. О чем-то посоветовавшись с шофером, он стал делать мне сложные знаки (кивал головой, шевелил губами), чтобы я следовал за ними. Они, вероятно, решили, что и я еду с той же самой аварии — везу в больницу еще одну пострадавшую. «Скорая» обогнала меня и помчалась впереди. Я ехал следом,— скорее по инерции. Перед собой я ничего не видел, кроме этого громоздкого прямоугольного фургона, подымавшего за собой столб пыли и солидно покачивавшегося на рессорах. Но тут «скорая» неожиданно затормозила и нырнула в широкие ворота; из бокового окна появилась рука и сделала мне знак ехать за ними. Вид этой толстой руки и вывел меня из оцепенения. Разразившись идиотским смехом и вдавив педаль в пол, я понесся дальше, мимо больничных ворот, и вскоре вой сирены, теперь испуганный, жалобный, растаял где-то далеко позади. Я вновь был свободен.

Я глянул в зеркало. Она криво сидела на сиденье, свесив голову и сложив руки на коленях ладонями вверх.

Внезапно слева от меня, далеко внизу, возникло море — голубое, неподвижное. Я спустился с крутой горы и поехал по «бетонке», идущей вдоль железнодорожного полотна. Справа от меня, огромный и пустой, вырос розово-белый отель с развевающимися вымпелами на витых, под старинный замок, башенками. Вскоре дорога уперлась в заросшую кустарником и чертополохом болотистую поляну, и я остановился посреди необъятной, непроницаемой тишины. Сзади до меня доносилось прерывистое дыхание. Когда я повернулся, она подняла свою страшную сивиллову голову и посмотрела на меня. «*Помоги мне*,— прошептала она.— *Помоги мне*.— Во рту у нее надулся и лопнул кровавый пузырь.— Томми,— сказала она (или мне послышалось?) и потом: — *Любимый*». Что я почувствовал? Угрызения совести, горе, ужасную... нет, нет, не буду лгать. Не помню, чтобы я что-то вообще чувствовал, разве что испытывал какое-то странное ощущение, будто нахожусь в местах, которые знаю, но не узнаю. Когда я вышел из машины, у меня закружилась голова, и я был вынужден облокотиться на дверцу и прикрыть глаза. Пиджак

был весь выпачкан кровью, я скинул его и швырнул в чахлые кусты — его, кстати, так и не нашли — непонятно почему. Тут я вспомнил про свитер в багажнике и надел его. Пáхнул он рыбой, пóтом и машинным маслом. Я вытащил моток висельной веревки и ее тоже выбросил. Потом вынул из багажника портрет, подошел с ним к покосившемуся забору с колючей проволокой и бросил в канаву с водой. Что я хотел этим сказать? Не знаю. Может, это был акт самоотречения? Самоотречения! Как смею я употреблять такие слова? Дама с перчатками бросила на меня последний отрешенный взгляд. Она-то мне цену знала. Я вернулся к машине, стараясь не смотреть на заляпанные кровью окна. Что-то сверху падало на меня — нежные, бесшумные капли дождя. Я посмотрел вверх, на ослепительный солнечный шар, и увидел облако прямо у себя над головой — не облако даже, а серое пятнышко на ярко-синем летнем небосклоне. «Нет, я не человек»,— подумал я. Повернулся и зашагал прочь.

Часть II

1

Сколько себя помню, мне снится один и тот же сон (да, да, опять сон!), повторяется он раза два в год, и после него у меня на несколько дней остается неприятный осадок. Как и все остальные мои сны, этот тоже никак нельзя назвать сном в обычном понимании слова, ибо в нем все расплывчато, ничего, по существу, не происходит. Весь он сводится в основном к какому-то неясному, но глубокому и постоянно растущему ощущению тревоги, которая постепенно переходит в настоящую панику. Кажется, будто когда-то, очень давно, я совершил преступление. Нет, это, пожалуй, слишком сильно сказано. Я чем-то провинился, а чем — так до конца и остается неясным. Может быть, я что-то нашел (не исключено, что это мог быть труп), припрятал находку и начисто о ней забыл. И вот теперь, спустя годы, преступление раскрыто, и меня вызывают на допрос, хотя прямых улик против меня нет, подозрение на меня не падает. Я лишь проходящий по делу свидетель — один из многих. Говорят со мной мягко, спокойно, подчеркнуто уважительно, какими-то даже скучными голосами. Тот, что помоложе, суетится. На вопросы я отвечаю вежливо, с легкой иронией, улыбаюсь, вопросительно подымаю бровь. «Сегодня,— самодовольно говорю я себе,— твой звездный час, никто бы не смог так искусно отговориться, как ты». Однако со временем (я это замечаю) у того, кто постарше, я начинаю вызывать повышенный интерес, он не сводит с меня своих умных, прищуренных глаз. Должно быть, я сказал что-то лишнее. Но что? Я чувствую, как краснею. Меня охватывает невероятное волнение, я начинаю что-то лепетать, пытаюсь беззаботно хмыкнуть, но чувствую, что лишь судорожно хватаю ртом воздух. Наконец у меня, точно у заводной игрушки, кончается завод, и я смолкаю. Сижу и молча, тяжело дыша, пялюсь на них. Теперь на меня с любопытством смотрит и тот, кто помоложе,— сержант. Воцаряется жуткая тишина, она тянется бесконечно, пока наконец мое сонное «я» не вскакивает и не пускается в бегство,— и я пробуждаюсь в холодном поту. Особенно ужасно во всем этом не то, что меня будут судить и посадят в тюрьму за преступление, которое, возможно даже, я не совершал, а то, что меня попросту выследили. Вот отчего я просыпаюсь в испарине, вот почему во рту у меня гадко, на сердце тяжело.

И теперь, когда я торопливо шел по «бетонке» вдоль железнодорожного полотна, а за спиной у меня шумело море,— я испытывал ту же тяжесть на сердце, то же чувство стыда и унижения. Какой же я был болван! Сколько мне теперь предстоит тяжелых дней, недель, лет! И в то же время я испытывал ощущение какой-то легкости, бодрости, как будто с плеч моих свалился тяжкий груз. Ведь с тех самых пор, как я обрел разум (так это называется?), я делал одно, а думал совсем другое, ибо бремя вещей казалось не в пример более тяжким, чем бремя мыслей. То, что я говорил, никогда не было точным выражением того, что я чувствовал, а то, что чувствовал, никогда не соответствовало тому, что следовало чувствовать,— хотя чувства мои всегда были искренними, естественными... Зато теперь я нанес

удар тому, кто сидел внутри меня, этому толстому балагуру и сквернослову, который не уставал твердить, что живу я ложью. И он, этот великан, этот людоед, наконец-то вырвался наружу; это он мерил сейчас гигантскими шагами залитую лимонным светом дорогу, это у него вся шкура была в крови, я же беспомощно висел у него на закорках. Все разом исчезло, кончилось, осталось позади; вся моя прошлая жизнь, Кулгрейндж, Дафна утратили всякий смысл, лишились значения. Для того чтобы обрести свободу, надо сделать что-то очень плохое, самое худшее. Впредь мне уже никогда больше не изобразить из себя того, кем я не являюсь. От мысли этой голова у меня шла кругом, сосало под ложечкой.

Мне не давали покоя всякие мелочи. Свитер, к примеру, дурно пахнул и был мне мал. Левая штанина лопнула на коленке. Сразу бросалось в глаза, что сегодня я еще не брился. Однако самым большим моим желанием, заветной, можно сказать, мечтой было не побриться и переодеться, а вымыться, погрузить руки по самые локти в крутой кипяток и мыть их, тереть, полоскать, скрести — до бесконечности. Напротив опустевшего отеля находилось несколько обшарпанных серых зданий, которые когда-то были железнодорожной станцией. На платформе росла трава, все окна в сигнальной будке были выбиты. Любовно нарисованная рука на рябой от ржавчины жестяной табличке указывала на крытый цементом блочный домик, расположенный на почтительном расстоянии от платформы. У входа в мужскую уборную росла целая россыпь алых златоцветов. Но я вошел в женскую — соблюдать здесь приличия необходимости больше не было. Повеяло прохладой и сыростью. Внутри стоял запах извести, на стенах росло что-то зеленое и блестящее. Арматура была вырвана с корнем, отсутствовали даже дверцы у кабинок. Правда, по состоянию пола можно было заключить, что заведение не пустует. В углу аккуратной кучкой свалены были самые разнообразные вещи: использованные презервативы, выцветшие тампоны, даже предметы туалета. Стараясь не смотреть в эту сторону, я повернулся и увидел единственный уцелевший кран на зеленой медной трубе, торчавшей из стены, где когда-то находились умывальники. Когда я повернул кран, сначала послышался далекий стон и лязг, а затем, словно нехотя, брызнула струйка ржавой воды. Я тщательно — насколько это было возможно — вымыл руки и вытер их об подол рубашки, однако, уже собираясь уходить, обнаружил кровь между пальцами. Не знаю, откуда она взялась. Возможно, она была и на свитере, даже в волосах. По прошествии времени кровь сгустилась, стала темной и липкой. Почему-то ни пятна крови на сиденье, ни забрызганные кровью стекла, ни ее крик, ни запах смерти не подействовали на меня так сильно, как это темное, похожее на смолу пятнышко. Взвыв с досады, я снова сунул кулаки под кран и стал с остервенением тереть их — бесполезно. Кровь, правда, исчезла, но что-то осталось, и весь день, весь тот долгий день я ощущал у себя между пальцев это пятно — влажное, теплое, таинственное.

Я боюсь подумать о том, что я сделал.

Некоторое время я просидел на платформе, на сломанной скамейке. Какое яркое солнце, синее море, как весело полощутся и хлопают на ветру флаги на башнях отеля! Все было тихо, только морской ветерок гудел в телеграфных проводах и что-то где-то поскрипывало и постукивало. Я улыбнулся. Впал, можно сказать, в детство: сижу и грежу наяву, словно в сказке очутился. Пахло морем, водорослями, песком. Приближался поезд: да, рельсы гудят и подрагивают в предвкушении. Кругом ни души, нигде ни одного человека, только на пляже, на полотенцах растянулось несколько загорающих. Интересно, почему здесь так безлюдно? А может, это мне только так кажется, может, кругом толпы отдыхающих, а я их не замечаю из-за моей склонности оставаться в тени, на заднем плане? Я закрыл глаза: всплыло и тут же вновь бесшумно погрузилось на дно какое-то воспоминание, какой-то образ. Прежде чем образ этот окончательно исчез, я попытался поймать его, запечатлеть, но уловил лишь одно мимолетное ощущение: дверь, ведущая в темную комнату, и таинственное чувство ожидания чего-то или кого-то. В это время прошел поезд; от его тяжелого, перекатывающегося грохота у меня все сотряслось внутри. Пассажиры в широких окнах походили на манекены; медленно проплывая мимо, они провожали меня пустыми взглядами. Тут мне пришло в голову, что надо было отвернуться: теперь ведь любой человек мог стал потенциальным свидетелем. Но потом я подумал, что это значения не имеет: не пройдет и нескольких часов, как я все равно буду в тюрьме. Я озирался по сторонам и глубоко дышал,

жадно впитывая тот мир, что я скоро потеряю. Возле отеля показалась стайка мальчишек, человека три-четыре: они пробежали по неухоженной лужайке и стали кидаться камнями в табличку с объявлением о продаже дома. Я встал, тяжело вздохнул, сошел с платформы и вновь зашагал по дороге.

В город я добрался на автобусе, на этот раз одноэтажном, который ходил очень редко и издалека. Пассажиры, как видно, хорошо знали друг друга. На каждой остановке вновь вошедших встречали смехом и дружескими подначками. Самозваным конферансье этого концерта на колесах был старик в кепке и с костылем. Сидел он впереди прямо за шофером и, выставив свой протез в проход, приветствовал каждого входящего возгласом наигранного удивления и постукиванием костыля. «Ого! Смотрите, кто к нам пожаловал!» — говорил он, оборачиваясь к нам с испуганным видом, словно предупреждая о появлении какого-то чудовища, тогда как в автобус входил всего-навсего угловатый юнец с лицом хорька и с потрепанной «сезонкой», торчавшей из его пальцев наподобие бесцветного языка. С девушками инвалид кокетничал, отчего они краснели и прыскали, а домашних хозяек, ехавших в город за покупками, встречал подмигиваньем и игривыми шуточками насчет своего протеза. Время от времени он бросал на меня мимолетный, испытующий, немного тревожный взгляд — так смотрит со сцены актер, углядевший в первом ряду кредитора. Вообще во всем его поведении было что-то неуловимо театральное. Что же касается остальных пассажиров, то держались они с напускной беззаботностью зрителей на премьере. Да, каждому из них тоже приходилось в некотором роде исполнять свою роль. За болтовней, шутками и фамильярностью скрывалось волнение, в их глазах читались неуверенность и усталость, как будто текст свой они выучили, а вот реплику пропустить боялись. Я наблюдал за ними с неподдельным интересом, чувствуя, что открыл для себя нечто очень важное, хотя, что́ именно, в чем важность моего открытия, я, пожалуй, сказать бы не мог. Интересно, а какая роль в этом спектакле отводилась мне? Не иначе роль рабочего сцены, что стоит в кулисе и завидует господам актерам.

Когда мы добрались до города, я никак не мог решить, где мне сойти, разницы не было никакой. Здесь следует сказать несколько слов о том, в каком положении я оказался. По идее, я должен был бы умирать со страху. В кармане у меня оставались пятифунтовая банкнота и несколько монет — да и то в основном иностранных; я выглядел и пахнул, как бродяга, и идти мне было решительно некуда. У меня не было даже кредитной карточки, с помощью которой я мог бы всеми правдами и неправдами снять номер в гостинице. Но, несмотря на все это, я не мог заставить себя волноваться, испытывать беспокойство. Я пребывал словно в дурмане, в каком-то сонном оцепенении, как будто находился под местным наркозом. А может, таким шоковое состояние и бывает? Нет, в таком состоянии, мне кажется, я находился оттого, что был уверен: в любой момент на плечо мне может опуститься тяжелая рука и громоподобный голос прикажет остановиться. Ведь к этому часу они должны были выяснить мое имя, развесить по городу описание моей внешности, а по улицам уже ходили, надо думать, мужчины с непроницаемыми взглядами и с оттопыривающимися карманами пиджаков. Почему всего этого не было, до сих пор остается для меня загадкой. Беренсы наверняка сразу же сообразили, кого могла привлечь именно эта картина, однако в полицию почему-то заявлять не стали. А улики, целый ворох улик, которые я за собой оставил? Ведь столько людей видели меня в тот день: и Роки, мать и сын, и матрона в гараже, и владелец скобяной лавки, и похожая на мою мать женщина, которая заглянула в машину, когда я, ничего не соображая, стоял перед светофором. Почему все они промолчали? Нет, ваша честь, я вовсе не хочу поощрять потенциальных правонарушителей, однако должен сказать: преступления в наши дни сходят с рук гораздо чаще, чем принято думать. Пройдут «драгоценные дни» (как легко сбиться на штамп!), прежде чем полиция только начнет догадываться, за кем следует установить слежку. Если б с самого начала я не вел себя столь опрометчиво, если б я хоть на минуту остановился и задумался,— сейчас, надо полагать, я был бы не здесь, а где-нибудь в краях более теплых. И вину бы свою я заговаривал не за решеткой, а под высоким южным небом. Но я не остановился и не задумался. Я сошел с автобуса и направился куда глаза глядят, ибо был убежден, что от судьбы не уйдешь,— и от закона, соответственно, тоже. Задержание! В душе я лелеял это

суконное слово. Оно утешало, сулило покой. Я шел, натыкаясь на прохожих, точно пьяный; шел и удивлялся, почему они в ужасе не расступаются передо мной. Кругом все торопилось, все шумело. Несколько раздетых по пояс работяг вгрызались в асфальт пневматическими молотками. Машины злобно рычали и выли, солнце метало молнии, отражаясь в лобовых стеклах, зловеще скользя по крышам автомобилей. Вместо воздуха я вдыхал расплавленное синее марево. Я отвык от больших городов и вместе с тем отдавал себе отчет, что, даже застревая в толпе, я неуклонно продвигаюсь во времени, плыву вперед безо всяких усилий. «Время,— мрачно думал я про себя,— время — вот, что спасет меня». Тринити [1], банк. А вот табачная лавка Фокса, куда мой отец торжественно отправлялся под Рождество за сигарами. Это мой мир — и я изгой в нем. Я чувствовал сильную и в то же время какую-то безличную жалость к самому себе — так жалеют несчастного, заблудшего бродягу. Солнце кровожадным выпученным глазом сверлило улицы. Я купил плитку шоколада и сожрал ее на ходу. Купил я и первый выпуск вечерней газеты, но там ничего не было. Я швырнул ее на мостовую и поплелся дальше. «Эй, мистер!» — какой-то мальчишка подобрал газету и бросился за мной. Я поблагодарил его, он улыбнулся, а я чуть не расплакался. Стою эдаким увальнем посреди улицы и осовело таращусь по сторонам. Меня обходили, толкали со всех сторон, мелькали лица, локти. В этот момент, как никогда раньше, я ощущал полную свою беспомощность, нутряной страх. Я решил сдаться. И почему только мне это раньше не приходило в голову? Мысль эта представлялась мне сейчас необычайно соблазнительной. Я живо вообразил себе, как меня осторожно берут за руки и ведут через прохладные белые комнаты — туда, где ждут меня тишина и покой, упоительная расслабленность.

Но сдаваться я не пошел. Я пошел в паб Уэлли.

Паб был закрыт. Я ничего не понимал. В первый момент у меня возникла дикая мысль, что закрыли его не случайно — выяснили, видимо, что накануне я был там. Я несколько раз подергал дверь, заглянул за матовое стекло, но внутри было темно. Я отошел. По соседству с баром располагался магазинчик модного платья. В дверях — неподвижно, с отсутствующим, точно у кукол, видом — стояли две бледные, тонкие, как лианы, девицы. Когда я заговорил с ними, они, безо всякого интереса, как по команде, подняли на меня свои подведенные глаза. «Мертвый час»,— сказала одна из них, а другая захихикала. Я глупо улыбнулся, вернулся к пабу и с удвоенной энергией принялся колотить в дверь. Спустя некоторое время внутри послышались шаркающие шаги и звон ключей. «Что надо?» — гаркнул Уэлли, жмурясь на солнце. Он был в ярко-красном шелковом халате и в стоптанных шлепанцах. Брезгливым взглядом он окинул мой грязный свитер и двухдневную щетину. Я объяснил, что у меня сломалась машина и мне надо позвонить. «Позвонить?» — Уэлли издевательски хмыкнул, как будто ничего смешнее он давно не слышал. А впрочем, все равно пора было открываться. Я последовал за ним. Икры у него были полные, белые, без единого волоска — совсем недавно я где-то видел такие же. Уэлли зашел за стойку и включил лампу с розовым абажуром. «Вот телефон»,— сказал он, махнув рукой и язвительно поджав губы. Я спросил, могу ли я сначала выпить джину. Он удовлетворенно фыркнул и позволил себе едва заметно улыбнуться. «Тачку, значит, стукнул?» — поинтересовался он. В первый момент я даже не понял, о чем идет речь. «Стукнул? Нет, нет, она просто встала»,— поспешил сказать я, а сам с угрюмым удовольствием подумал: «Надо же, в первый раз не соврал!» Похожий в своем алом одеянии на священника, Уэлли отвернулся налить мне джину, поставил стакан передо мной на стойку, а сам присел на краешек высокого табурета, сложив на груди толстые руки. Он понимал, что у меня что-то случилось,— это было видно по выражению его глаз, жадному и в то же время пренебрежительному, но спросить меня напрямик не решался. Я ему улыбнулся, отхлебнул джину и, решив, что задавать вопросы лучше, чем отвечать на них, сказал: «Хорошая штука сиеста, правда?» Он вопросительно приподнял одну бровь. Я ткнул пальцем в его халат и повторил: «Вздремнуть, говорю, в середине дня не мешает, а?» Но Уэлли, по всей видимости, ничего забавного в этом не находил, тем более что у меня за спиной совершенно неожиданно возник из темноты какой-то взъерошенный юнец, вся одежда которого состояла из приспущенных трусов. Он

[1] Тринити-колледж (колледж Святой Троицы) — старейший Дублинский университет, цитадель протестантского мировосприятия в католической Ирландии.

бросил на меня усталый взгляд и спросил Уэлли, нет ли еще газеты. «Вот,— сказал я,— возьми мою. Бери». Должно быть, по дороге я, сам того не замечая, скрутил ее в трубочку, и сейчас газета напоминала толстый корабельный канат. Юнец развернул ее и, шевеля губами, стал читать заголовки, приговаривая: «Террористы поганые! Ублюдки! Психи!» Уэлли бросил на него испепеляющий взгляд, после чего юнец швырнул газету на стойку и, почесав спину, лениво удалился. Я поставил перед Уэлли пустой стакан. «Мы пока еще бесплатно не наливаем,— буркнул он.— За неимением лучшего, готовы деньги принять». Я протянул ему заветную пятерку. Тут сквозь щель в ставне в комнату проник и косо встал со мной рядом длинный солнечный луч. Пока Уэлли вновь наполнял мой стакан, я не сводил глаз с его жирной спины. А может, рассказать ему, что́ я учинил? В самом деле, почему бы и нет? Ведь такого, как Уэлли, пытался уговаривать я сам себя, ничем не проймешь. Я уже представил себе, как он, оттопырив нижнюю губу и приподняв бровь, без тени улыбки выслушивает мою жуткую историю. Мысль о том, чтобы во всем признаться, несколько меня раззадорила: было в этой мысли что-то замечательно безответственное. В результате все происшедшее становилось чем-то вроде анекдота, шуткой, которая, впрочем, слишком далеко зашла. Я мрачно хмыкнул. «Выглядишь ты, как кусок дерьма»,— благодушно сказал Уэлли. Я заказал еще одну порцию джина, на этот раз двойную.

Прямо мне в ухо ее голос отчетливо произнес: «Не надо».

Вернулся взъерошенный юнец, на этот раз он был в джинсах в обтяжку и в приталенной рубашке изумрудного цвета. Звали его Сынок. Уэлли поставил его за стойку, а сам, наступая на развевающиеся полы халата, отправился на свою половину. Сынок щедрой рукой налил себе crème de menthe [1], побросал в бокал кубики льда, забрался на высокий табурет, поерзал на нем своими узкими маленькими ягодицами и внимательно посмотрел на меня без особого, впрочем, воодушевления. «Ты здесь на новенького», — сказал он, словно в чем-то меня обвиняя. «Из нас двоих на новенького здесь ты»,— отпарировал я и хмыкнул, довольный собой. Сынок глядел на меня широко раскрытыми глазами. «Что ж, извини,— сказал он,— извини, не знал». Вернулся Уэлли — он оделся, причесался и распространял теперь сильнейший запах помады. Я заказал еще один двойной джин. Я чувствовал, как натягивается на скулах кожа; ощущение было такое, будто на лице у меня грязевая маска. Я достиг той стадии опьянения, когда реальность воспринимаешь совсем в другом свете. Пьянство представлялось мне теперь своего рода осведомленностью, почти что здравомыслием. В паб, приплясывая и что-то оживленно обсуждая, ввалилась компания актеров. Они посмотрели на мой свитер, потом переглянулись и покатились со смеху. «Человек сложной судьбы»,— изрек один из них, и Сынок захихикал. А я подумал: «Надо бы с кем-нибудь из них договориться, пусть отведут меня к себе и спрячут. Хотя бы вон с той, с леди Макбет, у которой грим не смыт и ярко-красный маникюр. Или вон с тем улыбчивым парнем в рубашке арлекина — почему бы и нет? Так и поступлю: жить буду среди актеров, играть вместе с ними, постигать их ремесло. Овладею высоким искусством мимики и жеста. Как знать, может, со временем научусь и свою собственную роль исполнять хорошо, убедительно — тогда уж не ударю лицом в грязь перед этими придурками в автобусе...»

Только когда в дверях появился Чарли Френч, я понял, кого я все это время ждал. Старина Чарли! Сердце мое переполнилось любовью к нему, мне хотелось его обнять. Он, как всегда, был в полосатых брюках и с потрепанным толстым, солидным портфелем. Хотя виделись мы с Чарли всего три дня назад, поначалу он притворился, что не узнает меня. А может, и действительно не узнал — вид-то у меня был не ахти. «А я думал, ты в Кулгрейндж поехал»,— сказал он. Я ответил, что был там, и он спросил про мать. Я рассказал, что у нее был удар, и, кажется, даже немного сгустил краски — чуть ли не прослезился. Он кивнул, глядя мимо моего левого уха и гремя мелочью в кармане брюк. Последовала пауза, я сопел и шумно вздыхал. «Что ж,— бодрым голосом прервал он молчание,— опять, значит, отправляешься путешествовать?» Я пожал плечами. «У него тачка сломалась»,— вставил Уэлли и гнусно хохотнул. Чарли нахмурился, изобразив на лице сочувствие. «В самом деле?» Он говорил медленно, растягивая слова, без модуля-

[1] Greme de menthe — мятный ликер *(франц.)*.

ций. За столиком, где сидели актеры, раздался взрыв смеха, да такого громкого, что зазвенели бокалы, но Чарли даже не шелохнулся. Для подобных мест и ситуаций он выработал определенную манеру поведения, научился и присутствовать, и отсутствовать. Он стоял очень прямо, сдвинув свои черные штиблеты и прижав портфель к бедру; одна рука сжата была в кулак и покоилась на стойке (так я вижу его в этой позе!), а другая подносила к губам стакан виски — казалось, он заглянул сюда по ошибке, однако слишком хорошо воспитан, чтобы уйти, не пропустив стаканчик и не обменявшись любезностями с завсегдатаями. Он умел пить всю ночь с таким видом, будто в любую минуту может встать и покинуть помещение. Да, Чарли способен всех их заткнуть за пояс.

Чем больше я пил, тем больше любил его, ведь он, ко всему прочему, исправно платил за мой джин. Да и в джине ли дело? Я и впрямь искренне любил и продолжаю любить его — об этом, впрочем, уже, кажется, упоминалось. Я не говорил, что это он устроил меня на работу в институт? Мы поддерживали связь, когда я учился в колледже, хотя правильней будет сказать, что *он* поддерживал связь со *мной*. Чарли любил изображать из себя старшего товарища, умудренного опытом старого друга семьи, который присматривает за единственным — и талантливым — сыном своих старинных друзей. Он всячески развлекал меня: водил пить чай в «Хибэрниен», брал на увеселительные прогулки в Курраг, угощал в мой день рождения обедом в «Джаммете». Однако задушевные отношения из-за нарочитости, продуманности этих мероприятий между нами не складывались. Я всегда боялся, как бы кто-нибудь не увидел меня с ним, поэтому дулся и не находил себе места, а он впадал в состояние тревожного уныния. Когда же приходило время расставаться, разговор неожиданно оживлялся — ни он, ни я не скрывали облегчения и с виноватым видом расходились каждый в свою сторону. Однако это его не остановило, и уже на следующий день после нашего с Дафной возвращения из Америки он пригласил меня в отель «Шелборн» выпить по стаканчику и поинтересовался, не хотел бы я, как он выразился, «подсобить ребятам из института». Я еще не вполне пришел в себя от изматывающего морского путешествия — была зима, да и пароход оказался хуже некуда, он же был так осторожен, выражался так туманно, столько не договаривал, что я не сразу понял: ведь он предлагает мне работу. Институт, поспешно заверил он меня, находится буквально в двух шагах от моего дома; да это и работой не назовешь: для такого, как я, это будет развлечение, а не работа; платят при этом вполне прилично, возможности — неограниченные. Я-то, разумеется, сразу понял и по его просительному тону, и по собачьим глазам, что действует он по наущению моей матери. «Ну-с,— говорил он, напряженно улыбаясь и демонстрируя свои большие желтые зубы,— что скажешь?» Сначала все это меня раздражало, но потом показалось забавным. «Почему бы и нет?» — подумал я.

Если суд не возражает, я ненадолго остановлюсь на этом периоде своей жизни. Это время — не могу даже сказать почему — по-прежнему является для меня источником какой-то смутной тревоги. У меня такое чувство, будто я поступил нелепо, согласившись на эту работу. Разумеется, она была недостойна меня, моего таланта, но только этим унижение, которое я испытываю и по сей день, не объяснишь. Возможно, это был момент в моей жизни, когда... нет, все это вздор, нет никаких моментов, я уже говорил об этом. Есть лишь беспрестанная, медленная, бездарная инерция, и если раньше у меня еще были сомнения на этот счет, то институт их окончательно развеял. Располагался он в величественном сером каменном здании прошлого века, которое своими крыльями, опорами, своим причудливым орнаментом и почерневшими трубами всегда напоминало мне огромный устаревший океанский лайнер. Никто толком не мог сказать, какие задачи перед нами ставились. Мы занимались статистическими исследованиями и выпускали толстые отчеты, изобилующие графиками, таблицами и многостраничными приложениями. Правительство не уставало хвалить нас «за проделанную работу» — и начисто о ней забывало. Директором института был большой, очень шумный человек; он со свирепым видом сосал огромную черную трубку, у него дергался левый глаз, а из ушей лезла буйная растительность. Он стремительно носился по институту и все время норовил куда-то уехать. На все наши вопросы и просьбы директор отвечал хриплым, обреченным каким-то смехом. «Попробуйте поговорить с министром!» — кричал он просителю на ходу и, убегая, обдавал его искрами и густым клубом табачного дыма. Неудивительно, что процент безумцев в нашей

организации всегда был очень высок. Работники института не знали своих обязанностей, а потому потихоньку занимались реализацией собственных проектов. Один наш сотрудник, экономист, высокий, чахлый, с зеленоватым лицом и всклокоченными волосами, разрабатывал, например, надежную, математически выверенную систему игры на ипподроме. Однажды он остановил меня в коридоре и, лихорадочно вцепившись дрожащей своей ручонкой мне в запястье и прильнув к моему уху, начал свистящим шепотом уговаривать меня опробовать его систему «в деле», но затем что-то, как видно, произошло — уж не знаю, что именно,— он меня в чем-то заподозрил и в конечном счете перестал даже со мной раскланиваться, стал меня избегать. Было это очень некстати, так как он принадлежал к той привилегированной группе ученых мужей, с которыми мне приходилось ладить, чтобы иметь доступ к компьютеру — центру всей нашей институтской жизни. Время работы на нем было расписано по минутам, и редко кому удавалось просидеть за компьютером целый час кряду. Из огромной белой комнаты в подвале, где он был установлен, круглосуточно слышалось его глухое, мерное гудение. По ночам за ним присматривала таинственная и зловещая троица: один тип постарше, на вид военный преступник, и двое помоложе, оба со странностями, у одного — изуродованное лицо. Три года я просидел в этом заведении. Сказать, что я ощущал себя очень уж несчастным, нельзя — просто, как уже говорилось, я испытывал (и испытываю по сей день) какую-то неловкость, неудобство от своего пребывания там. И Чарли Френчу я этого не простил.

Когда мы вышли из паба, была уже ночь — хрупкая, стеклянная. Я был очень пьян, и Чарли вел меня. Помню, он волновался за свой портфель и судорожно прижимал его к груди. Я то и дело останавливался и говорил ему, какой он хороший. «Нет,— я внушительно подымал руку,— нет, я просто не могу не сказать этого: вы хороший человек, Чарльз, хороший человек». Монологами, естественно, дело не ограничивалось, я и горько рыдал, и давился, и даже несколько раз принимался блевать. Упоительная, мрачная, незабываемая прогулка! Я помнил, что Чарли живет вместе со своей матерью, и всплакнул по этому поводу тоже. «Как она? — тоскливо восклицал я.— Скажите, Чарли, как она, эта святая женщина?» Какое-то время он отмалчивался, делая вид, что не слышит, однако я не отставал, и в конце концов, с раздражением тряхнув головой, он процедил: «Да она умерла!» Я полез к нему с поцелуями, но он вырвался и прибавил шагу. Мы подошли к дыре в асфальте, отгороженной красно-белой ленточкой. Ленточка подрагивала на ветру. «Вчера на этом месте взорвалась бомба»,— сказал Чарли. Вчера! Я громко засмеялся и, смеясь, опустился перед ямой на колени и закрыл лицо руками. Вчера! Последний день прежней жизни. «Постой,— сказал Чарли,— пойду поймаю такси». Он ушел, а я, по-прежнему стоя на коленях, стал качаться из стороны в сторону и что-то мурлыкать себе под нос, как будто держал на руках младенца. Я устал. День получился длинный. Я далеко зашел.

2

Проснулся я оттого, что в лицо мне било солнце, а в ушах стихал душераздирающий крик. Широкая продавленная кровать, коричневые стены, запах сырости. Я решил, что я в Кулгрейндже, в родительской спальне. С минуту я лежал не двигаясь, глядя на скользящие по потолку солнечные блики. Потом, все вспомнив, зажмурился и закрыл голову руками. Темно, гулко. Я встал, с трудом подошел к окну и обомлел: такими ярко-синими, такими невинными были небо и море. На горизонте виднелись паруса, поворачивающиеся по ветру. Прямо под окном находилась миниатюрная, выложенная камнем гавань, а за ней делало вираж прибрежное шоссе. Неизвестно откуда возникшая огромная чайка пронзительно кричала и молотила крыльями по стеклу. «Решили, должно быть, что ты мама,— раздался у меня за спиной голос Чарли. Он стоял в дверях в грязном фартуке.— Она ведь кормила чаек»,— пояснил он. Ослепительный, непроницаемый свет за его спиной. И в этом мире, в этом обжигающем, неотвратимом свете мне предстоит теперь жить. Я опустил глаза и обнаружил, что стою совершенно голый.

Я сидел в просторной кухне под большим закопченным окном и смотрел, как Чарли готовит завтрак в облаке густого, едкого дыма. При дневном свете выглядел он неважно: лицо серое, щеки ввалились, на подбородке хлопья высохшей пены для бритья, под бесцветными глазами набухшие мешки. Под фартуком у него была шерстяная домашняя кофта, надетая прямо на грязную «сетку», и отвисшие, мятые фланелевые брюки. «Дождется, пока я уйду,— говорил он,— и бросит им еду за окно.— Он покачал головой и засмеялся.— Ужасная была женщина, ужасная». Он поставил передо мной тарелку с ломтиками бекона, зажаренным хлебом и яичницей. «Давай перекуси — полегчает»,— бросил он. «Полегчает?!» Уж не сболтнул ли я что-то спьяну вчера вечером? Нет, вряд ли, Чарли не стал бы прохаживаться по этому поводу. Он вернулся к плите и, чиркнув спичкой, закурил.

«Знаете, Чарли,— сказал я,— я тут влип в историю...»

Сначала я подумал, что он меня не слышит. Он весь как-то сник, на лице появилась мечтательная отрешенность, рот приоткрылся и слегка скривился, брови поднялись. Тут только я понял, что молчит он из вежливости. Ну что ж, не хочешь знать — не надо. И все же мне хотелось бы, милорд, чтобы это занесли в протокол: если б он готов был меня выслушать, я бы обязательно все ему рассказал. Поскольку же сам он инициативы не проявлял, я выдержал паузу, а затем попросил его одолжить мне бритву, а также, если можно, рубашку и галстук. «Конечно, о чем речь»,— отозвался Чарли, однако в глаза мне старался не смотреть. Собственно, глаза он отводил все время, с тех самых пор как я встал; он суетился, бегал взад-вперед с чайником и с кастрюлькой, но в мою сторону не смотрел, словно боялся, что, остановись он, встреться со мной глазами,— и между нами возникнет какая-то неловкость, с которой он не сможет справиться. Что-то, думаю, он заподозрил. Он ведь неглуп. (Во всяком случае, не настолько глуп.) А может, просто мое присутствие было для него в тягость. Он то и дело переставлял на столе посуду, убирал вещи в комоды и в буфеты, а через минуту, что-то бормоча себе под нос, снова зачем-то их извлекал. В этом доме люди бывали нечасто. Чарли вновь, как и накануне, вызывал у меня сентиментальные чувства. В этом грязном фартуке, в старых войлочных шлепанцах было что-то почти материнское. Уж он-то не бросит меня в беде. Я залпом выпил чай и угрюмым взглядом окинул простывшую яичницу с беконом. Внизу загудела машина, и Чарли, охнув, скинул фартук и опрометью вылетел из кухни. Слышно было, как он суматошно бегает по всему дому. Не прошло, однако, и нескольких минут, как он появился вновь, в своем полосатом костюме, с портфелем под мышкой и в маленькой лихо заломленной шляпе, в которой он похож был на суетливого ипподромного «жучка». «Где ты остановился? — спросил он, хмуро посмотрев на пятно на моем левом плече.— В Кулгрейндже или?..» Я ничего не ответил, только умоляюще посмотрел на него, и он сказал: «А...», медленно кивнул и так же медленно вышел. Внезапно для самого себя (я не хотел, чтобы он уходил,— не оставаться же одному!) я бросился за ним следом, заставил его вернуться и объяснить, как включается плита, где лежит ключ и что делать, если принесут молоко. Видно было, что он несколько озадачен, даже напуган моей настойчивостью. Я пошел за ним в прихожую и продолжал говорить даже тогда, когда он направился к выходу, пятясь задом и настороженно, с застывшей улыбкой кивая мне, как будто я был... ха! чуть было не сказал... опасным преступником. Едва он вышел, я взлетел по ступенькам в спальню и стал смотреть из окна, как он идет по дорожке; сверху, в своей сдвинутой набекрень шляпке и в мешковатом костюме, он походил на клоуна. У тротуара его поджидал большой черный автомобиль, из двойной выхлопной трубы вырывался прозрачный голубой дымок. Шофер, осанистый мужчина без шеи, в темном костюме, стремительно выскочил из машины и открыл заднюю дверцу. Чарли поднял глаза на окно, у которого стоял я, и шофер поглядел туда же. Я увидел себя их глазами: смазанные черты лица за стеклом, тусклый взгляд, щетина — беглый каторжник, да и только. Автомобиль плавно тронулся с места, выехал на шоссе за гаванью, свернул за угол и исчез из виду. Я не шелохнулся. Хотелось простоять так, прижавшись лбом к стеклу, весь день. Как же чудно все это выглядит: белые барашки на синей глади моря, бело-розовые дома, неясные очертания мыса на горизонте; все чудно и безмятежно, словно игрушечный город, выставленный в витрине магазина. Я закрыл глаза, и из глубин памяти опять всплыл все тот же эпизод: дверь, за дверью темная

комната и ощущение чего-то неумолимо надвигающегося — только теперь мне казалось, что это не из моей жизни.

Тишина у меня за спиной разрасталась, точно опухоль.

Я сбегал вниз, на кухню, схватил свою тарелку с яичницей и посеревшим беконом и, перескакивая через три ступеньки, вновь поднялся наверх, открыл окно и выбрался на узкий железный балкончик. Подул сильный теплый ветер, я вздрогнул и на мгновение задохнулся. Взяв с тарелки несколько кусков, я подбросил их в воздух; чайки накинулись на богатую добычу, хрипло крича от изумления и жадности. Из-за мыса бесшумно возник переливающийся на солнце белый пароход. Когда тарелка опустела, я, сам не знаю зачем, выбросил и ее тоже — метнул, как мечут диск. Перелетев через дорогу и через стену гавани, она с легким всплеском скользнула в воду. Тепловатый жир застыл у меня между пальцев, засохший желток забился под ногти. Я проник обратно в комнату и вытер руки о простыню — сердце у меня учащенно билось от возбуждения и отвращения. Я не понимал, что делаю, что буду делать через минуту. Я не понимал сам себя. Я стал чужим,— непредсказуемым и опасным.

Я обследовал дом. Прежде мне никогда здесь бывать не приходилось. Дом был громадный, с темными занавесками, громоздкой коричневой мебелью и залысинами на коврах. Строго говоря, назвать его грязным было нельзя, однако чувствовалась в нем затхлость, обездвиженность, какая бывает, когда вещи слишком долго стоят на одних и тех же местах; чувствовалось, словом, что его жизненная энергия давно уже израсходована. В доме стоял запах плесени, спитого чая, старых газет и — по углам — выдохшийся, сладковатый запах, который оставила в память о себе матушка Френч. Представляю, как вы будут покатываться со смеху, если я скажу, что щепетилен, но это так. Мне стало не по себе еще до того, как я начал рыться в вещах Чарли: я боялся, как бы чего там ни найти. Его печальные маленькие тайны наверняка были ничем не хуже моих или чьих-то еще, и все же, когда я, отвалив камень, их обнаруживал, то содрогался, мне становилось стыдно — и за него, и за себя. Однако я отбросил стыд, ожесточился, проявил настойчивость, и в конце концов упорство мое было вознаграждено. В его спальне стоял секретер с убирающейся крышкой, с которым пришлось как следует повозиться. Прежде чем удалось открыть его, я минут десять орудовал кухонным ножом, становился на корточки, обливался потом из чистого спирта. Внутри я обнаружил несколько банкнот и пластиковый бумажник с кредитными карточками. Были тут и письма (в том числе и от моей матери), написанные лет тридцать — сорок назад. Читать эти письма я почему-то не стал, аккуратно сложил их вместе с кредитными карточками и — поверите ли? — деньгами и вновь запер секретер. Выходя из комнаты, я обменялся застенчивой улыбкой со своим отражением в зеркале. Нет, что ни говори, а немец (забыл его имя) был прав: деньги — это абстрактное счастье.

Ванная комната находилась между первым и вторым этажом и представляла собой нечто вроде пристройки с газовой колонкой и похожей на гигантскую ступню ванной. Склонившись над умывальником и орудуя бритвой Чарли со следами мыльной пены, я принялся соскабливать двухдневную щетину. Сначала я решил было отпустить — в целях конспирации — бороду, но потом передумал: я и без того себя потерял, не хватает еще лишиться лица. В вогнутой серебристой поверхности бритвенного зеркальца мои увеличенные черты — квадратный подбородок с ямочкой, одна черная ноздря с торчащими волосками, вращающийся зрачок — угрожающе подпрыгивали и покачивались, точно подводные чудовища в иллюминаторе батисферы. Побрившись, я залез в ванну, пустил воду и закрыл глаза, испытав одновременно и блаженство, и обжигающую муку; если б горелка не погасла, я пролежал бы так, вероятно, весь день — потерянный для себя и для всего кругом в этом ревущем гробовом мраке. Когда я открыл глаза, перед моим взором плясали и лопались крошечные звездочки. Я прошлепал, оставляя на полу мокрые следы, в комнату Чарли и долгое время выбирал, что бы надеть. В конечном счете выбор мой остановился на темно-синей шелковой рубашке, довольно двусмысленного вида галстуке в цветочек, черных носках (тоже, разумеется, шелковых — Чарли не из тех, кто на себе экономит) и темных брюках, мешковатых, но хорошего покроя, из тех старомодных вещей, что всегда могут вновь войти в моду. Пока что обойдусь без белья, решил я; ведь даже у скрывающегося от правосудия убийцы могут быть свои принципы — мои же строго запрещали мне ходить в чужих трусах. Свою собствен-

ную одежду (она была свалена на полу и словно ждала, чтобы ее очертили мелом) я собрал в узел, отнес, брезгливо отвернувшись, на кухню и запихнул в пластиковый пакет для мусора. Потом я помыл и вытер посуду и вышел на середину кухни с грязным полотенцем в руках; но тут перед моими глазами отчетливо, точно на выставочном стенде, возникло ее окровавленное лицо, и мне пришлось сесть. Я дрожал всем телом: ведь я, вы поймите, то и дело забывал о ней, и забывал надолго. Моему рассудку, чтобы справиться с ситуацией, нужна была передышка. Усталым взглядом я окинул большую сырую кухню. Интересно, заметит ли Чарльз пропажу тарелки? Почему я бросил ее в море? Зачем это сделал? Еще не было полудня. Время разинуло передо мной свою черную пасть. Я вошел в столовую (тюлевые занавески, огромный обеденный стол, чучело совы под стеклянным колпаком) и остановился у окна, глядя на море. Было во всей этой синеве что-то грозное, пугающее. Я ходил по комнате, останавливался, с замирающим сердцем прислушивался. Что я ожидал услышать? Снаружи все было тихо, разве что изредка доносился далекий шум чужой жизни, легкое постукиванье и потрескиванье, какое бывает, когда остывает мотор. Такие же дни бывали у меня в детстве, странные, пустые дни, когда я бесшумно бродил по умолкшему дому и сам себе казался привидением, чем-то иллюзорным: воспоминаньем, тенью другого, более цельного себя, живущего, ох, живущего припеваючи где-то совсем в другом месте.

Мне нужно прерваться. Я устал. Устал от себя, от всего этого.

Время. Дни.

Продолжай, продолжай.

Теперь-то я знаю, что такое омерзение. Позвольте мне сказать пару слов об омерзении. Вот он я: сижу голый под своей тюремной робой; ком бледной плоти, плохо нашпигованная колбаса. Встаю и хожу по камере на задних лапах — привязанный зверь, что оставляет за собой, куда бы он ни шел, невидимый снежный след перхоти. На мне живут клещи, лакают мой пот, проникают своими хоботками мне в поры, высасывают из меня соки. А кожа: пупырышки, трещины, щели. Волосы — подумайте о волосах. А ведь это лишь снаружи. Представьте только, что происходит внутри: красная помпа вздрагивает и хлюпает, легкие трепещут, и где-то в потайных глубинах бесперебойно работает фабрика по производству густой, клейкой массы... Живая падаль, скользкая от слизи, еще не созрела для червей. Ах, надо бы...

Спокойно, Фредерик. Спокойно.

Сегодня ко мне приходила жена. Ничего необычного в этом нет — приходит она каждую неделю. Как подследственный я имею право на неограниченное число посещений — но этого я ей не сказал, а она, даже если знает, молчит. Нам так удобнее обоим. Даже когда ничего особенного не происходит, эти часовые свидания по четвергам представляют собой странный, чтобы не сказать жуткий, ритуал. Проходит он в большой квадратной комнате с маленькими окнами под высоченным потолком. Перегородка из стекла и фанеры (изобретение необычайно уродливое) отделяет нас от наших незабвенных, с которыми мы разговариваем (если это можно назвать разговором), через дезинфицирующий пластиковый фильтр. Карантин такого рода — выдумка недавняя. Нас уверяют, что приспособление это задумано для того, чтобы наши близкие не передавали нам «с воли» наркотиков, однако я-то думаю, что истинный его смысл в том, чтобы *мы* не передавали нашим близким те занятные вирусы, что последнее время распространились за решеткой. В комнате для посещений есть что-то от аквариума: бутылочного цвета стены, свет, льющийся из-под самого потолка, и голоса́, которые доходят до нас через пластиковую решетку-фильтр, как будто с нами говорят сквозь воду. Мы, заключенные, сидим ссутулившись, тяжело опираясь на сложенные на столе руки; лица у нас бледные, щеки дряблые, в глазах туман; если посмотреть на нас сверху, то похожи мы на раков, раскорячившихся на дне бака. Наши посетители существуют в совершенно ином измерении, их облик отчетливее, яснее; в своем мире они укоренены глубже, чем мы — в своем. Иногда мы ловим в их взгляде смесь любопытства и сострадания, а также чуть заметную брезгливость, которая ранит нас в самое сердце. Они должны чувствовать силу нашей тоски, буквально слышать ее — заунывное, на высокой ноте комариное гудение чистой скорби за стеклянной перегородкой. Их

забота о нашей участи скорее удручает нас, чем утешает. Мы ждем этого часа всю неделю и хотим поэтому спокойствия, благопристойности, приглушенных голосов. Мы же постоянно пребываем в напряжении, боимся, что чья-то жена или подруга вдруг устроит сцену, закричит, начнет бить кулаками по перегородке, рыдать. Когда происходит такое, мы все ужасно расстраиваемся, и впоследствии тот, *с кем* это происходит, вызывает у нас живейшее сочувствие и трепет, как будто его постигла тяжелая утрата.

Бояться, что сцену устроит Дафна, не приходится. Она всегда сохраняет поразительную выдержку. Вот и сегодня, рассказывая о нашем сыне, она говорила спокойно, смотрела в сторону со свойственной ей легкой рассеянностью. Должен признаться, я на нее рассердился — и не скрывал этого. Надо было предупредить, что она собирается его обследовать, а не сообщать диагноз, поставив меня перед фактом. Дафна окинула меня насмешливым взглядом, склонив голову набок и почти что улыбаясь: «Ты что, не ожидал?» Я сердито отвернулся и ничего не ответил. Разумеется, ожидал. Я знал, всегда знал, что с ним что-то неладно; знал и говорил ей об этом задолго до того, как она признала мою правоту. С самого начала было что-то странное в его походке, настороженной, шаткой; он перебирал своими маленькими, трясущимися ножками, как будто изо всех сил старался не уронить какую-то большую, тяжелую вещь, опущенную ему в руки; было что-то жалкое в том, как он смотрел на нас снизу вверх испуганно и просительно, точно какой-то зверек, выглядывающий из своей норки. «Куда ты его водила? В какую больницу? Что они сказали?» Она пожала плечами: «Со мной они держались очень мило, даже трогательно». Врач долго с ней разговаривал. Это очень редкое заболевание, чей-то синдром, забыла чей, то ли швейцарца, то ли шведа — один черт! Он никогда не заговорит, как все. И вести себя, как все, не будет тоже. У него что-то с мозгом, чего-то там не хватает, чего-то жизненно важного. Она все это мне объясняла, приводила слова доктора, но слушал я ее невнимательно. Меня охватила какая-то апатия. Я словно бы впал в ступор. Зовут его Вэн, я не говорил? Вэн. Ему семь лет. Когда я выйду, ему будет... сколько же ему будет? Тридцать с чем-то? Господи, почти столько же, сколько сейчас мне. «Большой ребенок» — вот как, участливо, будут называть его в Кулгрейндже. Большой ребенок.

Не буду, не буду плакать. А то если начну, то никогда не кончу.

После обеда я вновь залез в секретер Чарли, позаимствовал оттуда немного денег и отважился спуститься в гавань, за газетой. Какое странное, щекочущее возбуждение я испытал, входя в магазин: сосало под ложечкой, мне чудилось, будто я медленно двигаюсь в какой-то плотной, вязкой среде. Думаю, в глубине души я надеялся — нет, верил,— что как-нибудь да пронесет, что все, как по волшебству, кончится хорошо: злая ведьма исчезнет, чары рассеются, принцесса пробудится от мертвого сна. И действительно, когда я развернул газету, то в первый момент мне показалось, что провидение на моей стороне: ничего, кроме информации о позавчерашнем взрыве и его последствиях, в глаза мне не бросилось. Я купил три утренних выпуска и первый вечерний, отметив про себя (или это с перепугу?), что прыщавая девица за прилавком исподлобья на меня посмотрела. Потом я побежал обратно с такой прытью, будто под мышкой у меня были не газеты, а какой-нибудь экзотический суперпорнографический журнал. Ворвавшись в дом, я оставил газеты на кухонном столе, а сам опрометью бросился в уборную, где от волнения ухитрился намочить брючину. После долгих, лихорадочных поисков я отыскал недопитую бутылку джина и отхлебнул прямо из горлышка. После этого я попытался придумать себе еще какое-нибудь дело, но ничего не придумал и на ватных ногах вернулся на кухню, не торопясь сел за стол и развернул газеты. В одной из них, утренней, я сразу углядел небольшую заметку, затерявшуюся под фотографией пострадавшего от взрыва: весь перебинтованный, он сидел на больничной койке. В вечернем выпуске была статья побольше и две фотографии. На одной из них я узнал мальчишек, что кидались камнями возле отеля,— они-то ее и нашли. С другой на меня с важным видом смотрела она; вероятно, они увеличили какой-то групповой снимок, сделанный то ли на свадьбе, то ли на танцах; она была в длинном уродливом платье с ажурным воротником и с букетом (если это был букет) в руках.

Звали ее Джозефин Белл. На второй полосе я обнаружил фотографию Беренсов, отца и дочери, еще одну фотографию с видом галереи Уайтуотер-хаус, а также пространную статью о собрании Беренса, которая изобиловала опечатками и перевранными датами. Репортер газеты успел уже съездить за город и взять интервью у миссис Бриджид Белл, матери и вдовы. Миссис Белл запечатлели на фоне ее домика: нескладная, крупная, с грубым лицом, в фартуке и в старой длинной кофте, в объектив смотрит с каким-то вялым испугом. Ее Джози, сообщила она газете, «была хорошая, приличная девушка. И зачем надо было ее убивать?» И тут я вновь очутился в машине и увидел ее перед собой: сидит в луже собственной крови, смотрит на меня в упор, на губах раздувается и лопается розовый пузырь. «Мамми» [1] — вот какое слово она произнесла, я только сейчас понял; не «Томми», а «мамми», не «любимый», а «любимая»: *мамочка любимая*.

3

Думаю, что время, которое я провел у Чарли Френча, навсегда останется самым странным периодом моей жизни, еще более странным и нелепым, чем первые дни в этом доме. Заточенный в коричневом сумраке этих комнат, окруженный со всех сторон этим ослепительным ультрамариновым светом, я ощущал себя подвешенным между небом и землей, закупоренным в бутылке, отрезанным от всех и вся. Было два времени: одно показывали часы, и тянулось оно невыразимо медленно; другое находилось у меня в голове и неслось с лихорадочной быстротой — как будто пружина лопнула и все механизмы вышли из-под контроля. Я подолгу, словно часовой, мерил шагами кухню — ссутулившись, сунув руки в карманы, строя самые невероятные планы, не замечая, как расстояние между поворотами постепенно сокращается,— пока наконец неожиданно не остановился, дико озираясь по сторонам, точно зверь, попавший в капкан. Или же я стоял в большой спальне наверху, у окна, прислонившись спиной к стене, и смотрел на дорогу, смотрел иногда так долго, что забывал, для чего это мне. Машин в этом захолустье было немного, и вскоре я стал даже узнавать отдельных прохожих: рыжеволосую девушку из соседнего дома, подозрительного типа с холеным лицом и портфелем коммивояжера; нескольких стариков, которые либо прогуливали своих шавок, либо, в одно и то же время, тащились по магазинам. Узна́ю я и тех, кто придет за мной. Если, конечно, их увижу. А то ведь они могут незаметно окружить дом и выбить дверь — и только после этого заявят о своем присутствии. И все же я стоял и стоял у окна, смотрел и смотрел: не столько скрывающийся преступник, сколько истомившийся влюбленный.

Все изменилось, все. Я отрешился от себя, от всего того, чем я когда-то был. Моя прежняя жизнь казалась мне эфемерной, словно сон. Вспоминать о прожитом было все равно что думать о прошлом какого-то совершенно постороннего человека; человека, с которым сам я не знаком, но жизнь которого знаю наизусть. Прошлые годы представлялись мне теперь не более чем ярким вымыслом, да и настоящее было ничуть не более реальным. Я ощущал себя невесомым, неуловимым, балансирующим за гранью всего сущего. Земля у меня под ногами была туго натянутым брезентом, я должен был стоять не шелохнувшись, дабы избежать непредвиденных колебаний, опасных прыжков и кульбитов. А окружала меня необъятная и прозрачная синева.

Непосредственно о том, что я наделал, я думать не мог. Это было бы все равно что смотреть не мигая на слепящий свет. Сделанное мною было чем-то слишком большим, слишком ярким для созерцания. И непостижимым. Даже теперь, когда я говорю, что *сдела́л* это, я не до конца понимаю, что́ говорю. Поймите меня правильно, я вовсе не стремлюсь прятать голову под крыло, не хочу мямлить и запинаться, морочить голову следствию, скрывать улики. Я убил ее, я это признаю. Но повторись эта ситуация сегодня, я бы сделал то же самое, и не потому, что мне бы этого хотелось, а потому, что у меня не было бы выбора. Все было бы точно так же, как тогда: и этот паук на стене, и лунный свет между деревьями, и все остальное, все — от начала до конца. Не стану также утверждать, что я не желал убивать ее,— неясно только, когда именно желание это возникло впервые. Я был возбужден,

[1] Мамочка *(англ.)*.

раздражен, зол — и потом, она ведь атаковала меня первой. Я замахнулся, замах перешел в удар, а тот, в свою очередь, явился прелюдией ко второму удару, стал, так сказать, его апогеем или нет... перигеем? — и так далее. Во всем этом процессе нет ни одного мгновения, про которое я мог бы с уверенностью сказать: тогда-то я и решил, что она должна умереть. Решил? Вряд ли тут можно было что-то решить. Вряд ли даже тут можно было о чем-то подумать. Этот толстобрюхий монстр внутри меня, как видно, понял, что у него есть шанс, и выпрыгнул наружу с пеной у рта и со стиснутыми кулаками. У него были счеты с внешним миром, а кто, как не она, тогда этот мир олицетворял? Я не мог его остановить. Или мог? Ведь он, в конце концов,— это я, а я — это он. Но нет, остановить его было уже невозможно — я выпустил ситуацию из-под контроля. Быть может, в том и состоит суть моего преступления, моей вины, что я довел дело до этой стадии, что я не был достаточно бдителен и хитер, что я предоставил толстяка самому себе и подтолкнул его тем самым к пагубной для себя мысли: он свободен, дверца его клетки открыта, запретов не существует, и все дозволено.

После моего появления в суде газеты писали, что, когда зачитывалось обвинение, я не проявил никаких признаков угрызения совести. (Они что же, ожидали, что я буду рыдать, рвать на себе волосы?!) А впрочем, они были по-своему недалеки от истины: ведь угрызения совести предполагают надежду на прощение; я же знал — то, что совершено, непростительно. Я мог бы изобразить сожаление, печаль, раскаянье — но с какой целью? Даже если бы я и в самом деле от души раскаивался, разве б это что-то изменило? Дело было сделано — и все мои стенания и покаянные слезы сделанного не отменяли. Да, дело было сделано, окончательно и бесповоротно (в жизни своей я никогда ничего не делал с такой окончательностью и бесповоротностью), и в то же время — я знал это наперед — конца этому делу не будет. Я ощущал на себе — почти осязаемо — тяжкое бремя ответственности. Ведь, убив Джози Белл, я уничтожил частицу мира. Удары молотка разрушили совокупность воспоминаний, чувств и возможностей, а попросту говоря — человеческую жизнь, которая была невозвратима, но которую каким-то образом следовало теперь возместить. За совершенное убийство меня схватят и лишат свободы (об этом я думал со спокойствием и уверенностью, которые только при парадоксальности мышления и возможны), а потом скажут, что я свою вину искупил, полагая, что, бросив меня, живого, за решетку, они тем самым добиваются известного равновесия. Да, они правы — но только если руководствоваться законами возмездия и искупления; такое равновесие, однако, будет в лучшем случае иметь отрицательные последствия. Нет, нет. Тут необходима не моя символическая смерть (я сознавал это, хотя и не понимал, что она означает), а ее возвращение к жизни. Только это, и ничего больше.

Вернувшись в тот вечер, Чарли переступил через порог с опаской, словно боялся, что ему на голову упадет ведро с водой. Я встретил его покачиваясь, с ехидной, косой улыбочкой. Джин я к этому времени уже допил и теперь — без особого, правда, удовольствия — перешел на виски. По-настоящему пьян я не был, однако пребывал в состоянии какой-то застывшей эйфории, как будто целый день промучился в кресле зубного врача. Под воздействием свежей порции спиртного вчерашний хмель затаился в ожидании своего часа. Я чувствовал, как кожа становится горячей и сухой, глаза — опаленными. «Привет!» — гаркнул я, глупо засмеявшись, и в унисон смеху в стакане моем застучали кубики льда. Чарли покосился на мой наряд. «Надеюсь, вы не против? — спросил я.— Вот уж не думал, что у нас с вами одинаковый размер».— «Да,— отозвался Чарли,— да, ничего удивительного, я ведь усох от старости, понимаешь?» И он разразился кладбищенским смехом. Он явно рассчитывал, что вечером, когда вернется, меня уже не застанет. Я вышел следом за ним в прихожую, где он снял свою букмекерскую шапчонку, положил ее вместе с портфелем на низкий комод мореного дуба, после чего прошел в столовую и налил себе скромную порцию виски, разбавив ее выдохшейся содовой из бутылки с завинчивающейся пробкой. Он сделал глоток и некоторое время, словно забывшись, молча стоял, сунув руку в карман и хмуро глядя себе под ноги. Своим присутствием я нарушал его вечерний распорядок. Бутылку виски он убрал, даже не предложив наполнить мой стакан. После этого мы вместе потащились на кухню, где Чарльз вновь нацепил фартук и начал рыться в буфете и по полкам в поисках всего

необходимого для приготовления тушеного мяса. Стряпая, он одновременно разговаривал со мной, глядя через плечо, держа сигарету в углу рта и жмурясь от табачного дыма. Рассказывал он о том, какую картину удалось сегодня продать, какую купить, что-то в этом роде. Думаю, говорил он исключительно из страха, как бы не воцарилось молчание. Впрочем, слушал я его вполуха, зато внимательно смотрел, как он щедрой рукой плеснул в тушившееся мясо полбутылки «поммероля» ценой в пятьдесят фунтов. Угодил в горшочек с мясом и пепел от сигареты, и Чарли, цокая языком с досады, долго и безуспешно пытался его оттуда выудить. «Можешь себе представить,— говорил между тем он,— что такое для меня расставаться с живописью!» Я с серьезным видом кивал, сам же представил себе, как в своей убогой галерее Чарли потирает руки и расшаркивается перед какой-то стервой в мехах. От стервы несет дорогой пудрой и потом; ее муженек дал ей денег, чтобы она купила себе какую-нибудь безделушку на день рождения. Неожиданно для самого себя я расстроился и сник.

Перекладывая мясо на блюдо, Чарли несколько кусков уронил на пол. Вообще с кухонной утварью он был не в ладах: подносы, половники, прихватки оживали в его руках и начинали жить своей, самостоятельной, жизнью — норовили выпрыгнуть, вывернуться, выскользнуть у него из рук. Мы отнесли наши приборы в столовую и сели за стол, под чучелом совы, не сводившей с нас своего злобного остекленевшего взгляда. Мы допили початую бутылку «поммероля», и Чарльз откупорил другую. Он по-прежнему изо всех сил старался избегать моего взгляда и ради этого улыбался абсолютно всем окружавшим его предметам: полу, мебели, каминным щипцам, как будто все привычное, избитое, каждодневное предстало ему в совершенно новом, непривычном свете. В высоком окне у меня за спиной пламенело заходящее солнце. На вкус мясо напоминало жженый мех. Я отодвинул тарелку, повернулся к окну и посмотрел на гавань. Через все окно длинной трещиной проходила огненная нить заката. Что-то напомнило мне Калифорнию: и солнце, и маленькие яхты, и вечерняя позолота моря. Я так устал, так устал, что мог бы, кажется, все бросить и, точно морской ветер, вылететь из этих стен и раствориться в летних сумерках — никому не ведомый, беззаботный, свободный. Чарли раздавил намокший окурок о край тарелки. «Читал про Бинки Беренса?» — спросил он. Я подлил себе вина. «Нет, а что случилось, Чарльз?»

Кстати, что бы я делал во всей этой истории без спиртного, без его притупляющего действия? В те дни я стремительно переходил из одного пьяного равновесия в другое, наподобие того, как беглец, спасая свою жизнь, перепрыгивает, скользя и спотыкаясь, с камня на камень. Даже цвет выпивки (синий — джина и красный — бордо) — не является ли он символом моего дела, моих свидетельских показаний? Теперь, когда я отрезвел навсегда, я вспоминаю это время (да и всю свою прошлую жизнь тоже), как непрерывную, хотя и не особенно веселую попойку, которая рано или поздно кончится — я это знал наперед — мучительной головной болью. Что ж, всякая пьянка кончается похмельем, и тут уж ничего не поделаешь.

Остаток вечера, насколько я помню, явился для меня целой серией тяжелых нокаутирующих ударов. Тогда-то я и узнал впервые, что у моего отца была любовница. Сперва я очень удивился, потом — обиделся. Выходит, меня он использовал в качестве алиби, прикрытия! Пока я часами сидел на заднем сиденье машины, неподалеку от яхт-клуба, в Дун-Лэаре, он занимался любовью со своей красоткой. Звали красотку Пенелопа — вы только подумайте, Пенелопа! И где же, интересно знать, они встречались, где эти голубки свили свое укромное гнездышко, с розочками над дверью и зеркалом на потолке спальни? Чарли пожал плечами. «Они приходили сюда»,— сказал он. Сначала я даже не понял, что́ он говорит. «Сюда?! Сюда? Но как же...» Он снова пожал плечами и изобразил на лице нечто вроде улыбки. «Мама ничего не имела против. Иногда она даже оставляла их пить чай. Они с Пенелопой обменивались журналами по вязанью. Понимаешь, она знала...— Тут Чарли умолк, потрескавшаяся кожа у него на щеках слегка покраснела, и он засунул палец под воротничок рубашки. Я ждал.— Она знала, что я... неравнодушен к твоей... к Долли»,— выговорил он наконец. У меня голова шла кругом. Я хотел было что-то сказать, но Чарли перебил меня, сообщив, что Бинки Беренс тоже ухаживал за моей матерью; он стал рассказывать, как Бинки приглашал ее вместе с моим отцом в Уайтуотер и спаивал отца, чтобы тот не замечал его игривого взгляда и нескромных прикосновений. А потом моя мать рассказывала все Френчу,

и они вместе покатывались со смеху... Чарли покачал головой и вздохнул: «Бедный Бинки...» Я сидел, изо всех сил пытаясь прямо держать бокал, и не верил своим ушам, я был ошеломлен, я чувствовал себя ребенком, впервые услышавшим о свершениях богов. Они, эти несообразные, устаревшие и далеко не безгрешные персонажи со своими тайнами, одиночеством и невероятными увлечениями, толпились в моей бедной, гудевшей от выпитого голове. Чарли говорил обо всем этом как о чем-то само собой разумеющемся — с сожалением и в то же время не без некоторого удовольствия. Говорил так, будто меня тут не было, воспринимая мои удивленные повизгивания и похрюкиванья с легким недоумением. «А вы,— начал было я,— что было у вас с моей...» Эту мысль мне трудно было выразить словами. Чарли бросил на меня игривый и в то же время отрешенный взгляд.

«Давай,— сказал он,— допивай бутылку».

По-моему, в тот вечер он что-то рассказал мне о моей матери, но что именно — не помню. Зато хорошо помню, как, уже совсем поздно вечером, я звонил ей в Кулгрейндж, сидя на полу в темной прихожей и поглаживая, точно кошку, лежавший на коленях телефон. Слышно было плохо, голос матери доносился откуда-то издалека, терялся, пропадал. «Фредди,— сказала она,— ты пьян.— Она спросила, почему я не вернулся.— Забрал хотя бы свой чемодан».— «Мать, как же я могу теперь вернуться домой»,— подмывало меня сказать ей. С минуту мы молчали, а потом она сообщила, что звонила Дафна, спрашивала, где я, чем занимаюсь. Дафна! За последние дни я не вспомнил о ней ни разу. Дверь на кухню была открыта, и из прихожей я видел, как Чарли наводит порядок, как гремит горшками и кастрюлями, делая вид, что не слышит, о чем я говорю. Я вздохнул, и вздох этот перерос в легкий, едва слышный стон. «Мать,— сказал я,— у меня неприятности, большие неприятности». В трубке (а может, у меня в голове?) раздался треск, как будто много птиц одновременно громко захлопали крыльями. «Что? — переспросила она.— Что? Не слышу — что ты сказал?» Я засмеялся, и по щекам у меня сбежали две большие слезы. «Ничего! — прокричал я.— Ничего, не важно! — А потом спросил: — Послушай, ты знаешь, кто такая Пенелопа? Тебе это имя что-нибудь говорит?» Я был потрясен собственным вопросом. Зачем было спрашивать об этом, причинять ей боль? Она помолчала, а потом рассмеялась. «Эта сука? — сказала она.— Разумеется, я про нее знала». Чарли, с тряпкой в одной руке и с недомытой тарелкой в другой, остановился в дверях и уставился на меня. Свет падал сзади, и лица его я разглядеть не мог. Последовала очередная пауза. «Ты не щадишь себя, Фредди,— сказала наконец мать далеким, чужим голосом,— ты совсем себя не щадишь». Я не понял, что́ она имеет в виду. И не понимаю до сих пор. Я немного подождал, но она больше ничего не сказала, я же говорить был не в силах. Это были последние слова, которыми мы обменялись. Я осторожно положил трубку и не без труда поднялся на ноги. Затекло колено. Я прихромал на кухню, где Чарли, с закатанными рукавами и в расстегнутом на спине жилете, мыл посуду, согнувшись над раковиной и не выпуская изо рта сигарету. Небо за окном было каким-то сине-фиолетовым; такую красоту я видел, кажется, впервые в жизни.

«Чарли,— сказал я покачиваясь,— дай мне взаймы».

Я и всегда-то легко плакал, теперь же от любого проявления доброты распускал нюни, словно младенец. Когда Чарли присел за кухонный стол и выписал чек (он хранится у меня до сих пор: корявый почерк, подпись неразборчива, в углу, там, где он придерживал чек большим пальцем,— жирное пятно), я попытался, кажется, схватить его желтую руку и поцеловать. После этого Чарли произнес короткую речь, которую я почти не запомнил. Помню лишь, что в ней фигурировала моя мать. И Дафна тоже. Если мне не изменяет память, упомянул он даже Пенелопу. Любопытно, а сам Чарли был пьян? Он то попадал в фокус моего зрения, то вновь исчезал — и не столько из-за того, что у меня все мешалось перед глазами, сколько из-за его осторожных, неуверенных движений. Ох, Чарли, вам бы надо было прислушаться к закравшемуся подозрению и выставить меня за дверь, каким бы пьяным и беззащитным я ни был.

Потом, помню, я стоял на коленях в уборной и у меня изо рта извергался могучий красновато-коричневый поток: вино вперемешку с волокнами мяса и ломтиками моркови. Поток этот почему-то вызывал у меня удивление, словно это была не блевотина, а нечто очень ценное и странное, темная струя руды из глубокого рудника моих внутренностей. Потом все завертелось перед глазами, наступила кромешная тьма, а из тьмы мимо меня понеслись какие-то предметы, как будто

меня катали, круг за кругом, на шаткой, сделанной из стекла карусели. Затем я лежал на спине на большой неубранной кровати, в комнате наверху; меня знобило, я обливался по́том. Горел электрический свет, и окно смотрелось огромной черной дырой. Я уснул, а когда проснулся (мне показалось, что спал я всего несколько минут), уже ярко светило солнце. В доме стояла тишина, только откуда-то раздавался тоненький непрерывный перезвон, который я не столько слышал, сколько чувствовал. Влажные простыни сбились. Двигаться не хотелось — я ощущал себя хрупким, будто хрусталь. Ломкими были даже волосы — прямые, тонкие, ощетинившиеся. Я слышал, как быстро и тяжело — точно ртуть — несется по жилам кровь. Лицо мое было распухшим, горячим, гладким на ощупь, как у куклы. Когда я закрывал глаза, под веками начинало пульсировать какое-то малиновое пятно, похожее на остаточное свечение взорвавшегося в темноте снаряда. Стоило мне проглотить слюну, как звон в ушах становился глуше. Я задремал, и мне приснилось, что я лежу на поверхности горячего озера. Когда я проснулся, день уже клонился к вечеру; свет в окне, густой, спокойный, без всякой тени, проникал прямо из прошлого. Рот, казалось, набит был ватой, голова — воздухом. С самого детства не испытывал я столь упоительного страдания. Это была не столько болезнь, сколько своего рода отдохновение. Я долго лежал, почти неподвижно, смотрел, как меняется свет, прислушивался к звукам извне. Багровое солнце постепенно поблекло, небо из сиреневого сделалось розовато-лиловым, зажглась одинокая звезда. Потом вдруг опустилась ночь, я лежал в полудреме, погруженный в мягкий летний мрак, и ничуть не удивился бы, если б вдруг в комнате появилась моя мать, молодая, улыбающаяся, в шуршащем шелковом платье: она прикладывает палец к губам, она пришла пожелать мне спокойной ночи перед уходом в гости. В действительности же появилась не мать, а всего-навсего Чарли; он с опаской приоткрыл скрипящую дверь и, вытянув черепашью свою шею, уставился на меня. Я тут же закрыл глаза, а он на цыпочках вышел из комнаты и, скрипя половицами, спустился вниз. И тут я увидел другую дверь и другую тьму — чье-то чужое воспоминание, чужое, не мое — и стал, затаившись, ждать, не появится ли что-нибудь или кто-нибудь. Но ничего не появлялось.

Этим приступом горячки закончился, думается мне, первый этап моей новой жизни, жизни убийцы. К утру второго дня температура упала. Я лежал, разбросав руки, на влажных, скомканных простынях и глубоко дышал. У меня было ощущение, будто я долго, мучительно бежал по пояс в воде, но вот наконец выбрался на берег — измученный, дрожащий с ног до головы, но умиротворенный. Я выжил. Вернулся к самому себе. За окном, в поисках матушки Френч, истошно кричали чайки; они подымались и падали на прямых, широко разбросанных крыльях, точно были подвешены на резинках. Я поднялся и на нетвердых ногах подошел к окну. Ветер, солнце, ослепительное, жгуче-синее море. Внизу, в маленькой каменной гавани, покачивались на приколе яхты. Я отвернулся. В веселом этом, многоцветном пейзаже скрывался какой-то упрек мне. Я надел халат Чарли и спустился на кухню. В ровном утреннем свете все казалось неподвижным, словно бы околдованным. О том, чтобы что-нибудь съесть, не могло быть и речи. Я нашел в холодильнике открытую бутылку «аполлинариса» и допил ее. Слабый металлический привкус. Сел за стол, подперев голову руками. Кожа была шероховатой на ощупь, как будто верхний слой ее стерся в порошок. На столе стояла не убранная после завтрака посуда, повсюду валялся пепел, в блюдце лежало несколько окурков. Газеты, которые я купил в четверг, торчали из мусорного ведра. Сегодня суббота. Выходит, я пропустил — сколько? — почти два дня; за два дня могло накопиться немало новых улик. Я поискал глазами пластиковый мешок, куда я бросил свою одежду, но не нашел его. Наверное, Чарли отдал его мусорщикам, и теперь он валяется на помойке. Быть может, какой-нибудь нищий копается сейчас в этом мешке. Я задохнулся от ужаса и стал ходить взад-вперед по кухне, сцепив руки, чтобы они не дрожали. Что-то надо делать. Хоть что-нибудь. Я побежал наверх и стал метаться по комнатам, точно безумный король, в своем длинном развевающемся халате. Потом, глядя на себя в маленькое, точно рыбий глаз, зеркальце, побрился, опять надел рубашку и брюки Чарли, открыл его секретер, извлек оттуда наличные и бумажник с кредитными карточками, сбежал, перескакивая через ступеньки, вниз по лестнице и как ошпаренный вылетел на улицу.

И замер. Все было на месте: и лодки в гавани, и шоссе, и белые дома вдоль побережья, и далекий мыс, и облачка на горизонте, однако... однако все это отличалось от того, что ожидал увидеть я; не соответствовало моему внутреннему представлению о том, как должен выглядеть мир. И тут только меня осенило: на месте всё, кроме меня самого.

В книжный магазин я вошел с той же судорогой страха и жжения в груди, как и в прошлый раз. Когда я взял газеты, на руках у меня отпечаталась типографская краска, монетки выскальзывали из потных пальцев. Прыщавая опять исподлобья на меня воззрилась. Взгляд у нее был любопытный и в то же время какой-то вязкий; казалось, она одновременно смотрит и на меня, и мимо меня. «Вот-вот начнутся месячные — отсюда и напряженный взгляд, и возбуждение»,— подумал я, повернулся к ней спиной и пробежал газеты глазами. За эти дни мое дело, потеснив историю со взрывом, которая постепенно выдохлась (все, кто должен был умереть, уже умерли), перешло, разрастаясь, словно пятно, на первые полосы. На одной из фотографий я узнал свою машину, похожую на раненого гиппопотама; возле нее стояли двое, флегматичный охранник и детектив в высоких сапогах, который на что-то показывал. В этом же номере поместили интервью с мальчишками, которые и нашли машину. Помнили ли они меня, бледного незнакомца, сидящего в прострации на перроне заброшенной железнодорожной станции? Да, помнили; они меня описали: пожилой, черные волосы, густая борода. Женщина, которая подошла ко мне у светофора, напротив, утверждала, что мне никак не больше двадцати пяти, что я хорошо одет, что у меня усы и пронзительный взгляд. Высказались обо мне и туристы в Уайтуотере, которые видели, как я уехал с картиной, и, разумеется (как без них!), Рок со своей матушкой, и недоумок в комбинезоне, и жгучая брюнетка из гаража, где я взял напрокат машину,— при этом каждый настаивал на своей версии, отчего в результате я размножился, превратившись в целую банду усатых головорезов, многоликих, вездесущих и страшных, как хор разбойников в итальянской опере. Я чуть не засмеялся. И вместе с тем испытал разочарование. Да, представьте, разочарование. Хотел ли я, чтобы меня поймали? Надеялся ли, что мое имя наберут аршинными буквами на первых страницах газет? Думаю, да. Мне кажется, где-то в глубине души мне очень хотелось предстать перед судом присяжных и выдать им все свои жалкие, маленькие секреты. Да, быть выслеженным, схваченным, избитым, раздетым и брошенным в ревущую толпу было моим самым сильным и сокровенным желанием. Я уже слышу, как в суде недоверчиво хмыкают и вздыхают. Но скажите, разве сами вы, уважаемые господа присяжные, не испытывали того же желания? Чтобы вас поймали с поличным? Чтобы тяжелая рука легла вам на плечо и раздался громовой голос блюстителя закона: «Ваша песенка спета»? Чтобы с вас, попросту говоря, сорвали маску? Задайте себе этот вопрос. Я ручаюсь (ручаюсь!): дни, предшествовавшие моему аресту, были — и, видимо, останутся — самыми захватывающими в моей жизни. Ужасными, верно, но и захватывающими тоже. Никогда прежде мир не казался мне таким ненадежным, а мое положение в нем таким отчаянно рискованным. Самого себя я ощущал грубо, обнаженно: большая, теплая сырая вещь, завернутая в чужую одежду. В любой момент они могли поймать меня; возможно даже, они следят за мной и сейчас — что-то бубнят в свои рации и делают знаки притаившимся на крыше снайперам. Сначала будет паника, потом — боль. Зато, когда все кончится, когда все достоинство и притворство выветрятся без остатка, какая наступит свобода, какая легкость! Нет, не то я говорю, не легкость, а, наоборот, тяжесть, весомость, уверенность — наконец-то! — в завтрашнем дне. И вот тогда я сделаюсь самим собой, перестану играть роль, которую играл всю жизнь. Я буду настоящим. Я буду самым одушевленным из всех неодушевленных предметов.

Я сел в автобус и поехал в город. Сошел я на той улице, где когда-то, много лет назад, жил студентом, и двинулся вдоль ограды парка. Над головой у меня шумели деревья, в лицо дул теплый ветер. Сердце мое томительно сжалось. Посреди тротуара стоял человек в кепке, с жуткими, тусклыми глазами и выкрикивал ругательства вслед проезжавшим мимо машинам. Я ему позавидовал. Я бы тоже с удовольствием стоял вот так и бранился, чтобы излить переполнявшие меня гнев, боль, возмущение. Три смеющиеся девушки в летних платьях выбежали прямо передо мной из книжного магазина; на какое-то мгновение я оказался между ними и оскалился в испуганной ухмылке — чудовище среди граций. В ярко освещенном,

недавно открывшемся магазине я купил себе пиджак и брюки, две рубашки, несколько галстуков, нижнее белье и — с вызовом всему миру — красивую, хотя и несколько претенциозную шляпу. Мне показалось, что продавец немного напрягся, когда я достал кредитные карточки Чарли (Господи, неужели они знают его? Неужели он ходит сюда?), но я блеснул своим безукоризненным произношением, лихим росчерком пера поставил его подпись, и напряжение спало. Меня этот эпизод не особенно встревожил. Я вообще пребывал в приподнятом настроении, веселился, как мальчишка на дне рождения (есть, значит, что-то такое в магазинах, раз покупки доставляют мне столько удовольствия?). Казалось, я не шел, а плыл по улицам, плыл стоя, как морской конек, разрезая грудью воздух. Вероятно, у меня еще была температура. Люди вокруг выглядели чужими — то бишь более чужими, чем обычно. Меня не покидало ощущение, что я больше не принадлежу к человеческому роду, будто что-то случилось с тех пор, как я последний раз шел в этой толпе, будто во мне произошла какая-то перемена, крошечный, поразительно быстрый, но весьма существенный эволюционный сдвиг. Я шел среди них, как некое чудо природы. Они отставали от меня, они не смели до меня дотронуться — а может, и не видели меня, может, я был вне поля их зрения? Зато я буквально пожирал их глазами, следил за ними голодным и любопытным взглядом. Они словно бы спотыкались об меня, смотрели прямо перед собой, тупо и испуганно, как беженцы. Я видел себя со стороны: на голову выше их всех — переодетый, одинокий, один на один со своей великой тайной. Я был их непризнанной и безответной мечтой. Я был их зодчим, Моосбруггером [1]. Я подошел к реке и долго бродил по мосту среди нищих, торговцев фруктами и дешевыми ювелирными изделиями, наслаждался тусклым от водяной пыли светом и слизывал соленый воздух с губ. Море! Уплыть бы сейчас подальше, за горизонт, затеряться в этой безбрежной синеве!

Я зашел,— как же все просто! — зашел в бар пропустить стаканчик. Каждый глоток был как металлическая пластинка — прохладный и гладкий. Бар напоминал пещеру, в темноте виднелся белый прямоугольник — открытая дверь на улицу. Такое же заведение могло быть где-нибудь на юге, в одном из тех сырых, увядших портов, где я столько раз бывал. В глубине бара, в освещенной его части, несколько бритоголовых парней в высоких шнурованных ботинках играли в бильярд. Шары глухо стучали, молодые люди вполголоса переругивались. Чем не Хогарт: несколько хирургов без париков сгрудились вокруг прозекторского стола. Бармен, сложив на животе руки и разинув рот, смотрел скачки по телевизору, стоявшему на высокой полке в углу. В бар вошел и остановился возле меня, тяжело дыша и ерзая, какой-то чахоточного вида юнец в короткой черной курточке. По исходящему от него напряжению можно было заключить, что он здорово не в себе, и у меня радостно екнуло сердце. Этот может сделать что угодно, все, что угодно. Но дальше слов дело у юнца не пошло. «*Я прожил здесь тридцать три года,*— заявил он с крайним возмущением в голосе,— *и все меня боятся*». Бармен взглянул на него с выражением приевшегося отвращения и вновь вперился в экран. Синие лошади в мертвой тишине скакали по ярко-зеленому полю. «*И я тоже* боюсь»,— добавил юнец, на этот раз обиженно. Тут по телу его пробежала судорога, он вскинул плечи, опустил голову и выбросил вверх одну руку, как будто кто-то укусил его в шею. Потом повернулся и поспешно вышел, прижимая локтями курточку. Я последовал за ним, оставив рюмку недопитой. Снаружи в лицо мне ударил ослепительный свет. Чахоточный был уже далеко, я увидел, как он незаметно скользит в толпе, прижав локти к бокам и делая быстрые маленькие шажки,— проворный, как танцор. Ничто не могло его остановить. Даже в самой гуще толпы он мгновенно находил лазейку и ловко нырял в нее, не сбавляя скорости. Если б кому-нибудь пришло в голову связать нас воедино, мы бы составили удивительную пару: он — в своей дешевой приталенной курточке, и я — в роскошной широкополой шляпе, с пакетами из дорогого магазина. Угнаться за ним я был не в силах: через несколько минут я уже тяжело дышал и обливался потом. В то же время я испытывал невероятный душевный подъем. Один раз чахоточный остановился перед витриной магазина. Остановился и я — на автобусной остановке, не теряя его из виду. Взгляд у него был такой напряженный, он так дрожал, что я испугался, как бы он не совершил чего-то ужасного, ведь ему ничего не стоило на кого-нибудь напасть, он мог разбить витрину и растоптать выставленные там фотоаппараты и косметику. Чахоточный,

[1] Каспар Моосбруггер (1656—1723) — швейцарский архитектор.

однако, всего лишь пережидал, пока пройдет очередная судорога. В этот раз одновременно с выброшенной вверх рукой дернулась и нога, как будто локоть и колено соединялись между собой невидимой нитью, а секундой позже он громко притопнул об асфальт. Затем быстро огляделся по сторонам — не заметил ли кто-нибудь, после чего, словно бы невзначай, слегка передернулся, давая этим понять, что и предыдущий спазм тоже был случаен, и понесся дальше с той же головокружительной скоростью. Мне хотелось догнать его, поговорить с ним. Вот только о чем? Естественно, я не собирался выражать ему свое сочувствие, я его не жалел,— с моей точки зрения, в нем не было ничего, достойного моей жалости. Нет, не то я говорю, он был трогательным существом, несчастным калекой и безумцем. И все же я не испытывал сострадания, этого чувства он во мне не вызывал. Я испытывал к нему... как бы это сказать... что-то вроде братского расположения, сильное, проникновенное, радостное чувство общности. Казалось, нет ничего проще, чем подойти сейчас к нему, положить руку на его худенькое плечико и сказать: «Товарищ по несчастью, дорогой друг, compagnon de misères!» [1] А потому, когда на следующем перекрестке я, остановившись, стал искать его глазами и не обнаружил, я испытал самое искреннее и глубокое разочарование. Впрочем, ему почти сразу же нашлась замена: высокая толстая девица с широкими плечами и задом, с большими трубчатыми ногами и крошечными, как передние ноги у свиньи, ступнями, вдетыми в белые туфли на высоких каблуках. Она, как видно, только что побывала в парикмахерской, у нее была модная короткая прическа «под мальчика», которая никак не вязалась с ее исполинскими размерами. На выстриженном толстом затылке оставалась еще злобная краснота от фена — казалось, затылку за нее стыдно. Вид у девицы в этих уродливых нелепых туфлях был мужественный и печальный, и я бы, наверное, неотступно следовал за ней весь день, если бы вскоре не потерял из виду и ее тоже. Моей следующей добычей стал мужчина с огромным малиновым пятном на лице, потом — крошечная женщина, что везла крошечную собачонку в кукольной коляске, потом — решительный молодой человек, который вышагивал с таким выражением, будто он никого вокруг не видит; он шел с застывшим взглядом провидца, размахивая руками и что-то бормоча себе под нос. На оживленной пешеходной улице меня внезапно обступила толпа чумазых, одетых в лохмотья нищенок (моя мать назвала бы таких «розанчиками»): рыжие волосы, веснушки и невероятные, бутылочного цвета глаза. Они набросились на меня с яростной мольбой, дергая за рукав и громко скуля. Казалось, на меня напала целая стая больших диких птиц. Когда же я попробовал отогнать их, одна из них сбила у меня с головы шляпу, а другая ловко выхватила из рук пластиковый пакет, в котором лежал новый пиджак. Затем они убежали, толкая друг друга и визгливо хохоча,— только грубые голые пятки замелькали. Я тоже засмеялся и подобрал с земли шляпу, не обращая внимания на прохожих, которые, судя по всему, сочли мое веселье неподобающим. Пиджака мне было ничуть не жаль — его потеря каким-то таинственным образом согласовывалась с потерей его списанного за негодностью предшественника,— но мне бы хотелось посмотреть, куда эти девчонки побежали. Я живо представил себе лачугу из ящиков и листов оцинкованного железа на пыльном пустыре, полудохлую собаку, сопливых детей и пьяную каргу, которая что-то помешивает в дымящемся горшке. А может, их поджидает вовсе не старуха, а какой-нибудь Фэджин, что прячется в сумраке ветхого заброшенного здания, где летнее солнце с трудом пробивается сквозь плотно закрытые ставни, где под высокими потолками вьется пыль и где за стенами в непроницаемой тишине скребутся крысы: поскребутся, затихнут и начинают скрестись опять. Так я шел некоторое время, упоенно фантазируя, пока вдруг не обнаружил впереди себя человека гигантского роста, он был бледен как смерть, ковылял на ватных ногах и опирался сразу на две палки. Увидев великана, я устремился за ним, «взяв след», точно охотничья собака.

Что я делал, зачем преследовал всех этих людей, чему я хотел у них научиться? Все это было мне неизвестно, да и неинтересно... Я был озадачен и счастлив, как ребенок, которому разрешили принять участие в игре взрослых. Я часами метался по улицам и площадям с полубессознательной целеустремленностью пьяного, как будто искал на лице города некий огромный замысловатый знак, чтобы кто-нибудь на небесах смог этот знак прочесть. Я попадал в места, о существовании которых

[1] Товарищ по несчастью *(франц.)*.

даже не подозревал: в кривые закоулки, на огромные заброшенные пустыри, в тупики под железнодорожными мостами, где на вечернем солнце жарились припаркованные автомобили. Я съел гамбургер в «стекляшке» с пластмассовыми стульями и пепельницами из оловянной фольги — люди там сидели по одному и ели с жадностью перепуганных детей, которых бросили родители. День медленно угасал, оставляя размазанный по небу красный с золотом след; ощущение было такое, будто идешь по дну широкой горящей реки. На улицы высыпал вечерний люд: девицы в брюках в обтяжку и в туфлях на высоких каблуках, мускулистые парни с устрашающими прическами. В горячих, подернутых дымкой сумерках улицы казались шире, плоше, и машины, что проносились мимо, лоснились, точно тюлени. К Чарли я вернулся поздно, со сбитыми ногами, потный, всклокоченный, в сдвинутой набекрень шляпе — но с таинственным ощущением исполненного долга. А ночью мне снился отец. Он словно бы впал в детство: худенький мальчик с усами, в матроске, узкое личико чисто вымыто, волосы расчесаны на пробор. Его вела за руку высокая темноглазая дама в хитоне, с миртовым венцом на голове. Ко мне она повернулась с похотливой снисходительной улыбкой.

4

Я потрясен. Сегодня мой адвокат сообщил мне сногсшибательную новость. Обычно наши беседы доставляют мне удовольствие, хотя и довольно мрачного свойства. Сидим мы, как правило, за квадратным столом в маленькой, душной комнатке без окон. Стены в комнате мышиного цвета, такого же, как и ящики с картотекой. Свет из неоновой трубки под потолком обволакивает нас прозрачной пеленой. Сама трубка издает слабое, но непрерывное гудение. Поначалу господин адвокат полон энергии. Он роется в портфеле, шуршит бумагами, что-то бормочет. Он похож на большого встревоженного медведя. Он старательно подбирает темы для разговора: новые аспекты дела, неоднозначная трактовка некоторых законов, чем мы могли бы воспользоваться, шансы получить хорошего судью и прочее в том же духе. Говорит он слишком быстро, спотыкаясь на каждом слове, точно это не слова, а камни. Со временем, однако, гнетущая атмосфера действует и на него, и он замолкает. Он снимает очки, откидывается на стуле и молча смотрит на меня. У него на редкость трогательная привычка сжимать переносицу указательным и большим пальцами. Мне его жалко. Мне кажется, он ко мне искренне расположен, и это, думаю, не только удивляет, но тревожит его самого. Он всерьез полагает, что не оправдывает моих ожиданий, когда вот так выдыхается и замолкает, но ведь сказать-то ему действительно нечего. Мы оба знаем, что «вышка» мне не грозит. Он не понимает, почему я равнодушен к своей участи. Я говорю ему, что стал буддистом. Он осторожно улыбается — а вдруг я не шучу? Я развлекаю его историями из тюремного быта, многих — для пущей выразительности — изображаю; начальник тюрьмы, к примеру, выходит у меня совсем неплохо. Смеется его честь совершенно беззвучно, о смехе свидетельствуют лишь приподнятые плечи да широко раскрытый рот.

Кстати, хорошее словечко «вышка». Емкое.

Сегодня я сразу же заметил, что он чем-то взволнован. Он непрерывно теребил воротничок рубашки, кашлял, снимал и снова надевал очки. Взгляд у него был какой-то рассеянный. Он что-то бубнил о смысле правосудия, об осмотрительности судей и прочих пустяках, вдаваться в которые мне не хотелось. Ему было настолько не по себе, он так ерзал на неудобном, узком для его огромного зада тюремном стуле и так прятал глаза, что я с трудом сдерживал смех. Впрочем, я навострил уши, когда он начал что-то бормотать о том, что, дескать, стоило бы сделать «признательные показания»,— и это после того, как он потратил столько времени и сил, уговаривая меня ни в коем случае не признавать себя виновным. Когда же я указал ему — и довольно резко — на это несоответствие, он тут же пошел на попятный, испуганно шаря глазами по сторонам. Интересно, к чему он клонит? Надо бы насесть на него и все выспросить. Он же, чтобы отвлечь мое внимание, нырнул в свой необъятный портфель и выудил оттуда копию материнского завещания. Тогда я еще не знал, чем кончилось дело, и проявил, как нетрудно догадаться, живейшую заинтересованность. Его честь, я это сразу заметил, и в этом случае

испытывал не меньшую неловкость. Он долго кашлял, хмурился, читал второстепенные пункты завещания (акты дарения, обязательства правонаследников, завещательный отказ малой недвижимости) — и только потом перешел к делу. Я до сих пор не могу поверить своим ушам. Старая стерва завещала Кулгрейндж этой рыжей девице... как ее? — Джоанне. Какая-то сумма завещалась Дафне, какая-то — на обучение Вэна, мне же мать не оставляла ничего, ровным счетом ничего. Удивляться тут, в сущности, было нечему, однако я все-таки удивился. Да, меня хорошим сыном не назовешь, но ведь другого у нее не было. Его честь наблюдал за мной с состраданием. «Я вам сочувствую»,— сказал он. Я улыбнулся и пожал плечами, хотя сделать это было нелегко. Мне хотелось, чтобы он ушел. «Что ж,— выдавил я из себя,— в конце концов, можно понять, почему она переписала завещание». Он ничего не ответил. Наступила какая-то странная тишина. А затем он, чуть ли не с нежностью, вручил мне документ, и я взглянул на дату. Завещание было написано семь, без малого восемь лет назад. Мать, стало быть, лишила меня наследства очень давно, задолго до того, как я вернулся, чтобы ее опозорить, ее и весь свой род. И тут мне с жуткой ясностью вспомнилось, каким взглядом она смерила меня тогда, на кухне в Кулгрейндже. Я вновь явственно услышал ее кудахтающий смех. Что ж, я рад, что ей понравилась собственная шутка. Шутка получилась и впрямь хоть куда. Удивительно, но я не держу против нее зла. Я улыбаюсь, хотя, очень может быть, улыбка моя больше походит на гримасу. Мать внесла свою лепту в длинный перечень уроков, которые мне еще предстоит извлечь.

Его честь встал и, как всегда, расплылся в нежнейшей улыбке, пытаясь скрыть облегчение, которое он испытывает перед уходом. Я смотрел, как он с трудом влезает в свою синюю куртку, накидывает на шею красный шерстяной шарф. Иногда, когда он только приходит, от его одежды исходит едва заметный, неуловимый запах улицы, и я вдыхаю этот запах с таким неизъяснимым наслаждением, будто это самые дорогие духи на свете. «Как там?» — спросил я его в этот раз. Он ничего не ответил и покосился на меня с некоторым беспокойством — вероятно решив, что меня интересует картина в целом, а не только погода; что я забыл, как выглядит мир. «Какая погода?» — пояснил я. «Ах, погода! — Лицо его прояснилось. Он пожал плечами.— Ничего хорошего — серо, уныло». И я тут же представил себе клонящийся к вечеру ноябрьский день, тусклый блеск мокрого асфальта, дети, разрозненными группами бредущие из школы, грачи, что, кругами взмывая вверх и падая вниз, носятся в рваных облаках, и тусклое золотое небо на фоне голых, почерневших веток. Как я любил эту пору, когда погода особенно строптива и непредсказуема, когда природа живет своей жизнью, как будто никто ее не замечает, никому нет до нее дела. Вижу себя мальчишкой; я бесцельно бреду по мокрой дороге, толкаю перед собой камешек и строю далеко идущие планы. Помню, через дубовую рощу в миле от дома проходила тропинка, по которой, если идти по ней до конца, можно было добраться до Кулгрейнджа. Какие же зеленые там были тени, как незаметно вилась в траве тропинка, какой тревожной казалась тишина вокруг! И всякий раз, выходя из автобуса, я говорил себе: «В следующий раз, уж в следующий раз обязательно!» Но в следующий раз я либо спешил, либо уже смеркалось, либо просто не хотелось идти другой дорогой — и я выбирал привычный маршрут, пока наконец и вовсе не перестал пользоваться потайной тропой. Теперь же упущенного не вернешь.

Чтобы отвлечься, я произвожу в уме расчеты и прихожу к неожиданному выводу, что в доме Чарли я провел, оказывается, никак не больше десяти дней: с того памятного летнего дня (а вернее, ночи) до последнего, не менее памятного, дня в июне. Десять, правильно? По тридцать ведь дней в сентябре, апреле, июне — да, значит, десять. Или девять. Во всяком случае, девять ночей. Но когда, спрашивается, кончается день и начинается ночь, и наоборот? И почему, собственно, ночи считать легче, чем дни? Нет, такая арифметика мне всегда тяжело давалась. Чем проще цифры, тем чаще я сбиваюсь со счета. Как бы то ни было, у Чарли Френча, чье гостеприимство и доброту я вовсе не ставлю под сомнение, я прожил примерно десять дней, хотя кажется, что времени прошло гораздо больше. Ощущение такое, будто я жил у него не десять дней, а десять недель. У него мне было не так уж плохо — во всяком случае, не хуже, чем в любом другом месте. А впрочем, что значит «плохо»? Непонятное слово. Со временем тревога моя росла. У меня

совершенно расшатались нервы, постоянно ныли кишки. Я испытывал внезапные, яростные приступы нетерпения. Почему они за мной не приходят, что они себе думают?! Особенно раздражало меня молчание Беренсов, я был убежден, что они затеяли со мной какую-то коварную игру. Однако за всеми этими волнениями неизменно скрывалось тупое, пресное чувство. Я испытывал разочарование. Я был обескуражен. Я-то ожидал, что чудовищное преступление, которое я совершил, уж во всяком случае, внесет в мою жизнь перемены, что в результате начнет хоть что-то происходить, что потянется череда самых невероятных событий: поиски, страхи, бегство, засада, погони. Не знаю, как я пережил это время. Каждое утро я просыпался словно бы от толчка — казалось, на лоб мне падала капля чистой, дистиллированной боли. Этот большой старый дом с его запахами и паутиной действовал на меня угнетающе. Я, естественно, много пил, но не настолько много, чтобы забыться. Видит Бог, я всеми силами к этому стремился, я вливал в себя столько спиртного, что немели губы, не сгибались колени,— но ничего не выходило: убежать от самого себя я не мог. С томительным нетерпением влюбленного я ждал вечера, когда можно будет надеть шляпу и новую одежду — очередная маска! — и осторожно выбраться из дому: чем не трепещущий доктор Джекил [1], в котором, в предвкушении нового опыта, нетерпеливо ерзает и горячится совсем другое, ужасное существо. Мне казалось, что только теперь я впервые увидел окружающий мир таким, какой он есть: людей, дома, вещи. Каким же невинным выглядело все это, невинным и обреченным. Как мне передать тот спутанный клубок чувств, что я испытывал, когда метался по улицам города, предоставив своему ледяному сердцу насыщаться зрелищами и звуками будничной жизни? Как, например, передать то ощущение власти, которое я ощущал?! Ощущение это возникло не из-за того, что́ я сделал, а из-за того, что о сделанном никто ничего не знал. Тайна, именно тайна — вот что ставило меня выше тех унылых особей, среди которых я передвигался, когда угасал день, когда зажигались фонари и скользили домой машины, оставлявшие за собой голубую дымку, что повисала в сумерках, точно пороховой дым. А еще было непрерывное горячечное возбуждение, нечто вроде лихорадки — с одной стороны, меня преследовал страх, что меня изобличат, а с другой — не покидало желание, чтобы это поскорее произошло. Я знал, что где-то в пропахших табаком, невзрачных кабинетах какие-то безликие люди даже сейчас, поздно вечером, кропотливо собирают против меня улики. Я думал о них ночью, лежа на большой, громоздкой кровати матушки Френч. Странно было сознавать, что ты являешься объектом столь пристального внимания, странно и даже по-своему приятно. Это представляется вам противоестественным? Но ведь я находился теперь совсем в другой стране, где старые правила неприменимы.

Спал я, разумеется плохо. Думаю, заснуть я не мог оттого, что боялся снов. В лучшем случае я забывался на час-другой перед самым рассветом и просыпался изможденный, с болью в груди и с воспаленными глазами. Мучился бессонницей и Чарли: в любое время ночи до меня доносился скрип ступенек, позвякиванье чайника на кухне и вымученное, прерывистое журчанье, доносившееся из уборной, где он опорожнял свой стариковский мочевой пузырь. Виделись мы редко. Дом был достаточно большим, чтобы не ощущать присутствия друг друга. С той первой пьяной ночи он стал меня избегать. Друзей у него, судя по всему, не было. Телефон молчал, в гости к нему никто не приходил. Вот почему я очень удивился и даже перепугался, когда, вернувшись как-то вечером раньше обычного после своих каждодневных городских блужданий, обнаружил на шоссе перед домом три больших черных лимузина, а у стены гавани — охранника в форме, а также двух подозрительных типов в куртках на молнии. Как и подобает добропорядочному гражданину, вернувшемуся с прогулки в конце дня, я степенно (несмотря на сильное сердцебиение и мгновенно вспотевшие ладони) прошествовал мимо, а затем нырнул за угол и прокрался к дому со стороны конюшен. Пробираясь через заросший сад, я поскользнулся, упал и ободрал левую руку об одичавший розовый куст. Я спрятался в высокой траве и прислушался. Пахло глиной, листьями и кровью, которая выступила на моей пораненной руке. Желтый свет в кухонном окне окрасил опустившиеся сумерки в нежно-голубой цвет. Внутри, у плиты, стояла неизвестная мне женщина в белом фартуке. Когда я открыл заднюю дверь, она резко повернулась

[1] Аллюзия на повесть Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886), фантастическую притчу о добром и злом началах, сосуществующих в человеке.

и тихонько вскрикнула: «Господи помилуй, кто вы такой?!» Это была пожилая особа в крашенном хной парике, с плохо пригнанными искусственными челюстями и рассеянным видом. Звали ее, как вскоре выяснится, Мэдж. «Они все наверху»,— сказала она и опять повернулась к плите, потеряв ко мне интерес.

Вместе с Чарли я насчитал шесть человек, хотя в первый момент мне показалось, что их было вдвое больше. Собрались они в большой мрачной гостиной на первом этаже; стоя у окна с выпивкой в руках, они раскачивались и кивали головами, точно нервные аисты, и тараторили с такой скоростью, будто от этого зависела их жизнь. За окнами в гавани мерцали огни, а в далеком небе огромная свинцовая туча опускалась, точно крышка, над последними тлеющими угольками заката. При моем появлении разговор стих. Среди гостей была только одна женщина, высокая, худая, с огненно-рыжими волосами и запоминающимся белым как бумага лицом. Чарли, стоявший ко мне спиной, увидел мое отражение в скошенных глазах гостей и повернулся с усталой улыбкой. «А,— сказал он,— это ты...» Его разметавшиеся седые волосы отливали сталью. Он был в галстуке-«бабочке». «Мог бы, между прочим, и предупредить!» — услышал я свой собственный звенящий от бешенства голос. У меня дрожали руки. В комнате повисло было неловкое молчание, но вскоре разговор возобновился. Женщина продолжала молча смотреть на меня. Из-за бледной кожи, ярких волос и длинной нежной шеи вид у нее был перепуганный, как будто давным-давно ей поведали какую-то страшную тайну, с которой она так и не смогла свыкнуться. Бормоча что-то извиняющимся голосом, Чарли подхватил меня под локоть своей дрожащей старческой рукой и мягко, но решительно стал подталкивать к дверям. Страх, который я испытывал совсем недавно, постепенно сменился раздражением. Очень хотелось стукнуть его хорошенько или же вырвать клок волос из его преторианской шевелюры. «Скажи Мэдж,— говорил он,— скажи Мэдж, чтобы она тебя накормила, а я скоро спущусь». Чарли так волновался, что казалось — вот-вот расплачется. Он стоял на верхней ступеньке и следил, как я спускаюсь вниз, будто боялся, что, стоит ему отвести глаза, как я подымусь опять, и только когда я благополучно достиг последней ступеньки и направился на кухню, он вернулся к гостям.

В кухне нечем было дышать, и у Мэдж, стоявшей в клубах пара у плиты в сбившемся набок парике, вид был еще более разгоряченный и встрепанный, чем несколько минут назад. «Ну и кухня! — с досадой проговорила она.— Наказанье божье!» Она была, по ее собственному колоритному замечанию, «приходящей женщиной мистера Френча», которая приглашалась, когда «устраивали званые обеды». Я заинтересовался. Вот уж действительно званые обеды! Я помог ей: откупорил несколько бутылок вина и, взяв одну бутылку себе, сел за кухонный стол. В бутылке оставалось меньше половины, когда во входную дверь громко постучали, и сердце мое опять тревожно забилось. Я вышел в прихожую, но Чарли уже трусил вниз по лестнице. Когда он открыл дверь, я сначала увидел тех двоих, в куртках на молнии, а потом упитанного мужчину и высокую холеную женщину, царственной походкой входивших в дом. «А, Макс»,— сказал Чарли и с неуклюжей поспешностью шагнул мужчине навстречу. На женщину он внимания не обратил. Макс небрежно пожал ему руку, а затем провел ладонью по своему низкому тяжелому лбу. «Господи, далеко же тебя занесло! — воскликнул он.— Я уж думал, мы никогда не доедем». Они двинулись к лестнице, Чарли и Макс впереди, женщина сзади. На ней было уродливое синее платье «в пол», на шее жемчужное ожерелье в три ряда. Она огляделась по сторонам, встретилась со мной глазами и смотрела на меня до тех пор, пока я не отвернулся. Тут из кухни выщла Мэдж. «Явился пройдоха со своей раскрасавицей»,— шепнула она мне в плечо.

Я подождал, пока они подымутся наверх, а когда Мэдж вернулась на кухню, последовал за ними и вновь проскользнул в гостиную. Чарли, Макс и миссис Макс стояли у окна и любовались вечерним пейзажем, а остальные гости раскачивались и кудахтали, изо всех сил стараясь в их сторону не смотреть. Я схватил с камина несколько бутылок и стал бегать по комнате, обслуживая собравшихся. У мужчин был вымытый, напряженный, немного взволнованный вид, какой бывает у старшеклассников, когда они первый раз отправляются на пикник без взрослых. Исключение составлял старик с носом цвета апельсина-королька и пятнами по всему жилету; он стоял в стороне — подавленный, с остекленевшим взглядом. Все остальные внимательно смотрели сквозь меня, а этот, стоило мне подойти поближе,

сразу же оживился. «Так как ты думаешь,— громко сказал он,— победим мы или нет?» Я понял, что вопрос этот риторический. «Обязательно»,— решительно ответил я и подмигнул ему. Он поднял брови и сделал шаг назад — в глазах его читалось сомнение. «Черт его знает,— буркнул он.— Не поручусь». Я пожал плечами и вежливо отошел в сторону. Чарли увидел меня, и на лице у него застыла напряженная улыбка. «Я пила водку»,— холодно сказала мне миссис Макс, когда я предложил ей джину. Мое внимание привлек ее муж. У него было такое грубое, такое обветренное лицо, как будто он долгое время жил в гораздо более суровом климате, чем все присутствовавшие. Его движения, манера держаться, медленно, вдумчиво поворачивать голову или подносить руку ко лбу — все это носило на себе печать исключительности и одновременно театральной выверенности. Голос у него был тягучий и гортанный, в его отрывистой речи было что-то властное, неуловимо притягательное. Это был голос человека, который упрямо идет вперед, устраняя все препятствия на своем пути. Я представил себе, как он рассеянно топчет все, что попадает ему под ноги: цветы, улиток, врагов. «Признавайся, Чарли,— говорил он,— ты все тот же: купить подешевле, продать подороже, а?» Чарли покраснел и незаметно взглянул на меня. «Вот именно,— подхватила миссис Макс,— назло всем». Она говорила громким ровным голосом, глядя куда-то мимо мужа. Казалось, свои замечания она отпускает в расчете на ироничного собеседника, что незримо стоит за ее спиной и слушает. Впрочем, и Макс тоже на нее не смотрел, словно ее голос ей не принадлежал. Он хрипло рассмеялся. «Ну что, раздобыл ты мне эту голландскую мазню?» Чарли молча покачал головой и тоскливо улыбнулся. У него начало подрагивать левое веко, как будто внезапно ожила залетевшая туда муха. Я предложил ему виски, но он быстро прикрыл бокал ладонью. Отмахнулся от меня и Макс. Сзади ко мне подошла женщина с ярко-рыжими волосами. «Вы поцарапали руку»,— сказала она, и несколько секунд мы все, Макс со своей дамой, Чарли, рыжеволосая и я, молча смотрели на мои вздувшиеся пальцы. «Да,— сказал я,— упал на розовый куст». И засмеялся. Полбутылки вина, которые я выпил, сидя на кухне, ударили мне в голову. Чарли украдкой переминался с ноги на ногу, боясь, по-видимому, что я сейчас совершу нечто непотребное. Только теперь я понял, как он меня боялся. Бедняга Чарли. По черной как чернила воде бесшумно скользила освещенная яхта. «Отличный вид»,— без тени улыбки проговорил Макс.

В столовой сова взирала на гостей из-под своего стеклянного колпака с изумлением и некоторой тревогой. К этому времени Пэтч, то бишь Мэдж, окончательно сбилась с ног, и я помогал ей носить приборы и блюда, с лихой небрежностью официанта расставляя еду на столе. Должен признаться, я получал удовольствие. Я веселился, точно ребенок, попавший на костюмированный бал. Я двигался, будто во сне; уж не знаю, как это получилось, но в течение двух часов, изображая из себя слугу Чарли, я избавился и от себя самого, и от тех ужасов, что уже много дней меня преследовали. Я даже придумал себе роль, выработал... как бы сказать... определенный стиль поведения, который не был моим, но который — так мне тогда казалось — был не менее естественным или, во всяком случае, не менее правдоподобным, чем мое истинное «я». (Мое истинное «я»!) Я перевоплотился во Фредерика Незаменимого, верного слугу мистера Френча, без которого этот сварливый богатый старый холостяк не прожил бы и дня. Он протянул мне руку помощи, когда я, совсем еще мальчишкой, работал официантом в какой-то вонючей дыре,— и вот теперь был предан ему душой и телом, готов ради него на все. Разумеется, и я бывал с ним резок, в особенности когда он приглашал гостей. (Ревность? Его знакомые не раз подымали эту тему, но нет, решили они, *этим* Чарли не грешит: «Вы же помните провинциалку с лошадиным лицом, тайную любовь всей его жизни?») Мы и в самом деле были как отец и сын, вот только сын был чересчур упрям, а отец излишне мягкотел. Иногда трудно было сказать, кто из нас хозяин, а кто — слуга. В тот вечер, например, когда ужин подходил к концу, я уселся за стол вместе с гостями и наполнил свой бокал — как будто это было в порядке вещей. Наступила тишина, Чарли нахмурился и стал гонять по скатерти хлебные шарики, Макс со злобным видом уставился в окно на огни гавани, а его телохранители, сидевшие по обе стороны от него, напряглись и нервно переглянулись. Некоторое время я сидел неподвижно, но затем встал, взял свой бокал и со словами: «Ну-с, нам, дамам, пожалуй, лучше уйти» — бросился вон из комнаты. В прихожей я, естественно,

прислонился к стене и расхохотался, однако руки у меня дрожали. Страх сцены — не иначе. Ах, какой бы из меня вышел актер!

Что бы такое сделать?

Я пошел наверх, в гостиную. Нет, я пошел на кухню. Опять Мэдж: парик, вставные зубы, белый фартук — все это мы уже видели. Я выбежал из кухни и в прихожей обнаружил рыжеволосую — Рыжика. Она как раз выходила из столовой. Под лестницей было темно, там мы и встретились. Я с трудом различал во мраке ее лицо, она не сводила с меня глаз — серьезных, испуганных. «Почему вы такая грустная?» — спросил я и увидел, что она не знает, куда девать руки; потом она спрятала их за спину, согнула ногу в коленке и стала, точно кокетничающая школьница, вертеть плечами и бедрами. «С чего вы взяли, что я грустная? — отозвалась она.— Никакая я не грустная». Казалось, она вот-вот заплачет. Неужели она разглядела во мне ужас и стыд, неужели это сразу бросилось ей в глаза? А ведь она искала встречи со мной, я это знал. Я вытянул руку, толкнул дверь у нее за спиной, и мы неожиданно очутились в совершенно пустой комнате. В комнате стоял сухой луковый запах, такой же, как в Кулгрейндже, на чердаке. У стены, точно разбитое зеркало, примостился параллелограмм лунного света. Я по-прежнему держал в руке эти проклятые тарелки. Я поставил их на пол у наших ног и, не успел еще разогнуться, когда она, коснувшись моего плеча, сказала что-то неразборчивое. Потом тихо, удивленно засмеялась, как будто сама не ожидала услышать звук собственного голоса. «Не важно,— сказала она.— Не важно». Она дрожала в моих объятиях. Спустя мгновение от нее остались одни зубы, дыхание, судорожное пожатие пальцев. Мою голову она стиснула с такой силой, словно хотела раздавить ее. Она сбросила туфли, и, падая, они гулко застучали по голым доскам. Она уперлась приподнятой ногой в закрытую дверь у себя за спиной и качнулась назад, упираясь все сильней и сильней. Бедра у нее были холодные. Она рыдала, слезы падали мне на руки. Я кусал ее в горло. Мы были похожи... не знаю... мы были похожи на двух гонцов, что, встретившись в темноте, обменялись страшными вестями. «Господи,— выдохнула она,— Господи...» — и уронила голову мне на плечо. Наши руки сплелись. Комната возникла вновь: лунный свет, запах лука. И только одна мысль: ее белое лицо, ее волосы. «Прости меня»,— сказал я. И почему-то засмеялся. Впрочем, смехом это назвать было трудно.

Как мирно проходят теперь дни, здесь, на излете года. Сидя в этой глухой серой комнате, я иногда воображаю, что я абсолютно один, что кругом на многие мили нет ни одной живой души. Это все равно что находиться в трюме огромного серого корабля. Воздух тяжел и недвижен, давит мне на уши, на глаза, на виски. Наконец-то объявлен день суда. Я понимаю, что это событие должно было бы, по идее, меня мобилизовать, вызвать возбуждение или страх — но нет, ничего этого не происходит. Что-то случилось у меня с чувством времени, теперь я мыслю исключительно в категориях вечности. Теперь дни, недели этой пошлой судебной мелодрамы представляются мне не более чем булавочным уколом. Я стал вечным узником.

Сегодня его честь опять заговорил о том, как мне построить свое выступление в суде. Некоторое время я его не перебивал, но затем слушать его пустую болтовню надоело, и я сказал, что откажусь от его услуг, если он не будет говорить прямо, без обиняков. С моей стороны это было чистейшим лицемерием, ибо я после последнего его визита окончательно уяснил: он намекает на то, что возможна какая-то договоренность; из разговоров, которые ведутся здесь, я давно уже понял, что в большинстве случаев защите и обвинению удается договориться. «И чего же хочет от меня суд?» — поинтересовался я. По тому, как бедняга начал потеть и суетиться, я вроде бы понял, на что он намекает: ну конечно же, они пытаются спасти репутацию Чарли! (Кто бы мог подумать, что их волнует Чарли или его репутация?) Я, естественно, готов был сделать для Чарли все, что только можно, хотя об этом, по-моему, думать надо было раньше. «Ладно, дружище,— сказал я, подняв руку,— я признаю себя виновным — и что дальше?» Он пристально посмотрел на меня поверх очков. «А дальше, как говорится, на нет и суда нет»,— сказал он, и я, хоть и не сразу, понял смысл его каламбура. Его честь печально усмехнулся. Он подразумевал, что на первом же заседании я отведу все обвинения в том виде, в каком они мне предъявлены, признаю себя виновным в убийстве, судья быстренько сведет процедурные вопросы до минимума (я же пошел ему навстречу!), объявит приговор,

и на этом все кончится, дело будет объявлено закрытым. Ничего гарантировать он, конечно, не может, но считает своим долгом выработать самую выгодную для клиента линию поведения — в рамках закона, понятное дело. Когда его честь начинает рассуждать таким образом, он совершенно неотразим. «И чего же мы этим добьемся? В чем, собственно, тут хитрость?» — недоумеваю я. Он пожимает плечами. Хитрость в том, что суд не станет заслушивать показания свидетелей. Только и всего. Последовала пауза. «И это его спасет?» — спросил я. Он озадаченно нахмурился, и тут только я сообразил, что был не прав, что вовсе не в Чарли дело. Я засмеялся. Я уже, кажется, говорил, что иногда наивность моя поистине безгранична. Его честь покосился на дверь (да, да, именно так и было) и шепнул заговорщически, навалившись в целях конспирации на стол: «Ваш Чарли Френч никого не волнует. Не в *нем* дело».

Ваша честь, мне это не нравится, мне это совсем не нравится. Разумеется, я признаю себя виновным (разве я не признавал себя виновным с самого начала?), но меня не устраивает, что я не буду давать показаний; меня это совершенно не устраивает. Это несправедливо. Даже такой мерзавец, как я, должен иметь возможность выговориться. Я не раз представлял себе, как занимаю место для дачи свидетельских показаний, как спокойно, с достоинством держусь, как неброско (газетчики любят это слово) одет. А потом голосом, не терпящим возражений, излагаю *свою* версию случившегося. И вот теперь меня лишают моего звездного часа (уверен, последнего в жизни). Нет, это несправедливо.

Как ни странно, тот вечер у Чарли Френча я припоминаю с трудом. То есть сам-то вечер я помню, а вот люди запечатлелись в памяти неясно, расплывчато. Я гораздо яснее вижу огни на воде, узкую полоску заката, наплывающую свинцовую тучу, чем лица всех этих трогательных взрослых мальчиков. Даже от Макса Молиньюкса сохранились в памяти лишь дорогой костюм и какая-то напыщенная грубость. Да и что мне до него и до ему подобных, черт возьми! Пусть себе берегут свою репутацию, мне на это наплевать; распускать же сплетни я не намерен! Весь вечер прошел точно в тумане — как, впрочем, и многое за те десять дней. Господи, даже бедная Рыжик была в моем безумном состоянии не более реальной, чем пьяное сновидение. Нет, постойте, эти слова я беру назад. Пусть утробно хихикают сколько хотят, но заявляю с полной ответственностью: ее я помню отчетливо, с нежностью и состраданием. Ведь она была и, скорее всего, навсегда останется последней женщиной, с которой я занимался любовью. Любовью? И это можно назвать любовью? А что же это? Ведь она мне доверилась. Она ощущала запах крови и ужаса, но не отшатнулась, а раскрылась, подобно цветку, и дала мне возможность на мгновение перевести дух среди ее лепестков, обменяться с дрожью в сердце нашей бессловесной тайной. Да, я помню ее. Я падал, а она подхватила меня, моя Гретхен.

Кстати, звали ее Мэриан. А впрочем, какая разница.

Гости засиделись допоздна, только миссис Макс уехала сразу после ужина. Я видел, как ее увозили: она очень прямо восседала на заднем сиденье одного из черных лимузинов — изможденная Нефертити. Проводив ее, Макс с друзьями вновь поднялись наверх и пьянствовали до самого рассвета. А я всю ночь просидел на кухне, играя с Мэдж в карты. Где была Мэриан? Не знаю — я ведь, как обычно, надрался. Как бы то ни было, счастье наше было уже позади, и, встреться мы той же ночью снова, ничего, кроме неловкости, не возникло бы. И все же я ходил, по-моему, ее искать: карабкался по лестнице, бродил по темным спальням, на что-то натыкался, падал... Еще запомнилось почему-то, как я стою у широко открытого окна, очень высоко, и слушаю музыку, таинственные звуки колоколов и труб, которые постепенно стихали, растворялись в воздухе, словно в ночь уходила какая-то шумная процессия. В действительности музыка, видимо, играла на танцплощадке или в ночном клубе, в гавани. Я же до сих пор воспринимаю ее как шум покидающего меня Бога и его свиты.

5

На следующий день погода переменилась. Поздним утром, когда я и мое похмелье продрали глаза, солнце еще жарило так же весело и безжалостно, как и всю неделю, а разбросанные по побережью дома плавали в бледно-голубой дымке. Так что издали казалось, будто на небе изображены какие-то таинственные

геометрические фигуры. Я стоял у окна в одних трусах, чесался и зевал. В тот момент я поймал себя на мысли, что почти уже привык к этому странному образу жизни. Я словно бы свыкся с болезнью, перестал бояться, как боялся в первые дни, озноба и высокой температуры. Звонил церковный колокол. Воскресенье. Любители прогулок фланировали вдоль моря со своими собаками и детьми. Через дорогу, у стены гавани, заложив руки за спину и неподвижно глядя на воду, стоял какой-то мужчина в плаще. Снизу доносились голоса. Мэдж была на кухне — мыла посуду после гостей. Она с любопытством посмотрела на меня. Я был в халате Чарли. Как же получилось, что я не обратил внимания на появившуюся в ее голосе рассудительность? Тон этот должен был меня насторожить. В то утро ей помогала племянница, невзрачная девочка лет двенадцати, у которой было... А впрочем, какая разница, что у нее там было, как она выглядела? Всех этих свидетелей теперь все равно не вызовут. Я сидел за столом, пил чай и смотрел, как они трудятся. Чувствовалось, что девочка меня побаивается. «А мистер Френч ушел,— сказала Мэдж; руки у нее были в мыльной пене.— Я с ним в дверях столкнулась». В ее тоне сквозил упрек, как будто Чарли убежал из дому из-за меня. А ведь так оно, собственно, и было.

К обеду на горизонте выросла огромная туча — серая, шероховатая, точно накипь, и море, черно-синее, с белыми прожилками, заволновалось. С востока приближалась колышущаяся дождевая завеса. Человек, стоявший у стены гавани, застегнул плащ. Воскресная толпа гуляющих давно разошлась. Но он — он оставался стоять, как стоял.

Ну вот и дождался. Как странно: я-то думал, что испытаю ужас, впаду в панику, что я покроюсь холодным потом или меня проберет дрожь,— но ничего этого не было и в помине. Наоборот, меня охватила какая-то немыслимая эйфория. Я расхаживал по дому, словно пьяный капитан — по палубе попавшего в шторм корабля. Какие только безумные мысли не приходили мне в голову! Надо забаррикадировать стены и окна. Надо взять в заложницы Мэдж и ее племянницу и обменять их на вертолет. Надо дождаться возвращения Чарли и выбраться из дому, прикрываясь им, как щитом, и приставив к его горлу нож,— с этой целью я даже спустился на кухню поискать подходящее лезвие. Мэдж кончила мыть посуду и, налив себе чаю, села за стол и развернула воскресную газету. Когда я стал рыться в ящике с ножами и вилками, она бросила на меня подозрительный взгляд и, помолчав, спросила, буду ли я обедать один или дождусь мистера Френча. Я громко рассмеялся. Обедать! Засмеялась — пискливо, как попугай, обнажив белесую, блестящую десну,— и племянница. Стоило мне посмотреть на нее, как она мгновенно захлопнула рот — будто занавес упал. «Джасинт,— резко сказала ей Мэдж,— ступай-ка домой».— «Не двигаться!» — закричал я. Они обе вздрогнули, у Джасинт задрожал подбородок, глаза ее наполнились слезами. Я перестал искать нож, снова помчался наверх и приник к окну. Человека в плаще не было. Я вздохнул с таким невероятным облегчением, точно все это время старался не дышать полной грудью. По стеклу бежали ручейки дождя, крупные капли плясали на асфальте и на поверхности воды, отчего издали казалось, будто море закипает. Я услышал, как открылась и хлопнула входная дверь, и под окном возникли Мэдж с племянницей — они бросились бежать через улицу, натянув куртки на голову. Почему-то было ужасно смешно смотреть, как девочка перепрыгивает через лужи, а Мэдж трусит следом. И тут я заметил машину, она стояла чуть поодаль, на противоположной стороне. Через лобовое стекло, по которому струились дождевые потоки, можно было различить две крупные неподвижные фигуры на переднем сиденье.

Я сидел на стуле в гостиной, уставившись в одну точку, вцепившись в подлокотники и сдвинув колени. Не знаю, сколько времени я так просидел в этом тускло освещенном, сером пространстве. У меня, во всяком случае, создалось впечатление, что прошло несколько часов, чего, разумеется, быть не могло. После вчерашнего в комнате пахло спиртными парами и табаком. Шум дождя за окном убаюкивал. Я впал в своего рода транс, в забытье. Мне привиделось, как я, еще мальчишкой, поднимаюсь по поросшему лесом склону горы неподалеку от Кулгрейнджа. Был март, один из тех ветреных голландских дней, когда по голубому, точно фарфоровому, небу несутся наперегонки пепельного цвета облака. Деревья надо мной качаются и стонут от ветра. Вдруг раздается оглушительный треск, в глазах у меня темнеет, и рядом со мной обрушивается нечто, похожее на крыло громадной птицы. Это

упала ветка. Меня она не задела, однако идти дальше я не мог — остановился как вкопанный, оцепенев от страха. Ужаснули меня тяжесть и скорость падающего предмета. Я испытал даже не страх, а глубокое потрясение от того, как же мало я значу. С тем же успехом я мог бы быть трещиной в воздухе. Земля, ветка, ветер, небо, мир были точными и необходимыми координатами происшедшего. Только я один был не на месте, только моя роль сводилась к нулю. И природе я был безразличен. Если б меня убило веткой и я бы лежал, уткнувшись лицом в опавшие листья, день шел бы своим чередом, как будто ничего не произошло. То, что могло произойти, не имело бы значения — по крайней мере, большого значения. Да, кому-то я мог бы причинить неприятности. Каким-то живым существам пришлось бы из-под меня выбираться. Какой-нибудь неприкаянный муравей, возможно, заблудился бы в окровавленной раковине моего уха. Но свет оставался бы таким же, и ветер дул бы точно так же, как раньше, и стрела времени не задержалась бы ни на секунду в своем полете. Я был ошарашен. Это мгновение запомнилось мне навсегда. И вот теперь на меня должна упасть еще одна ветка, я слышал тот же треск над головой, чувствовал, как опускается такое же темное крыло.

Пронзительно, как будто раздался звон разбитого стекла, зазвонил телефон. В трубке стоял гул. Кто-то, если я правильно понял, спрашивал Чарли. «Его нет! Его нет дома!» — закричал я и бросил трубку. Почти сразу же телефон заверещал снова. «Подожди, подожди, не вешай трубку,— раздался тот же голос,— это я, Чарли». Я, разумеется, рассмеялся. «Я звоню с улицы,— сказал он,— понимаешь, с улицы». Я продолжал смеяться. Последовала пауза. «Здесь полицейские, Фредди,— сказал он,— они хотят поговорить с тобой, произошло какое-то недоразумение». Я закрыл глаза. Тут только я понял: какая-то частица меня, оказывается, еще надеялась, что все обойдется, не могла до конца поверить, что наступил конец. Казалось, помехи символизируют собой тревогу и смущение самого Чарли. «Чарли, Чарли, почему ты прячешься в телефонной будке? Неужели ты мог подумать, что я причиню тебе зло?» — спросил я и, не дожидаясь ответа, повесил трубку.

Хотелось есть. Я спустился на кухню, сделал себе громадный омлет, съел полбуханки хлеба и выпил пинту молока. Я сидел, широко расставив локти и уставившись в тарелку, и заглатывал пищу со звериным равнодушием. Из-за дождя комната была погружена во мрак. Чарли я услышал сразу, стоило ему войти в дом: он никогда не умел бесшумно ходить по жизни. Он заглянул на кухню и — без особого успеха — изобразил на лице улыбку. Я указал ему на стул, и он с опаской присел на краешек. Тем временем я принялся за вареную картошку, оставшуюся от вчерашнего ужина,— никак не мог наесться. «Чарльз,— сказал я,— вы ужасно выглядите». Я не преувеличивал: лицо у него посерело, осунулось, глаза провалились. Рубашку он застегнул на все пуговицы, однако галстука не надел. Он провел рукой по подбородку, и я услышал, как шуршит щетина. «Сегодня пришлось очень рано встать»,— сказал он; его подняли с постели и вызвали в участок. В первый момент я не сразу понял, о каком участке идет речь. Он не отрывал глаз от моей тарелки с вареной картошкой. Что-то в окружавшей нас тишине изменилось: я понял вдруг, что дождь прекратился. «Господи помилуй, Фредди, что ты натворил?» — проговорил он еле слышно. Казалось, он не столько потрясен, сколько озадачен. Я достал из холодильника еще одну початую бутылку молока. «А помните, Чарли, как вы угощали меня в «Джаммете» и в «Парадисо»?» Он только пожал плечами. Было непонятно, слушает он меня или нет. Молоко свернулось. Я все равно его выпил. «Знаете, я ужасно любил ходить с вами по ресторанам,— сказал я,— хотя виду не подавал». Я нахмурился. Что-то я не то говорю, подумал я. Мои слова сворачивались, точно молоко. Когда я лгу, то говорю глухим, невыразительным голосом. Да и вообще зачем надо было ворошить прошлое, воскрешать старую, никому теперь ненужную ложь? Или я, сам того не сознавая, уже готовился к будущим исповедям? Нет, не совсем так. Я просто хотел попросить у него прощения, а как было сделать это, не солгав? Сейчас передо мной сидел дряхлый старик: плечи поникли, голова болтается на тощей жилистой шее, рот перекосился, слезящиеся глаза устремлены в одну точку. «Я виноват, Чарли,— сказал я,— виноват, черт возьми».

Интересно, полицейский случайно вошел именно в этот момент или же, стоя за дверью, подслушивал? В кино, я заметил, вооруженный убийца, вжавшись в стену и тараща от возбуждения глаза, всегда ждет в коридоре, пока разговор не

подойдет к концу. Видимо, данный блюститель закона неплохо разбирался в кино. У него было продолговатое скуластое лицо и гладкие черные волосы, одет он был в подбитый ватой военный китель. Автомат, который он держал — топорная модель с тупым, очень коротким стволом,— был поразительно похож на игрушечный. Когда он появился на кухне, вид у него был более удивленный, чем у нас с Чарли. Я не мог не восхищаться той сноровкой, с какой он взломал заднюю дверь. Она болталась на петлях, а сломанная щеколда повисла, как язык у гончей. Чарли встал. «Все в порядке, сержант»,— сказал он. Полицейский переступил через порог. Он смотрел прямо на меня. «Ты арестован,— сказал он.— Слышишь, ублюдок?» За его спиной, во дворе, неожиданно показалось солнце, и все осветилось, влажно заблестело.

Через переднюю дверь вошли еще несколько полицейских; сначала я решил, что их человек десять, однако, присмотревшись, обнаружил только четверых. В одном из них я узнал того типа, что утром стоял под домом, у стены гавани,— узнал по плащу. Все были вооружены пистолетами разных марок и калибра. Я оторопел. Они встали по стенам, глядя на меня с плохо скрываемым любопытством. Дверь в прихожую оставалась открытой. Чарли двинулся было туда, но один из полицейских обронил: «Стоять». В тишине слышно было приглушенное воркование полицейских раций снаружи. Ощущение было такое, будто все мы ждем появления монарха. Однако появился вовсе не монарх, а хрупкий, похожий на мальчишку, человек лет тридцати с золотистыми волосами и прозрачными голубыми глазами. У него были поразительно маленькие, я бы даже сказал изящные, руки и ноги. Он подошел ко мне как-то неуверенно, бочком, глядя в пол с загадочной улыбочкой. «Меня зовут,— сказал он,— Хаслет, инспектор Хаслет». (Привет, старина, надеюсь, ты не в обиде, что я назвал твои ручки изящными,— это чистая правда, поверь.) Странное его поведение — эта улыбочка, косой взгляд — объяснялось, скорее всего, робостью. Робкий полицейский! Этого я никак не ожидал. Он оглянулся. Всем стало как-то неловко, никто не знал, что делать дальше. Хаслет снова как-то косо посмотрел на меня. «Ну что,— сказал он, не обращаясь ни к кому в отдельности,— дело сделано?» И тут внезапно все ожило. Тот, с автоматом (назовем его сержант Хогг), сделал шаг вперед и, положив оружие на стол, ловко защелкнул у меня на запястьях наручники. (Кстати говоря, не такие уж они неудобные; есть в них даже что-то успокаивающее — как будто естественней сидеть на цепи, чем пользоваться неограниченной свободой.) Чарли нахмурился. «Без этого никак нельзя, инспектор?» — спросил он. Сказано это было с таким чувством, так проникновенно, с долей серьезного высокомерия, что в первый момент я даже удивился, не услышав аплодисментов. Я посмотрел на него с неподдельным восхищением. От старческого болезненного вида, что бросался в глаза всего пару минут назад, не осталось и следа; теперь Чарли выглядел весьма важно: темный костюм, серебристые кудри. Небритый, в рубашке без галстука, он был похож на государственного мужа, который среди ночи улаживает вспыхнувший в стране конфликт. Поверьте, я вовсе не лицемерю, когда говорю, что восхищаюсь его поразительным умением перевоплощаться. Мне вообще кажется, что безоглядная вера в маску — это истинный признак утонченного гуманизма. Эту сентенцию я сам придумал или кто-то еще? Не важно. Я встретился с ним глазами, чтобы дать ему понять, как высоко я его ценю, и чтобы... о Господи... чтобы попросить у него прощения, что ли. Потом я подумал, что мой взгляд мог показаться ему скорее насмешливым, чем извиняющимся. По-моему, во время всего этого кухонного фарса на лице у меня играла издевательская ухмылка. У Чарли же рот был крепко сжат, челюсть тряслась от бешенства (беситься у него были все основания), однако в глазах читалась лишь мечтательная грусть. В это время Хогг толкнул меня в спину, и меня быстро вывели в прихожую, а оттуда — на ослепительный солнечный свет.

Тут произошло минутное замешательство: полицейские какое-то время тупо переминались с ноги на ногу, вытягивая свои короткие шеи и во все стороны вертя головами. Чего они боялись — что меня отобьют? Я обратил внимание, что все они были в кроссовках, только один Хаслет, как и полагалось добропорядочному сельскому жителю, щеголял в добротных коричневых башмаках. Один из его людей столкнулся с ним. «Чем больше полицейских, тем меньше добыча»,— сострил я, но никто не засмеялся, а Хаслет сделал вид, что не расслышал. Я же счел, что сказал нечто необычайно остроумное. Я по-прежнему

пребывал в состоянии безумного возбуждения; хотелось прыгать, кусаться, рычать. Все сверкало в чисто вымытом морском воздухе. В солнечном свете ощущалось какое-то таинственное, фантастическое мерцание, мне чудилось, будто я ловлю руками летящие фотоны. Мы перешли улицу. Машина, которую я видел из окна, стояла там же, лобовое стекло было покрыто дождевыми каплями. Двое на переднем сиденье проводили нас любопытным взглядом. Я засмеялся: это были вовсе не полицейские, а какой-то здоровяк со своей «здоровячкой» — по случаю воскресенья они выехали «на природу», «подышать свежим воздухом». Женщина, лениво жуя конфету, уставилась на наручники, и я, в дружеском приветствии, поднял руки. Хогг еще раз толкнул меня под лопатку, да так сильно, что я чуть не упал. С этим, я это сразу понял, шутки плохи.

Машин было две, синяя и черная,— обе самые обыкновенные, ничем не примечательные. Распахнутые дверцы напоминали крылышки у жука. Меня посадили на заднее сиденье между сержантом Хоггом и рыжеволосым великаном с лицом младенца. Хаслет облокотился на дверцу. «Вы его предупредили?» — мягко осведомился он. Никто ему не ответил. Два детектива, сидевшие впереди, застыли в неестественных позах, как будто больше всего на свете боялись рассмеяться. Хогг с мрачным видом, стиснув зубы, смотрел прямо перед собой. Хаслет вздохнул и отошел. Шофер осторожно, словно на ощупь, повернул ключ в замке зажигания. «Пока можешь молчать, балаболка»,— процедил Хогг, не глядя на меня. «Спасибо, сержант»,— откликнулся я, решив про себя, что и эта моя фраза — верх остроумия. Мы, резко рванув с места, отъехали от тротуара, оставив за собой дымок от чиркнувших по асфальту шин. «Интересно,— подумал я,—. Чарли стоит сейчас у окна или нет?» Подумал, но не обернулся.

Отвлекусь на минуту, чтобы сообщить, что умер Хельмут Беренс. Сердце. Господи, моя история превращается в Книгу Мертвых.

Как хорошо мне запомнилось это путешествие! В жизни не приходилось ехать так быстро. Мы на бешеной скорости проносились мимо вялого воскресного транспорта, ныряли в переулки, поворачивали на двух колесах, визжа тормозами. Было чудовищно жарко — все окна ведь были подняты, в машине стоял какой-то мускусный, животный запах. Атмосфера накалилась. Я пребывал в оцепенении, испытывал ужас и в то же время какую-то радость оттого, что несся с такой скоростью, что сидел плечо к плечу с этими огромными потными парнями, которые молча пялились на дорогу, сложив руки на груди и еле сдерживая возбуждение и ярость. Я чувствовал, как тяжело они дышат. Скорость их успокаивала, разряжала. Солнце било нам в глаза — злобно, неотступно. Я знал: они ждут любого предлога, чтобы навалиться на меня и избить до полусмерти. Впрочем, даже в этой мысли было что-то тонизирующее. Я ведь ни разу в жизни не привлекал к себе столько внимания. Отныне с меня не будут спускать глаз, за мной будут ухаживать, меня будут кормить, как большого беспокойного младенца. Не будет больше беготни, не придется больше прятаться и ждать, не надо будет принимать решений. Я уютно пристроился между своими тюремщиками, чувствуя приятное покалывание металла в суставах. И в то же время другой, так сказать, стороной рассудка, я прикидывал, что́ я теряю. На улицы, здания, людей я смотрел, словно бы в последний раз. Я, который всегда был в душе сельским жителем (да, это правда), который никогда по-настоящему не знал, да и не интересовался городом, даже когда жил в нем, теперь начал относиться к нему с любовью. С любовью? Это слово не из моего лексикона. Быть может, я имею в виду что-то совсем другое... Что же я терял? Я терял... даже не знаю что. Я чуть было не сказал «человеческое сообщество» или нечто столь же напыщенное, высокопарное, но осекся: я ведь никогда не был частью людского сборища. Как бы то ни было, сейчас, дорогой, сердце мое сжималось от тоскливого чувства отрешенности и утраты. Особенно хорошо мне запомнилась почему-то улочка у реки, где мы целую минуту простояли у испорченного светофора. На этой улочке маленькие жилые дома соседствовали с большими серыми, невзрачными — складами и прочими подсобными помещениями. На подоконнике сидел старик, в канаве играл с чумазым щенком младенец. Над домами гордо реяло развешенное белье. Было тихо. Горел, не меняясь, красный свет. И тут, как будто повернули какой-то тайный рычаг, немая сценка стала

медленно, робко приходить в движение. Сначала по красному металлическому мосту прогремел зеленый поезд. Потом две двери в двух домах распахнулись одновременно, и погреться на солнце вышли две нарядно одетые девушки. Потом издал победоносный крик ребенок и затявкал щенок. Над головой пронесся самолет, а мгновением позже тень его легла на мостовую. Старик с поразительной ловкостью спрыгнул с подоконника, последовала эффектная пауза, после чего, огласив окрестности устрашающим воем, над крышами домов проплыл увенчанный черной трубой белый капитанский мостик океанского лайнера. Все это выглядело так причудливо, так наивно и непосредственно (точно цветная иллюстрация на обложке школьного учебника географии), что мне захотелось громко рассмеяться, хотя, рассмейся я, раздался бы, скорее всего, не смех, а стон. Но тут шофер выругался и проехал на красный, я быстро повернул голову и увидел, как вся картинка — и принарядившиеся по случаю воскресенья девушки, и пароход, и ребенок с собакой, и старик, и красный мост — сворачивается; сворачивается и вихрем уносится в прошлое.

Полиция помещалась в здании, похожем на дворец эпохи Возрождения, с высоким серым каменным фасадом и аркой, которая вела в сумрачный маленький дворик, где когда-то наверняка стояла виселица. Меня бесцеремонно вытолкнули из машины, провели через низкую дверь и погнали по длинным мрачным коридорам. По всему зданию витали воскресная летаргия и терпкий запах школы-интерната. Если честно, я надеялся, что моего приезда будут с нетерпением ждать, что в коридорах, чтобы взглянуть на меня хоть одним глазком, будут толпиться клерки, секретарши и полицейские в подтяжках,— однако кругом было пусто, а те немногие, кто нам встречался, даже не смотрели в мою сторону, что, признаться, показалось мне даже довольно обидным. Мы вошли в продолговатую неуютную комнату и стали ждать, когда приедет инспектор Хаслет. Два высоких, очень грязных зарешеченных окна выходили во двор. В углу стояли обшарпанный письменный стол и несколько стульев. Никто не садился. Мы переминались с ноги на ногу и смотрели в потолок. Кто-то кашлянул. Вошел пожилой полицейский в рубашке с короткими рукавами, лысый, с нежной, почти детской улыбкой. Мне бросилось в глаза, что на ногах у него были высокие черные сапоги, начищенные до блеска. Вид этих сапог почему-то успокаивал. Впредь мне предстояло оценивать своих тюремщиков по обуви. Ботинкам и сапогам я склонен был доверять, кроссовки же не сулили ничего хорошего. Через несколько минут во двор въехала машина инспектора Хаслета. Как и час назад, мы ждали его прихода. Как и час назад, на губах его застыла застенчивая улыбочка. Я стоял перед столом, пока он зачитывал предъявленные мне обвинения; этот скромный церемониал напомнил мне день моей свадьбы, и я с трудом сдержал улыбку. Лысый печатал список обвинений на допотопной пишущей машинке, высунув от натуги кончик языка, и со стороны казалось, что он не печатает, а подбирает мелодию на пианино. На вопрос инспектора, хочу ли я что-нибудь сказать, я отрицательно покачал головой — не знал, с чего начать. На этом ритуал закончился. Послышался — так мне показалось — общий вздох облегчения, и все полицейские, за исключением Хогга, шаркая ногами, вышли из комнаты, как выходят из церкви после окончания службы. Хогг же достал из кармана сигареты, протянул пачку сначала Хаслету, потом полицейскому, сидевшему за машинкой; и, в последнюю очередь, хоть и не без колебаний, мне. Я понимал, что отказываться нельзя, и задымил, стараясь не кашлять. «Скажите,— спросил я у Хаслета,— как вы меня отыскали?» Хаслет скромно пожал плечами. Сейчас он был похож на школьника, который с блеском сдал все самые трудные экзамены. «Девица в газетном киоске навела,— ответил он.— Вы всегда читали про одно и то же. Каждый день».— «А, ну да, конечно»,— согласился я, про себя же подумал, что его слова звучат не очень-то убедительно. Уж не прикрывает ли он Бинки Беренса, а может, и Анну? (Нет, как выяснилось, не прикрывал. Оба они так в полицию и не заявили.) Еще некоторое время продолжался дружеский перекур. На оконное стекло легли рядышком два солнечных луча-близнеца. Где-то работало радио. Мне вдруг все нестерпимо надоело.

«Послушай,— сказал Хогг,— зачем ты это сделал?»

Я растерялся. Этот вопрос я себе не задал ни разу — по крайней мере, вот так, напрямую. «Знаете, сержант,— сказал я,— вы задали очень непростой вопрос». Выражение его лица нисколько не изменилось: он стоял, как стоял — разве что

шевельнулись на голове гладкие волосы, а в следующее мгновение я почувствовал вдруг страшную боль — казалось, что-то внутри, печень или почки, рвется на части. Сильнее, чем боль, было только изумление, да еще какое-то особое, извращенное удовлетворение. Я упал на колени в горячем тумане. Нечем было дышать. Лысый оторвался от машинки, встал, обошел стол, поднял меня, подхватив под мышки (он сказал: «Ну-ка вставай, а то простудишься», или это мне только послышалось?), повел по коридору и втолкнул в крошечный вонючий нужник. Я рухнул на колени перед унитазом, и меня вырвало омлетом, картошкой в масле и кислым молоком. Боль в животе была просто сверхъестественной, даже не верилось, что такая бывает. Когда рвать больше было нечем, я повалился на спину, задрав ноги и продев руки под коленями. «Ну вот,— подумал я,— это дело другое. Можно было заранее предположить, что я буду кататься по полу и выть от боли». Лысый постучал в дверь. «Проблевался? — участливо спросил он и непринужденно добавил: — Так всегда бывает: блюешь и думаешь — когда же столько сожрать-то успел?»

Хогг стоял у окна и смотрел во двор, держа руки в карманах. «Полегчало?» — поинтересовался он, покосившись на меня через плечо. Хаслет сидел у стола с рассеянным видом и хмуро барабанил пальцами по кипе бумаг. Он указал мне на соседний стул. Я сел — с опаской, на краешек. Когда он повернулся ко мне лицом, колени наши почти соприкасались. Хаслет поднял глаза, словно что-то высматривая на потолке. «Ну-с,— сказал он наконец,— поговорим?» Да, да, конечно, мне хотелось говорить и говорить, довериться ему, излить все свои жалкие тайны. Но что говорить? И какие такие у меня были тайны? Лысый уже опять сидел за машинкой, положив на клавиатуру свои толстые пальцы и жадно уставившись мне прямо в рот. Застыл в ожидании и Хогг; он по-прежнему стоял у окна и гремел мелочью в кармане брюк. Пусть себе слушают — эти двое меня мало интересовали. Другое дело — инспектор. Он постоянно мне кого-то напоминал, кого-то, с кем я вместе учился, одного из тех скромных, неприметных героев, которые одинаково хорошо успевали и по физкультуре, и по математике, но сторонились похвал, стеснялись собственных успехов, собственной популярности. У меня не хватало духу признаться ему в том, что признаваться-то не в чем, что никаких планов я не строил и что действовал с самого начала, можно сказать, наобум. Поэтому-то я понес какую-то ахинею о том, что хотел, мол, выдать ограбление за террористический акт, и прочий вздор, который стыдно даже здесь повторять. «А потом эта девушка...— начал я.— Эта женщина...— я вдруг забыл ее имя! — А потом Джози... все испортила, она не давала мне вынести картину... она набросилась на меня, угрожала, что... что...» Мне мучительно не хватало слов, и я смолк, беспомощно глядя на инспектора и теребя пальцы. Ужасно хотелось, чтобы он мне поверил. В эти минуты доверие его значило для меня почти так же много, как и прощение. Воцарилась тишина. Хаслет по-прежнему внимательно изучал потолок. Возможно, он меня и не слушал. «Господи»,— тихо, без особого нажима проговорил Хогг. Лысый откашлялся. Затем Хаслет, поморщившись от боли и согнув одну ногу в колене, встал, вышел не торопясь из комнаты и мягко прикрыл за собой дверь. Слышно было, как он удаляется по коридору той же неторопливой походкой. Откуда-то издалека доносились голоса — его и кого-то еще. Хогг с отвращением смотрел на меня через плечо. «А ты, я смотрю, шутник, а?» — обронил он. Я хотел было возразить, но счел за лучшее промолчать. Время шло. В соседней комнате кто-то засмеялся. Во дворе завелся мотоцикл. На стене висела пожелтевшая памятка: «Что надо делать при укусе бешеной собаки». Я прочел ее и улыбнулся: «Бешеная собака Монтгомери посажена наконец на цепь».

Инспектор Хаслет вернулся в сопровождении двух человек: крупного краснолицего потного мужчины средних лет в полосатой рубашке и молодого парня с отталкивающей внешностью — под стать Хоггу. Они обступили меня и, подавшись вперед, упершись ладонями в стол и тяжело дыша, долго меня разглядывали. Я снова повторил свой рассказ от начала до конца во всех подробностях, стараясь самому себе не противоречить, однако на этот раз история получилась еще более неправдоподобной. Когда я закончил, опять, как и в прошлый раз, наступило молчание. Я уже начинал привыкать к этим недоуменным и, по всей вероятности, весьма скептическим паузам. Краснолицый — персона, насколько я мог понять, важная — был в ярости, которую сдерживал с большим трудом. Назовем его... Баркер. Он окинул меня пристальным, злобным взглядом. «Ладно тебе, Фредди,—

сказал он наконец,— говори, зачем убил?» Я уставился на него. Его презрительный фамильярный тон (какой я тебе Фредди?!) мне не понравился, однако я решил не придавать этому значения. Я узнал в нем себе подобного: такой же крупный, вспыльчивый, так же тяжело дышит. Постепенно все это начинало действовать мне на нервы. «Я убил ее потому, что сумел,— сказал я.— Что тут еще говорить?» Мы все (и я ничуть не меньше остальных) были потрясены услышанным. Тот, кто помоложе, Хикки, нет, Кихем, громко хмыкнул. Его тонкий, пискливый, довольно даже мелодичный голос никак не соответствовал угрожающему виду и повадкам. «Этот, как его,— сказал он,— он что, гомик?» Я беспомощно посмотрел на него, не понимая, о чем речь. «Простите?» — «Этот Френч,— нетерпеливо повторил Кихем,— он пед?» Я рассмеялся, не мог не рассмеяться — такой смешной, даже абсурдной казалась сама мысль, что Чарли может зайти в паб Уэлли и там тискать его мальчиков. (Как видно, дружок Уэлли по кличке Сынок, щеголявший в рубашке изумрудного цвета, распространял про Чарли гнусную ложь. Боже, в каком порочном мире мы живем!) «Нет, нет,— возразил я,— нет, у него иногда бывают женщины...» Если б я так не нервничал, если б вопрос Кихема не застал меня врасплох, я бы всего этого не сказал — шутить ведь я вовсе не хотел. Никто не засмеялся. Они продолжали молча смотреть на меня, и молчание с каждой минутой становилось все напряженней: казалось, оно вот-вот лопнет, как перекрученная пружина. Но вдруг все полицейские, как по команде, повернулись на пятках и один за другим вышли в коридор, хлопнув дверью, а я остался наедине с лысым, который улыбнулся мне своей нежной улыбкой и пожал плечами. Я сказал, что меня опять тошнит, он вышел и вскоре вернулся с кружкой липко-сладкого чая и куском хлеба. Почему, скажите мне, от одного вида этого чая мне становилось тоскливо, как беспризорному ребенку? Каким же заброшенным и бесприютным казалось теперь все вокруг: и эта жалкая комнатушка, и далекие голоса людей, живущих своей жизнью, и двор, залитый солнцем, тем самым, что неизменно светит сквозь годы из самого далекого детства. Вся эйфория, которую я испытывал совсем недавно, исчезла безвозвратно.

Хаслет вернулся, на этот раз один, и, как и раньше, уселся со мной рядом. Он снял пиджак и галстук и закатал рукава рубашки. Волосы у него растрепались, отчего он был особенно похож на мальчишку. Он тоже держал в руке кружку с чаем — гигантскую кружку в крошечной белой ручке. Я представил его себе ребенком: поле протянулось до самого горизонта, под ногами чавкает болото, они с отцом собирают торф, по воде плавают щепки, запах дыма и жареного картофеля, плоская равнина цвета заячьего меха — и огромное стоящее торчком небо с нарисованными на нем пучками облаков с золотыми прожилками.

«Начнем по новой»,— сказал он.

Мы просидели несколько часов. Солнечные лучи в окне становились все длиннее, день клонился к вечеру, а я, счастливый оттого, что меня слушают, никак не мог остановиться. Хаслет проявлял бесконечное терпение. Его интересовала каждая мелочь, любая, самая пустячная подробность. Нет, не совсем так. Создавалось впечатление, что его вообще ничего не интересует. Все перипетии моего рассказа он воспринимал с неизменным выражением терпимости, с неизменной, немного озадаченной улыбкой. Я рассказал ему, что давно знаком с Анной Беренс, рассказал про ее отца, про алмазные копи, про бесценную коллекцию картин. Я внимательно следил за инспектором, пытаясь понять, что́ из рассказанного ему известно и без меня, однако Хаслет держался безупречно, ничем себя не выдавал. А ведь он наверняка разговаривал с ними, брал у них показания. Не могли же Беренсы не сказать обо мне — вряд ли они прикрывали меня до сих пор. Он почесал щеку и опять вперился в потолок. «Этот Беренс выбился из низов, ведь так?» — спросил он. «Как, в сущности, и все мы, инспектор»,— отозвался я, после чего Хаслет как-то странно посмотрел на меня и встал. Я заметил, что и на этот раз он морщится от боли. Коленная чашечка. Футболист. Воскресный вечер, в молочном воздухе приглушенные крики болельщиков, глухой стук кожи по коже. «Ну а что теперь? — с тревогой спросил я.— Что будет со мной дальше?» Мне не хотелось, чтобы он так рано уходил. Что я буду делать, когда станет темно? Хаслет сказал, что мне надо назвать лысому имя своего адвоката, чтобы адвокат знал, где я нахожусь. Я кивнул. Никакого адвоката у меня, понятное дело, не было, но признаться в этом я не мог — это бы нарушило ту непринужденную, почти

приятельскую атмосферу, которая возникла между нами, породило бы неловкость. Как бы то ни было, я намеревался сам вести собственную защиту и уже рисовал в своем воображении, какие блестящие и страстные монологи я буду произносить со скамьи подсудимых. «Я должен что-нибудь еще сделать? — насупившись, спросил я.— Кому-нибудь еще дать знать?» (Каким же я был паинькой, какой овечкой, как во всем слушался этого доброго малого и какое удовольствие сам же от этого получал!) Он опять как-то странно посмотрел на меня — в этом взгляде чего только не было: и раздражение, и нетерпение, а также некая ироническая удовлетворенность и даже, пожалуй, намек на сопереживание. «Прежде всего вы должны рассказать все, как было, без этих ваших фокусов и вывертов»,— сказал он. «Что вы хотите этим сказать, инспектор? Что вы имеете в виду?» Я терял под ногами почву. Боб Черри вдруг показал зубы, превратился, пусть и ненадолго, в мистера Куэлча [1]. «Вы прекрасно знаете, что́ я имею в виду»,— сказал он и ушел, прислав вместо себя Хогга, который вместе с лысым (ради Бога, назови ты его как-нибудь!), вместе с Каннингемом, сержантом и писарем в одном лице, отвел меня вниз, в камеру.

Я все еще был в наручниках?

Не знаю (на самом-то деле, конечно, знаю), почему я говорю, что они отвели меня *вниз* — мы просто прошли по коридору до конца, миновали уборную и проникли за стальную перегородку. Не скрою, меня охватил страх, но он быстро сменился любопытством: ведь все было именно так, как я ожидал! И решетки, и ведро, и койка с полосатым комковатым матрасом, и надписи на выщербленной стене. Имел место даже заросший щетиной старожил, который стоял в дверях своей камеры, судорожно вцепившись в решетку, и молча, со злобной насмешкой пялился на меня. Мне вручили кусок мыла, маленькое полотенце и три листочка выцветшей туалетной бумаги. Я же, в ответ, отдал им свой ремень и шнурки. Значение этого ритуала я осознал сразу. Топчась в ботинках без шнурков, с вывернутыми язычками, подхватывая одной рукой падающие брюки, а другой прикрывая то, что принято называть «стыдом»,— я перестал быть человеком в полном смысле слова. Сразу же хочу уточнить: это решение — по крайней мере, в моем случае — представлялось мне вполне справедливым и правомерным, формальным закреплением того процесса, который продолжался уже давно. Я добился того, к чему шел, и даже старый Каннингем, даже сержант Хогг отнеслись к моему виду с пониманием: теперь в их обращении со мной к грубости и бесцеремонности прибавилось еще и какое-то не вполне осознанное сочувствие, словно они были не столько моими тюремщиками, сколько санитарами. Для них я был сейчас чем-то вроде старого, больного, беззубого льва. Хогг сунул руки в карманы и, посвистывая, удалился. Я присел на койку. Время шло. Кругом было тихо. Нарушил тишину старожил из соседней камеры, который поинтересовался, как меня зовут. Я ему не ответил. «Ну и хрен с тобой»,— буркнул он. Смеркалось. Я всегда любил это время дня, когда, будто из-под земли, льется мягкий приглушенный свет и все вокруг становится задумчивым и отрешенным. Уже почти совсем стемнело, когда вернулся сержант Хогг и протянул мне какой-то смятый листок. Он ел чипсы, я почувствовал это по запаху у него изо рта. Я пробежал глазами неряшливо напечатанную страничку. «Это твоя исповедь,— хмыкнул Хогг.— Подмахнуть не хочешь?» Старожил хрипло хохотнул. «О чем вы? — недоумевал я.— Это не мои слова». Хогг пожал плечами и рыгнул, прикрыв кулаком рот. «Ладно, располагайся — теперь тебе всю жизнь за решеткой сидеть»,— сказал он и ушел опять. Я вновь опустился на койку и изучил этот странный документ. Нет, не зря я назвал лысого «Каннингемом»! [2] Под маской старого чудака скрывался дьявольски искусный художник, не чета мне, прямолинейный и заумный одновременно, великий мастер худосочного стиля, владеющий искусством скрывать искусство. Я поразился тому, как абсолютно все — и опечатки, и неуклюжий синтаксис, и даже бледные, совсем почти «слепые» буквы — работало на него. Такая смиренность, такая почтительность, такое безжалостное подавление своего «я» — ради текста! Он взял мою историю со всеми (как выразился Хаслет) «фокусами и вывертами» и, безжалостно урезав, довел ее, так сказать, до ума. Передо мной лежал теперь выхолощенный перечень моих преступлений, которые я с трудом узнавал, но в реальность которых, однако же, верил. Вот кто сделал из

[1] Персонажи популярных детских книг из серии «Билли Бантер» английского писателя Фрэнка Ричардса (1876–1961).

[2] Cunning — хитрый *(англ.)*.

меня настоящего убийцу. Я бы подписал эту бумагу тотчас же — было бы чем писать. Я даже стал рыться в карманах в поисках чего-нибудь острого, какой-нибудь булавки, чтобы наколоть палец и расписаться кровью. А впрочем, какая разница, такой документ в моем одобрении не нуждался. Я благоговейно сложил листок вчетверо и сунул его под матрас, под голову. Потом разделся догола, лег на спину, сложил, точно мраморный рыцарь на надгробии, руки на груди и закрыл глаза. Я перестал быть самим собой. Не могу этого объяснить, но это так: я перестал быть самим собой.

Первая ночь в заключении была беспокойной, и спал я урывками. Мне все время чудилось, будто я беспомощно барахтаюсь в темной морской воде. Я ощущал под собой глубину — бездонную черную глубину. Хуже всего, как всегда, был предрассветный час. Я несколько раз онанировал (уж простите мне эти грязные подробности) — и не ради удовольствия, а исключительно чтобы вымотаться. В этом унылом занятии подспорьем мне служила многоликая компания фантомов, которых я вызывал в своем воображении. Мне помогали и Дафна (что естественно), и Анна Беренс, которую изумляло и несколько даже шокировало то, что́ я заставлял ее делать, и Рыжик, которая опять рыдала в моих объятиях, бедняжка, пока я, молча, украдкой делая свое черное дело, вдавливал и вдавливал ее в дверь в пустой, залитой лунным светом комнате моих фантазий. Но явились и те, кого я уж никак не ожидал увидеть: племянница Мэдж, к примеру (помните племянницу Мэдж?), громадная девица с красной шеей, за которой я гонялся по улицам (помните ее?), и даже — прости, Господи! — моя собственная мать и рыжая Джоанна с конюшни. А в самом конце, когда все они, погостив, исчезли и я, опустошенный, лежал на тюремной койке, взору моему́ вновь предстала, будто тягостная и неотвратимая обязанность, таинственная дверь и чье-то невидимое присутствие за ней. Этот невидимка силился выйти наружу. Он хотел вырваться, он хотел жить.

6

Утро понедельника. Ох уж это мне первое утро недели! Пепельный свет, шум, ощущение бессмысленной, но необходимой спешки. Думаю, что и в ад я попаду именно в понедельник утром. Меня разбудил полицейский с очередной кружкой липкого чая и куском хлеба. Когда он пришел, я дремал; мне снилось, будто меня прижал к себе громадный зверь с жаркой, вонючей пастью. Я сразу же понял, где я нахожусь, никаких сомнений на этот счет у меня не возникло. Полицейский был совсем еще молоденький здоровенный парень с крошечной головкой, и, когда я открыл глаза и посмотрел на него, мне показалось, что ростом он до самого потолка. Он пробурчал что-то невнятное и тут же ушел. Я спустил ноги на пол и обхватил голову обеими руками. Во рту было гадко, глаза болели изнутри, под ложечкой неприятно посасывало. «Неужели теперь меня будет тошнить до конца дней?» — подумал я. Сквозь прутья моей клетки косо падали тусклые солнечные лучи. Стало холодно. Я накинул одеяло на плечи и, согнув дрожащие колени, присел на корточки над ведром. Я бы ничуть не удивился, если б в коридоре, чтобы посмеяться надо мной, собралась целая толпа. «Да,— свербила мысль,— да, так теперь и будет». В мысли этой было даже что-то по-своему приятное. Приятное и страшное.

Пришел сержант Каннингем отвести меня на первое заседание святой инквизиции. Я помылся, как мог, над грязной раковиной в углу и попросил у Каннингема бритву. Он покатился со смеху — ишь чего, дескать, захотел. Вероятно, он и впрямь считал меня ушлым типом. «Покладистый нрав,— подумал я.— Он ведь проторчал здесь всю ночь, его смена кончается только сейчас». Поддерживая падающие штаны, я поплелся за ним по коридору. В канцелярии творилось нечто несусветное: стучали пишущие машинки, выли и затравленно хрипели коротковолновые передатчики, люди, роняя слова через плечо, входили и выходили или же, пригнувшись к столу, что-то кричали в телефонную трубку. Когда я проходил, все замолчали — нет, конечно, не замолчали, а заговорили вполголоса. Уже знают, стало быть. Они не пялились на меня — профессионалы все-таки,— но поняли, что к чему. В этот момент я увидел себя их глазами: нелепое существо, которое бежит,

приплясывая, за добряком Каннингемом, точно ручной медведь. Он открыл дверь и завел меня в квадратную серую комнату с пластмассовым столом и двумя стульями. «Еще увидимся»,— сказал он с порога, подмигнув; голова его скрылась, дверь захлопнулась. Я медленно опустился на стул и, как школьник, сложил на столе руки. Время тянулось медленно. Я и сам удивился, как спокойно, оказывается, могу я вот так вот сидеть и ждать; мне словно бы удалось каким-то образом отделиться от своего физического «я». Комната была похожа на внутренность черепа; казалось, люди, чьи голоса доносились до меня через стену, находятся не в соседней комнате, а на другой планете.

Первыми явились Баркер и Кихем. Сегодня Баркер был в синем костюме такого размера, что в него впору было заворачивать вещи — ящики, например. Несмотря на утренний час, лицо у Баркера уже налилось краской и вспотело. Кихем был в том же, что и накануне, кожаном пиджаке и в темной рубашке — этот не из тех, кто часто меняет туалеты. Они пришли выяснить, почему я не подписал свои показания. Я напрочь позабыл про этот листок (он так и лежал у меня под матрасом), однако почему-то выдумал, что разорвал его. Вновь наступила гнетущая тишина, они молча стояли надо мной, стиснув кулаки, и тяжело, с присвистом дышали. В воздухе притаилось еле сдерживаемое насилие. Постояв так с минуту, они, однако, гуськом вышли из комнаты, и я опять остался один. Моими следующими посетителями были пожилой субъект в кавалерийской холщовой робе и в аккуратной маленькой шляпке и узкоглазый молодой крепыш, на вид — неудавшийся сын пожилого. Прежде чем войти, они долгое время испытующе смотрели на меня, после чего «кавалерист» сделал несколько шагов вперед и сел напротив, положив ногу на ногу, сняв шляпу и обнажив плоскую лысую голову, восковую и всю в каких-то странных впадинах, как у больного ребенка. Он извлек из кармана трубку, неторопливо раскурил ее, снова положил ногу на ногу и, устроившись поудобнее, стал задавать какие-то загадочные вопросы, цель которых, как я сообразил позднее, состояла в том, чтобы выяснить, что мне известно про Чарли Френча и его знакомых. Отвечал я с предельной осторожностью, ибо не знал, к чему он клонит,— подозреваю, впрочем, что и они этого тоже не знали. При этом я не забывал улыбаться им обоим, демонстрируя лояльность и уступчивость. Тот, что помоложе, оставался стоять в дверях и что-то записывал в блокноте — во всяком случае, делал вид, что записывает; меня вообще не покидало чувство, что меня «берут на пушку», стремятся отвлечь или запугать. Кончилось тем, что мне все это надоело (при всем желании я не мог принимать их всерьез), я сбился и стал сам себе противоречить. Спустя некоторое время они, видимо, тоже потеряли ко мне интерес и вскоре ушли. Сменил их мой старый приятель инспектор Хаслет, который влетел в комнату, по обыкновению робко улыбаясь и глядя в сторону. «Господи,— сказал я,— кто это такие?» — «Из спецслужб»,— отрезал он, сел, уставился в пол и забарабанил пальцами по столу. «Послушайте,— сказал я,— я беспокоюсь... моя жена... я...» Но он меня не слушал, мои слова абсолютно его не интересовали. Разговор опять зашел о моих показаниях. Почему я не подписал бумагу? Говорил он тихим, спокойным голосом — так говорят о погоде. «Вы бы очень облегчили себе жизнь, поймите»,— сказал он. И тут я неожиданно рассвирепел, не знаю даже, что на меня нашло: я стукнул кулаком по столу, вскочил, стал кричать, что ничего не подпишу, что пальцем не пошевелю, пока не получу ответы на свои вопросы. Так и сказал: «Пока не получу ответы на свои вопросы!» Тут же, разумеется, гнев мой остыл, и я опять покорно опустился на стул, покусывая костяшки пальцев. «Ваша супруга,— мягко сказал Хаслет,— садится сейчас в самолет.— Он взглянул на часы.— Именно сейчас, в данную минуту». Я тупо уставился на него. «А...» — только и выговорил я. Естественно, я успокоился, однако удивился не очень. Я ведь всегда знал, что сеньор (забыл, как его?) слишком хорошо воспитан, чтобы не дать ей уехать.

Его честь прибыл в полдень, хотя выглядел так, будто только что продрал глаза. Впрочем, вид у него всегда помятый — и в этом его прелесть. Больше всего меня поразило, насколько мы с ним одинаково сложены — оба большие, рыхлые, тяжелые. Стол жалобно застонал, когда мы, каждый со своей стороны, на него облокотились; стулья под нашими мощными задами тяжело вздохнули, взывая о помощи. «Вам, наверно, будет небезынтересно, кто пригласил меня вас защи-

щать?» — начал он. Я энергично закивал головой, хотя, по правде говоря, ни разу об этом не задумывался. Тут он заюлил, стал бубнить что-то про мою мать, уверяя, что уже работал на нее когда-то, но не уточнил, когда именно. Уже много позже, к своему удивлению и немалому смущению, я узнал, что все организовал Чарли Френч; это он в воскресенье вечером позвонил моей матери, известил ее о моем аресте и велел немедленно связаться со своим добрым приятелем, известным адвокатом Мак Гилла Гунна. Это Чарли платил ему — и платит по сей день — довольно солидные гонорары. Он переводил деньги матери (а теперь, стало быть, рыжей девице), а та посылала их адвокату, чтобы создалась видимость того, что деньги поступают из Кулгрейнджа. (Простите, Мак, что утаил это от вас, но такова была воля Чарли.) «Вы, кажется, давали какие-то показания, я правильно понял?» — продолжал его честь. Я поставил его в известность относительно литературного шедевра Каннингема. Вероятно, рассказ мой был чересчур эмоционален, его честь насупился, прикрыл, словно от боли, глаза под очками и поднял руку, чтобы я замолчал. «Вы ничего не подпишете,— сказал он,— ничего, вы что, с ума сошли?!» Я опустил голову. «Но я же виновен,— тихо проговорил я.— Виновен». Он сделал вид, что не слышит. «А теперь послушайте меня,— сказал он.— Вы ничего не будете подписывать, ничего не будете говорить, ничего не будете делать. Вы подадите в суд заявление о своей невиновности...— Я раскрыл было рот, чтобы что-то возразить, но он не желал меня слушать.— Итак, вы заявите о своей невиновности,— повторил он,— а в момент, который я сочту подходящим, измените тактику и признаете себя виновным в убийстве, понятно?» Он холодно смотрел на меня поверх очков. (Моим закадычным другом он станет гораздо позже.) Я покачал головой. «А по-моему, это неправильно»,— сказал я. Его честь презрительно фыркнул. «Это по-вашему!» — воскликнул он, но не добавил: «И вы еще можете рассуждать, что правильно, а что нет?» Мы помолчали. У меня заурчало в животе. Меня тошнило и одновременно хотелось есть. «Кстати,— прервал молчание я,— вы разговаривали с моей матерью? Она ко мне собирается?» И опять его честь прикинулся глухим. Он положил бумаги, снял очки и, стиснув двумя пальцами переносицу, поинтересовался, не нуждаюсь ли я в чем-нибудь. Теперь настала моя очередь фыркнуть. «Я вот что имею в виду,— недовольным голосом процедил он.— Есть ли что-нибудь, что я могу у них для вас попросить?» — «Есть. Бритва,— ответил я.— И пусть отдадут ремень: вешаться я не собираюсь». Он встал. Внезапно мне захотелось задержать его. «Спасибо вам,— сказал я с такой горячностью, что он остановился в дверях и по-совиному уставился на меня.— Поймите,— сказал я,— я хотел убить ее. Я сделал это умышленно. У меня нет ни объяснений, ни оправданий». Он только вздохнул.

В суд меня повезли во второй половине дня. Сопровождали меня Хаслет и двое полицейских в форме. Рука, которую я ободрал о розовый куст, нарывала. «О Фредерик, ты болен» [1]. О моем первом появлении в суде у меня почему-то осталось весьма туманное воспоминание. Я-то думал, что это будет просторное, величественное помещение, что-то вроде небольшой церкви, с дубовыми скамьями, резным потолком, атмосферой пышной и серьезной, а потому был разочарован, очутившись в довольно убогого вида конторе, из тех, где прохвосты клерки выдают клиентам сомнительные бумаги. Когда меня завели внутрь, началась какая-то суматоха, которую я принял было за подготовку к слушанью, но которая, как я, к своему изумлению, впоследствии обнаружил, и была самим слушаньем. Продолжалась эта процедура от силы минуты две. Судья, без мантии, в самом обыкновенном костюме, оказался вполне симпатичным стариканом с бачками и красным носом. Должно быть, он пользовался репутацией остроумного человека, ибо, когда он весело глянул на меня и произнес: «А вот и мистер Монтгомери!», все присутствующие покатились со смеху. В ответ я вежливо улыбнулся, давая этим понять, что способен оценить шутку, даже если ее и не понял. Охранник толкнул меня в спину, я встал, сел, встал опять — и на этом все кончилось. Я с изумлением осмотрелся по сторонам. Мне казалось, я что-то упустил. Его честь потребовал, чтобы меня выпустили на поруки, однако судья Филдинг лишь укоризненно покачал головой, как будто укорял непослушного ребенка. «Э, нет, сэр,— сказал он,— об этом не может быть и речи». И эта фраза тоже вызвала почему-то оживление. Что ж, я был рад, что им так

[1] Аллюзия на первую строку хрестоматийного стихотворения Уильяма Блейка «Больная роза» («О роза, больна ты...»).

весело. Охранник что-то сказал у меня за спиной, но я не мог сосредоточиться: в груди у меня ни с того ни с сего образовалась какая-то жуткая пустота, и я понял, что сейчас разрыдаюсь. Я чувствовал себя ребенком — или же глубоким стариком. Его честь коснулся моей руки. Я беспомощно отвернулся. «Пошли»,— довольно дружелюбно проговорил охранник, и я поплелся за ним. Все плыло перед глазами. Хаслет следовал за мной — его походку я уже изучил. На улице собралась небольшая толпа. Как же они узнали, кто я, в каком буду суде, в котором часу кончится слушание моего дела?! Встретили меня дружным криком, в котором слышались ужас и отвращение и от которого у меня побежали по телу мурашки. Я так смутился и перепугался, что окончательно потерял голову и помахал им рукой — *помахал им рукой*! Один Бог знает, чем я при этом руководствовался. Вероятно, это был задабривающий жест, свидетельство животной покорности, признание своего поражения. Разумеется, это разъярило их еще больше. Они стали трясти кулаками, завывать. У одного-двух вид был такой, будто они вот-вот отделятся от толпы и бросятся на меня. Одна женщина плюнула в мою сторону и назвала меня грязным подонком. А я стоял, кивал и махал рукой, точно автомат, и на лице у меня застыла испуганная улыбка. Именно тогда я и понял, что убил человека *из их числа*. Пока я был внутри, шел дождь, но он кончился, и опять выглянуло солнце. Помню злобный блеск мокрого асфальта, тучу, воровато спрятавшуюся за крыши домов, и собаку, что, испуганно поджав хвост, трусит через улицу, стараясь держаться подальше от рассвирепевшей толпы. Вот видите, вечно я запоминаю все случайное, несущественное. Тут на меня набросили шерстяное одеяло, втолкнули головой вперед в полицейскую машину, и мы, чиркнув шинами, сорвались с места. Эх... В жаркой, шерстяной темноте я нарыдался вволю.

Тюрьма. Та самая. Ее я уже описывал.

Своего первого посетителя я уж никак не ожидал увидеть. Когда мне сказали, что пришла женщина, я решил, что это Дафна, прямо с самолета, или же мать, а потому, войдя в комнату посещений, я в первый момент даже не узнал ее. В своем мешковатом свитере, юбке из пледа и туфлях на микропорке она выглядела в тот день еще моложе. Бледненькая, несформировавшаяся, вся в веснушках, она была похожа на отстающую ученицу, что тихонько плачет по ночам в интернатской спальне и помешана на пони. Только великолепные пламенно-рыжие волосы выдавали в ней женщину. «Дженни!» — воскликнул я, и она покраснела. Я взял ее руки в свои. Почему-то я был ужасно рад ее видеть. Тогда я еще не знал, что совсем скоро эта девушка лишит меня наследства. «Вообще-то я Джоанна»,— промямлила она и прикусила губу. Чтобы скрыть неловкость, я засмеялся. «Ну конечно, Джоанна. Ты уж прости меня. Я ведь сейчас плохо соображаю». Мы сели. Я улыбался — все шире и шире. Неожиданно я ощутил какую-то легкость, чуть ли не озорство. Я представил себя старым холостяком, другом семьи, что приехал навестить бедную малютку в «день открытых дверей». Она привезла мне из Кулгрейнджа мой чемодан. Вид у чемодана был какой-то странный, привычный и в то же время чужой, как будто за это время он побывал в небывало длинном, опасном путешествии — на другую планету, в другую галактику. Я спросил про мать. Слава Богу, хватило ума не выяснять, почему она не приехала. «Передай ей, что мне стыдно»,— сказал я. Слова эти прозвучали нелепо, как будто я извинялся за опоздание, как будто кого-то подвел, и мы, не глядя друг другу в глаза, надолго смолкли. «Знаешь,— сказал я наконец, прерывая неловкое молчание,— а у меня здесь появилась кличка. Меня зовут, естественно, Монти». Она улыбнулась, и я обрадовался. Когда она вот так улыбается и кусает губку, то особенно похожа на ребенка. Никогда не поверю, что это ловкая интриганка. Подозреваю, что материнское завещание было для нее ничуть не меньшим сюрпризом, чем для меня. С трудом представляю ее себе хозяйкой Кулгрейнджа. Впрочем, может, именно этого мать и добивалась: после нее — хоть потоп. Нет, такие мысли недостойны меня, моего нового, серьезного отношения к жизни. Я не испытываю к матери ненависти за то, что она лишила меня наследства. Наверно, таким образом она пыталась меня чему-то научить, заставить спуститься с небес на землю, побольше уделять внимания людям, таким, например, как эта бедная, нескладная девушка с веснушками, робкой улыбкой и почти незаметными бровями. Помню, что вчера, сквозь слезы, сказала мне Дафна, слова ее засели

у меня в мозгу, точно гвоздь: «*Ты ничего не знал про нас, ничего*!» Она права, конечно. Она-то говорила об Америке, о себе и об Анне Беренс, о тех еще временах, но права она в принципе: я ничего не знаю. Не знаю — но ведь стараюсь узнать. Я наблюдаю, слушаю, размышляю. Время от времени мне представляется даже возможность взглянуть на иной мир, который при всей своей новизне на самом-то деле — я отдаю себе в этом отчет — существовал всегда, несмотря на то что сам я его и не замечал. В этих изысканиях большую помощь оказал мне мой друг Билли. Я еще не говорил вам о Билли? Он с самого начала ко мне привязался, думаю даже, что он немножко в меня влюблен. Ему девятнадцать — мышцы, сальные черные волосы, красивые руки убийцы. Такие же, как у меня. Суд по нашим делам назначен на один и тот же день, и он считает это хорошим знаком. Билли обвиняется в убийстве и в групповом изнасиловании. Он настаивает на своей невиновности, однако виноватую улыбочку сдержать не в силах. По-моему, втайне он гордится своими подвигами. И в то же время есть в нем какая-то чистота, как будто сохранилась крошечная драгоценная частичка, которую ничто не способно запятнать. Думая о Билли, я готов поверить в существование души. Первый раз он сел за решетку еще мальчишкой и является кладезем тюремной мудрости. Так, он поведал мне о всевозможных и весьма искусных способах передачи с воли наркотиков. Например, до того, как установили стеклянные перегородки, жены и подруги прятали во рту маленькие пластиковые пакетики с героином, которые передавались во время длительных поцелуев, заглатывались, а потом выблевывались в нужниках. Идея эта мне очень понравилась, произвела на меня сильное впечатление. Такой целеустремленности и страсти, такой отзывчивости и отваги мне прежде встречать не приходилось.

Так о чем я? Мысли путаются. Такое, впрочем, происходит здесь со всеми. Это своего рода защитная реакция. Из-за расслабленности, рассеянности, апатии мы имеем возможность в любое время и в любом месте погрузиться в короткий, глубокий сон.

Да, Джоанна. Она пришла меня навестить, принесла чемодан. Я был рад, что чемодан вернулся. Правда, бóльшую часть его содержимого они (тюремные власти, то бишь) конфисковали, но кое-что все же осталось: пара рубашек, кусок мыла (от его аромата у меня подкосились ноги), туфли, несколько книг. Я вцепился в эти вещи, в эти иконы, я прижал их к сердцу, горюя по своему мертвому прошлому.

Но горевать здесь очень опасно. Горе подрывает волю. Тот, кто поддается горю, становится беспомощным, его охватывает губительная апатия. Горевать в тюрьме — все равно что вечно оплакивать покойника. Я предвидел эту опасность и решил избежать ее. «Буду трудиться, буду заниматься»,— подумал я. Тем более что тема напрашивалась сама собой. По моей просьбе Дафна принесла мне огромные фолианты по голландской живописи — не только история, но и техника, тайны мастерства. Чего я только не изучал: и методы растирания красок, и искусство изготовления красителей, и производство полотна во Фландрии. Я читал жизнеописания живописцев и их меценатов. Я сделался неплохим специалистом по истории Голландской республики семнадцатого века. Но штудии эти в конечном счете ни к чему не привели: все эти знания, вся накопленная информация окаменела, точно кораллы, облепившие дно затонувшего корабля. В самом деле, как могли голые факты сравниться с поразительным знанием, что снизошло на меня, когда я стоял и смотрел на портрет, который лежал на краю канавы. С этим знанием, с этим прозрением я жить не мог. Я смотрю на репродукцию, приколотую к стене у меня над головой, однако что-то в ней умерло. Что-то умерло.

Немало времени посвятил я и изучению подшивок газет. Я часами просиживал в тюремной библиотеке и читал — читал и перечитывал — каждое слово, относящееся к моему делу. Я пережевывал мельчайшие подробности до тех пор, пока они не превращались в безвкусную жвачку. Я читал о детстве Джози Белл, о ее — увы, столь недолгой — учебе, о семье и друзьях. Соседи отзывались о ней хорошо. Она была спокойная, уравновешенная девушка. Однажды она даже чуть было не вышла замуж, но что-то не сложилось, жених ее уехал в Англию и не вернулся. Первое время она работала продавщицей у себя в деревне, потом, перед Уайтуотером,— горничной в отеле «Южная звезда». «Южная звезда»! Господи, ведь я же вполне мог пойти туда, когда жил у Чарли, мог снять там номер, мог даже лечь в постель, которую она когда-то стелила! Я рассмеялся про себя. И какую бы мораль я из

этого извлек? Для меня Джози присутствовала бы там не более, чем в газетных отчетах, не более, чем в тот день, когда я увидел ее в первый раз стоящей в балконных дверях в озарении золотисто-синего летнего дня, не более, чем когда она повалилась на бок, а я ударил ее, один раз, другой,— и кровь брызнула на оконное стекло. В этом, вероятно, и состоит мой главный, самый страшный грех, тот грех, которому не может быть прощения: я ни разу не представил ее себе достаточно живо, она никогда не была для меня полноценным, живым существом. Да, эта нехватка воображения и есть мое истинное преступление, из тех, что способно повлечь за собой и другие. Тому полицейскому я сказал чистую правду: я убил ее потому, что *сумел* убить, а сумел убить потому, что для меня она не была живой. И поэтому задача моя сейчас — оживить ее. Правда, я не уверен, что сам понимаю смысл этих слов, но они поражают меня своей неумолимой логикой. И как же прикажете совершить этот акт оживления? Представить ее себе с первых дней, с раннего детства? Я озадачен, я испытываю немалый страх и вместе с тем чувствую, что чем-то взволнован, как-то странно возбужден. Мне начинает казаться, будто я приобретаю новый вес и плотность. Мне весело и в то же время удивительно грустно. Во мне зреют новые возможности. Я живу для двоих.

Я принял решение и не отступлюсь: я признáю себя виновным в предумышленном убийстве. По-моему, это будет правильно. Дафна, когда я сказал ей об этом, расплакалась. Я был изумлен. Изумлен и поражен. «А обо мне ты подумал? — воскликнула она.— Ты подумал о ребенке?» На это я очень мягко возразил, что, по-моему, я уже и так поломал им жизнь, а потому самое сейчас разумное — находиться от них подальше (а лучше и вовсе не возвращаться), чтобы дать ей возможность начать жизнь сызнова. Получилось, по-видимому, бестактно. Она сидела за стеклянной перегородкой и плакала навзрыд: плечи трясутся, в руке зажат скомканный, насквозь промокший носовой платок. И тут ее понесло, гнев пополам со стыдом, из-за рыданий я не мог разобрать и половины того, что она говорила. Она припомнила мне все. Что я сделал и чего не сделал. Как мало я знал, как мало понимал. Я сидел и смотрел на нее с разинутым от ужаса ртом. Я лишился дара речи. Откуда в ней это? Как же я мог так в ней ошибаться? Как это мне не удалось разглядеть за ее сдержанностью такую страсть, такую боль? Мне вспомнился паб, мимо которого я проходил однажды поздно вечером во время одной из городских прогулок, за неделю до ареста. Где это было? В Стоуни-Баттер, где-то там. Типичный паб в рабочем квартале: на окнах защитная стальная сетка, на ступеньках высохшие следы блевотины. Когда я поравнялся с входной дверью, из нее вывалился пьяный и на какую-то долю секунды, прежде чем дверь захлопнулась снова, я сумел увидеть, что происходит за ней. Заглянув внутрь, я прошел не останавливаясь. Увиденное чем-то напомнило мне полотно Яна Стена [1]: тусклый свет, красные лица пьяниц, завсегдатаи сидят за стойкой, подперев головы руками; поет, демонстрируя поломанные зубы, какая-то толстуха. Меня тогда охватило какое-то тягучее оцепенение, что-то вроде разочарования и тоски: как же я далек от этого простого, уродливого, буйного мира. Что ж, я всю жизнь шел мимо открытых дверей, мимо шумных сборищ — и растворялся во мраке. И все же бывают и такие минуты, которые наводят на мысль, что я — душа не совсем уж пропащая. На днях, например, по пути на очередное, дополнительное, слушанье я ехал в полицейском фургоне вместе с каким-то старым пропойцей, которого, по его словам, арестовали накануне ночью за убийство друга. Трудно было представить, что такой тип может иметь друга, тем более — убить его. Всю дорогу он говорил не переставая — в основном какую-то чушь. Один глаз у него был подбит, на губе образовалась громадная гнойная язва. Я смотрел в зарешеченное окно на убегавшие назад городские улицы и изо всех сил старался не обращать на него внимания. Но один раз, когда фургон занесло на повороте, пьянчуга упал на меня, и я, машинально выставив вперед руки, заключил старого брехуна в объятия. Запах от него исходил, понятно, чудовищный, сальные обноски, в которые он был одет, скользили под руками, и я стиснул зубы, еле сдерживая отвращение, однако продолжал держать его, чтобы он не упал, и (конечно же, я приукрашиваю!) даже, кажется, на какую-то долю секунды прижал его к себе — в знак... не знаю чего... сочувствия, товарищест-

[1] Ян Стен (ок. 1626—1679) — голландский художник; живописал застолье, сцены городской и сельской жизни.

ва, солидарности, чего-то такого. Да, кто я, как не исследователь, как не первооткрыватель, что смотрит на неизведанный материк с носа тонущего корабля? И поймите меня правильно, я вовсе не воображаю, что подобные эпизоды, подобные вылазки в новый мир хоть на йоту уменьшают мою вину. Хорошо, если они имеют какое-то значение для будущего.

Быть может, последней страницей стоит пренебречь? Нет, какая разница, пусть остается.

Дафна принесла мне рисунок Вэна. Я приколол его к стене. Она уверяет, что это мой портрет. Одна, громадная, похожая на дубину, нога, пальцы, как сосиски, один, неподвижный, очень спокойный, как у Циклопа, глаз. Что ж, если вдуматься, сходство есть, и немалое. Кроме того, она сообщила мне совершенно сногсшибательную новость. Джоанна пригласила ее и ребенка переехать в Кулгрейндж. Будут, стало быть, жить в одном доме, сосуществовать — моя жена и девчонка с конюшни. (Каких только интригующих финалов не подкидывает нам жизнь!) И что самое поразительное, эта новость не вызывает у меня отрицательных эмоций. Весьма вероятно, что и мне предстоит жить там же — когда выпустят. Я живо представил себя в высоких сапогах, в шляпе, копающимся в навозе. Но промолчал. Бедная Дафна — если только... ну да, если только...

Его честь тоже пришел в ужас, когда я сообщил ему о своем решении. «Не волнуйтесь,— сказал я,— я признаю себя виновным, но поблажки мне не нужны». Он был не в силах это понять, а я — ему объяснить. Я так хочу — только и всего. Корабль Аполлона с увитым лавром бортом отплыл на Делос [1], вот и я должен отсидеть свой срок. «Кстати, Мак,— сказал я,— по моей милости Чарли Френч остался без своей тарелки.— Шутки он не понял, но на всякий случай улыбнулся.— Между прочим, когда я бросил ее в машине, она была еще жива,— сказал я.— Мне не хватило мужества ее прикончить. Собаку и ту добивают». (Все это чистая правда — поистине нет конца моим излияниям!) Он кивнул, стараясь скрыть отвращение. А может, страх? «Крепкий народ,— сказал он.— Такие умирают долго». Затем он собрал бумаги и направился к выходу. Мы обменялись рукопожатиями — ситуация того требовала.

Да, чуть не забыл. Оказывается, Чарли Френч скупил по дешевке картины моей матери, затем продал их втридорога Бинки Беренсу, затем выкупил их за гроши у Бинки и перепродал Максу Молиньюксу. Что-то в этом роде. Не все ли равно? Темные делишки, темные делишки. Довольно об этом.

Время идет. Я поедаю время. Я воображаю себя эдаким червем, что спокойно и методично поглощает будущее — то, что на воле принято считать будущим. Мне никак нельзя предаваться отчаянью, той абулии [2], которая постоянно угрожала всему, что я когда-либо пытался делать. Я так долго смотрю в пропасть, что иногда начинает казаться, будто это пропасть всматривается в меня. У меня бывают хорошие дни, а бывают плохие. Я думаю о тех чудовищах, среди которых, совершив преступление, я очутился, об убийцах, мучителях, гнусных подонках, что стоят и смотрят, как все происходит,— и порой мне приходит в голову мысль: а не стоит ли просто взять и поставить точку. Но у меня есть обязательство — мой срок. Сегодня в мастерской я ощутил ее запах — резкий, металлический, его ни с чем не спутаешь. Это запах порошка для чистки металлов — в тот день она, должно быть, чистила серебро. Я был так счастлив, когда определил этот запах. Все казалось возможным. Казалось даже, что наступит день, когда я проснусь и в дверях, ведущих в темную комнату, ту самую, что не выходит у меня теперь из головы, появится ребенок, девочка, которую я узнаю сразу, без тени сомнения.

Сейчас весна. Даже здесь мы чувствуем ее, чувствуем оживление в воздухе. На окне у меня стоят цветы, я люблю смотреть, как они питаются светом. Суд состоится через месяц. Долго он не продлится. Газетчики будут разочарованы. Я решил было попробовать опубликовать мои записки. Но нет. Я попросил инспектора Хаслета приложить эту исповедь к моему делу вместе с другими официальными документами. Он сегодня побывал у меня, здесь, в камере. Хаслет собрал исписанные страницы и взвесил их на ладони. «Это и есть моя оправдатель-

[1] Аполлон родился на острове Делос, священном для него. Лавр — растение Аполлона.
[2] Абулия *(греч.)* — патологическая слабость воли, безволие.

ная речь»,— сказал я. Он скосил один глаз. «А тут есть про то, что вы ученый? — спросил он.— И про то, что давно знакомы с дочкой Беренса, и что деньги занимали, тоже есть?» Я улыбнулся. «Это моя версия,— сказал я,— и я ее буду придерживаться». Хаслет засмеялся. «Будет тебе, Фредди,— сказал он.— Сколько тут правды?» Он первый раз назвал меня по имени. «Сколько тут правды, инспектор? — переспросил я.— Тут все правда. И все неправда. Все — стыд. Один сплошной стыд».

■

Из современной поэзии

Перевод Г. КРУЖКОВА

МАРТИН О'ДИРАН

С ирландского

Весна на островах [1]

Крестьянской лопаты
Размеренный скрип
Среди тишины
Прозрачного дня —
    Весело весною
    На островах.

Рыбак снимает
Корзину с плеча,
И рыжие водоросли
Блестят
На солнечной гальке
Береговой —
    Весело весною
    На островах.

Женщины
По мелководью бредут,
Юбки подоткнув,
Отражаясь в воде,—
    Весело весною
    На островах.

Звучные ровные
Всплески весла,
С богатым уловом
Подходит баркас,
Закатным золотом
Волны блестят —
    Весело весною
    На островах.

[1] Имеются в виду Аранские острова, к западу от графства Голуэй,— своего рода заповедник патриархального ирландского быта, языка и фольклора. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

Белогрудая чайка

О белогрудая чайка,
Завидная твоя участь!
Качаешься ты на волнах,
И нежная рябь морская
Отрадой
В грудь твою плещет.

О если бы нам с тобою
На день судьбой поменяться,
Чтоб эти зеленые волны
Мою печаль укачали
И нежная рябь морская
Отрадой
Мне в грудь плескала!

Прости меня

Вчерашнего дня под вечер
Сидел я один на причале,
Безоблачно было небо,
Земля и море молчали.
И вдруг пред моими очами
Какая-то тень пролетела,
Как отблеск любви погибшей,
Красы твоей незабвенной.

Я выкликнул твое имя
С тоскою и страстью прежней,
В испуге вскрикнула птица,
Метнувшись над побережьем.
Прости меня, я не стою
И тени твоей печали!
Но было безоблачно небо,
Земля и море молчали.

Аранские острова, 1947

Лихого свиста в ночи
На темной, глухой тропинке
Влюбленного, что, припозднившись,
Стремится себя подбодрить
И скоротать дорогу
С полуночного свиданья,—
    На родине
    Я не услышал.

Шального пенья с утра
Разгульного забулдыги,
Успевшего похмелиться
И разбудить всю деревню;
Его похвальбы, которой
И слушателя не надо —

Такая в нем бесшабашность
И гордость славою предков,—
Я в этот раз
Не услышал.

Веселого шума подростков,
Швыряющих камни с размаха
Или играющих в мяч
На травяной площадке
И запускающих «свечку»
Под самое синее небо,—
Я в этот раз
Не услышал.

Здесь больше нет молодежи —
На острове моего детства,
Насквозь продутом ветрами.

БРЕНДАН КЕННЕЛЛИ

С английского

Начать с нуля

Хорошо порою начать с нуля,
Все стряхнуть, как Дублин в воскресный день
Поутру, часов около шести;
Нет ни шума на улицах, ни машин,
И в душе ни спешки, ни суеты.

Неприступны и важны стоят дома,
А извивы и спуски улиц манят
В неожиданный, полный соблазнов край.
Что спросонья бормочет себе река,
Проходя, подслушаю невзначай.

Город, выметя напрочь будничный сор,
Наконец вспоминает про близость гор,
Появляется желанье внимать
Морю, шороху листьев и тишине,
Замечать друг друга и понимать.

Удивительны в тесноте городской
Эти горки покатые и холмы —
Их еще не касалась ничья нога;
Разомлели они от ранних лучей
И не ждут никакого к себе врага.

Так, должно быть, крепости гарнизон
У потухших перед рассветом костров,

© Brendan Kennelly, 1990

Разморясь и не думая ни о чем,
Накануне последнего штурма спит
Самым сладким, самым глубоким сном.

Быть исшарканным этой уймой подошв
И суметь в себе сызнова возродить
Свою чистую незамутненную суть —
Вот что делает город другом твоим,
Когда утро смоет бессонницы муть.

Я иду, смущенный его наготой,
Мимо статуй, спрашивающих пароль,
Мимо розовых, желтых синих дверей —
И мечтаю снова начать с нуля
В воскресенье, в Дублине, на заре.

ЭНТОНИ КРОНИН

С английского

В зоологическом саду

Мое чувство справедливости оскорблено:
Почему у этих холеных, пижонских тюленей — целое озеро
И еще на берегу — рукотворное лежбище из камней,
В то время как бедные старые гиппопотамы
Вынуждены довольствоваться пыльным двориком и бетонным бассейном с грязной водой?
Может быть, я чего-то недопонимаю,
И гиппопотамам не так уж тут плохо.
Но мне отвратительны эти позеры-тюлени с их наигранными манерами и дешевым успехом у публики.

Я читаю информацию на щитах.
Она касается, главным образом, отношений полов.
Конечно, есть варианты, но в основном
Самцам в природе приходится куда тяжелее.
Вся их жизнь — одинокие скитания, постоянные схватки и, в лучшем случае, бдительная охрана завоеванных жен.
И хотя те немногие, что преуспели, имеют в своем распоряжении целый штат готовых к услугам самок,
Я гадаю: что бы выпало мне, если бы наш успех у слабого пола
Зависел от результатов драки, а не от тайного голосования воображаемого гарема?

Здесь говорится, что самцы и самки полярных медведей
Сходятся лишь в короткий брачный период, обычно в апреле.
Сейчас июль, и, однако, я замечаю парочку, уединившуюся в мрачном каменном гроте —
Вроде того, что виден на заднем плане в «Распятии Христа» у Мантеньи.

© Anthony Cronin, 1982

Что это — свадьба?
Но тогда здесь явное насилие над природой.
Может быть, эта пара выросла в неволе, и их инстинкты
повреждены?
Кто бы в том ни был повинен, но это жестоко.

Их называют дикими животными, но я не вижу в них ничего
дикого.
Они не бросаются на решетки, не трясут ограждений.
Чем опаснее зверь, тем он кажется равнодушней —
И даже как будто доволен, что прутья охраняют его от людей.
Их самообладание в этом пекле поражает меня:
Самые грозные из них ведут себя достойнее всех —
Не позируют, не развлекают публику, а, укрывшись где-нибудь
в полосатой тени прутьев или в пятнистой тени листьев,
Маскируются под окружающий фон.
Они не играют в героев, не кричат:
«Свобода или смерть!»

Два часа прошло, но энтузиазм детей не ослабевает.
Только мне все тяжелее глядеть в звериные глаза —
Что-то в них остекленевшее, запредельное...
Впрочем, писать сочувственные стишки о животных —
вот уж этого я, виноват, не умею.

И когда мы наконец становимся в длинную очередь
на автобусной остановке,
Я с удовольствием обращаю внимание на представителей
моей собственной породы —
Особенно самочек брачного возраста,
В разной степени по-летнему раздетых.
И хотя многие из них жуют жвачку и держат транзисторы,
из которых вылетают бессмысленнейшие звуки —
Вой и блеянье эстрадных кумиров,
Каждый из которых, явись он сюда воочию, привел бы их
в блаженный столбняк
И уж конечно бы без всяких усилий свел на нет
все мои галантные поползновения —
Я заглядываюсь на них и даже, кажется, западаю на одну,
Сознавая при этом, что мой звериный инстинкт
Слишком хил, чтобы я мог обезуметь, забыть о преградах
Или закричать ни с того ни с сего:
«Свобода или смерть!»

■

ДЕСМОНД ИГАН

С английского

Спаси и помилуй

Tengen piedad para el poeta —
Pablo Neruda [1]

поэт стоящий в очереди к окошечку банка
словно в исповедальню

Боже спаси

поэт неуверенно озирающийся
на автостоянке

Христос помилуй

поэт заполняющий бланк на страховку

Боже спаси

поэт толкающий тележку в супермаркете

Христос помилуй

поэт распечатывающий еще одно письмо
со стихами

Боже спаси

поэт гмыкающий и мямлящий что-то
в ответ на вопросы друзей

Христос помилуй

поэт разглагольствующий перед
семнадцатилетними лбами

Боже спаси

поэт бросающий надежную службу

Христос помилуй

поэт возле полки бестселлеров в магазине

Боже спаси

поэт в студенческом свитере

Христос помилуй

поэт старающийся показать
что ему безразлично

Боже спаси

поэт рвущий свою жизнь на клочки
чтоб швырнуть ее в мусорную корзину

Христос помилуй

поэт побирающийся на дороге
мощенной алмазами и жемчугами

Боже спаси
Христос помилуй

[1] Явите милосердие поэту. *Пабло Неруда (исп.).*

© Desmond Egan, 1992

ЮДЖИН МАККЕЙБ

Жертвы

Ферманагская история

Перевод с английского А. ЛИВЕРГАНТА

От переводчика

На прямой и довольно неожиданный вопрос одной из заложниц, жены полковника Армстронга, в чей особняк проникли «временные», неустрашимые бойцы ИРА: «Какие чувства вы сейчас испытываете?» — Белла Лайнем, самая неблагонадежная из налетчиков, после короткого раздумья отвечает: «Жалость... ко всем нам».

Как и главная героиня, Юджин Маккейб, североирландский журналист и драматург («Жертвы» — первый его прозаический опыт), одинаково жалеет и заложников, и членов ИРА, задумавших налет, чтобы обменять Армстронгов и их гостей на сидящих в тюрьме «своих». Вот почему слово «жертвы» — оно не только вынесено в заглавие, но и постоянно звучит в диалогах, является лейтмотивом повествования — применимо в равной мере ко всем действующим лицам этой очень ирландской, мрачной и одновременно жизнеутверждающей повести, которая, впрочем, больше похожа на пьесу или киносценарий.

Авторский комментарий здесь почти отсутствует, нет психологических характеристик персонажей; чувствуется, что Маккейб не столько прозаик, сколько драматург: в «Жертвах» мало, почти нет описаний, зато много диалога и дотошных авторских ремарок — кто где стоит, куда идет, что делает...

Эмоциональность, экспансивность, драматизм — в характере ирландцев и, соответственно, ирландской литературы. «Жертвы» — не исключение. Автор умело нагнетает напряжение, поддерживает высокую температуру конфликта. Остродраматичны отношения между его героями — как правило, психологическими, социальными и политическими антиподами. Парадоксально, но факт: противоречия внутри каждой из групп оказываются подчас глубже, непримиримее, чем между приверженцами британской короны, с одной стороны, и «единой и неделимой» Ирландии — с другой; операция по захвату заложников в Инвер-холле сближает идейных противников и, наоборот, разводит союзников.

К русскому читателю «Жертвы» приходят с опозданием почти на двадцать лет (первое, лондонское издание вышло в 1976 году), однако теперь терроризм, вооруженные нападения, вымогательство, обмен заложниками вошли и в нашу жизнь, перестали быть экзотикой, а потому, как ни грустно это сознавать, повесть Маккейба воспринимается нами острее и ближе; сегодня наш читатель может оценить правдивость во многом документальной книги Маккейба исходя и из собственного опыта.

Посвящается Марго

Ленард стоял, облокотившись на ограду, и наблюдал за входом. С тех пор как он пришел, над территорией гремела «Земля надежды и славы» вперемешку с дробным постукиванием копыт, храпом лошадей, мычаньем привезенного на выставку скота, зычными голосами распорядителей, выкрикивающих команды в мегафон, визгом свиней, неожиданными взрывами аплодисментов и непрекращающимся гулом голосов — как под навесом, где продавалась выпивка, так и за его пределами.

© Eugene McCabe. 1976

На столбе над навесом полоскался на южном ветру «Юнион Джек», а под его треугольным красно-бело-синим полотнищем раскинулась обнесенная оградой территория выставки с помостом для судей и маленькой палаткой, где заседала комиссия. Над входом красовался транспарант с вышитой надписью: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ВЫСТАВКУ! БОЖЕ, ХРАНИ КОРОЛЕВУ!

Фермеры в темных костюмах, в шляпах, кепках и сапогах, их жены в просторных летних платьях и в крепкой обуви демонстрировали овец, свиней и птицу, осматривали лоснящихся, упитанных быков-медалистов, расхаживали между крытыми прилавками, заваленными урожаем садов и полей, оживленно препирались с коммерческими агентами относительно достоинств и недостатков сверкающих, новеньких моделей тракторов и другой сельскохозяйственной техники или же, сидя в кружок и греясь на августовском солнышке, уписывали бутерброды, лакомились мороженым в стаканчиках и утоляли жажду пивом. Зычные голоса, мелькающие в толпе галифе, твидовые костюмы, а также небрежная городская одежда в сочетании с йоркширским выговором свидетельствовали о присутствии на выставке джентри, их гостей и английских солдат, которые без особого труда отпросились на день из казарм в Лиснаски или в Росли.

На этот раз обошлось без происшествий, разве что одна лошадь сломала ногу, и Ленард слышал, как ветеринар сказал вполголоса ее владельцу:

— Придется ее того.

Последняя лошадь покинула площадку для выездки, а Ленард по-прежнему внимательно следил за входом единственным своим здоровым глазом. За оградой тянулись скошенные луга, а за ними, на горизонте, возвышались неясные серо-коричневые очертания Ферманагских гор. У ограды, на ярко-зеленом газоне, раскинулся пестрый ковер только что распустившихся одуванчиков, таких ярких, что ему пришлось отвернуться. Прикрыв глаз испещренной шрамами рукой, Ленард вынул из кармана листок бумаги, с безразличным видом прочел зашифрованное письмо, поднес к нему горящую спичку и уронил золу себе под ноги.

Когда же он вновь обратил взгляд на вход, она уже стояла под транспарантом: маленькая мадонна, сдержанная, с ледяными, всевидящими глазами, с лицом изящной средневековой огранки. Он подождал, пока она повернется в его сторону, а затем, отделившись от ограды, направился к ней. Лайнем наблюдала за ним без тени улыбки. Он отпустил бороду, скрывавшую агрессивно оттопыренную нижнюю губу.

— Это ты,— сказала она, не подавая ему руки.

— Да.

— Об этом, по крайней мере, меня в известность поставили.

Городская дамочка в модной летней блузке и босоножках, с кожаной сумкой через плечо. «Всем победителям в конкурсе мясного скота подойти к судье»,— дважды громогласно повторил в мегафон распорядитель.

Ленард повел ее через толпу, мимо фермеров, что безуспешно пытались загнать по пандусу в кузов трейлера беспокойного фризского быка, по дорожке, петлявшей между лотками и палатками. Когда они вышли на поляну перед оградой, за которой находилась площадка для выездки, прямо напротив судейского помоста, он остановился, сунул руку в карман летнего пиджака и достал пачку сигарет. Закурили. Ленард упрямо молчал, и Лайнем вынуждена была заговорить первой:

— Я смотрю, ты не очень-то словоохотлив.

— Ты — тоже.

— Я ничего не знаю кроме того, что...

«Памятным призом Армстронга за лучшего быка мясного скота награждается Сэмюэл Фостер из Маллинахона»,— объявил в мегафон мужской голос.

— В четыре пришла машина,— стала сбивчиво рассказывать она, когда стихли аплодисменты.— В записке Военного совета говорилось, что я должна сесть и ехать, куда, сказано не было... под твое начало... почерк Берка... всю дорогу от Дублина шофер не проронил ни слова. Это все, что мне известно.

После еще одного объявления она добавила:

— Я очень перепугалась... боюсь до сих пор.

— Чего?

— Что эта поездка будет последней.

— Ерунда.
— Тебя хоть инструктировали, предупреждали.
— Мало ли что они говорят.
— Ты выполняешь приказ.
— А ты разве нет?
— Какой приказ? — спросила она после паузы.

Очередное объявление сопровождалось дружеским похлопыванием по плечу и смехом — победу одержал фаворит.

— Проникнуть в особняк,— объяснил Ленард.— Мы задержим там несколько человек, пока они не выпустят из Лонг-Кэш [1] Куинна, Макинтайра и Фэнина.
— В какой особняк?
— Инвер-холл, в двух милях отсюда... Вон хозяин.— И Ленард движением головы показал на судейский помост.— Не хочу тыкать пальцем; высокий, в галифе и в полотняной кепке.
— Кто он такой?
— Сам он — никто, а вот его зять возглавляет отдел в Форин офисе.

Лайнем пожала плечами, и Ленард добавил:

— Еще он английский лорд.

Она бросила взгляд за ограду.

— Когда?
— Сегодня вечером.

Последовало три объявления подряд.

— Они их не выпустят,— вырвалось у нее.
— Пусть тогда пеняют на себя.
— То есть?
— Мы сдержим слово.
— Каким образом?
— Тебе не все равно?
— Я к этому буду причастна?
— Ты там будешь.

Колючая трава у нее под ногами зловеще сверкнула на солнце. Лайнем почувствовала, как вспотела спина.

— А если они пойдут на попятный?
— Мы уйдем.
— Вместе с заложниками?
— Заложников мы отпустим, когда будем в безопасности.
— Куда уйдем?
— В намеченное место.
— А если нам откажут?
— Я уже говорил.

С минуту она колебалась, а потом спросила:

— Мы их убьем?
— Казним.
— А что потом?
— Будем драться.
— Это самоубийство.
— Не скажи: способ проверенный.

Прежде чем задать следующий вопрос, Лайнем, чтобы скрыть волнение, помолчала.

— Но почему я? Я ведь на активную службу не напрашивалась.

Ленард пожал плечами.

— Не знаю... их надо спросить...
— Они... они... кто-то хочет от меня избавиться... ты... тебе это не приходит в голову?
— Кто именно?
— Берк.

Ленард задумался, а затем покачал головой.

— А если я откажусь? Еще ведь не поздно?

[1] Лонг-Кэш — тюрьма, где содержатся «политические», террористы из ИРА. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

Он бросил сигарету на траву, наступил на нее ногой и спросил — скорее озабоченно, чем угрожающе:

— Можешь?

Лайнем ничего не ответила.

— Выпить хочешь? — спросил Ленард.

— Нет.

— Бутерброд?

Она покачала головой.

— Чаю?

— Нет... благодарю.

— Мороженого?

Она утвердительно кивнула: ей надоела его настойчивость; хотелось свыкнуться с тем ужасом, о котором он ей только что рассказал, успокоить бешено бьющееся сердце.

Он направился к лотку с мороженым, она последовала за ним. Продавщица стояла позади автомата вафельных стаканчиков и что-то поправляла внутри.

— Два, пожалуйста,— сказал Ленард.

— Минутку,— отозвалась продавщица.

Ленард кивнул и отошел в сторону. Только сейчас Лайнем первый раз внимательно посмотрела на него.

— Что с твоим глазом?

— Несчастный случай.

— При исполнении служебных обязанностей?

— Да.

— Он видит?

— Нет.

— Сочувствую.

Он кивнул и сказал:

— И я сочувствую тебе... в твоем горе.

Выражение ее лица не изменилось.

— Чего там.

Когда он сделал жест рукой, она сказала:

— Аборт есть аборт.

Ее рассудок, снова подумал он,— это стиснутый кулак, это вызов состраданию, девичеству, материнству, всему женскому, нежному, трогательному. В ИРА она пробилась на самый верх, опередив рвущихся к власти мужчин, не страшась насилия, не задумываясь, чем руководствуется. Некоторые подозревали, что она втайне ненавидит их, презирает общее дело. Как-то, напившись на явочной квартире в Рэтмайнзе, Берк говорил ему: «Якшается с пронырливыми репортерами и политиками... расчетлива, как кошка, любовью занимается с открытыми глазами... Один Господь знает, о чем она думает, во что верит... не в меня... не в Бога... Я даже подумал, уж не из спецслужб ли она... нет, вряд ли».

Тогда Ленарда позабавило, что Берк ставит себя на одну доску с Богом, однако Лайнем он дал оценку весьма точную. Теперь же его подмывало как-нибудь ее поддеть.

— Невеселое слово,— сказал он.

С минуту она пристально смотрела на него. Так же, как на других своих знакомых-североирландцев — в упор, без лишних слов.

«Ничуть не глупей меня будет»,— сказал как-то про нее Берк.

Ответ созрел у нее в мозгу, но в слова оформиться не успел. Она увидела, что продавщица накладывает мороженое в стаканчики, и сказала:

— Твое мороженое готово.

В это время к лотку, не заметив Ленарда, подошли блондин, почти альбинос, и высокий гибкий негр, оба в джинсах и в пестрых рубашках.

— Нам два, красавица,— обратился к продавщице негр.

— Они пришли раньше,— сказала продавщица, кивая в сторону Лайнем и Ленарда.

Негр обернулся.

— Прости, приятель.

— Бывает,— откликнулся Ленард.

Когда они отошли, Лайнем вопросительно посмотрела на Ленарда. Тот кивнул.

— Интересно, что он думает о том, что здесь происходит?

— Кто?

— Негр.

— Ничего не думает, он бульварную прессу читает.

Дорогу им преградила нищенка с завернутым в лохмотья ребенком на руках. Рыжая, зубы гнилые, тусклый взгляд, старуха на вид.

— Да благословит вас Господь, сэр, мисс, не дадите монетку бедному деточке?

Личико у ребенка было бледное, болезненное.

— Сколько твоему малышу? — спросила Лайнем, пока Ленард, остановившись, рылся в карманах брюк в поисках медной монеты.

— Скоро три месяца, мисс.

Тут к нищенке подошел полковник.

— Я тебя не гоню, милочка,— сказал он,— но сколько можно повторять... здесь милостыню просить нельзя.

— Да, ваша честь.

Когда она отошла, полковник сказал Ленарду:

— Какой смысл давать ей деньги, если она не уйдет, пока все здесь же и не спустит.

И он кивнул в сторону навеса, смерил пристальным взглядом Ленарда, заглянул в глаза Лайнем и, уходя, буркнул:

— Отличный денек.

— Лучше не бывает,— отозвался Ленард.

Глядя полковнику в спину, Лайнем спросила:

— Это его вы собираетесь убить?

— Ты же знаешь, чего спрашиваешь?

Они молча дошли до ограды, и Лайнем поинтересовалась:

— Конечный срок?

— Завтра в полдень.

— А если они откажутся... тогда как? — Она осеклась.

— Первого — в полдень... остальных — по одному — каждые шесть часов.

Тут Лайнем обнаружила, что струйка малинового джема стекает по вафельному стаканчику прямо ей на пальцы. Она так и не попробовала мороженое и теперь смотрела на него с отвращением.

— Сколько их?

— Обычно за стол садятся человек шесть-восемь.

— Мне что-то не хочется.

Ленард взял мороженое у нее из рук. Повсюду фермеры начинали грузить скот на трейлеры и в грузовики. Выставка закрывалась, но вручение наград перед судейским помостом еще шло полным ходом: звучали объявления, раздавались аплодисменты. Лившуюся из динамика «Песню итонских гребцов» неожиданно заглушил свистящий шум: это ярдах в десяти от них, широко расставив ноги, как ни в чем не бывало мочился в траву гнедой мерин.

— Сколько времени это переносить? — не выдержала Лайнем.

— Мы можем уехать в любой момент.

Направляясь к выходу, они прошли мимо окружавших навес прилавков с разложенными на них фруктами и овощами. Высокая женщина с правильными чертами лица и красивыми руками и ногами стояла в окружении фермерских жен и хорошо поставленным голосом говорила:

— Моя мать всегда добавляла лимонную вербену в яблочное желе — для аромата.

— Его жена,— вполголоса произнес Ленард.

— Чья?

— Полковника.

— Она там будет?

Ленард утвердительно кивнул, и Лайнем сказала:

— Кого-то она мне напоминает.

Они вышли с территории выставки, сели в черный «фольксваген» и поехали на юг, в сторону границы.

Полковник пожал за этот день сотни рук, раздал сотни наград, призов, грамот, медалей, кубков и «ценных подарков». Когда же он направился к Алексу Бойд-Крофорду, к нему подошел Джордж Готорн, кузнец и мелкий фермер.

— Джордж?

— На пару слов, сэр.

Вид у Джорджа был мрачный. Полковник знал, что недавно его допрашивали в ККО [1] в связи с двумя убийствами подряд в трех милях от Инвера. Его племянник Эрик О'Нил, парень двадцати трех лет, служивший на контрактной основе в СОО [2], был случайно застрелен на армейском пропускном пункте; ходили слухи, что он покончил с собой.

Остекленевший от горя и виски взгляд, грубое, похожее на наковальню землисто-серое лицо. Долго слушать его полковник не собирался.

— Хочу, чтоб вы сами посмотрели,- – проговорил Джордж и двинулся с места.

— На что?

Своим мозолистым пальцем Джордж показывал на деревянное строение слева от входа с буквой «М» над дверью.

Полковник остановился.

— Что там, Джордж... какая-нибудь непристойность?

— Сейчас увидите, сэр... один из наших «клиентов» сделал на полу кучу, а на стенке написал: «Вот что мы думаем об англичанах и их армии... да здравствует ИРА».

Лицо полковника оставалось непроницаемым.

— Слова́,— сказал он.

— Скоты... с души воротит.

— Слова́, Джордж.

И полковник поднял глаза на вертолет, зависший над полем и поросшими лесом горами.

— Людей убивают каждый день,— сказал он.

— Это вы *мне* говорите, сэр? Тогда и я вам могу кое-что рассказать...

За оградой послышался нервный смех Харриет. Еще до полудня она не раз заглядывала под навес. Сегодня вечером за обедом опять наверняка будет нести невесть что.

Погруженный в свои мысли, он пропустил слова Джорджа мимо ушей.

— ...О'Доннелл из судейской комиссии... он из их числа... они все одинаковы...— Джордж стиснул кулаки.— Все против нас.

Полковник посмотрел Джорджу прямо в глаза. В том, как тот стиснул кулаки, было что-то одновременно нелепое и угрожающее. Эйден О'Доннелл, единственный католик в судейской комиссии, кончил школу в Англии, по выходным возился на своей ферме, а всю неделю работал в адвокатской конторе; у него было два брата: один, иезуит, преподавал в Стонихерсте [3], второй был директором коммерческого банка в Белфасте. «Я вынужден бороться за справедливость внутри системы, которую считаю несправедливой,— сказал как-то О'Доннелл.— Неудивительно, что я все время ощущаю себя лицемером». Нелояльное высказывание? А впрочем, чего еще ожидать от североирландца-католика, да еще разогретого вином либерала. Полковник одинаково хорошо понимал и негодование Джорджа, и колебания О'Доннелла.

— Джордж, ты должен понять...

— Либо я, либо О'Доннелл, сэр. Пусть вам тогда другие куют подковы, а меня увольте.

Полковник покачал головой. Пока он пытался подыскать нужные слова, Джордж повернулся и пошел прочь. Полковник посмотрел ему вслед. По сравнению с такого рода сложностями война была делом простым: приказы отдаются и выполняются, дезертиры расстреливаются, враг уничтожается, присяга соблюдается; никаких тебе умствований, никаких угрызений совести. По-своему Джордж был, конечно, прав. О'Доннелл ведь отказался от судебной должности. Да, сам-то он никогда бы не прибегнул к насилию, но его двуличность была ничуть не менее

---

[1] Королевские констебли Ольстера (североирландская полиция).

[2] Силы обороны Ольстера.

[3] Стонихерст-колледж — мужская привилегированная частная средняя школа для католиков в графстве Ланкашир.

опасной, чем слепой фанатизм Джорджа,— в прежние времена это могло бы стать излюбленной темой для дискуссии в аристократической гостиной. «Подогревайте в них злобу,— говорил полковнику с грубым смехом его сосед, крупный землевладелец,— но не доводите ее до кипения». Теперь же, когда враждебность эта вылилась в ненависть и в каждодневные убийства, фанатизм перестал вызывать улыбку. Выхода, судя по всему, не было. Армстронг направился в сторону судейского помоста. На нижней ступеньке, с сигарой во рту, сидел, читая «Белфаст ньюс леттер», Алекс Бойд-Крофорд: пожилой примат, лицо в морщинах, мешковатый костюм, клетчатая рубашка, роговые очки, к верхней пуговице пиджака прикреплен слуховой аппарат. Бывший любовник Харриет.

— Что случилось, Нобби?

— Ничего. Где Стюарт?

Алекс показал пальцем на противоположную сторону площадки. Там каноник Пламм с суровым видом беседовал с профессором Стюартом Колдуэллом; каноник жестикулировал, Колдуэлл слушал, сверкая на солнце стальными дужками очков,— худенький, издали похож на мальчика, чистенький, изящный и тонкий, как шпага. Алекс сложил «Ньюс леттер» и сунул газету в боковой карман пиджака.

— Дело идет к концу, Нобби, выставка постепенно сворачивается... Еще пара месяцев, и все.

— Вы всю жизнь ждете конца, Алекс.

— На этот раз он не за горами, поверьте. Впрочем, мне-то терять нечего, вот вы — дело другое.

— В этом году людей поменьше... хотя, с учетом обстоятельств, тоже немало.

— В молодости мы с Бэзилом сидели по ночам на деревьях — боялись, как бы не пришли фении [1] или немцы... так они и не появились... однажды я пристрелил кролика...

Алекс помолчал. Полковник, не слушая, мерил шагами площадку.

— Кто же сейчас наш враг? — после паузы спросил его Алекс.— Может, хоть вы мне скажете, Нобби?

— Харриет,— спокойно сказал полковник.— Она слишком много пьет.

Мимо, ведя быка шарольской породы с розочкой на голове, прошел мужчина с серебряным кубком. Он помахал полковнику, и тот сказал:

— Отличный бык, Сэм. Молодец!

— Иностранный, сэр, старые породы вымирают.

— Увы.

Глядя, как громадный золотистый бык, тяжело ступая, идет к трейлеру, Алекс вздохнул:

— Так я и не научился разбираться в этом зверье. Целое состояние на них угрохал.

— Алекс, Харриет слишком много пьет,— повторил полковник.

Алекс ответил не сразу:

— Она недолюбливает этого американца.

— Она вам говорила?

— А вы сами не видите?

Алекс поднялся и стал стряхивать и сдувать с пиджака сигарный пепел.

— Я ему не завидую: старый Пламм такой зануда!

— Мы — не лучше... Можете поговорить с ней?

Алекс покачал головой:

— Она меня не послушает... а потом, к чему, спрашивается, умирать трезвым, если можно умереть пьяным?

— Она себя убивает, а вы хохмите!

— Люди пьют, чтобы забыть, что они живы, Нобби. Счастье — в могиле.

Полковник на минуту задумался, а затем, не без раздражения, заметил:

— С вашей стороны это бессердечно и довольно глупо.

Когда полковник направился в сторону каноника и Колдуэлла, Алекс пробормотал себе под нос:

— Возможно, так оно и есть... но тогда получается, что я банкрот во всех отношениях.

[1] Ирландские революционеры-республиканцы второй половины XIX — начала XX века, члены тайных заговорщических организаций «Ирландское революционное братство».

Он достал очередную сигару и закурил. Стоящие неподалеку фермеры снисходительно заулыбались. Они не слышали, что бормотал Алекс себе под нос, так как в это время он раскуривал сигару, но хорошо знали: это Алекс Бойд-Крофорд, чудак, любит выпить и поволочиться, мудрый балбес, на котором, вероятнее всего, кончится род Бойд-Крофордов, один из самых старинных в Ольстере: имение его разорено, сам он вдовец, а его единственный сын и наследник — неудачник.

Алекс глянул на карманные часы и пробормотал:

— Выставка закрывается — самое время выпить.

И с этими словами направился под навес, чтобы без шума извлечь оттуда Харриет.

— Это,— пробормотал он,— то единственное, что получается у меня лучше, чем у Нобби.

Проехав миль пять по петляющим сельским дорогам, которые то подымались в гору, то шли под уклон, Ленард выехал на грязную улочку с высокой живой изгородью по обеим сторонам и свернул к небольшому двухэтажному фермерскому дому с подкрашенной в оловянный цвет соломенной крышей. К дому был пристроен коровник, а рядом находилось маленькое квадратное бетонное строение с бочкой для дождевой воды на крыше. В пустом торфяном сарае стояла голубая «кортина».

— Где мы? — спросила Лайнем.

— В самом центре Монахана. Городок называется Драмгрон.

— Здесь есть ванная?

Ленард указал на маленькое бетонное строение:

— Туалет.

— А где можно помыться?

— На заднем дворе есть кран.

Она колебалась.

— За садом река,— добавил Ленард.

— Когда мы выезжаем?

Он посмотрел на часы:

— В восемь тридцать.

Ленард оставил ее во дворе, зашел на кухню и обратился к человеку, читавшему «Норзерн стандард»:

— Где мальчики?

— У матери,— раздался голос из-за газеты.

— У нас гости, Джек.

— Да?

Газета при этом не опустилась.

— Она сойдет к речке минут через пять, а то и меньше... Понаблюдай-ка за ней, только сам ей на глаза не показывайся.

— Она?!

— Потом расскажу. Выходи через заднюю дверь.

Джек Галлахер вышел через заднюю дверь, обошел амбар и двинулся вдоль поля, через заросший сад.

Лайнем зашла в уборную, а затем, обойдя бетонный домик сзади, подошла к крану, вода из которого капала в глиняное корытце. Прямо напротив нее находилось кухонное окно. Она покинула двор и, пройдя через гумно, мимо пустого амбара для сена, углубилась в густой сад, заросший крапивой, щавелем и какой-то разновидностью дикого ревеня, пышного, резко пахнущего, который так вымахал, что доставал до нижних веток десятка истерзанных яблонь.

От дома к реке вела тропинка. Лайнем услышала шум воды. Берег оказался круче, чем она ожидала, из-под корней росших у реки ясеня, ольхи и боярышника выбивался густой папоротник. Сквозь прозрачную воду хорошо было видно рыжеватое, цвета ржавчины дно. Лайнем села на сухой камень у самой воды, достала маленький пластиковый мешочек, зеркальце и косметичку и жадно, пересохшим от напряжения ртом вдохнула прохладный, свежий воздух. Сняв блузку, она заметила влажные пятна пота под мышками и поняла, что по пути из Дублина ей было не так страшно, как теперь. Ведь через час, а то и раньше она встретится лицом к лицу, быть может, разговорится с теми двумя, кого она видела на выставке,— не исключено даже, что будет присутствовать при их расстреле. Сидя за столом или

стоя на трибуне, легко было рассуждать о борьбе не на жизнь, а на смерть, призывать к насилию. Два года она только этим и занималась. Теперь же насилие, эта повивальная бабка революции с окровавленными руками, этот жестокий, брызгающий слюной зверь с раскрытой пастью и мутными безжалостными глазами, подкралось к ней вплотную. Она сняла босоножки и опустила ноги и руки в воду. Когда в уютном мраке бара на Дорсет-стрит она рассказала Берку, как покончила с беременностью, этот громкоголосый арбитр жизни и смерти был до того потрясен, что лишился дара речи.

— Зачем ты это сделала? — только и спросил он.

— У него не было будущего.

— Зачем? — с какой-то тупой настойчивостью повторил он.

Неужели он такой ребенок в душе, что рассматривает ее лишь как станок для изготовления ему подобных? Почему сейчас, не предупредив, а возможно, и подвергая смертельной опасности, он отправил ее под начало Ленарда? Поддался давлению со стороны некоторых членов Военного совета, которым не нравилась ее неуступчивость? Или жена пригрозила, что покончит с собой? Или это был холодный, до мелочей просчитанный ход? О Ленарде (что еще не было общеизвестно, но чего Берк не мог не знать) на Севере и на Юге [1] отзывались с уважением, почти с трепетом. Почему вообще она вступила в Движение [2]? Лайнем попыталась вспомнить, какое раздражение, даже ненависть вызывало у нее в студенческие годы исконное положение ирландцев, пьяная, пустая болтовня, порождающая пьяную, пустую болтовню [3]; неспособность здраво рассуждать, действовать на холодную голову — «как британцы», с иронией говорил Берк. Люди, которые казались ей сложными и неоднозначными, становились, стоило им вступить в Движение, заурядными пошляками, рвущимися к власти; смесью из болтунов радикалов и возглавляемых Берком католиков-консерваторов, что верили, в этом у нее не было никаких сомнений, только в одно — в неограниченную личную власть.

А во что сейчас, этим августовским вечером, сидя на камне у реки в графстве Монахан, верила она? «Не знаю»,— громко, обращаясь к воде, сказала Лайнем.

До Бирмингема она могла бы перейти через эту речушку, дойти холмистыми полями до ближайшей деревни, вызвать по телефону такси и, сев на паром в Ларне, исчезнуть, раствориться в небытии — как поступали все те, кто был неуверен в себе, испуган или разочарован.

Откуда-то с верховья реки донеслось до нее мелодичное завывание кроншнепа. Фронтоном бабушкин дом смотрел на море. По ночам кроншнепы устремлялись на каменистую бухту между Кулфадой и Дангарваном. Кулфада. Соломенная крыша, перевязанная веревками на случай шторма, глиняный пол, побуревшая от времени побелка, пожелтевшие от дыма стекла, куры, собаки, кошки, мешки с едой, кузнечные мехи и морщинистая старушка, мать ее матери, которая что-то сердито бормочет по-гэльски домашним животным. По утрам — хлеб на соде и сладкий чай из оловянной кружки, по ночам — крепкий сон на деревянной скамье со спинкой, на грубых простынях, сшитых из мешковины. И Бог был приливом и отливом, и все было едино: люди, поля, море, небо, жизнь и смерть, незапамятная земля детства — ушедшего навсегда.

Кроншнеп взвыл ближе. Лайнем подняла глаза на заходящее солнце, он был где-то совсем рядом, а когда опустила, то увидела, что по реке что-то плывет: камыш? Моисеева корзинка из тростника? Кроншнеп взлетел повыше, снова взвыл у нее над головой, и она подумала: «У меня галлюцинации». И тут она отчетливо увидела желтовато-коричневый пластиковый пакет с изображенным на нем пучком камышей. Пакет проплыл мимо, вращаясь на мелководье, и исчез в глубокой воронке за поворотом — легкий, иллюзорный, бездетный. Лайнем пожертвовала своей кровиночкой, своим потомством — и ради чего? Ради мечты? Нет ничего более затхлого и ограниченного, чем национализм, чем приевшаяся ностальгия по

---

[1] То есть в Северной Ирландии и в Ирландской республике.

[2] То есть в Ирландскую республиканскую армию.

[3] Ср. программное стихотворение У. Б. Йейтса «Пасха 1916 года» (1921):

[...] Я кивал им и проходил,
Роняя пустые слова,
Или медлил и говорил
Те же пустые слова...

(Перевод А. Сергеева)

Кулфаде. «Нет»,— вслух произнесла она. Она же сама, по собственной воле, предпочла бездействию кошмар действия, дружбу людей, чьи громкие слова, цели и жестокость казались ей более привлекательными, честными и обнадеживающими, чем пустые, коварные интриги политиков наподобие ее отца, что влачат жалкое, сытое существование и бесследно уходят из жизни. По этим причинам, а также по другим, сложным и не вполне ясным, Лайнем и присоединилась к Движению. Сейчас, когда она загнана в угол, перепугана и предана, сказать «Не знаю» было проявлением слабости, но, думая о предстоящем, она понимала: насилие не только внушает ей отвращение, но и панический страх; больше всего на свете она боялась заглянуть в его страшное лицо. «О Боже»,— пробормотала она, но, поскольку знала, что в Бога не верит, сочла свою трусость естественной. Другого пути нет; она сделала свой выбор — значит, так тому и быть.

Одевшись, Лайнем почувствовала себя посвежевшей. Она внимательно изучила свое лицо в маленьком зеркальце. Кого она в нем увидела? Если б она могла понять, что скрывается за этой маской, ей было бы легче понимать других, понять, как устроен мир.

Открыв косметичку, Лайнем вдруг ощутила... чье-то присутствие. Она внимательно осмотрелась. В тридцати ярдах вниз по реке, у самой воды, сидел молодой человек: голова едва виднеется из травы и папоротника, огненно-рыжие волосы, совершенно белое, как это часто бывает у рыжих, лицо; нет, на монаханского деревенского парня не похож. Он улыбался, и в улыбке этой было что-то привлекательное и в то же время отталкивающее. Она убрала зеркальце обратно в косметичку. «Интересно,— подумала она с растущим раздражением,— и давно он здесь? Уж лучше бы увидел ее голой, чем с зеркальцем в руке,— это не так стыдно и унизительно». Душа еще меньше предназначена для чужих глаз, чем тело. Неужели он слышал, как она говорила сама с собой? А он уже шел, по-прежнему улыбаясь, в ее сторону: среднего роста, джинсы, тенниска, короткая кожаная куртка, высокие ботинки.

— Что, смешно?

— Я бы не сказал.

— Тебя Ленард послал за мной шпионить?

— А у тебя столичный выговор.

— Про твой этого не скажешь.

— Что это ты дрожишь, красотка? Так ведь и умереть недолго.

— Мне-то — долго, а вот тебе?

Ее гнев забавлял его.

— Только не притворяйся, что ты стыдишься мужских глаз. И как тебя кличут, если не секрет?

— La belle dame sans merci [1].

Улыбка медленно исчезла с его губ; Лайнем ждала, что он скажет.

— А меня — Джек Галлахер, за четыре года я пришил пятерых, грех англичан, одного ККОшника и одного из СОО, взорвал три казармы, подложил не меньше ста бомб по всему Ольстеру и на свой корректный вопрос рассчитываю получить корректный ответ.

Лайнем улыбнулась и сказала:

— Je m'appelle Isabel Lynam, et je voudrais changer les choses telles qu'elles soient, sans des salopards comme toi, mais la cause a besoin de toi, comme les champs ont besoin du fumier des cochons [2].

В выражении его лица было даже что-то неуловимо изысканное. В конце концов он не выдержал ее пристального взгляда и, повернувшись, отошел от берега и углубился в заросший сад. Какая наглость и глупость со стороны Ленарда посылать человека за ней шпионить! Она вновь достала косметичку, отметив про себя, что гнев переносится легче, чем страх, а гнев и страх — легче, чем отчаяние.

Стоило Галлахеру появиться на заднем дворе, как Ленард сразу же почувствовал, что тот чем-то недоволен.

---

[1] Букв.: прекрасная беспощадная дама *(франц.)*; так называется известное стихотворение Джона Китса; Белла Лайнем также обыгрывает свое имя (Bella — belle).

[2] Меня зовут Изабел Лайнем, и мне бы хотелось изменить существующий порядок вещей без таких мерзавцев, как ты, но наше общее дело нуждается в тебе, подобно тому как поля нуждаются в поросячьем навозе *(франц.)*.

— Если я поросячий навоз,— буркнул он,— то она воробьиный помет. Так это и есть Белла Лайнем! Мог бы меня сразу предупредить ... к чему эти тайны?..

— Ты видел ее?

— И слышал тоже... с улыбочкой назвала меня по-французски мерзавцем, причем имела в виду не только меня, но и тебя, дружище, нас всех.

— Я же сказал, чтоб ты не попадался ей на глаза.

— Я сидел у самой воды, в траве, она повернулась и увидела меня... Она едет сегодня с нами?

Ленард кивнул.

— Неблагонадежная личность.

— Среди нас благонадежных нет.

Когда они услышали шаги Лайнем на заднем дворе, Ленард приложил палец к губам и неуловимым жестом призвал к молчанию. Она появилась из-за бетонного строения, где находилась уборная, лицо у нее было непроницаемым. Ленард изобразил на лице улыбку.

— Познакомься, Белла, это Джек Галлахер.

— Мы знакомы,— отозвался Галлахер, не подымая головы.

Лайнем посмотрела Галлахеру прямо в глаза и сказала:

— Да, я его знаю.

Ленард открыл входную дверь, пропуская Беллу внутрь. От зеленого линолеума, белого потолка, золотистых стен, а также от блестевшей на солнце пластиковой крышки стола и ярко-желтых кухонных стульев с сиденьями из искусственной кожи рябило в глазах. Над плитой висела громадная олеография Сердца Христова, а ниже — календарь мясника и фотография двух улыбающихся Джонов — Кеннеди и Ронкалли [1], снятых в профиль. Все остальное свободное пространство на стенах и на полках занято было часами: старинными и современными, напольными и настенными, «кукушками» и будильниками, часами с вокзалов и из читален; был тут даже потрясающий экземпляр в железном корпусе, вывезенный то ли со скотного двора, то ли с конюшен. Сама комната казалась тикающим механизмом. До Лайнем, которая с уважением рассматривала обстановку, слова Ленарда донеслись словно бы издалека:

— Пачелли.

— Прости? — переспросила она.

Ленард повторил:

— Пачелли.

— Пий Двенадцатый [2],— подал голос Галлахер.

Тут только Лайнем увидела невысокого юношу с длинным, почти что монашеским лицом под шапкой черных волос и бесхитростными глазами. Террорист? Она неуверенно пожала ему руку, и Ленард представил ее:

— Изабелла Лайнем.

— Белла,— сказала она.

— Как же, наслышаны,— сказал Пачелли. У него был гортанный монаханский выговор и странная улыбочка, издевательская и в то же время успокаивающая; он был старше, чем казалось на первый взгляд.

— Пачелли — а дальше? — спросила она.

— Макалир,— ответил он.

— Такой же псих, как и все Макалиры из Монахана,— вставил Галлахер.

— Это он к тому, что мы верим в Бога, а сам он делает вид, что не верит.

На лестнице появилась точная копия Пачелли, и Пачелли сказал:

— Это Паскаль, мой брат... Белла Лайнем.

Они обменялись рукопожатиями, и Лайнем поинтересовалась, близнецы ли они.

— Как же вас различать? — спросила она.

— У Паскаля прибор длиннее,— сказал Галлахер.

Ленард улыбнулся, а Паскаль сказал:

— Джек у нас — большой шутник.

— Только шутки у него плоские,— подхватил брат.

---

[1] Анджело Джузеппе Ронкалли — папа Иоанн XXIII (1958—1963).

[2] В миру — Эудженио Пачелли (1876—1958); его именем был назван один из братьев Макалир.

— Не обращайте внимания.
— Не придавайте значения.
— Такой уж он уродился.
— Иначе не может.
— Ты скоро к этому привыкнешь,— сказал Галлахер.— Если один говорит «тик», то другой — «так».

Паскаль ткнул указательным пальцем в Галлахера, поднял большой палец, закрыл один глаз и сказал:

— Смотри дошутишься, парень.
— Это уж как Господь решит,— сказал Галлахер.

Последовала пауза. Лайнем поняла, что братьям Макалир шуточки Галлахера не по душе. Галлахер стоял рядом, и она заметила, что глаза у него зеленые, а белки налиты кровью. От него исходило напряжение, которое казалось почти осязаемым. Может, потому, что она знала: он убийца, любит убивать?

Прервал молчание Паскаль:

— Ты приехала поездом, Белла?
— Машиной.

Пачелли улыбнулся:

Разлился Бойн, льет дождь в Арди,
Под Слейном рыдают поля:
«Пред вечным покоем ты не грусти,
Пухом будет тебе земля».

— Что ты скажешь о наших холмах?
— Симпатичные.
— Здесь в тысяча шестьсот сорок шестом году проходил генерал Оуэн Ро [1].
— Правда?
— Отступал, подыхая от сифилиса,— буркнул Галлахер.
— От чего? — переспросил Паскаль.
— От сыпного тифа,— сказал Ленард.
— Последствия любви, Паскаль... тебе это не грозит,— гнул свое Галлахер.
— Что ему надо, Мартин? — недоумевал Пачелли.

Ленард пожал плечами:

— Мы предаем себя сами, оттого и терпим поражение за поражением.
— Я не про то,— на этот раз совершенно серьезно сказал Галлахер.— Оуэн Ро отважился и проиграл... мы же победим или умрем отважно.
— Разумно,— сказал Паскаль.
— Хорошо сказано,— одобрил Пачелли.

Галлахер посмотрел на Лайнем.

— Что скажете, мадемуазель?

Несколько секунд Лайнем смотрела на него в упор и только потом сказала:

— Пигмеи, что смеются над великанами, смехотворны.

Ленард отвернулся, чтобы Галлахер не видел, как он улыбается. Чувствуя, что напряжение нарастает, Паскаль при поддержке Пачелли решил переменить тему.

— Мама хочет познакомиться с тобой,— обратился он к Лайнем.
— Она наверху, у себя в комнате.
— Не встает с постели.
— Уже пять лет прикована к постели, артрит и много чего еще.
— Она тебе сама расскажет.
— Она любит поговорить.

Ленард сделал Лайнем знак, чтобы та не отказывалась, и она вслед за Паскалем пересекла, ступая по зеленому линолеуму, кухню и стала подыматься по узкой лестнице. Паскаль открыл перед ней дверь спальни.

— Мама, это Белла Лайнем из Дублина. Мы о ней тебе говорили.

Из глубины комнаты послышался низкий женский голос. Лайнем вошла, а Паскаль, улыбнувшись, прикрыл за ней дверь и ретировался. Миссис Макалир

[1] Имеется в виду Оуэн Ро О'Нил (1590—1649), один из предводителей ирландского восстания против англичан (1641—1652), жестоко подавленного Оливером Кромвелем.

была женщиной исполинских размеров, ирландская королева Виктория с носом Де Валера [1] и челюстью Черчилля; ее тройной подбородок плавно переходил в необъятную грудь, из-за огромного живота стеганое одеяло вздымалось горой, сплетенные в косички волосы были забраны назад, а очки на носу были такими сильными, что глаза казались выпученными и выражали постоянное и глубочайшее изумление. Словом, вид у нее был такой, словно Пачелли и Паскаля она родила уже взрослыми. Когда Лайнем подошла к постели, миссис Макалир величественно протянула ей свою пухлую руку. Лайнем пожала ее. Ладонь была холодной и влажной, артритные пальцы не сгибались. В комнате стоял какой-то особый запах — пахло рыбой вперемешку с лизолом и дезодорантом. Над комодом хрупкая мадонна с сердцем, пронзенным мечом, смотрела на небеса заплаканными глазами. Рядом с мадонной висел вырезанный из календаря портрет Падраига Пирса [2] с объятой пламенем головой. Под портретом кто-то красной шариковой ручкой начертал его стихотворение «Мать».

— На вид тебе нет и двадцати,— сказала миссис Макалир.— Я думала, ты старше.

— Сама я ощущаю себя столетней старухой.

— Ты едешь сегодня с ними?

— Да.

— Боишься, дочка?

— Конечно.

— Какое счастье, что у нас еще рождаются такие, как ты.

Рыбный запах был непереносим. Лайнем подошла к приоткрытому окну. Смеркалось. Миссис Макалир похлопала рукой по стеганому одеялу и сказала:

— Можешь сесть здесь, рядом.

— Вид красивый,— отозвалась Лайнем.

— Еще какой! Тоска берет, когда подумаешь, сколько мужчин и женщин полегло ради этих кривых изгородей, канав и улочек, сколько крови пролилось, как люди голодали, умирали, весь свой век мучились. Я, к примеру, всю жизнь страдала. Хьюи, муж мой, вон его карточка висит, всегда, помнится, говорил мне: «Слушай, Рози, не оспаривай волю Господа, Ему лучше знать», верующий он был человек, душевный, каких только докторов ко мне не возил, и лондонских, и дублинских, и из Белфаста — все зря. Его взяли в пятьдесят седьмом, с пистолетом, возле Армы, избили до полусмерти и за решетку посадили на пять лет, а потом выпустили — умирать. Здесь, в этой постели, он и помер и перед смертью сказал мальчикам: «Со мной кончено, ребята, теперь на вас одна надежда», а у ребят-то еще молоко на губах не обсохло, да и я тогда уже, считай, калекой была. Я порой думаю, что жизнь пострашней смерти будет. Мне еще дублинский доктор Фейган говорил; «Миссис Макалир,— говорит,— есть только два средства: аспирин и терпение». А я про себя подумала: «Вот именно — терпение до гробовой доски».

Она сделала паузу, чтобы перевести дух и сменить тему.

— Как тебе мои мальчики, дочка?

— Славные, по-моему.

— Ростом-то они не вышли — в Хью, но зато оба сердечные, живут по-хорошему и воли хватает: не курят, не пьют, с девушками не балуются — не то что этот Галлахер, к тому же любые часы на свете починить могут. А бомбы! — во всей стране нет им равных по этой части... Мне сам мистер Берк говорил: «Такими сыновьями можно гордиться, миссис Макалир, родина их не забудет, да и вас тоже». Каждый день я благодарю Бога за три моих зеленых поля и за двух отважных сыновей.

Она вздохнула. Лайнем уже собиралась что-нибудь сказать, но миссис Макалир продолжала:

— Я ведь когда-то как тростиночка была вроде тебя. А взгляни на меня сейчас. Если б не мои два мальчика, я бы совсем пропала, а ведь я их в любой момент могу потерять, в любой день, в любую ночь, как сегодня; уйдут — и не вернутся, а соседка, которая за мной ходит, придет как-нибудь утром и скажет: «У меня,

[1] Имон Де Валера (1882—1975) — президент Ирландии в 1959—1973 гг., один из руководителей Ирландского восстания 1916 года.

[2] Падраиг (Патрик) Пирс (1879—1916) — ирландский поэт, революционер, общественный деятель; казнен англичанами после подавления Ирландского восстания 1916 года.

миссис Макалир, для вас плохие новости», а я ей: «Что, мои мальчики, да? Оба сразу?» А она только головой кивнет.

Миссис Макалир опустила голову и процитировала:

..О Боже Правый,
Как все-таки Ты к женщинам жесток!
Ведь матери страдают и тогда, когда приходят дети,
И тогда, когда они уходят...
Но нет! Я не удерживаю их!
И пусть душа истерзана печалью,
Известна ей и радость: сыновья
Не предали народ, они сражались! [1]

— Я не первая и не последняя,— сказала миссис Макалир, вновь устремив взгляд на Лайнем.— Такова цена свободы; ты еще по молодости не понимаешь, какой это ужас, когда твоя собственная плоть и кровь лежит в сырой земле.

— Понимаю.

— Молоденькие девушки вроде тебя не должны подвергаться опасности... война — мужское дело. Если англичане или протестанты эти проклятые тебя сцапают, ты им сопротивляться не сможешь... Зачем ты вступила, дочка?

— Этого вам не понять.

— Почему же?

— Потому что...— Лайнем осеклась, поймав на себе взгляд громадных выпученных глаз, и, помолчав, договорила: — Потому что я и сама не понимаю.

— Чтобы освободить Ирландию. Это же так просто.

— Для кого?

— Для нас.

— От кого?

— От них.

— Но теперь... мы — это они.

Щеки из бланманже негодующе задрожали, рот скривился:

— Никогда... презирают нас... всегда презирали, будут презирать.

Из окна Лайнем увидела, как Галлахер пересек двор и опустил в багажник голубой «кортины» холщовый мешок.

— Мы умерли давным-давно, вместе с нашим языком,— тихо сказала она.

— Что ты говоришь, дочка?

— Победа или поражение ничего не изменит, потому что ни мужчины, ни женщины... даже слепые знают, что свет переходит в мрак.

В воцарившейся тишине слышно было, как внизу на кухне тикают на разные голоса бесчисленные часы. Миссис Макалир открыла было рот, чтобы что-то сказать, но передумала, а затем почти с нежностью проговорила:

— Скажи честно, дочка, ты молишься?

— Когда мне страшно.

— Ты веришь в Бога?

— Не в вашего.

— В Иисуса Христа?

— Не в вашего.

Огромное лицо опять помрачнело. С трудом скрывая раздражение, она громко сказала:

— Есть только один Иисус Христос.

— Их десятки, миссис Макалир, и они ненавидят друг друга.

Воцарилась напряженная тишина, прерванная раздавшимся снизу оглушительным хором «кукушек» и многоголосым боем напольных и настенных часов.

— Ты коммунистка, девочка?

— Мне двадцать три года. Я кончила университет, филологический факультет, я единственная дочь Уилли Лайнема, владельца пивной, депутата парламента и пьяницы, бросившего свою жену, мою мать, которая больше всего на свете интересуется пуделями и иезуитами. Скоро я окажусь за решеткой, или в ссылке, или в могиле.

[1] *П. Пирс.* Мать. *(Перевод Д. Веденяпина.)*

Лайнем замолчала и отвернулась от окна.

— Кто я такая и что я думаю, значения не имеет, но я рада, что мы познакомились.

Миссис Макалир молча указала своим кривым пальцем на платяной шкаф напротив постели.

— Выдвинь левый ящик.

Лайнем выдвинула. В ящике были картонная коробка, большая пластиковая бутылка и с десяток пустых флаконов из-под аспирина, наполненных какой-то прозрачной жидкостью.

— Открой коробку.

Лайнем подняла крышку и обнаружила внутри целую кучу «чудодейственных» медалей и цепочек.

— Возьми себе одну медаль и флакончик.

Понимая, что, отказавшись, она обидит старуху, Лайнем сочла за лучшее подчиниться.

Миссис Макалир надела медаль Лайнем на шею и заправила под блузку. Флакончик из-под аспирина Лайнем спрятала в сумку.

— Знаешь, что это?

— Святая вода?

— Мало того, из Лурда [1]; Богоматерь верит в тебя, дочка, помни это.

Миссис Макалир вцепилась ей в запястье негнущейся клешней. Два огромных плавающих глаза, дряблое лицо — все это напоминало Лайнем карикатуру Хогарта.

— Я всегда хотела дочь... будь у меня дочка, ей бы не пришлось столько пережить, сколько тебе... книги погубят мир, человеку в жизни нужны только три вещи: вера в Бога и в Богоматерь, вера в свой народ и вера в свою родину.

— До свидания, миссис Макалир.

— Господь не оставит тебя, дочка.

Лайнем тихонько прикрыла за собой дверь и, задумавшись, остановилась в узком холле второго этажа. Миссис Макалир была сельской и республиканской разновидностью ее светской матери, которая угощала иезуитов кофе с черствым печеньем в благодарность за пресное духовное утешение. Да, кого только ей не приходилось встречать на этом острове! Так что же, действительно раса безумцев?! Иногда именно такое жуткое ощущение у нее и возникало.

Снизу до нее доносился голос Ленарда. Спускаясь с лестницы, Лайнем увидела, как он, стоя у стола, тычет куда-то пальцем, то ли в карту, то ли в нарисованный план местности. Она направилась к столу и увидела Галлахера, который как раз в это время, с холодным лицом и презрительно поджатыми губами, входил в дом со двора.

— Ты получила медаль, Белла? — без тени иронии спросил Паскаль.

— Да.

— И флакончик? — вставил Пачелли.

Лайнем утвердительно кивнула.

— Отличная штука,— сказал Галлахер.— Выпьешь — и заболеешь тифом. Перед войной — самое оно.

— Не обращай на него внимания!

— Он такой уродился! — почти что хором сказали Паскаль и Пачелли.

— Тик-так, тик-так,— с улыбкой отозвался Галлахер.

— Значит, будем придерживаться этого плана? — повторил Ленард, держа палец на карте. И добавил, обращаясь к Лайнем: — Ты поедешь со мной, я тебя по дороге просвещу.

— А мне поприсутствовать можно будет? — не упустил своего Галлахер.

В какой-то момент Лайнем показалось, что на этот раз Ленард не выдержит и ему ответит. Но подал голос не он, а Пачелли.

— Таким разговорам здесь не место,— неожиданно выпалил он.

— Каким — таким?

— Нехорошим,— уточнил Пачелли.

— А что я, твою мать, такого сказал?

[1] Лурд — город на юге Франции, известен святым источником, местом паломничества католиков.

Лайнем отошла в сторону. В воцарившейся тишине она, повернувшись спиной к столу, стала читать надписи на календаре.

— Это уж слишком,— сказал Паскаль,— нельзя говорить такое женщине.

— Да ей наплевать, что мы тут с тобой говорим, пойми ты!

— А ты откуда знаешь? — вырвалось вдруг у Ленарда.

— Знаю,— отрезал Галлахер.

По-прежнему стоя к ним спиной, Лайнем обронила:

— Пусть е... все, что хочет, если это придает ему уверенности в себе.

— Тебя — не буду,— процедил Галлахер.— Я к падали равнодушен.

Братьям Макалир было явно не по себе.

— Джек, прошу тебя,— очень тихо проговорил Ленард.

Лайнем оглянулась. Ленард был белый как бумага. Веко над его невидящим глазом подергивалось. Она смотрела на зеленый линолеум и чувствовала, как выбрасывается в кровь адреналин. Как всегда, когда она нервничала, на губах у нее застыла улыбка. Многоголосое тиканье часов разрывало тишину. Не открывая рта, Галлахер пробурчал:

— Проклятые бабы. Вечно все испоганят.

Ленард сознавал, что в основном виноват он. В своей загадочной шифровке Берк рекомендовал ему следить за Лайнем. С рекой получилось неудачно. Любой из братьев Макалир вел бы себя более осмотрительно, да и Галлахер, знай он, кто она такая, был бы осторожнее. С точки зрения Галлахера, «телки» предназначались лишь для того, чтобы «трахать» их в канавах или машинах. Он щеголял своей удалью любовника и убийцы, обожал рассказывать, как стонут в его объятиях девицы, как дергаются, спотыкаются и падают его жертвы: дата, улица, город — все это тщательно им фиксировалось и отправлялось в Дублин — для Истории. Эпилептик, он бредил успехом, размахивая черным флагом насилия и смерти. В наступившей тишине Ленард оглядел собравшихся, медленно переводя взгляд с одного на другого. Лицо Галлахера застыло, по лицам же братьев видно было, что им очень не по себе. Лайнем стояла опустив голову. Она улыбалась?

— И кончим на этом,— повысив голос, сказал Ленард.

— Будет тебе, Мартин.— Галлахер показал пальцем на Лайнем.— Мы о ней наслышаны. Не зря Берк называет ее «Белла Донна», она и впрямь ядовита; не исключено, что состоит в спецслужбах, в Дублине или в Лондоне, а может, и там, и там... Ты собираешься рассчитаться с этим юнионистом, а она над тобой смеется... над всеми нами смеется... посмотри на нее — она же нас всерьез не воспринимает.

Все посмотрели на Лайнем. Она подняла голову и окинула собравшихся загадочным, не поддающимся расшифровке взглядом. Ленард выжидательно молчал. Он уже собирался что-то сказать, но тут сверху раздался звон колокольчика.

— Мамаша Лурд на проводе,— хмыкнул Галлахер.

Оба брата одновременно бросились к лестнице. Ленард посмотрел на часы:

— Даю вам пять минут, мальчики, прощайтесь...— И, обращаясь к Галлахеру, добавил: — Выясните отношения — и хватит!

— Thios ansin ag an abhainn thug tu cailleach orm sul a rachaimid ait ar bit anois gabhfaidh tu mo leath sgeala [1].

Лайнем была поражена. На ее впалых щеках проступил слабый румянец.

— Я разозлилась не на тебя, а на него,— сказала она, кивая в сторону Ленарда.

— Mea culpa [2], это я дал маху,— признался тот.

— Надо за это выпить,— сказал Галлахер и направился к стоявшему у плиты буфету. Он достал бутылку «Пауэрс голд лейбл», разлил виски по бокалам, затем долил в каждый воды из кувшина, передал бокалы Ленарду и Лайнем, поднял свой и провозгласил:

— За свободную Ирландию.

— Знать бы еще, что это такое,— пробормотала Лайнем.

Галлахер опустил свой бокал.

— Это когда весь остров — наш, вот что это такое, детка.— Он замолчал, пристально посмотрел ей в глаза и сказал: — И чтобы никаких сделок, никаких компромиссов, чтобы господа католики, сидя верхом, не учили нас думать; чтобы

[1] Там, у реки, ты назвала меня мерзавцем... прежде чем ехать, ты передо мной извинишься *(ирл.)*.

[2] Моя вина *(лат.)*.

какой-нибудь Мерфи в парике, из страха за свою шкуру, не упекал нас за решетку; чтобы мордовороты в мундирах не избивали нас, как каких-нибудь негритосов: чтобы не было у нас попиков, что только и думают о своем кармане и скулят «насилие, насилие»; чтоб не было хлыщей и паразитов, скупивших полстраны. Вот что такое «свободная Ирландия», Лайнем.— Он покачал бокалом. — И смерть всем предателям... Ты выпьешь за это?..

— За это — выпью.

— Ты веришь в это?

— Я выпью за это.

Ее потряс не столько даже сам по себе монолог, сколько страстность, с какой Галлахер его произнес: рот перекошен, глаза налились кровью, слова словно бы выплевывает, весь трясется от злобы... Выходит, она недооценила его тогда, у реки, посчитав хвастливым идиотом. Нет, про него не скажешь «хвастливый идиот». Способен ли Ленард или любой другой на его месте с таким справиться? Холодное виски, обжигая внутренности, теплой волной разливалось по пустому желудку, снимало напряжение. «Через пять минут,— подумала она,— я буду пьяна, а к понедельнику меня, быть может, уже не будет в живых».

— И за успех операции,— добавил Галлахер.

— За социалистическое будущее,— тихо сказал Ленард, подымая бокал.

— У нас есть будущее? — усомнилась Лайнем.

— Ты, я смотрю, к каждому слову цепляешься,— сказал Галлахер.

— Да, ведь и за это мы тоже сражаемся,— поспешил сказать Ленард, боясь, что между ними опять вспыхнет ссора.

Они выпили, и Галлахер взглянул на Лайнем:

— А о чем мечтаешь ты?

Лайнем ответила не сразу.

— О жизни и смерти,— с загадочной улыбкой сказала она.

Возникла неловкая пауза.

— Чьей смерти? — спросил Галлахер.

— И о покое,— добавила она.

— Это уже лучше,— сказал Ленард и вдруг осознал: она не хуже его понимает, на что они идут... Как ему стало известно, Инверской операции были целиком посвящены два заседания Военного совета. Первый раз проголосовали против, второй — за. В Дублине инструктаж затянулся на целых три дня и две бессонные ночи. Уже тогда Берк дал ему понять, что, возможно, пришлет подмогу, но что это будет Лайнем, не сказал. С тех пор Ленард ни о чем другом думать не мог, он пытался заранее оправдаться, отмести страх и сомнение. Богатство и положение Армстронгов на Британских островах и в Европе зиждилось на насилии и обмане, их веками поддерживали Церковь и Закон. Все это Ленард не уставал повторять себе снова и снова. Раз Лондон отказывается вступить в переговоры, значит, им и впредь придется убивать и гибнуть самим. Громкие обвинения, которые на них обрушатся, ничего не значат: они воспримут их спокойно. Сам он два года назад застрелил одного солдата под Страбаном, а на подложенной им бомбе подорвались мать с ребенком. Да, видеть фотографии в газетах, читать отчеты было нелегко; иногда во сне он слышал стоны и просыпался в поту. В отличие от Галлахера он никогда не видел, не хотел видеть лицо жертвы. Теперь же он проведет со своими жертвами в одной комнате, лицом к лицу, восемнадцать часов. А то и больше.

Когда братья Макалир спустились вниз, Ленард спросил:

— Пора?

Паскаль и Пачелли посмотрели на свои наручные часы, глянули с улыбкой на часы, развешанные по стенам, и хором произнесли:

— Восемь двадцать пять.

— Пора.

Паскаль и Пачелли подошли к Ленарду и торжественно пожали ему руку. Потом повернулись к Лайнем. Она уже собиралась было протянуть им руку сама, но тут Паскаль поцеловал ее в одну щеку, Пачелли — в другую. У обоих были совершенно одинаковые, довольные, хитрые улыбки, не вязавшиеся с суровым, простодушным взглядом. Они направились к выходу, Галлахер проводил их глазами, пошел следом и, уже в дверях, бросил:

— Slán [1].

[1] *Здесь:* удачи *(ирл.)*.

— Slán,— в один голос ответили Ленард и Лайнем.
— А они убивали? — спросила она.
— Да.
— Оба?
— Да.
— А ты?
— Да.
— Все, кроме меня.
— Возможно, предстоит и тебе.
— Знаю.
— У тебя есть оружие?
— Нет.

Ленард поставил бокал на стол. Тут только она заметила, что он едва пригубил его. Он подошел к встроенному буфету, откуда Галлахер взял бутылку виски, вынул две полки, отодвинул неприбитую доску сзади и, сунув руку в углубление в стене, достал маленький пистолет.

Когда он стал объяснять Лайнем, как им пользоваться, голос у него сделался какой-то отрешенный. Она видела, как его шероховатый большой палец отводит собачку, а указательный ложится на курок; слышала, как он говорит:

— Все предельно просто: это предохранитель, нажимаешь мягко, здесь отпускаешь, не промахнешься; когда стреляешь, поддерживай левой рукой запястье правой, вот так.

От капли выпитого ру́ки Ленарда приобрели, казалось, еще бо́льшую, какую-то фаллическую гладкость. Он расстегнул ее сумку и вложил туда пистолет. Даже если б он расстегнул ширинку, сдернул использованный презерватив и бросил ей в сумку, это бы не потрясло ее так сильно.

— Понятно?
— Более чем.

Открыв входную дверь, он крикнул:

— Вернемся в понедельник, поздно вечером, миссис Макалир.

Замогильный голос сверху послал им свое благословение.

Первой отъехала «кортина»: Паскаль за рулем, Галлахер — рядом, Пачелли сзади. Через десять минут быстрой езды по проселочной дороге они увидели впереди, в сгущающихся сумерках, указатель: «Рекомендуется объезд».

Сидящий на заднем сиденье Пачелли ухмыльнулся и поднял большой палец. Ленард, который ехал за ними, кивнул и тоже поднял большой палец в ответ.

— Это она,— сказал он.

Лайнем не ответила. Проехали еще милю, и она сказала:

— Мы мертвы.
— Каждый раз я думаю о том же и до сих пор жив.
— Сегодня — другое дело.
— Более трудное... было б легким, не стоило бы за него браться.
— А что, если нас остановят полиция или солдаты?
— Не остановят.
— А вдруг?
— За этой дорогой следят. За этой и за всеми проселочными.
— Кто?
— Наши люди.

«Кортина» притормозила и свернула налево, на лесную дорогу. Ленард тоже опустил ногу на тормоз и сказал:

— Нескладно получилось... с рекой, извини.

Лайнем ничего не ответила и после паузы спросила:

— Откуда он знает французский?
— Сражался в Бретани. «Борец за свободу бретонцев».
— Он будет тебя слушаться?
— Джек? Думаю, да.
— Думаешь?
— Уверен.
— Он параноик, шизофреник.
— Эпилептик.

— Я это сразу почувствовала: нездоровый цвет лица, несвязная речь.
— Если дойдет до убийства, он слов на ветер бросать не будет.
— И никого не пожалеет?
— Нет, он жесток и беспощаден. Фанатик.
— Что тебе сказал обо мне Берк?
— Если б он сказал что-то серьезное, тебя бы здесь не было.
— Что он сказал?
Ленард ответил не сразу:
— «Всякий, кто в состоянии за один год разрушить два брака и трижды организовать утечку информации, должен работать либо в рекламном агентстве, либо в борделе».
— Он лжет... гадина.
— Это можно сказать о каждом из нас — если верить прессе, церкви и политикам.
В нескольких фразах Ленард обрисовал Лайнем, что ей придется делать. Уточнил, все ли ясно. Она ответила — да, все. Они ехали погруженной в сумерки лесной дорогой, вдали от небольших холмистых полей с оврагами, где росли терн и склонившийся к земле ясень. Оставили позади сторожку привратника, окруженную растворяющимися во мраке еловыми ветками. Еще через сто ярдов перед ними на просеке вырос обелиск с выбитыми у основания буквами.
— Павшие в двух мировых войнах,— сказал Ленард, кивнув в сторону обелиска.
— Это и есть Инвер?
Ленард утвердительно кивнул. «Кортина» остановилась в сотне ярдов от памятника, в том месте, где высокая стена вокруг поместья была повалена упавшим деревом. Галлахер и Паскаль проскользнули внутрь. Пачелли достал из багажника холщовый мешок и последовал за ними. Ленард поставил «фольксваген» за «кортиной» и заглушил двигатель. Когда Лайнем, перешагнув через груду булыжника, тоже проникла в проем в стене, она увидела внизу узкую полоску озера и луга, а за озером, в окружении деревьев и кустарника,— очертания высокого тюдоровского особняка.

Миллисент поставила поднос на стол в буфетной, включила кофеварку и стала смотреть, как отец переливает портвейн из бутылки в графин.
— Я поговорил с ней.
— Когда?
— Перед обедом.
Полковник заткнул пустую бутылку пробкой.
— У нее блузка застегнута не на ту сторону и сзади выбилась из юбки,— сказала Миллисент.— Весь обед просидела молча, выпучив глаза, как привидение.
— Уж лучше пусть молчит, чем говорит.
— Ты меня прости, отец, но в понедельник я уеду, если она не... Сегодня, на выставке, я еще могу понять... Но где она берет в другие дни?
— Прислуга ей не отказывает.
— Почему она так несчастна?
— А почему после осени наступает зима?
— Она упала, когда Алекс пошел...
— Да, слышал.
— Нелепый человек.
— Зато добрый, много читает, это их роднит.
— Тебя их отношения беспокоят?
Полковник подошел к тяжелой, обшитой деревом самозакрывающейся двери, которая вела в гостиную. Сказать «да» было бы не очень честно, «нет» — будет означать, что он не любит свою жену, ее мать, не дорожит ею, тогда как в действительности он смотрел на эту интрижку сквозь пальцы исключительно из чувства вины. Он посмотрел на графин и сказал:
— И да, и нет.
— Это не ответ.
— Иначе я тебе ответить не могу.
Поскольку их было всего шестеро, обедали у камина за раздвинутым охот-

ничьим столиком, на котором оставались теперь лишь две пепельницы, стаканы для портвейна и несколько хрустальных бокалов. Харриет сидела во главе стола напротив высокого эркера, выходившего на озеро. Весь обед она просидела молча, глядя на темно-красное солнце, которое опускалось за лесом в Инверс и Шенноке, оставляя на неподвижном озере кровавый след. Сейчас кровавый след сгустился, почернел, а озеро, поле и лес погрузились во тьму.

За обедом Колдуэлл не закрывал рта. Харриет закурила очередную сигарету, не сводя глаз с его двигающихся губ; у нее вызывали ненависть эти умные голубые глаза, одетые в стальную оправу, тошнотворная манера цедить слова, элегантный, свободного покроя бежевый пиджак и кремовая шелковая рубашка, которая почти сливалась с его по-женски нежной кожей. Алекс послушно — как видно, по инерции — кивал головой. В отличие от него каноник Пламм слушал внимательно. Неожиданно лицо каноника расплылось, и он издал короткий, сдержанный смешок. Колдуэлл улыбнулся и длинным указательным пальцем левой руки коснулся своего тонкого, правильной формы носа. Харриет заметила идеально ухоженные ногти. Какой-то каламбур? Она пропустила его мимо ушей. В наступившей тишине она, очень почему-то громким голосом, произнесла:

— А я вот, по глупости, вашей шутки не оценила.

Полковник сидел на другом конце стола. Он поставил графин перед собой и спокойным, взвешенным голосом сказал:

— Должно быть, ты отвлеклась, любовь моя.

— Шутка того не стоит,— сказал Колдуэлл.

— Но ведь каноник Пламм засмеялся,— настаивала на своем Харриет.— Значит, было что-то забавное.

Воцарилось долгое молчание. Харриет обвела глазами сидевших за столом, а затем начала:

— Уютно устроившись у камина, Уильям Вордсворт сказал Чарльзу Лэму: «Я мог бы сочинять пьесы ничуть не хуже Шекспира, если б имел к этому склонность», на что Лэм заметил: «Вот склонности-то вам, Вилли, и не хватает».

Алекс Бойд-Крофорд улыбнулся — эту историю он уже слышал. Больше никто не отреагировал. Харриет продолжала:

— Между прочим, Оскар Уайльд этому ответу завидовал. Вы знали об этом, профессор?

— Нет, не знал.

— Этот Лэм был не от мира сего, боготворил свою сестру, писал прелестные эссе...

Харриет заметила, как муж с такой силой стиснул кулаки, что побелели костяшки пальцев. Уж не собирается ли он ударить по столу?! Она опустила глаза и услышала голос Колдуэлла:

— Не столько забавно, сколько жутковато, мне кажется.

— Что-что? — переспросила Харриет.

— Профессор Колдуэлл,— пояснил каноник Пламм,— рассказывал нам о надгробных надписях восемнадцатого века в Виргинии.

— В какой еще Виргинии?

— В Соединенных Штатах.

— О надгробных надписях?

— Да.

— Они смешные, профессор?

— Странные,— сказал Колдуэлл.

— Здесь, на нашем кладбище...— начал было каноник Пламм, но Харриет его перебила:

— Страшная тема, ужас...

Она попыталась подыскать какое-нибудь цветистое слово, нашла его и с чувством произнесла:

— Макабр... страх Божий... если вдуматься... жуть какая... мороз по коже...— Она помолчала.— Впрочем, в жизни бывает немало несообразного, ведь люди сплошь и рядом совершают самые странные, леденящие душу, до ужаса нелепые поступки... друзья, соседи, нации... когда я думаю о том, что́ мы вытворяем друг с другом... какими невероятными событиями полна наша жизнь, наша история, я... хохочу до упаду.

Харриет опустила голову. Она дрожала, она забыла, о чем только что говорила и почему, и сознавала лишь, что Милли поставила поднос с кофейными чашками и кофеваркой на стол и сейчас сядет.

— О чем я говорила, Алекс?

— Что-то о жизни, дорогая.

— Ах да, в связи с какой-то загробной шуткой доктора Колдуэлла:.. Я не поняла, в чем ее суть. Что ж, виновата, стыдно не реагировать на такие изыски цивилизованной некрофилии.

— Харриет,— сухо сказал полковник.

— Да, любовь моя?

— Ты не могла бы разлить кофе?

— Я налью,— сказала Миллисент и стала разливать кофе, а сидевшие за столом следили за ее движениями и отвечали «да» или «нет», когда она спрашивала: «Сахар?», «Сливки?»

— Бывает,— глубокомысленно сказал Алекс,— что мы сами копаем себе могилу.

— Что верно, то верно,— отозвался полковник, глядя на жену. «За этими глазами,— подумала она,— скрывается, точно за запертой в его кабинет дверью, чуждый мне ум. Обаяние рассчитано на других, этот вежливый наклон головы, как будто он готов слушать их вечно». Уже давно он реагировал на ее слова, только когда она кричала. Что же тогда она в нем нашла — или думала, что нашла? Солдатскую выправку, изысканное воспитание, связи, уют тюдоровского особняка. Про этот дом он знал решительно все — кто его приобрел, где, когда, почему, на какую сумму он был застрахован. Да, в страховке он разбирался превосходно. «А от разбитого сердца страхуют, Нобби?» В тот вечер он снисходительно улыбнулся, словно она задала глупый вопрос,— точно так же он улыбался, когда беседовал с ее талантливым, непредсказуемым отцом, на чьи деньги было закуплено все необходимое для молочной фермы, громадные стойла для коров и вопящих бычков. В ту самую ночь, когда уже начинало светать, она разбила три старинные тарелки о запертую дверь его кабинета. На этот ее поступок он никак не отреагировал — ни тогда, ни потом. Броня бесконечной вежливости, а под ней что-то бесчувственное, бесчеловечное.

— Это бесчеловечно,— вслух произнесла она.

Никто не обратил внимания на ее слова. Теперь разговор зашел о безработице, о Европейском экономическом сообществе и сельском хозяйстве. Сельское хозяйство. Вот чем он больше всего интересовался после войны. А также, в свободное время,— военной историей, историей Северной Ирландии: «Армстронги в Ольстере: захватчики, которые внесли свой вклад».

В Арма, в комнате для приемов местного отеля, его статья получила высокую оценку Клогеровского исторического общества, куда входили как католики, так и протестанты, в основном учителя и представители духовенства. Она эту работу прочла раньше и нашла ее скучной и тенденциозной. Когда же он читал ее, стоя, задушевным, ровным голосом, статья казалась высоконравственной, выношенной, либеральной. «Всем он почему-то нравится,— думала она,— может, я ревную...» Да. Вся эта переписка с Денисом Броганом ужасно ее раздражала, пока они не встретились в Кембридже: профессор, шотландец ирландского происхождения, лиловое лицо пьяницы, воздушные седые волосы и такой глубокий и всесторонний ум, что язык не поспевал за мыслью; существо, более расположенное к поэзии и философии, чем к грубым фактам и фарсу войны. По сравнению с ним Колдуэлл был интеллектуальным евнухом, красивым, безукоризненным американским евнухом. Тут только она заметила, что все смотрят на Алекса. Глядя на его крепко сжатый рот, она попыталась представить, о чем он говорил. Алекс помолчал, пожал плечами и продолжал:

— Мы никогда не брали на работу католиков — семейная традиция: все они обманывают, врут и воруют; они нечистоплотны, легкомысленны, суеверны, глупы; когда слышишь все это с самого детства, то хочешь не хочешь, а в голове застревает.

— Это же факт, сэр,— подхватил каноник Пламм,— что коэффициент умственного развития у них ниже, чем у негров. Кажется, это доказал американский профессор, я не ошибаюсь, доктор Колдуэлл?

Колдуэлл подумал с минуту, а затем сказал:

— По-моему, каноник, это исследование противоречиво.

— Не более противоречиво, чем сами ирландцы. За шестьдесят лет они ухитрились разрушить Дублин, выкрасить почтовые ящики в зеленый цвет и произвести на свет больше сумасшедших и алкоголиков на одну квадратную милю, чем любая другая страна на свете. И это доказанный факт.

Харриет допила вино и вытерла рот салфеткой.

— Милли, это ты говорила, что нигде в Великобритании жилищная проблема не стоит так остро, как в нашей благословенной Северной Ирландии?

— Так оно и есть.

— Что ж вы хотите — католики! — воскликнул каноник.— Дотациями они не пользуются, они безынициативны и живут с оглядкой на Рим.

— На Рим?! — удивилась Харриет.

Каноник слабо улыбнулся и, терпеливо покачав головой, пробормотал:

— Ну да, на Италию, Испанию, Португалию, Латинскую Америку.

Он развел руками и сжал губы. Мишень была так необъятна, что он не знал даже, куда целиться. Наконец он нанес удар:

— Возьмите, к примеру, Планкетта, которого казнили за государственную измену [1]. В этом году они собираются его канонизировать.

Он помолчал, оглядев присутствующих.

— Здесь их епископы проповедуют отказ от насилия, а римский папа солидаризируется с террористами ИРА.

Он помолчал опять.

— И это не просто зловредность; это — политическое преступление.

Неловкую паузу прервала Харриет:

— Мы ведь сожгли Жанну д'Арк, каноник... а они ее канонизировали.

— При чем тут Жанна д'Арк?

— Ни при чем? Что ж, я ничего не смыслю в политике. Не то что Нобби или, тем более профессор Колдуэлл. Какое у вас сложилось впечатление, профессор,— со стороны? Как вам кажется, нас случаем, не пристрелят ночью в постелях, не утопят в море?

— Вы ждете от меня ответа?

— Я же задала вам вопрос.

— Маловероятно... неправдоподобно.

— А что же правдоподобно?

Понимая, что Харриет не устроит никакой ответ, Стюарт Колдуэлл несколько секунд молча помешивал кофе ложечкой.

— Полагаю,— сказал наконец он,— что со временем англичане уйдут, а Север и Юг каким-то образом объединятся. Обойдется без гражданской войны или нет... сейчас сказать трудно.

— Глубокомысленное заявление, ничего не скажешь,— едва слышно проговорила Харриет.

— У тебя есть готовый рецепт, дорогая? — ледяным голосом спросил полковник.

— Нет, но у меня сложилось впечатление, что каноник изрекает истины в духе Пейсли [2], разве что без громкоговорителя. Кроме того, я не верю американскому профессору, специалисту по коэффициенту умственного развития, да и вообще всей этой величайшей в мире цивилизации.

— Мама.

— У тебя университетский диплом, дорогая. И чему только тебя учили в Тринити [3]? Молчать, когда в твоем присутствии несут вздор?

Харриет посмотрела через стол на мужа. Длинное бесцветное лицо, хищный нос, седой бобрик, подстриженные усы, тяжелая челюсть и налитые кровью глаза, в которых сквозит высокомерие столетий. Она отвернулась к окну и стала смотреть на озеро.

---

[1] Джозеф Мэри Планкетт (1887—1916) — один из инициаторов и руководителей Ирландского восстания 1916 года; казнен английскими властями.

[2] Иэн Пейсли (род. в 1926 г.) — лидер Демократической юнионистской партии (правая протестантская партия) Северной Ирландии.

[3] Тринити-колледж, колледж Святой Троицы — протестантский университет в Дублине.

Полковник смерил взглядом жену — та отвела глаза. Накануне вечером она заснула за столом. Он отпустил прислугу и помог Милли накрыть стол на восемь человек. Однако сегодня она ведет себя еще хуже. Разумеется, Джон Пламм — фанатик и зануда, но по-своему он человек добропорядочный, к тому же старинный приятель. Что же касается Стюарта, то он слишком умен, чтобы реагировать на пьяное хамство. А завтра, когда Харриет вспомнит, что говорила накануне, она будет страдать. В такие минуты она вызывала у него одновременно раздражение и жалость.

Внезапно Харриет вскочила и, осторожно ступая, двинулась к двери, ведущей в буфетную. Последовала длинная пауза.

— Отличный кофе... отличный,— прервал тягостное молчание Алекс.

— Превосходный,— подхватил Колдуэлл.

Полковник встал и, обращаясь к канонику Пламму и Колдуэллу, сказал:

— Простите.

Каноник покачал головой и что-то пробубнил себе под нос. Колдуэлл улыбнулся и сделал неопределенный жест рукой. Полковник направился вслед за Харриет. Она стояла у раковины с большим стаканом виски в руке и смотрела в окно, в августовскую ночь. Полковник тихо подошел к ней сзади, взял за запястье, вынул стакан у нее из руки и направился к столу. С еле сдерживаемой яростью, не веря своим глазам, она наблюдала, как муж выливает виски обратно в только что откупоренную бутылку.

— Очень глупо с твоей стороны,— услышала она собственный, срывающийся от гнева голос.

— Я тебя предупреждал, любовь моя... ты себя убиваешь.

— Уже убила. Я — мертва.

— Скажи лучше, мертвецки пьяна, дорогая. Упадешь и проломишь себе череп.

— Об этом можно было бы только мечтать.

Полковник посмотрел на этикетку:

— Ирландское виски дешевле шотландского, и от него быстрей пьянеешь. Если выпьешь еще...

— Говорю же, об этом можно было бы только мечтать. И ты меня этими разговорами не проймешь!

Полковник с безразличием наблюдал за ней — искушенный политик, который терпеливо ждет, когда успокоится его агрессивный, нарывающийся на скандал оппонент. Переводя взгляд с разделочного столика на затуманенные алкоголем карие глаза жены, он с растущим раздражением процедил:

— Если ты напьешься до бесчувствия, будешь оскорблять гостей, истерически хохотать без всякой причины или лепетать невразумительные стишки, я вынужден буду обратиться за помощью.

Намекал он и раньше — теперь сказал напрямую. Она почувствовала, как к горлу подступает бешенство.

— За какой еще помощью?

— Квалифицированной.

Харриет повернулась к нему спиной и сказала, глядя в окно:

— Давай так, Нобби: ты окажешь медицинскую помощь мне, а я, не менее квалифицированную,— тебе.

Полковник ответил далеко не сразу:

— Можно узнать, на что ты намекаешь, любовь моя?

— Я вижу его насквозь.

— Кого?

— Колдуэлла.

— Тебе он не нравится?

— Меня от него воротит, я не могу его переносить.

— Так бы и говорила.

Полковник вернулся в гостиную, а Харриет, прислонившись к раковине, вцепилась в нее обеими руками. Стол напротив сразу же превратился в плот, покачивающийся на волнах. Прежде чем закрыть глаза, она заметила,— или это только ей показалось? — что дверь из буфетной в кухню тихонько приоткрылась. Она вновь открыла глаза и увидела молодого человека с огненно-рыжими волосами и белым, как у мертвеца, лицом. Он целился в нее из пистолета. Взмахом руки отогнал от

раковины. Не столько испугавшись, сколько удивившись, она отошла, как ей было велено, к столу, а про себя подумала: «Мне это снится». Молодой человек запер дверь, пересек буфетную, запер еще одну дверь, ведущую в холл, подошел к раковине, закрыл ставни, потом задернул занавески и указал Харриет на дверь в гостиную. Когда же она открыла эту, обитую зеленым сукном, дверь, то увидела еще одного молодого человека, высокого, с черной бородой, он стоял с пистолетом в дальнем конце комнаты, рядом с девушкой с напряженным узким лицом и грустными глазами. У девушки оружия не было.

— Вам ничего не угрожает, если вы выполните наши условия,— сказал бородатый.

Рыжий прошелся по длинной комнате, закрыл ставни в эркере, а затем плотно, чтобы не было зазоров ни по краям, ни посредине, задернул тяжелые декоративные занавески.

Семейные портреты невозмутимо взирали сверху вниз на повернутые лица сидящих за столом; на каждом лице запечатлелась разная степень непонимания и изумления. Мертвую тишину, воцарившуюся в комнате после загадочных слов Ленарда, нарушали лишь тиканье старинных каминных часов в футляре да шипенье буковых поленьев. Переводя взгляд с одного лица на другое, Лайнем вдруг испытала нечто вроде шока: «Нет, не может быть!.. Неужели?.. Тринити?.. Армстронг?.. Боже милостивый!..» Три года назад они занимались французским у одного преподавателя. Она заметила, что и дочка Армстронга к ней приглядывается.

— Это ты? — сказала она Лайнем.

— Да.

Сверху раздавались скрип ставен на ржавых петлях, скрежет железных скоб и звон шестидюймовых гвоздей, загонявшихся в двери, балочные перекрытия, оконные рамы.

Ленард включил свет.

— Сколько вас? — спросил полковник.

— Еще двое.

— Сколько вы нас продержите?

— До полудня — пока не получим того, чего требуем.

— Чего же?

— Троих заключенных из Лонг-Кэш.

— А если не получите?

— Тогда перспективы печальные... для всех нас.

Галлахер подошел и прошептал, кивнув в сторону стола:

— Милорда из Форин офиса-то и нет!..

— Ничего, нам хватит и этих.

— Плохое начало.

— Хороший знак.

Полковник внимательно следил за ними обоими и, догадавшись, о чем идет речь, сказал:

— Вы прекрасно сами знаете: то, что вы задумали, не просто неразумно, а глупо. До последней степени.

Рыжий скорчил гримасу. Бородатый, явно предводитель, выдержал пристальный взгляд полковника. Левый глаз запал в глазнице, веки тяжелые, крупный хищный нос, густая, похожая на фальшивую, борода. Теперь, высказавшись, полковник счел, что он должен действовать. Он встал и, сам не до конца понимая, что делает, шагнул навстречу Ленарду.

— Не двигаться,— внятно произнес бородатый одними губами.

Выставленный вперед, изрезанный шрамами палец левой руки имел вид более угрожающий, чем дуло пистолета. Инстинкт подсказал полковнику, что этот человек профессионал и убьет не колеблясь. Он остановился и, глядя на стоящий на столе графин с портвейном, сказал:

— Вы рассчитывали застать здесь моего зятя... он председательствует на симпозиуме в Королевском университете [1]. Странно, что вы этого не знаете,— об этом писали в газетах. Со старым солдатом, его семьей и двумя друзьями вам не сторговаться — ничего не получится. Вам придется убить нас, они убьют вас, и вы ничего не добьетесь, кроме дурной славы для себя и лишней работы

[1] Королевский университет — протестантский университет в Белфасте; основан в 1845 г.

для гробовщиков — а они, Бог свидетель, и так в Ольстере не простаивают... Проявите благоразумие... вы еще можете уйти.

— Ваша армия поставлена в известность,— сказал Ленард.— Они скоро будут здесь.

— Если не заблудятся в Белтербете,— буркнул Галлахер.

— Боже милостивый! — вырвалось у каноника Пламма.

— К вашему сведению,— сказал полковник, указывая на Колдуэлла,— этот джентльмен — американский профессор.

— Пусть хоть австралийский кенгуру,— отозвался Галлахер.

Ленард кивнул в знак согласия:

— Он, как и вы, останется здесь, пока мы не решим... в остальном ему ничего не грозит. Особняк будет заколочен, за исключением входной двери и холла, а также этой комнаты, буфетной и туалета на выходе.

— Я смотрю, вы хорошо знаете дом,— сказал полковник.

— Национальный трест [1],— сказал Ленард.— Планировка дома во всех подробностях. Всегда к вашим услугам.

Стук молотков наверху не прекращался ни на минуту.

— Нас хоронят заживо, Нобби,— сказала Харриет, глядя на мужа.

— Мама, по-моему...— сказала Милли.

— Разговаривать мы ведь можем, не так ли?

— О чем угодно,— ответил Ленард.

— В таком случае нам бы следовало друг другу представиться.

В наступившей тишине Ленард сказал:

— Наши имена значения не имеют.

— Зато наши имеют... Меня зовут Харриет Армстронг, а это мой муж Норберт, рядом с ним — Стюарт Колдуэлл, профессор военной истории... наука, которая, на мой взгляд, ничем не отличается от порнографии... Я люблю читать стихи... В основном Дилана Томаса.

— Мама, все это ни к чему,— сказала Милли.

— Отчего же,— возразил Ленард,— мне очень интересно.

— Рассказывайте,— ядовито сказала Миллисент.

— Я же сказал — очень.

— Возможно,— продолжала Харриет,— профессор знает про ИРА больше, чем любой из вас.

— Сомневаюсь,— хмыкнул Галлахер.

— А это,— сказала она, показывая рукой на Алекса,— Алекс Бойд-Крофорд, который в прошлом занимался... чем вы занимались, Алекс?

— Всем на свете,— сказал Алекс.

— Сейчас он не у дел, но добродушен, обходителен... и теплота... человеческая теплота... редкая в этом ледяном мире... а рядом со мной этот дородный господин — наш дорогой каноник Пламм, пастор инверской церкви... специалист по пчеловодству...— Она помолчала и, улыбнувшись, добавила: — А также по интригам Ватикана... А это моя дочь Миллисент, двадцать четыре года... замужем...

— Харриет, немедленно прекрати,— хриплым резким голосом скомандовал полковник.

Харриет пожала плечами, взяла со стола пустую пачку сигарет, заглянула внутрь, повернулась к Галлахеру и спросила:

— У вас сигареты не найдется?

Галлахер молча вынул свободной рукой из кармана пачку сигарет и бросил ее на стол.

— Спасибо.

Пока Харриет закуривала, Галлахер окинул сидящих за столом внимательным взглядом, после чего отошел и начал ходить взад-вперед по комнате, время от времени замедляя шаг, перед семейными портретами, потом — перед огромным зеркалом в золоченой раме, которое висело над камином и в котором отражались лица заложников. В эти мгновения заложники переглядывались с таким видом, словно находились в самолете или на корабле и только что узнали о серьезных неполадках в двигателе. Бородатый, явно главный среди террористов, как ни в чем не бывало тихо беседовал с девушкой. Рыжий же пребывал в напряжении —

[1] Организация по охране исторических памятников; основана в 1895 г.

от него в основном и исходила опасность. Время от времени его рука с зажатым в ней пистолетом непроизвольно подергивалась, точно хвост сидящего в клетке тигра.

Лайнем смотрела на Галлахера и не могла отделаться от леденящей душу мысли: расслабится этот тип, только когда прольет кровь. Он хотел убивать или быть убитым, и она подумала: а не руководствуются ли тем же, пусть и не столь явным, желанием и она сама, и Ленард, и братья Макалир? Тут она увидела, что полковник облокотился на стул американца и что-то говорит своей дочери.

— Я могу принести виски? — спросила Миллисент.

— Откуда?

— Из буфетной.

Ленард кивнул и вполголоса сказал Лайнем:

— Ступай с ней.

Миллисент поднялась. Лайнем последовала за ней в обшитую деревянными панелями буфетную и остановилась возле резного шкафчика, заставленного споудовским и веджвудским фарфором, восточными безделушками и набором оловянных кружек и тарелок, стоявших наверху. Миллисент нагнулась и, чувствуя на себе пристальный взгляд Лайнем, достала из буфета две бутылки виски «Бушмиллз».

— Когда я услышала твой голос,— сказала она, выпрямившись и повернувшись к Лайнем лицом,— то сразу поняла... Изабел Лайнем?

— Она самая.

— Как же, помню, отчаянная спорщица... С удовольствием слушала тебя тогда, послушаю и теперь.

— Сейчас не до споров — мы не в колледже. Не знала, что ты здесь живешь... к сожалению.

— Ты — член Временной ИРА [1]?

— Естественно.

Миллисент поставила бутылки на изрезанный разделочный столик и сказала, понизив голос:

— Эти два жутких типа... лица у них, как... Они способны на все... не то что ты...

— Один из них, к твоему сведению, закончил школу с отличием. Что же касается их лиц, то они ничем не хуже висящих по стенам разукрашенных пугал.

— И ты преспокойно убьешь меня, моих родителей, друзей, священнослужителя?

Лайнем не ответила.

— Вам ничего не стоит калечить, уродовать, ослеплять ни в чем не повинных людей... за что?!

— Ваша страна никогда не была колонией — вам этого не понять.

— Объясни — я пойму.

В ее независимой манере держаться, в заносчивом голосе было что-то снисходительное. У нее были длинные льняные волосы, безупречная кожа и пытливый взгляд карих глаз — выразительный, как у матери, только не такой затравленный. Лайнем ощутила противодействие враждебно настроенной, хладнокровной, владеющей собой девицы с устоявшимися взглядами на жизнь.

— Я ничего тебе объяснять не обязана,— отрезала Лайнем.

— Скажи лучше — не можешь... В студенческие годы ты шлялась по кабакам, спала с кем попало, ожесточилась... теперь университет позади... работать не хочется, и что дальше?.. Сомнительные политические игры с фанатиками убийцами... вкус крови на губах... постоянный страх смерти... позор!

Лайнем не отреагировала и, выдержав паузу, спросила:

— Ты замужем?

Удивившись вопросу, Миллисент бросила взгляд на свое обручальное кольцо.

— Наш первый ребенок должен родиться в январе... надеюсь, ты понимаешь...

— Козерог, значит.

— Что?!

— Козерог.

[1] Временная ИРА — крыло Ирландской республиканской армии, выступающее за объединение Ирландии путем вооруженной борьбы с применением террористических методов.

— Нет, ты не человек...

— Еще вчера Victoria Regina Magnifica [1] пожертвовала пять фунтов на голодающих ирландцев [2] и на той неделе столько же — в фонд помощи английским собакам.

— Вчера?

— Она жива по сей день... когда вы перестанете убивать нас, мы перестанем убивать вас... логика простая.

— А какое я... мы... имеем отношение к убийствам, можно узнать?

— Прямое.

— Нет, ты нездорова.

— Абсолютно здорова, и все понимаю, и насчет ребенка тоже... чем я могу помочь?

Тут дверь неожиданно распахнулась, и на пороге вырос Галлахер. Он помолчал, перевел взгляд с Лайнем на Миллисент, прошел между ними и по пути к раковине взял со стола хрустальный бокал. Миллисент вышла. Галлахер выпил один за другим три полных бокала сырой воды, после чего поднял бокал на свет.

— Уотерфордский хрусталь восемнадцатого века,— изрек он.— Гугенотская дребедень.

И он швырнул бокал в раковину. Раздался звон разбитого стекла.

— Протестантская культурная победа... «Книгу из Келлса» [3] они тоже себе присвоили... Как дела, подружка?

— Прекрасно.

Несколько секунд он молча смотрел на нее, а затем сказал:

— Ты мне нравишься, Лайнем.

— Я тебе не нравлюсь — точно так же, как и ты — мне.

Галлахер часто заморгал, облизнул верхнюю губу и спросил:

— Почему это?

— А потому, что ты хвастаешься пролитой кровью; это омерзительно.

— Ты находишь?

Галлахер внимательно посмотрел на нее, его глаза ощупали ее всю, с ног до головы:

— ...Строптивая сука... сама призывает к убийствам, а на убийц плюет... лицемерка... Ты точь-в-точь как твой отец, старый Лайнем, республиканский жулик...

Он направился к двери и перед тем, как выйти, обернулся и бросил:

— Смотри, Mise Eire nua [4], одно неосторожное движение,— он подбросил в руке пистолет,— и тебе не поздоровится... Я тебе не доверяю.

Когда Галлахер вышел, Лайнем прошептала:

— И я — тоже.

Проходя мимо стола, Галлахер увидел, что Колдуэлл наливает себе виски, и громко сказал:

— Смотрите не подавитесь, сэр.

— Постараюсь,— отозвался Колдуэлл.

Ленард задвинул стул с гнутой спинкой в эркер с закрытыми ставнями, чтобы немного побыть одному, подальше от стола — ли́ца заложников запечатлелись в его памяти с первого же раза. Со временем он запомнит каждое лицо, отчего расправа — если до нее дойдет — будет еще страшнее. Прислушиваясь к стуку молотков братьев Макалир и воображая гортанный рев «свиней» и «сарацинов» [5], которые, по его расчетам, должны быть здесь самое большее минут через пятнадцать, он испытывал нешуточное волнение.

Теперь, глядя, как Галлахер разгуливает по комнате, он пришел к выводу, что рад его видеть. В свое время он пытался доказать Берку, что Галлахер — эпилептик, человек непредсказуемый — в этой операции участвовать не должен.

---

[1] Великая королева Виктория *(лат.)*.

[2] Имеется в виду так называемый Картофельный, или Великий, голод в Ирландии в 1845—1847 гг.

[3] В «Книге из Келлса» (VIII—IX вв.) содержатся иллюстрированные тексты четырех Евангелий; Келлс — древний ирландский город в графстве Мит.

[4] Современная Кэтлин ни Хулиэн *(ирл.)*. Кэтлин ни Хулиэн — поэтическая метонимия Ирландии и название пьесы У. Б. Йейтса (1902).

[5] Виды бронетранспортеров в английской армии.

«Ты останешься им доволен»,— сказал ему тогда Берк. Галлахер подошел, наклонился к Ленарду и шепнул:

— Лайнем сказала дочке: «Чем я могу помочь?» Сам слышал.

— Они вместе учились в университете.

Галлахер, стоя рядом с Ленардом, наблюдал за сидящими за столом.

— Самодовольные, сытые... погляди на них... надо бы что-то разбить... заставить их станцевать на столе, встать к стене лицом.

— Ни к чему, Джек. Расслабься.

— Ладно.

Ни с того ни с сего Галлахер вышел из эркера и направился к книжным шкафам, подымавшимся до потолка по обеим сторонам от камина. С минуту он стоял молча, читая надписи на корешках, а затем положил пистолет на высокую каминную полку, вынул наобум одну книгу и вслух прочел: — Эрик Мур Ритчи. «Неоконченная война».

Он открыл книгу и прочел аннотацию на форзаце: — «Драма англогерманского конфликта в Африке в свете будущего Британской империи... восемь карт... Лондон, 1940 год... военные операции в Восточной Африке, в Камеруне и в Того».

Потом помолчал и добавил уже от себя — Или: кто владеет черномазыми, их углем и золотишком.

Галлахер поставил Эрика Мура Ритчи обратно, снял с полки другую книгу и опять прочел вслух: — Сэр Роберт Бейден-Пауэлл. «Забой свиней, или Охота на диких кабанов. Полный отчет для спортсменов и охотников». Лондон, 1824 год,— после чего посмотрел на полковника и спросил:

— Уж не дедушка ли это Инока [1]?

Он поставил Бейден-Пауэлла обратно на полку и сказал:

— Да, в нашей культуре ничего подобного нет... какая жалость... какой позор... как мы отстали... нам до вас далеко... мы темные, грязные, бестолковые... Да, сэр, куда нам до вас!

Галлахер взял стоящий рядом стул, подошел к столу и уселся между полковником и Бойд-Крофордом.

— Не плеснете ли мне капельку, сэр?

— Разумеется,— спокойно сказал полковник, щедро наливая Галлахеру.

— Вы покупаете ирландское виски?

— Североирландское,— уточнил каноник Пламм.

— Как же, знаем. Есть и такие, которые хвастаются, что близко не подпускают местных жителей к солоду; у нас длинный список таких фирм... А мне все равно что пить... ваше здоровье.

Галлахер выпил и поинтересовался:

— Вы американец, сэр?

— Совершенно верно.

— Колдуэлл... предки из Фермана... старый добрый род переселенцев... Никсон тоже... великие люди... это должно вселять в вас гордость... одной крови с такими знаменитостями... пишете книгу об ирландском вопросе, профессор?

— Пюка собираю материал.

— По какому времени?

— Ольстер при Елизавете Первой.

— Королева-девственница в Ольстере?

— Она сюда не приезжала.

— Это точно. Да и девственницей тоже не была, так ведь?.. зато умела собрать под свои знамена отличных живодеров... с длинными шпагами... большими пушечными ядрами... умеет до сих пор... «подходящий выдался денек для убийства»... так, кажется, говорили в Дерри десантники [2]... попрыгунчики Лиззи под номером два... «Килл» по-ирландски значит «церковь»... «куилл» [3] — это дерево... темнота и смерть... сегодня ночью самое время поучить вас ирландскому... нескольким печальным песням... у нас их сотни... но эта война невеселая... она

---

[1] Галлахер имеет в виду британского политика-консерватора Инока Пауэлла (род. в 1912 г.), который поддерживал юнионистов.

[2] Галлахер намекает на «Кровавое воскресенье» 1971 года, когда в Лондондерри английскими войсками была расстреляна мирная демонстрация.

[3] Галлахер каламбурит: kill — убивать *(англ.)*, церковь *(ирл.)*; cuill — дерево *(ирл.)*.

страшная, очень страшная, и мы постараемся, чтобы она была страшной, пока не кончится.

Галлахер осушил свой стакан и молча оглядел сидевших за столом.

— Люблю поговорить, но вам не нравится то, что я говорю... то-то вы молчите — думаете, я не вижу... Ничего, со временем обстановка улучшится... надеюсь, мы достигнем прогресса в понимании тех противоречий, что разделяют наши древние народы на протяжении уже семи веков... мы были под вами... а вы...

Галлахер мушкой своего пистолета нацарапал крест на охотничьем столе.

— Крест и меч,— воскликнул он.— Слава Европы.

После этого он положил пистолет на стол и начал вертеть его указательным пальцем.

— Так, кажется, принято в ваших вестернах,— сказал он Колдуэллу.

Пистолет замер, дулом указывая на Алекса Бойд-Крофорда.

— Начнем с ископаемого!

Галлахер притянул к себе слуховой аппарат, прикрепленный к нагрудному карману Алекса, и, используя его в качестве микрофона, громко спросил:

— Как вы считаете, сэр, надежда на мир в наше время сохраняется?

Алекс вздрогнул и рывком выдернул наушник из уха — голос Галлахера буквально оглушил его. И тут же Галлахер резким движением оторвал слуховой аппарат от пиджака Алекса и разбил его о камин.

— Глух как пень... вы все глухие... ничего, *нас* вы услышите.

— По-моему, он не шутит, Нобби,— прервала молчание Харриет.

— И не думаю,— откликнулся Галлахер.

Полковник повернулся к Ленарду и ледяным голосом спросил:

— Вы здесь главный?

Ленард не ответил. Он молча следил за сидящими за столом, пока не встретился глазами с Галлахером. Галлахер подошел к нему и наклонился над его стулом.

— Они скоро будут здесь.

— Мне не сидится.

— Тогда походи.

В это время открылась дверь в холл, и появилась черная голова Пачелли Макалира. Он криво улыбнулся и вошел в сопровождении своего брата Паскаля, с холщовым мешком в руке. Паскаль улыбнулся Ленарду:

— Ну, готово. Все забито, связано проволокой, заперто.

Пачелли оглядел великолепную комнату с наигранным благоговением.

— Классное местечко, черт возьми.

— Дворец, настоящий дворец.

— А наверху у них кровати величиной со стадион.

— На такой кровати вся семья разместиться может.

И оба уставились на портрет судьи в парике и красной мантии, с пергаментом в руке.

— Прямо как духи,— сказал Паскаль.

Пачелли усмехнулся:

— Все духи, кроме Святого!

Когда в комнату из буфетной вернулась Лайнем, Паскаль сунул руку в мешок и начал доставать оттуда противогазы. Галлахер повесил противогаз на грудь и сказал:

— Надо же! Рождество в июне. Спасибо, Дедушка Мороз, ты подарки нам принес!

Ленард указал на дверь в буфетную:

— Скорей, ребята! Там три двери. Проверьте их.

Братья Макалир вышли, за ними последовал Галлахер. Лайнем направилась к Ленарду и тут только увидела разбитый о камин слуховой аппарат.

— Кто это сделал?

— Джек... волнуется, как и мы все... немного перегнул палку.

— Дочка беременна.

Ленард не отреагировал.

— Может, отпустим ее?

Ленард кивнул.

— Сейчас?

— Нет, не сейчас... Как ты?

— Живого места не осталось. Что нас ждет теперь?

Ленард посмотрел на часы и сказал:

— Теперь нас ждет явление потусторонних сил.

— Скоро?

— Они запаздывают.

И в этот момент они услышали глухой рев «сарацинов», «джипов» и «свиней», растянувшихся в колонну примерно в миле от особняка. Ленард встал и двинулся к глубокой нише, где находилась дверь в длинный коридор. Лайнем последовала за ним; по мере того как рев боевой техники нарастал, сердце ее билось все сильнее. Галлахер же вернулся обратно в комнату и, сев на тот стул, где до этого сидел Ленард, направил дуло пистолета на сидящих за столом.

— Приближается армия Империи — я уже слышу запах желудочных газов и горького пива!

А еще через пять минут в конце длинной аллеи появились бронетранспортеры; шурша по гравию, они подкатили к главному входу и, завизжав тормозами, остановились. Наступила тишина, затем загремели стальные засовы, послышались голоса, неразборчивые команды — и на стеклянной панели высокой входной двери заплясал свет прожектора. У Лайнем зуб на зуб не попадал, ноги сделались ватными.

— Мартин,— прошептала она.

— Что?

Она впервые назвала его по имени.

— Я не могу.

— Не можешь что?

Она стояла рядом, на лицо ее падала глубокая тень.

— Убивать.

— А выйти к ним можешь?

— Пожалуй.

Ленард кивнул и сказал:

— Давай.

Стряхнув с себя оцепенение, Лайнем вышла из тени на свет прожектора. Отперла входную дверь, сняла засов и вышла наружу. Спускаясь по широким гранитным ступенькам, она видела краем глаза, как за «сарацинами» и «джипами» прячутся тени, как скользит по ее ногам прожектор. Остановившись перед разбитой ступенькой и прикрыв рукой глаза от ослепительного света, она что есть силы крикнула в темноту:

— Я хочу говорить с командиром.

— Сюда,— раздался справа голос выпускника Сандхерста [1].

— Я здесь,— отозвалась Лайнем.

После минутной тишины послышался хруст шагов по гравию, а затем стук кожаных сапог по камню. Он стоял перед ней, загораживая свет: хаки, пуловер, широкий кожаный пояс, черный берет. Глядя прямо ему в грудь, Лайнем сказала:

— Вам известно, кто мы?

— Догадываемся.

— И кто заложники — тоже?

— В штабе сообщили подробности.

— Мы хотим, чтобы сюда до полудня доставили Дэниэла Куинна, Питера Макинтайра и Джона Фэнина... а также вертолет.

Он вынул записную книжку и начал писать. «Вы что, три имени запомнить не можете?» — подмывало ее спросить. Но она промолчала. Записав имена, он спросил:

— Кто такие?

— Профессиональные убийцы — как и вы.

Хотя лицо офицера находилась в тени, она заметила, что уголки губ у него опустились.

— Если нет?

— Не догадываетесь?

[1] Сандхерст — военное училище сухопутных войск (находится близ деревни Сандхерст, графство Беркшир; основано в 1946 г.).

— Говорите.

— Ровно в полдень мы казним первого, а затем — по одному каждые шесть часов.

Офицер повторил имена, Лайнем кивнула и сказала:

— Любая попытка штурма — и все будет кончено.

Не сказав ни слова, офицер растворился в темноте. Когда Лайнем, повернувшись, стала подыматься по лестнице, прожектор погас. «Ну вот»,— подумала она; ей живо представилось, как человек пятнадцать солдат, опередив ее, врываются в дом, точно заправские регбисты. Однако ничего этого не произошло. Лайнем поднялась по лестнице, вошла, закрыла дверь, повернула в замке ключ, задвинула засов и в ту же секунду услышала голос Ленарда:

— Ну что?

— Он записал имена.

— Тоже мне Роммель [1]! Дальше?

— Все. Выслушал меня и исчез.

— Страшно было?

— Как на сцене.

— Молодец.

Лайнем воспрянула духом. Выполненное задание взбодрило ее, настроило на оптимистический лад. «Интересно,— подумала она,— почему стрелять я боюсь, а стоять под дулом — нет?»

— Что теперь?

— Смотреть в оба и ждать.

— Ты помнишь, что я сказала тебе перед тем, как вышла из дома?

— До этого не дойдет.

Они вернулись в гостиную.

Алекс Бойд-Крофорд вышел из-за стола и теперь стоял в стороне с испуганным, потерянным видом. Харриет подошла к нему. Он напряженно следил за ее губами.

— Дорогой Алекс... иди, сядь.

— Не стоит.

— Ты испугался?

— Вероятно, они решили, что у меня подозрительный вид... Ты тоже находишь, что у меня подозрительный вид?

— Вид у тебя начитанного, доброго и довольно несчастного сельского сквайра.

Алекс посмотрел ей в глаза — в глаза, которые он так хорошо знал.

— За обедом ты вела себя ужасно грубо.

— Что я такого сказала?

— Сама знаешь.

Харриет пожала плечами.

— Все ведь чистая правда,— пробормотала она.

Он попытался улыбнуться:

— Чистая правда, дорогая моя, ведет на Голгофу.

Но Харриет не слышала, что́ он сказал. Она переводила взгляд с Галлахера на Ленарда.

— Что им надо?

— Рыжий хочет всех нас поставить к стенке — это ясно как день.

Не глядя на Алекса, она сказала:

— Если с тобой, Алекс, что-то случится... или со мной... с кем-то одним из нас... или со всеми, я хочу, чтобы ты знал: ты мне дорог, очень дорог.

— Почему ты не говоришь самого главного?

— Ты мне очень, очень дорог.

Тут Галлахер подошел к Алексу Бойд-Крофорду и взмахом пистолета указал ему на дверь в буфетную. Алекс встал и, шаркая, вышел из комнаты. Пачелли последовал за ним, по-прежнему с мешком в руках. Когда дверь за ними закрылась, Харриет сказала Миллисент:

— Знаешь, мне кажется, что все это сон.

Вместо Миллисент ответил ей Колдуэлл:

— Подобные чувства обычно испытывают перед смертью.

[1] Эрвин Роммель (1891—1944) — немецкий генерал-фельдмаршал; во время второй мировой войны командовал войсками в Северной Африке.

Высказывание Колдуэлла было вполне уместным, однако сам по себе его голос так раздражал Харриет, что она даже не вдумалась в смысл сказанного. Она посмотрела на мужа, ожидая, что скажет он. Но полковник промолчал.

— Когда-то мне, еще совсем ребенку, рассказывали, как распяли Христа,— продолжал Колдуэлл.— Рассказывала молоденькая ирландка, она служила у нас... хорошо рассказывала. Помнится, я был потрясен услышанным и сказал: «Какие плохие люди... их всех надо за это убить...»

Харриет подняла глаза и увидела, что Колдуэлл кивает в сторону Ленарда и Лайнем:

— Те же чувства испытывают и они... по отношению к вам. Они ведь так и не выросли, навсегда остались детьми... опасными, беспощадными детьми.

Не вполне отдавая себе отчет в том, что́ она хочет этим сказать, Харриет проговорила:

— «...из уст младенцев...» [1].

В буфетной Алекс испуганно жался к стене. Галлахер сделал ему знак сесть. Пачелли порылся в мешке, достал оттуда флакончик с лекарствами и высыпал на стол десять таблеток. Галлахер налил в стакан воды и подал его Алексу. Тот застыл в нерешительности, и Галлахер замахнулся на него пистолетом: «Сейчас всплеснет от страха ручками, старая обезьяна. Боится силы!» Галлахер опустил пистолет лишь после того, как Алекс положил горсть таблеток в рот и запил их водой.

— Открой пасть!

Алекс не расслышал. Галлахер — для наглядности — сам открыл рот. Алекс подчинился. Галлахер заглянул внутрь, одобрительно кивнул и прокричал Алексу в ухо:

— Закрывай! Понял?

Алекс кивнул.

Они вернулись в гостиную, и Галлахер ткнул пальцем в одно из двух глубоких кресел у камина. Побледневший Алекс опустился в кресло и часто мигая, воззрился на свой разбитый слуховой аппарат. Сидящие за столом наблюдали за ним вопросительным и глубоко сочувствующим взглядом. Алекс посмотрел было на них, но тут же отвернулся. Харриет встала из-за стола и подошла к креслу напротив. Когда он поднял голову, она, одними глазами, спросила, что с ним. Алекс вяло махнул рукой, словно бы говоря: «Все нормально, я в порядке». Харриет облегченно вздохнула.

Подмигнув Ленарду, Галлахер прошел в нишу, к ведущей в коридор двери и сел в тени, не сводя глаз с выхода. В свете, падавшем из эркера, лицо его казалось каким-то особенно бледным. Он сидел, обхватив колени и весь напрягшись, точно собака, что напала на след и ждет, когда ее спустят с поводка.

Ленард подвинул свой стул и сидел теперь рядом с Лайнем. Час прошел в полной тишине. Камин догорал. Паскаль подбросил в огонь несколько поленьев, осмотрел стоящие на каминной полке часы в футляре и, повернувшись, сел рядом с Пачелли на роскошный, обтянутый серым бархатом диван. У обоих застыла на лице совершенно одинаковая улыбочка, как будто они позировали перед камерой.

Алекс уснул через пятнадцать минут, а спустя еще четверть часа забылась Харриет. Миллисент листала последний номер «Дома и сада». Полковник и Колдуэлл, попивая «Бушмиллз», о чем-то вполголоса беседовали. Низко над домом пролетел вертолет и сел где-то слева. Когда шум мотора стих, Ленард пробормотал:

— Не может быть.

Прошел еще час.

— Это невыносимо,— прервала молчание Лайнем.

— Что?

— Все. Мне нехорошо.

— Тошнит?

— Нет, не в этом дело.

— Может, почитаешь?

— Не могу.

— Выпить хочешь?

---

[1] *Ср.*: И сказали Ему: слышишь ли, что́ они говорят? Иисус же говорит им: да! разве вы никогда не читали: «из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу»? (Евангелие от Матфея, 21, 16).

— Да.
— Это неразумно.
— Что?
— Сначала надо поесть.
— Знаю.
— Съешь что-нибудь.

Она отрицательно покачала головой. Ленард подошел к столу и взял бокал. Полковник наполнил его до половины. Ленард поблагодарил кивком головы, долил в виски воды и вернулся с бокалом к Лайнем. Из ниши раздался голос Галлахера:

— Slainte [1].
— Slainte leat [2],— сказала Лайнем.
— Хочешь выпить? — спросил Ленард Галлахера.

Галлахер покачал головой.

Когда Лайнем вышла, Ленард сказал:

— Больше не дам, пока что-нибудь не съешь.

Она кивнула. Ленард показал на Галлахера.

— Он нуждается в спиртном больше, чем ты, и то не пьет.
— Перестань читать мне мораль.

Спустя пять минут она извинилась:

— Прости... мне не по себе.
— Еще бы, мы ведь с тобой не на званом обеде.
— Последний раз.
— Все получится, вот увидишь.
— Откуда ты знаешь?
— Интуиция.

Полулежа в кресле, Алекс Бойд-Крофорд неразборчиво бубнил себе под нос:

— Октябрь... ничего не растет... надо бы до морозов собрать яблоки... яблоки еще есть... гнилые, червивые, но есть. Мой яблочный пресс пропускает... не беда... все равно... все все равно... кто прав? Министр... бандиты, каторжники... жульничество... а может, я... не знаю... ничего не знаю.

Когда он начал храпеть, Харриет подошла к нему, что-то сказала, и он затих.

Лайнем потягивала виски. Тиканье часов с каждой минутой становилось все настойчивей. Комната словно бы вытянулась в длину. Ей показалось, что лица вокруг искажаются, застывают, покрываются смертельной бледностью; сердце у нее бешено забилось, и она еле сдержалась, чтобы не закричать.

— Так и будем сидеть? — спросила она Ленарда, когда ей немного полегчало.

Ленард ненадолго задумался, затем подмигнул Паскалю и надул щеки, зажав губы обеими руками. Паскаль немного смутился, но Ленард, чтобы подбодрить его, подмигнул снова, и Паскаль вынул из мешка волынку. Когда он заиграл, лица обоих братьев сделались серьезными, мечтательными: казалось, каждая нота таит в себе не только красоту, но и память предков, рождает образы побед и поражений — музыка была то бравурной, то скорбной. Видя, что на сидящих за столом мелодия эта не производит никакого впечатления, и в то же время чувствуя, как она волнует ее саму, Лайнем лишний раз убедилась в правоте Елизаветы I, вешавшей ирландских волынщиков как преступников. Звуки этой трогательной музыки сглаживали ужас сегодняшней ночи и завтрашнего дня.

За кажущейся наивностью двух сыновей Хью и Рози Макалир, подумалось ей, скрываются глубокие корни, древняя культура, ровесница пасторальной Европы, загнанная историей в тупик автократии Рима и в безвременье заносчивого британского владычества, которые сами сейчас потускнели в призрачном блеске американского процветания и в сгущающемся мраке русского паралича; со смертью древних культур смешиваются — с поистине музыкальной меланхолией и постоянством — все вероучения и системы, подобно тому как с углублением великих рек высыхают их притоки.

За столом беседовали вполголоса, каноник Пламм раскладывал пасьянс, Миллисент спала, положив голову на руки.

— Навязчиво,— сказал Колдуэлл.
— И очень громко,— вздохнул полковник.

[1] Будь здорова *(ир.л.)*.
[2] Будь здоров *(ир.л.)*.

— Какой-то сумбур.

— Монотонно, по-моему.

— Вы знаете язык? — поинтересовался каноник.

— Нет, но...

— Но хотели бы знать?

— Язык — это ключ.

— Ключ? — буркнул каноник.— К чему? Играть в бинго, лакомиться сырыми цыплятами, водить нескончаемые хороводы на мотив джиги, вы этого хотите? Бесконечные тоскливые завывания, выдуманные жуликами для развлечения деревенских парней и продавщиц... вот чего они хотят... вот что имеют... и большего не заслуживают... Ирландская культура! Ад кромешный!

Колдуэлл улыбнулся:

— Нигде не сказано, что Господь — протестант!

— Будь я проклят, если Он католик!

— По-моему, вы перебарщиваете, Джон,— улыбнулся полковник.

— Ничуть, я точен и объективен,— возразил каноник.— Ненавидеть — это по их части, ненавидеть и убивать... в этой стране родятся хорошие убийцы и плохие руководители.

Нет высшего блаженства, чем любовь,
Под стать ей только ненависть... [1] —

еле слышно процитировал Колдуэлл.

С улицы послышался голос диктора: передавали новости Би-би-си. Заложники замолчали и прислушались, но транзистор, как видно, стоял далеко, и почти ничего слышно не было.

— Все это в высшей степени несправедливо,— сказал полковник.— Мы никогда не покидали этих мест, мой дед сократил арендную плату наполовину, а во время Великого голода отменил ее вовсе, заложил поместье, чтобы прокормить арендаторов — и католиков, и протестантов; мой двоюродный брат подписывал Договор [2] от имени Ирландии: отец Харриет был дальним родственником Ллойд Джорджа [3]... безумие.

Он помолчал, глядя в стакан с виски.

— Я хорошо знал Эрскина [4]... хороший актер в душе, он был таким же противником национализма, как и я.

— Он говорил это вслух? — спросил Колдуэлл.

— Я это чувствовал... это болезнь...

— Увы,— Колдуэлл вздохнул,— от этой болезни страдают почти все нации.

— Раковая опухоль — в этой комнате и может в самом скором времени погубить нас.

После минутной паузы Колдуэлл спросил:

— Может быть, сто́ит... следует что-то предпринять?

— Если хотите умереть сегодня же, *сейчас,* Стюарт, то да, сто́ит... но вас, полагаю, они отпустят.

— Из того, что говорилось, этого не следует...

— Конечно, отпустят... негоже убивать американцев... давние традиции... денег, опять же, на Зеленый остров не жалеют.

— Надеюсь, для скромного священнослужителя они тоже сделают исключение? — подал голос каноник Пламм.

— Едва ли, Джон.

Из ниши послышался гнусный, точно январская погода в Дерри, голос Галлахера:

— Жаль, что вы не епископ, сэр.

— Неужели он нас слышал? — вполголоса спросил полковник.

---

[1] Г. У. Лонгфелло. Испанский студент, акт II, сц. 5.

[2] Имеется в виду договор 1921 года с Англией о провозглашении Ирландского свободного государства (без Ольстера, оставшегося частью Великобритании).

[3] Дэвид Ллойд Джордж (1863—1945) — премьер-министр Великобритании в 1916—1922 гг.; был сторонником независимости Ирландии.

[4] Джон Максвелл Эрскин (род. в 1893 г.) — с 1964 по 1968 гг.— губернатор Северной Ирландии.

— Похоже,— отозвался Колдуэлл.

— Чудовище.

— Не то слово,— вставил каноник.

Колдуэлл собирался что-то сказать, но в этот момент Галлахер включил свой транзистор.

«...К поместью Армстронга в графстве Фермана подтянуты регулярные армейские части,— донесся до них голос диктора.— Террористы требуют освободить трех ведущих деятелей временной ИРА из тюрьмы Мейз в Белфасте. Они хотят, чтобы заключенных доставили в Инвер-холл на вертолете. Если это требование не будет выполнено, террористы грозятся расстрелять первого заложника завтра в полдень, а остальных — по одному каждые шесть часов. Полковник Армстронг воевал в Африке под командованием генерала Монтгомери [1] и был награжден орденом «За боевые заслуги». В числе шести заложников — Александр Бойд-Крофорд, член стормонта [2] на протяжении более двадцати лет, а также американский профессор и протестантский пастор».

Диктор перешел на другую тему, и Галлахер выключил транзистор. Все, кроме Алекса, напряженно вслушивались в тишину. Первой заговорила Харриет.

— Нас с тобой не существует, дорогая,— сказала она дочери.

— Это я заметила,— отозвалась Миллисент.

— Что касается меня, то я лет сорок назад опубликовала в школьном журнале два стихотворения. Впрочем, радиослушателей это вряд ли заинтересует. Ты — дело другое, бакалавр искусств как-никак.

Она помолчала и обвела глазами присутствующих:

— Быколавр?.. Тогда должен быть и тёлколавр... грустная шутка, а?.. Быки великолепны... тёлки глупы... кабаны жестоки... свиньи едят своих поросят [3]... Даже язык несправедлив к женщинам... только мужчины... Мы приговорены к смерти, а Би-би-си и невдомек, что мы существуем.

Сейчас Харриет выговаривала слова гораздо отчетливее, чем раньше, однако выглядела ужасно.

— Что вы сделали с Алексом? — без всякого перехода спросила она у Ленарда.

Ленард не ответил.

— Вы что, его усыпили, да?

Ответа и на этот раз не последовало.

Харриет подошла к столу и протянула свой бокал канонику; тот налил ей немного виски, однако Харриет держала бокал до тех пор, пока каноник не наполнил его до половины. Миллисент вновь попробовала уснуть, положив голову на руки. Харриет обошла стол и что-то шепнула ей на ухо. Миллисент встала и направилась к креслу с откидывающейся спинкой. Прежде чем сесть, Харриет с вялым любопытством посмотрела на братьев Макалир — так рассматривают зрители экзотических животных в зоопарке. Братья переглянулись, заулыбались, посмотрели на Харриет, которая по-прежнему не спускала с них глаз, после чего Паскаль полюбопытствовал:

— Вы увидели рожки, мадам?

— Простите? — переспросила Харриет.

— У меня на ногах копыта, зато в футбол мы играем не хуже других.

— Входили в семьдесят первом году в молодежную сборную Монахана.

Ничего не поняв из того, что они говорили, и буркнув «да?», Харриет покачала головой, села и повернулась к канонику Пламму.

— Сегодня за обедом я была груба, да, Джон?

— Не все ли равно,— отозвался каноник.

— Я виновата.

— Ерунда... не о чем говорить.

И полковник, и Колдуэлл предполагали, что сейчас последует очередное извинение, однако они ошиблись. Опять наступила тишина, и тут Лайнем вдруг заметил

[1] Бернард Лоу Монтгомери (1887—1976) — английский фельдмаршал, во время второй мировой войны командовал войсками в Северной Африке.

[2] Стормонт — автономный парламент Северной Ирландии с ограниченными полномочиями; избирался на пять лет, состоял в основном из юнионистов; существовал с 1920 по 1972 г.

[3] Джеймс Джойс говорил, что Ирландия — это свинья, которая поедает собственных поросят.

ла, что Миллисент пристально на нее смотрит. Она тоже, без всякой враждебности, посмотрела на нее, однако Миллисент вскоре опять положила голову на руки и закрыла глаза.

— Почему ты ее не отпустишь?

— Кого?

— Дочку.

— Успеется.

Ленард взял у Лайнем из рук пустой стакан, поставил его на пол и сказал:

— У тебя ледяные руки.

— Знаю.

Прошло четверть часа. Не глядя на него, Лайнем сказала:

— Я хочу тебя.

Ленард промолчал, и она, подождав с минуту, сказала:

— Давай?

— Ты шутишь.

— Не хочешь?

Ленарду показалось, что она немного повысила голос.

— Говори тише,— сказал он.

— Ну что?

— Невозможно.

Она кивнула в сторону буфетной:

— Там.

Ленард ответил далеко не сразу:

— Безумие.

— Что?

— Безрассудство.

— Отчего же... мы ведь мертвы.

— Неправда, до смерти нам еще далеко... очень далеко.

— Тебе страшно?

Ленард наклонился к ней и едва слышно сказал:

— Следи за собой.

— А что?

— Ты слишком громко говоришь.

— Не все ли равно?

Ленард показал глазами в сторону Галлахера.

— Завтра — можно,— сказал он.

— Никакого завтра не будет.

Ленард пожал плечами. Виски и семичасовое напряжение начинали сказываться.

— Попробуй уснуть,— сказал он.

Она ничего не ответила и, откинувшись на спинку стула, закрыла глаза. Он прав. Безумная, соблазнительная идея, от которой, впрочем, она бы отказалась, если б он согласился. С какой стати это пришло ей в голову? Чтобы испытать его, унизиться до последней степени самой, раздразнить Галлахера, шокировать целомудренных братьев, доказать, наконец, сидящим за столом, что дурное мнение, которое они составили о ней, соответствует действительности, а себе — что не зря после грустной мелодии у нее возникло горькое предчувствие, что ее предадут и что эта ночь — последняя в ее жизни. Нет, пытаться распутать этот узел бессмысленно... Тут она очутилась в буфетной с Ленардом, дверь заперта, а за дверью — свистящий шепот Галлахера, говорящего братьям Макалир:

«Ольстерский пес оседлал дублинскую сучку... это грубое нарушение долга, ребята... их надо расстрелять, обоих... когда кончим дело, я с ними разберусь, уж будьте спокойны!»

Потом она видит, как Галлахер подходит к Алексу Бойд-Крофорду и дважды стреляет ему в голову. Охваченная ужасом, она отпирает дверь из буфетной в коридор, бежит по коридору, распахивает дверь и оказывается на улице. Светает. Она сбегает по гранитным ступеньками и слышит за спиной звон разбиваемого стекла и выстрел. В следующий момент она чувствует жгучую боль в паху и падает. Потом пытается встать и... валится на колени перед стоящим в окне Галлахером. У него неподвижное лицо, он целится в нее. Она кричит...

...Ленард так сильно стиснул ее запястье, что Лайнем вскрикнула. Ее била дрожь. Все в комнате, кроме крепко спящего Алекса Бойд-Крофорда, не сводили с нее глаз.

— Успокойся,— сказал Ленард.

Лайнем взглянула на каминные часы — было без пяти два — и поняла, что проспала почти целый час.

— Я?..

Сидящие за столом, как по команде, отвернулись, отвечая тем самым на ее незаданный вопрос. Харриет встала и двинулась к двери в буфетную.

— Иди с ней,— сказал Ленард,— а когда вернешься, посшь или прими таблетку и выспись.

В голосе его звучало раздражение. Лайнем поднялась и последовала за женой полковника в буфетную. Когда дверь за ними закрылась, Ленард подозвал Паскаля и велел ему занять место у дверей. Жена полковника пошла в уборную, находившуюся за буфетной, и Лайнем услышала (или это ей только показалось?), как ее тошнит. На обшитую деревянными панелями стену кто-то прикнопил вырезанные из газет и журналов кулинарные рецепты. Она попыталась было прочесть один из них, но слова распадались, лишались смысла. В уборной зашумела вода, хлопнула дверь, послышались шаги, и раздался голос Харриет:

— Присядьте, пожалуйста.

Лайнем, хоть и не сразу, села. Харриет *попросила* ее сесть, и это ее смутило; она села на другой конец стола напротив пожилой женщины и опустила глаза.

— Посмотрите, пожалуйста, на меня.

Лайнем подняла глаза.

— Вы... они... всех нас застрелят?

— Как знать.

— Они же не выполнят ваших требований.

— Неизвестно.

Харриет покачала головой.

— Нобби — мелкая сошка... да, имя у него громкое... но сам он мало что значит... вы тут промахнулись, моя дорогая.... я знаю десятки домов, более пригодных для такой операции.

Харриет помолчала, а затем заговорила опять:

— Почему-то наводнения, бомбы, ураганы, землетрясения угрожают другим... а не нам... Мне-то страшно не было, мне-то все равно, когда умирать, лишь бы быстро... вы знакомы с Милли?

— Мы вместе занимались французским.

— Она беременна.

— Знаю.

— Сказала вам?

— Да.

— Ее тоже принесут в жертву республиканским богам?

— Нет.

— Что ж, и на том спасибо...

С полминуты Харриет изучала пятнистую мраморную плитку на полу. Ее неподвижное, изможденное, как на портретах Эль Греко, лицо тронула легкая ироничная улыбка.

— Французский? — спросила она, подымая глаза.

— Простите?

— Вы изучали французский?

— Да.

— А что еще?

— Ирландский.

— Вы знаете Дэвида Грина [1]?

— Да.

— У него потрясающая борода.

— Он хороший ученый.

— Вам нравится Дилан Томас?

[1] Дэвид Грин — кельтолог, специалист по ирландской литературе, составитель многих сборников ирландской прозы и поэзии.

— Каванах [1] больше.

— Правда?

Лайнем постучала сначала по столу, затем кивнула в сторону резного шкафчика и сказала:

— Это я предпочитаю тому.

Харриет не поняла.

— Что — чему?

— Старенький разделочный столик — резному шкафчику.

Харриет впервые улыбнулась.

— Да, Милли изучала английскую и французскую литературу... но без особого удовольствия... «Генрих V» вызывает у меня сложные чувства... вам эта пьеса нравится?

— Нет.

— Вот и мне тоже... непростительно для Шекспира... Так же скучно, как Ветхий Завет... отдает кровью и имперским чванством... А Нобби нравится... вы очень похожи на мою кузину Долли Трэверс, ужасно похожи... покойница Долли прожила счастливую жизнь... так и не вышла замуж. Она-то считала себя несчастной, а на самом деле была в сто раз счастливее, чем... Лично меня внезапная смерть только радует... Мать у меня была прекрасной пианисткой... фортепиано... однажды играла с самим Падеревским... Мне тогда было восемь лет... Падеревский говорил потом, что он никогда не слышал такого замечательного исполнения прелюда Шопена. Бедная мама была на седьмом небе. Все аплодировали. Отец был валлийцем... опытным коммерсантом. Если б не его деньги... этот дом давно бы развалился... его деньги... мои деньги...

Харриет помолчала и с минуту пытливо смотрела на Лайнем.

— Мы с вами обе из кельтов... вы и я...— сказала она наконец.— Я ведь немного пою... в наше время не захочешь — запоешь... Не могли бы вы принести мне стакан воды... пожалуйста.

Лайнем принесла ей стакан воды.

— Знаете, после Дерри я горько рыдала... да и Нобби был потрясен... правда... по-человечески переживал... мы все... как ужасно то, что мы делаем друг с другом, вам не кажется? Он пытался тогда дозвониться Фрэнку Каррингтону... не получилось... в Фермана к мнению отставных полковников не особенно прислушиваются... глупо все-таки, что вы нас держите взаперти... его ведь все любят... всегда прислуга была из католиков... то, что вы делаете, ни у католиков, ни у протестантов поддержки иметь не будет... в этом я убеждена... но вы здесь, и тут уж ничего не попишешь... война — это череда нелепых ошибок... как брак.

Она глубоко затянулась, выпустила дым через рот и нос, а потом допила воду.

— Этот рыжий парень — какая невероятная энергия, какая ненависть... И вы такая же?

— Нет.

— Вы способны любить?

Не получив ответа, Харриет спросила снова:

— Способны?

И она уставилась в пол, словно забыв о существовании Лайнем. Когда она заговорила вновь, казалось, она говорит сама с собой:

— Однажды воин отправился на войну. Вернувшись, он пробудился ранним утром и залился слезами, оплакивая друга, которого потерял в бою.

Харриет помолчала, подняла на Лайнем глаза и продолжала:

— Сражаться можно с живыми, моя дорогая, с живыми, но не с мертвыми... брак — это страшная западня для тех, кто любит...

Она порылась в памяти и процитировала:

> В столице разрушительных эпох,
> Где смерть царит над красотою тленной [2].

— Шелли, бедное дитя... почему я прочла вам эти строки?

— Мы обе мертвы.

---

[1] Патрик Каванах (1904—1967) — ирландский поэт, журналист, критик.

[2] *П. Б. Шелли.* Адонаис. Элегия на смерть Джона Китса (1821). *(Перевод В. Микушевича.)*

— Да... Нобби говорит, что я спятила... Кофе хотите?.. Я бы не отказалась.

— Где?

— В буфете...— Харриет показала пальцем.— Растворимый... Розетка возле раковины... Мы варим кофе здесь... а то кухня на другом конце дома... Что с Мэгги Рейли и Джонстонами?

— С кем?

— С прислугой.

— Их заперли во флигеле.

— А!.. Они испугались?

— Надеюсь, нет.

— Вы добрая девушка... я сразу почувствовала... Милли ледяная... вся в меня... печально.

Лайнем встала и занялась кофе.

— Ваша мать жива?

— Да.

— И отец?

— Да.

— Вы единственный ребенок?

— У меня два брата.

— Такие же, как вы?

— Они политикой не интересуются.

Наступила неловкая пауза.

— Что вас погубило? — выдавила наконец из себя Харриет.

— Моя никчемность.

— У всех одно и то же... меня вот что поражает... я еще могу понять тех, кто хочет погубить себя... себя — но не других... Вы на эту роль не годитесь... Нобби — другое дело, он профессионал... похож, да? Ненависть — это так ужасно... уж я-то хорошо знаю, что такое ненавидеть человека, но ненавидеть целый народ, национальность, социальную группу — это так нелепо, так глупо, этому нет конца... порочный круг... охватывает отчаянье... Когда этот рыжий юнец разбил слуховой аппарат Алекса... только тогда я поняла, что это серьезно.

Закипел электрический чайник, и Лайнем встала его выключить.

— Они убьют Колдуэлла, американца?

— Вряд ли.

— Это вызвало бы политические осложнения.

Лайнем кивнула.

— Такие люди всегда вызывают осложнения... он ведь мировая величина... средневековая военная история или что-то не менее экзотическое... престижная стипендия... оплачиваемый годовой отпуск, профессор университета в Новой Англии... Разведен... Уверяет, что жена у него была красавица, но без царя в голове... Послушать его, так и я без царя в голове... Впрочем, может, он и прав — временами я веду себя диковато... Нобби говорит, что он гений... они познакомились в прошлом году в английском посольстве в Нью-Йорке, на какой-то военной годовщине. Познакомил их Джон Фримен... По-моему, он — пустое место, Колдуэлл, я имею в виду.

Харриет погасила сигарету и спросила:

— Вам не кажется, что он — голубой?

Лайнем ничего не казалось.

— В наше время все так неопределенно,— продолжала Харриет.— Трудно сказать наверняка. Неужели Бог от нас отвернулся?

— Я не верю в Бога.

— Я — тоже... Эти двое, чернявые,— братья?

— Да.

— Похожи как две капли воды. Вы вынули одиннадцать чашек, правильно.

— Да.

— Всех хотите кофе напоить — хорошая мысль. А вы неразговорчивы... может, я вам не нравлюсь?

— Отчего же.

— Я вас раздражаю?

— Ничуть.

— Какие чувства вы сейчас испытываете?

Лайнем заглянула в грустные погасшие карие глаза на бледном тонко очерченном лице, и ей показалось, что за эти десять минут эту странную женщину с ее смятением и сопереживанием она поняла лучше, чем понимала свою собственную мать.

— Я должна знать.

— Жалость,— ответила Лайнем.— Ко всем нам.

Харриет продолжала пристально смотреть на нее, и Лайнем вновь ощутила, что имеет дело с человеком тонким, неоднозначным.

— Но ведь и вы в случае чего должны будете стрелять? — предположила Харриет.

Лайнем покачала головой.

— Вас вынудили приехать сюда?

— Я не могу этого объяснить... простите.

— У вас дрожат руки.

— Да.

— Вы боитесь?

— Да.

— Я тоже боюсь смерти... вы поверили мне, когда я сказала, что умирать не страшно?

— Не совсем.

Дверь открылась. На пороге, улыбаясь, стоял Паскаль. Харриет встала и вышла из буфетной.

Лайнем поставила на стол поднос с кофейником и чашками. Гробовое молчание. Харриет передала кофе сидевшим за столом, а Лайнем — Паскалю, Пачелли, Ленарду и Галлахеру. Когда она села рядом с Ленардом, тот сказал:

— Долго же тебя не было.

— Да.

— Разговаривала?

— Слушала.

— Поесть хочешь?

Поскольку Лайнем по-прежнему не проявляла к еде ни малейшего интереса, Паскаль встал, подошел к столу, взял пустую тарелку и положил на нее серебряной лопаточкой картошки и цветной капусты. Он показал на холодную свинину, язык и ростбиф.

— Нет, мяса не надо, Паскаль... спасибо.

— Ты уверена?

— Абсолютно.

Когда Паскаль положил ей немного майонеза, она оглянулась на Ленарда. Тот уставился в одну точку и к ней даже не повернулся. Нарочно? Лайнем встала и направилась к сидевшим на диване братьям. Пачелли подвинулся и сел по-портновски, подложив под себя ногу. Она начала есть, и братья ободряюще ей улыбнулись. Еда была безвкусной, опека братьев — обременительной, и Лайнем вдруг почувствовала себя жалкой, никчемной; кусок не лез в горло, тарелка задрожала в руке. Паскаль забрал у нее тарелку и выдвинул стул, чтобы девушку не видно было из-за стола.

— Поешь еще, Белла. Не помешает.

Лайнем послушно ткнула вилкой в тарелку.

— Долго ты со старухой проговорила,— подал голос Паскаль.

Она кивнула.

— Чудна́я она какая-то. Не в себе?

— Странная,— не стала уточнять Лайнем.

— Сразу видно: несет какую-то околесицу.

— Скажи, я закричала, когда сидела вон там? — почти шепотом спросила Лайнем.

— Да нет, всхлипнула... ерунда...

— Ты отрубилась.

— Еще до того?

Братья переглянулись, сделав вид, что не понимают. Паскаль покачал головой:

— Приснилось, видать, что-то.

— Ну да, ты ж заснула,— пояснил Пачелли.

Она с благодарностью перевела взгляд с одного на другого и сказала:

— Врать вы, я вижу, мастера... оба. Вам страшно, мальчики?

— Не то слово,— откликнулся Паскаль.— Живот подвело.

— Как бы не обделаться,— поддакнул Пачелли.— Мы уже привыкли.

— А виду не подаете.

— Мы не притворяемся... вот тут сидит...

— Главное, улыбаться... держаться вместе.

Пачелли кивнул в сторону охотничьего столика:

— А ты с ними как с равными разговариваешь.

— Мартин — тоже, когда захочет.

— А Джек вообще ничего на свете не боится... продаст душу дьяволу ради друзей.

— Он сам дьявол,— не удержалась Лайнем.

Она оглянулась и увидела, как Галлахер медленно поднял левую руку, почесал за ухом и, скосив глаза и напряженно вслушиваясь, ткнул вверх указательным пальцем.

Затем повернул к сидящему в эркере Ленарду свое белое как бумага, лицо. Ленард подошел и наклонился к нему.

— Слышишь?!

— Ничего не слышу.

Не успел Ленард покачать головой, как действительно послышался какой-то звук, нечто вроде скрипа. Несколько секунд все молчали. Ленард посмотрел на братьев и кивком головы показал на Алекса Бойд-Крофорда. Братья дружно вскочили и перенесли спящего в коридор. Все это случилось так быстро, что наступило минутное замешательство, прежде чем заложники сообразили: произошло что-то серьезное, непоправимое. Ленард вернулся в эркер. Лайнем сидела, боясь пошевелиться,— она живо представила себе, что́ может быть. Харриет — со сна, еще не вполне проснувшись,— вскочила на ноги.

— Что вы?..

Спотыкаясь, точно лунатик, она направилась к двери.

— Что вы сделали с Алексом?!

Галлахер преградил ей дорогу и досадливо махнул левой рукой — так отмахиваются родители от маленьких детей, когда те отвлекают их от дел. Но Харриет это не остановило.

— Я вас не боюсь и не стану сидеть сложа руки, пока вы тут...

Галлахер наотмашь ударил ее пистолетом по лицу, да так неожиданно, что все находившиеся в комнате увидели лишь последствия удара: Харриет стояла на коленях лицом к камину, а от глаз до подбородка через всю щеку протянулся кровавый рубец; изо рта текла кровь. Полковник вскочил, на шее у него вздулись вены.

— Не нарывайся,— буркнул Галлахер, замахиваясь пистолетом и на него.

В коридоре раздались два выстрела. На всех лицах застыл ужас. Левой, свободной рукой Галлахер сделал полковнику знак, чтобы тот сел.

По-прежнему стоя на коленях, Харриет шарила рукой по полу: она искала вставные челюсти. Челюсти валялись у ножки стола; Миллисент, плача, передала их матери, а полковник с каноником помогли ей подняться и, взяв под руки, довели до дивана. Из коридора послышался лязг отодвигаемого засова, скрипнула входная дверь. Вспыхнул и вновь погас прожектор, опять закрылась дверь, громыхнул засов. Братья Макалир, на этот раз без улыбки, вернулись в гостиную.

Вся сжавшись от чувства гадливости и стыда, Лайнем повернулась к ним спиной и вперилась взглядом в рисунок на задернутых шторах в эркере. Перед глазами у нее все плыло.

— В вашем распоряжении одна минута,— откуда-то издалека донесся до нее голос Ленарда, обращавшегося к полковнику.— За это время вы должны выйти наружу, предупредить их и вернуться в дом; в их распоряжении три минуты, чтобы убраться восвояси... еще один звук — в доме или где-то поблизости,— и мы расстреляем следующего.— Полковник вышел. Уже светало. Под окном он увидел распростертое тело Алекса с холщовым мешком на голове. Полковник переговорил с командиром и тут же возвратился назад. Миллисент подкладывала подушку матери под голову. Она вставила ей зубы и теперь вытирала салфеткой кровь.

Лайнем выскользнула в коридор. Увидев выражение ее лица, Галлахер обронил:

— Другого выхода не было.

Лайнем ничего не ответила. Она стояла посреди коридора и отчетливо видела

сквозь парадную дверь мощные очертания бронетранспортеров. Близился рассвет. В гостиной, на глазах у всех, она не могла выдать свою слабость — ей гребовалось время, чтобы прийти в себя, вновь обрести уверенность.

— Не стой там,— сказал Галлахер.

Она подошла вплотную к противоположной двери, слилась с ней... Надо было во что бы то ни стало отогнать от себя кошмар, который, казалось, разрастается с наступлением дня. В дверях напротив Ленард о чем-то шептался с Галлахером; они то и дело поглядывали на часы, один косился на темный пролет лестницы, другой не сводил глаз с входа, оба нервничали.

Кулфада... запах моря, изумрудного цвета трава, что росла пучками из соломы; неподвижное небо и кошки, которым давали имена святых или окрестных деревень. Народ приходил к ним домой каждый вечер — бабушка знала средство от лишая. Однажды ей разрешили посмотреть. Бабушка ткнула сухую ветку в горящий торф и стала водить тлеющей веткой в полудюйме от лица больной, читая молитвы по-ирландски. Как-то летом к ним заглянул сосед с терьером. Терьер погнался за белым котенком и загрыз его. Она побежала с ним к бабушке: слезы льются, руки в крови. Бабушка завернула котенка в оберточную бумагу, вымыла ей руки и вышла во двор, на картофельные грядки. Похоронив котенка, бабушка сказала:

«Есть собаки, которые убивают кошек; есть люди, которые убивают других людей... Море, голод, беспорядки, старость, да, а еще разбитое сердце... после ночи наступает день, а после дня ночь... приходит смерть... не плачь, внученька, это жизнь».

Единственный образ Кулфады, который ей всегда хотелось забыть, всплыл теперь в памяти с ужасающей живостью. И сейчас, как и двадцать лет назад, руки ее были в крови. Раз уж Кулфада ассоциируется у нее с кровью и смертью, значит, даже в памяти нет спасения. Она закрыла глаза и не видела, как Ленард вышел в коридор.

— Тебе надо вернуться в комнату,— услышала она его голос,— здесь жутко.

Лайнем открыла глаза и увидела, что он большим пальцем показывает в широкий черный проем лестницы.

— Зачем надо было ее бить?

— С ней все в порядке... она уже сидит.

Ленард медлил. Лайнем провела по щекам тыльной стороной ладони — высохли ли слезы? — и, убедившись, что высохли, вернулась в гостиную. Галлахер выдвинул из эркера два стула и, когда она вошла, раздвигал тяжелые шторы. Снял крючки со ставен. Когда он распахнул их, Паскаль выключил электричество. Комнату наполнил тусклый утренний свет. Миллисент встала и, дрожа всем телом, крикнула Галлахеру:

— Подонок! Гнусный, трусливый, кровожадный подонок!

Неожиданно она повернулась к Лайнем:

— Вот с кем ты водишь дружбу! Одноглазый болван, два недоумка и садист!.. Клянусь Богом, ты больна!.. Вы все... больны!!!

На Галлахера ее слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Несколько секунд он не мог произнести ни слова от бешенства, а затем свистящим шепотом проговорил:

— Подлая сука... Дура... Еле языком шевелишь, а туда же.— Он перешел на крик: — Почему это мы больны? Ну-ка отвечай. Почему? Вы все отвечайте... Почему? Говорите... вам ли не знать... вы и есть наша болезнь.

В наступившей тишине раздался спокойный голос Ленарда.

— Ваша жена погорячилась, сэр,— сказал он полковнику.— Скажите спасибо, что она осталась жива.

— Полужива,— пробормотала Харриет.

— И я бы порекомендовал вам,— продолжал Ленард,— предупредить вашу дочь, что она не имеет никакого права оскорблять нас... Таким правом в настоящий момент обладаем мы, а не она...

Не глядя на Ленарда, полковник сказал:

— Так вот как вы обращаетесь с пленными... вот ваши методы ведения войны.

— И вы еще можете рассуждать о методах ведения войны и об обращении с пленными! — взвыл, не помня себя от ярости, Галлахер.— Вы! — Лицо его застыло от ненависти.

Он саданул пистолетом по столу.

— Когда мы требуем равных с вами прав, того, что когда-то требовали вы, все ваши прихлебатели в прессе и в парламенте тявкают: «Повесить их, повесить их, повесить их». Англия — родоначальница демократии? Скорее, разжиревшая жена живодера, что содрала шкуру с половины мира... и вы еще думаете, что мир с вами?! Как бы не так! Скоты, говорят про вас, мерзкие, лживые лицемеры... Эта ваша фальшивая монархия, эти ваши герцоги в нафталине и закрытые школы, выпускающие надутых мерзавцев, лизоблюдов, интриганов и гомиков... вы согнали нас с насиженных мест, довели до нищеты, замучили голодом и пытками... мучаете до сих пор... нет вам прощения — нет и никогда не будет... вам бы только зубоскалить, издеваться над глупым Пэдди [1], грязным Пэдди:

Суеверный, жалкий Пэдди,
Пэдди — дурень, Пэдди — скот,
Полоумок и урод.

Выкрикивая этот стишок, Галлахер ходил вокруг стола. Остановившись перед сервантом, под портретом английского генерала, героя первой мировой войны, он как бы невзначай задел локтем великолепную восточную супницу. Прежде чем упасть на пол и вдребезги разбиться, супница, скользнув по длинной полке и перевернувшись, разметала старинные тарелки и столовое серебро. Ручкой пистолета Галлахер разорвал холст картины в том месте, где находилось лицо генерала.

— Вы топчете нас уже семьсот лет, топчете до сих пор, а еще удивляетесь, почему мы вас ненавидим... Слово «ненависть» не передает и десятой доли того, что мы чувствуем.

Полковник перевел взгляд с лилового от ярости лица Галлахера на разорванный портрет и разбитую посуду. Брызгающий слюной мини-Гитлер... с этим фанатиком бессмысленно спорить...

— И это говорит ирландец, ведущий за собой других ирландцев,— сказал он, сам удивившись собственной выдержке.— Только не рассказывайте мне сказки про ваше свободолюбие... Меня тошнит от этих разговоров.

Галлахер вернулся в нишу. Паскаль и Ленард заняли места у окна, Пачелли сел в дальнем конце комнаты у двери в буфетную, а Лайнем — в углу, около шератоновского [2] стола, неподалеку от Ленарда. Минут пятнадцать все молчали, только тикали часы да слышно было, как надрывно кричит за окном павлин. Харриет встала. Пение птиц — первый признак рассвета, она это уже давно усвоила. Она подошла к окну в эркере, увидела распростертое тело Алекса и перевела глаза на озеро, что виднелось за стоящими полукругом военными машинами. Над землей висел серый, совершенно неподвижный осенний туман — он словно бы ждал, чувствовал приближение зимы. На сером в красно-розовых прожилках небе очень высоко еще горело несколько тусклых звезд. Однажды в чьем-то доме она увидела картину: рассвет, небо серое, тучи, и, хотя Харриет знала — то, что произошло, ужасно, а то, что произойдет, будет еще ужаснее, у нее вырвалось:

— Рассвет... воскресенье... я вспомнила картину, которую видела как-то в гостях... Мы спим, когда мир особенно красив.

— Я бы на вашем месте тут не стоял,— обронил Галлахер.

— А если буду — вы меня опять ударите?

— Опасно,— сказал Ленард.

— Опасно?

Харриет с недоверием взглянула на пистолеты и улыбнулась:

— У вас хорошее чувство юмора... мне это нравится.

Она отвернулась от окна и посмотрела в угол комнаты, где сидела Лайнем. Как и Харриет, она была рада, что рассвело. Харриет процитировала:

Дрожа от холода, заря влачит свой длинный
Зелено-красный плащ над Сеною пустынной [3].

— Как вы? — спросила она Лайнем.

---

[1] Оскорбительное прозвище ирландца.

[2] Шератон — стиль мебели XVIII в., отличается неоклассической простотой; назван по имени краснодеревщика Томаса Шератона (1751—1806).

[3] *Шарль Бодлер.* Предрассветные сумерки. *(Перевод В. Левика.)*

— Как *вы*? — едва слышно переспросила Лайнем.

Голос Харриет задрожал:

— Жива... но потеряла любимого друга.

Она вернулась к столу и села рядом с креслом, в котором сидела Миллисент.

— Я бы с ними не разговаривала,— посоветовала она матери.

Харриет некоторое время молча смотрела на погасшие угли в камине, а потом, с еле сдерживаемым раздражением, отчеканила:

— Алекса вынесли и пристрелили, а двое военных даже не шелохнулись.

— Мама, прошу тебя.

— Да, не шелохнулись. Бывают случаи, когда надо действовать, забыв о военном уставе и собственной безопасности.

— Судя по всему, вы...— начал было очень спокойным, уравновешенным голосом Колдуэлл.

— Я вполне отдаю себе отчет в том, что происходит и что произойдет,— перебила его Харриет.

В наступившей тишине Миллисент закрыла лицо руками и заплакала. Харриет положила руку на голову дочери и повернулась к Лайнем. Не в силах дольше слышать рыдания Миллисент и выдерживать взгляд Харриет, Лайнем встала и прошептала Ленарду:

— Ради Бога, Мартин.

Не глядя ни на Лайнем, ни на сидящих за столом, Ленард процедил:

— Она может идти... и американец тоже.

Галлахер нахмурился и недовольно покачал головой. Ленард пожал плечами — дескать, все равно рано или поздно уйдут. Все молчали, свыкаясь с мыслью о том, что́ только что было сказано.

— Сейчас? — спросил полковник.

— Да.

Миллисент встала и поцеловала отца. Потом повернулась к матери. Сначала Харриет молча, будто пытаясь что-то прочесть на ее лице, что-то вспомнить, прижала к груди ее голову, а затем очень бережно, как целуют совсем маленького ребенка, поцеловала дочь в лоб. Колдуэлл, не говоря ни слова, крепко пожал руку полковнику и канонику Пламму. Харриет отошла в угол и стала спиной к столу. Колдуэлл подошел к ней сзади, хотел попрощаться. Она, не поворачиваясь, не глядя на него, протянула ему руку.

Галлахер встал, вывел их в коридор, довел до входной двери, открыл ее и, выпустив наружу, опять запер дверь и закрыл на засов.

С того места, где он стоял, Ленарду было видно, как они спустились по гранитным ступенькам, прошли по гравиевой дорожке и скрылись за бронетранспортерами. Харриет вернулась к столу и закурила. Полковник подошел к камину и стал смотреть на часы в футляре с таким видом, будто в них таился какой-то секрет. Часы показывали пять пятьдесят пять. Несмотря на мясистое лицо и мощное сложение, каноник Пламм выглядел сейчас более бледным, старым и измученным, чем и полковник, и его жена; кажется, он только теперь окончательно понял, что в этой безжалостной двойной осаде его призвание ровным счетом ничего не значит.

Галлахер направился в буфетную, а Паскаль занял его прежнее место у дверей. Над лесом, раскинувшимся за темной водой озера, туман рассеялся, и в металлическом небе горела теперь лишь одна одинокая звезда. Утренняя звезда. Лайнем подошла к Ленарду. Глядя в окно, она словно бы окоченела, и в этой окоченелости растворились кошмарные ночные часы и подступающий страх. Она хотела помолиться, но забыла, с чего начать и за кого просить... Боже, смилуйся, Христос, смилуйся.

— Ты помнишь молитву Благодарения?

Ленард кивнул и сказал:

— Помню, как мальчишкой я сидел смотрел на чью-то спину и ждал, когда священник прочтет «Утреннюю звезду» [1]... Это я понимал, а больше ничего.

— Язычник в душе.

---

[1] Утренняя звезда — Вифлеемская звезда, звезда на востоке. («Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Евангелие от Матфея, 2, 2.)

Они помолчали.

— Тихо.

— Очень.

— На тебя это подействовало?

— Что?

— Плач.

— А ты как думаешь?

— Думаю, что ты либо очень сильный, либо очень равнодушный.

Ленард слегка пожал плечами и показал на стоящего в дверях Паскаля.

— Это они сильные... на их стороне Бог, их матушка и дух Пирса.

— Галлахер... он ужасен.

Ленард ничего не ответил, и она сказала:

— Психопат.

— Не могу судить... Я здесь... как и ты.

— Почему?

Ленард покачал головой, как будто у него не было сил ответить на такой сложный вопрос. «Проповедник насилия,— подумала она,— проповедник насилия, который утратил Символ Веры». Но тут он взглянул на нее, и у нее возникло совсем другое ощущение: загадочности, неопределенности, почти страха.

— Ты раздражен?

— Нет.

— Тем, что я сказала.

— Нет.

— Тем, что я сказала ночью? Ты все еще злишься?

Он опять покачал головой. Она вспомнила, как он сказал, что, если дойдет до убийства, Галлахер слов на ветер бросать не будет. Его национальная и политическая непримиримость была искренней. Он был естественным орудием террора и беспорядка. Мир и гармония ему не нужны — и никогда не будут нужны. Когда все это кончится — если, конечно, такие, как Ленард, удержатся у власти,— они от него избавятся. Лайнем вдруг поняла, что молчание Ленарда куда страшнее, опаснее, чем гневные филиппики Галлахера. За внешней мягкостью и сговорчивостью скрывается клиническая, ледяная отрешенность. В первый раз она почувствовала себя совершенно одинокой.

Лайнем отвернулась от окна посмотреть, что делается в гостиной. Каноник сидел за столом, закрыв глаза и опустив голову на руки. Жена полковника опять полулежала в кресле, полковник сидел с ней рядом, зажав ее руку между ладонями. Лайнем отвернулась, чувствуя, что им бы хотелось побыть наедине.

— Каждый жил своей жизнью,— с чувством (Харриет это заметила) проговорил полковник.

Она ответила не сразу:

— Отдельной жизнью... я понимаю.

— Я еще тогда сказал... и говорил после этого, что если когда-нибудь...— Он осекся.

— Ты не состоялся как муж и любовник?

Полковник кивнул и сказал:

— Ты была свободна.

— Свободна?

— Да.

— В то утро как женщина я умерла... Это ты понимаешь?

Из его налившихся кровью глаз, вдоль носа, исчезая в седых подстриженных усах, медленно потекли слезы. Он заговорил снова, голос его срывался, замирал:

— С моей стороны это было... и есть... низко... могу сказать лишь... что несмотря на... мою глубочайшую искреннюю любовь к тебе...— Он покачал головой.— У меня нет слов

— Слова тут ни при чем... Я любила не тебя, а твой образ, Нобби. Образ, который я сама создала.

— Если нам суждено сегодня умереть, давай умрем друзьями.

— Хорошо сказано.

— Ты серьезно?

Харриет кивнула головой.

— Дружба лучше, чем любовь... гораздо лучше.

И она поцеловала мужа так же, как дочь: бережно, в лоб — так живые целуют своих мертвых.

Дверь в буфетной открылась, и в гостиную бесшумной походкой вошел Галлахер. Он умылся, смочил и расчесал волосы, и вид у него теперь был подтянутый, уверенный, почти что праздничный. Подойдя к Лайнем, он сказал:

— И что же на моем лице написано, Лайнем? Бандит? Преступник?

Она посмотрела на него с нескрываемым отвращением. Галлахер улыбнулся и спросил:

— Может, поцелуемся?

— Брось, Джек.

— Я — Ирландия. Она любит меня и должна это доказать.

Иезуит. Иезуитская логика. Хочет продемонстрировать сидящим за столом, что она находится с ним в тайном и постыдном сговоре. Ленард предупредил ее и теперь отвернулся, оставив один на один с ухмыляющимся шантажистом. Она встретилась глазами с Паскалем, потом с Пачелли. Если сейчас она откажется и в результате Галлахер взорвется опять, Ленард и братья очень рискуют. Ленард посмотрел на нее; его взгляд, если она правильно поняла, говорил: «Это же чепуха, чего тебе стоит — сделай и забудь». Видя, что она колеблется, Галлахер подошел вплотную.

— Несколько часов назад ты хотела с ним трахнуться,— прошептал он так, чтобы никто больше не слышал, а затем, уже нормальным голосом, добавил: — Поцелуй... не больше.

Он подошел к ней вплотную, и она почувствовала, что ее сейчас вырвет. Их губы соединились, он взял ее за подбородок и, не закрывая глаз, пытливо на нее глядя, проник ей в рот языком. Когда губы разомкнулись, она испытала такое гадливое чувство, будто ее осквернили, будто ее поцеловал осклабившийся труп. Ей хотелось истошно закричать, вцепиться ногтями в это ухмыляющееся лицо. Невероятным усилием воли она переборола подступившую тошноту и сохранила невозмутимое выражение лица.

— Ты не сваришь кофе? — услышала она позади бесстрастный голос Ленарда.

Лайнем бросилась в буфетную, чувствуя на себе внимательный взгляд Харриет. Дрожа, она нагнулась над раковиной и прополоскала рот. «Почему я дрожу? — подумала он.— Ведь через три часа, даже меньше, у меня есть все шансы умереть». Не тот она была человек, чтобы потерять самообладание от одного иудиного поцелуя, отреагировать так болезненно, испытать такое отвращение. Чисто интуитивно она чувствовала: в этом поцелуе было что-то еще, что-то неясное, скрытое — что? Галлахер, так же как и они все, не мог предсказать, что произойдет с ними через несколько часов. Наливая чайник, она подумала, что женщина, которая еще вчера вечером вызывала у нее симпатию и жалость, теперь вызывает сильнейшую зависть. Их жертвы вели себя с достоинством. Лайнем же примкнула к палачам, к армии проклятых. Она отдавала себе отчет: подобные мысли были изменой общему делу. Ожидая, пока закипит чайник, Лайнем достала пистолет и посмотрела на него без прежнего отвращения.

— Зачем тебе это понадобилось? — спросил Галлахера Ленард. Они стояли у окна.

— Затем, что она мягкотела, по любому поводу распускает слюни.

— Это не помогло.

— Я, значит, зверь, безрассудный убийца, это она так сказала, на полном серьезе... а сама-то кто такая — истеричка, безвольное, пустое, мелкобуржуазное трепло... непонятно, зачем было Берку ее сюда посылать?

— Я этого тоже не понимаю.

— Она ведь может провалить все дело.

Ленард отрицательно покачал головой.

— Я этого не допущу,— сказал Галлахер.

Ленард ничего не ответил: он понял, на что намекает Галлахер. Такие, как Галлахер, никогда не смогут руководить, стоять у руля. В нем национальный недостаток проявился в полной мере — слишком горяч, недальновиден. Недостаток этот проявлялся в каждом его слове, в каждом поступке. Осмотрительность Ленарда была качеством профессиональным, и, хотя от постоянного нервного напряжения у него и образовалась язва, хотя он мучился бессонницей и его постоянно одолевали сомнения, Ленард знал — он профессионал.

— Оставь ее в покое, Джек,— сказал он.— Научится.

По аллее подъехал к дому автобус Би-би-си; он остановился на лужайке за стоящими полукругом бронетранспортерами. На крышу автобуса поднялись два человека, укрепили на штативе камеру и повернули ее в сторону дома.

— Глаза мира,— процедил Галлахер.

Ленард кивнул. Галлахер посмотрел на часы. Девять сорок пять.

— А если к двенадцати ребят здесь не будет?

— Тогда будем действовать.

— «Будем»?!

И опять Ленард понял, на что намекает Галлахер. Помимо пятерых, убитых им в деле, на его счету был житель Белфаста, хладнокровно расстрелянный за измену. Теперь же он предполагал, что Ленард попросит его казнить старика, которого они усыпили и положили под окном, тем самым давая понять, что делать «черную работу» способен только, он, Галлахер, и никто другой.

— Это я возьму на себя,— сказал Ленард.

— Ты?!

Ленард кивнул. Галлахер не мог скрыть удивления.

— Как прикажете, командир.

Что ж, в самом скором времени Галлахеру придется убедиться, что он, Ленард, от своих слов не отступает. Пять слов в ответ на немой вопрос: «Это я возьму на себя». Теперь отступать было некуда; придется действовать, хотя интуиция подсказывала, что от подобных действий следовало бы отказаться.

Шум мотора подъехавшего автобуса почему-то встревожил каноника Пламма. Он бросил взгляд на часы, а затем подошел к полковнику и что-то ему сказал. Полковник утвердительно кивнул и показал рукой на книжные полки. Каноник подошел к полкам, пробежал глазами по корешкам, после чего достал одну книгу и минут пять листал ее. В гостиную с кофейником на подносе вошла Лайнем и стала разливать кофе. Сделав глоток, каноник, обращаясь к Ленарду, сказал:

— Сегодня воскресенье; мне бы хотелось прочесть короткую проповедь. Вы не возражаете?

— Пожалуйста,— сказал Ленард.

Каноник сел во главе стола, полковник — справа от него, Харриет — слева. Он водрузил на нос очки, откашлялся и начал:

— «Тяжелое бремя лежит на детях Адама, с самого дня их появления на свет из материнской утробы и вплоть до ухода в землю, мать всего сущего. Не бойтесь смертного приговора. Помните, что было прежде и что воспоследует в дальнейшем. Приговор этот ниспослан Господом всякой плоти. Время смерти значения не имеет, равно как не имеет значения место и способ свершения приговора. А потому будьте готовы, стремитесь к высоким идеалам. Будьте собой. Не изображайте любовь, но в то же время, не будьте циниками, лишенными любви, ибо пред всем и всяким срыванием покровов любовь вечна, как трава. Взращивайте в себе силу духа, дабы защитить себя во внезапном несчастье».

Каноник сделал короткую паузу и продолжал:

— «В войне и мире жертвы бессчетны. Не растравляйте себя фантазиями. Многие страхи рождаются от усталости и одиночества. Все вы такие же дети вселенной, как деревья и звезды; у вас есть право быть здесь, и, вне зависимости от того, ясно вам это или нет, вселенная развивается так, как ей развиваться должно. А потому живите в мире с Господом, каким бы вы его себе ни представляли. В шуме жизни храните мир с душой вашей. При всем своем притворстве, при всех своих тяготах, противостояниях и рухнувших надеждах... мир все же прекрасен».

В наступившей тишине отчетливо прозвучал голос Галлахера:

— Introibo ad altare Dei... [1]

Ленард одними губами закончил:

— ...Ad Deum qui laetificat juventutem meam [2].

Прочитанные каноником строки Харриет слышала впервые. Но, скрывая волнение, она посмотрела сначала на мужа, затем на Пламма и сказала:

— Очень уместно... благодарю вас, каноник.

[1] Я взойду на алтарь Господа... *(лат.)*.

[2] ...Господа, что услаждает молодость мою *(лат.)*.

Пламм закрыл том «Избранных воскресных проповедей», на минуту задумался, а затем встал и направился в сторону Ленарда и Галлахера. Не глядя ни на того, ни на другого, он сказал:

— Я хочу... чтобы вы понимали: мне глубоко претят ваши методы и ваши политические взгляды, однако в душе я не питаю к вам ненависти.— Он помолчал.— Я часто думал и говорил вещи... недостойные... служителя церкви... Мы такие, какими нас сделала история.

— Историю можно изменить,— бросил Галлахер, почесав подбородок курком пистолета.

Каноник пропустил эти слова мимо ушей. Он протянул Ленарду руку. Чтобы обменяться с Пламмом рукопожатием, Ленарду пришлось переложить пистолет из правой руки в левую. Галлахер, хоть и не сразу, последовал его примеру. Когда каноник направился к братьям Макалир и к Лайнем, Галлахер шепнул Ленарду на ухо:

— Мягко стелет — на рай себе зарабатывает...

Ленард не ответил. Дождавшись, когда Пламм сядет, полковник сказал:

— Мне бы хотелось присоединиться к тому, что только что прочел и сказал каноник.

На несколько минут воцарилась тишина, после чего Ленард заметил:

— Не забудьте, сэр, что между нами идет война.

Все ждали, что Ленард добавит что-то еще, но вместо него это сделал Галлахер:

— Уж вы-то знаете, что такое война. Должны знать.

Перед домом рядом с английским офицером, который переговаривался по радиотелефону, стоял Колдуэлл.

— Я понимаю,— дважды повторил офицер.

Он опустил радиотелефон и покачал головой. Колдуэлл посмотрел на озеро, потом на часы и сказал:

— Неужели их принесут в жертву?

— У них противогазы... четыре пистолета и три мишени — стреляй не хочу... врываться в дом — безумие.

К этому времени солнце высоко поднялось над озером и лесом и залило гостиную ослепительным августовским светом. Ленард стоял у окна, не спуская глаз с распростертой на траве фигуры Алекса и с камеры на крыше автобуса. От легкого ветерка по гладкой поверхности озера пробежала рябь. Стрелки на каминных часах неудержимо стремились к двенадцати. Пришло время действовать. На всех трех лицах сидевших за столом людей застыло выражение ужаса и отрешенности. Галлахер пристально смотрел на Ленарда. С первым ударом часов братья Макалир встали со своих мест. Лайнем сидела в углу с неподвижным лицом. Прозвучал последний, двенадцатый удар, Ленард отступил к стене, чтобы снаружи не увидели, куда он целится, и, придерживая левой рукой запястье правой, дважды выстрелил в покрытую холщовым мешком голову. После первого выстрела тело дернулось, после второго не шелохнулось. Галлахер едва заметно кивнул. Лайнем обратила внимание, что у Ленарда, который перезаряжал пистолет, слегка дрожат руки. Сама она ощущала полную опустошенность, как будто внутри отказал какой-то механизм, реагирующий на происходящее вокруг. Братья Макалир перекрестились. Лица сидевших за столом выражали полное непонимание.

Первым пришел в себя полковник.

— Что?.. Зачем вы стреляли? — проговорил он.

Ответа не последовало.

Лайнем почувствовала какое-то движение и подняла голову. У окна стояла Харриет. Лица ее Лайнем видеть не могла, но по вздрагивающей спине поняла, что та плачет. Когда же вид этого беззвучного горя стал ей невмоготу, Лайнем выбежала из комнаты и бросилась в уборную. Унитаз из делфтского фаянса с сиденьем из красного дерева — чем не трон! В уборной она пробыла довольно долго, сидела стиснув зубы и сжав кулаки, однако дрожь унять была не в силах. Скрипнула дверь. Галлахер. Лайнем узнала его по джинсам и высоким ботинкам на шнуровке. Она даже не подняла головы, никаких чувств он больше не вызывал. Когда же как ни в чем не бывало он спросил: «Что с тобой, Лайнем?» — она приподнялась и захлопнула дверь обеими ногами. Постепенно ей стало лучше, по застывшим пальцам побежала кровь, она согрелась.

Когда она вернулась в комнату, улыбались только братья Макалир. Лайнем села в стороне, наблюдая за тем, как на выгоревшие доски пола ложится полуденная тень. Яркий неподвижный свет, напряженная тишина произвели на нее такое гнетущее впечатление, что она вскочила. И тут же по всему дому прокатился громкий, усиленный мегафоном голос: «Полковника Армстронга — на два слова».

Ленард кивнул полковнику. Лайнем подошла к окну, остановилась позади Ленарда и, чувствуя подступающую тошноту, заметила то, отчего беззвучно плакала Харриет: в траве, скрючившись как эмбрион, в твидовом костюме и в высоких фермерских сапогах лежал Бойд-Крофорд. Офицер произнес всего несколько фраз. Полковник повернулся и вошел в дом. Ленард бросился ему навстречу.

Лайнем видела, как они, о чем-то разговаривая, удаляются по коридору. Два раза они останавливались, не глядя друг на друга. Затем полковник отошел в сторону и, подойдя к широкой пологой лестнице, стал смотреть на висевший на стене пейзаж кисти итальянского мастера. Он ждал. Ленард же, задумчиво опустив голову, уставился на потертые от времени каменные плиты, которыми был вымощен пол. Он примет решение самостоятельно, не посоветовавшись с ними? Ясно было одно: поступившее предложение (или угроза) застало его врасплох. Но вот он поднял голову, поймал на себе ее немигающий взгляд, отвернулся и пошел навстречу полковнику. По тому, как они говорили, как косились по сторонам и прислушивались, Лайнем поняла, что какого-то компромисса достичь удалось. Она ощутила присутствие Галлахера; тот, как и она, напряженно вслушивался в разговор. Не глядя на него, она сказала:

— Слышишь, о чем они говорят?

— Он знает, что делает.

— А ты?

Галлахер выдержал паузу, а потом переспросил:

— Что — я?

— Знаешь, что он делает?

— Мы для него значения не имеем.

Циничное замечание. Лайнем пропустила его слова мимо ушей. Теперь она ощущала только одно: всепроникающий, с каждой секундой увеличивающийся страх. О чем они договорились?

До нее донеслось (или ей послышалось) слово «разоружиться», и Ленард кивнул. Они направились обратно в гостиную. Полковник шел впереди. Лайнем не отрываясь смотрела на Ленарда. И вновь ей показалось, что он нарочно отводит взгляд. Входя следом за полковником в гостиную, Ленард сказал:

— Их скоро доставят.

Братья Макалир радостно засмеялись.

— Сила.

— Молодец, Мартин.

— С самого начала вел себя правильно.

— Он никогда не ошибается.

Галлахер настороженно улыбнулся. Оба — Лайнем и он — вопросительно смотрели на Ленарда. В его голосе, когда он объявил об освобождении заключенных, победительных ноток не слышалось.

— Теперь можно и выпить, — сказал он голосом еще более невеселым.

Полковник наполнил его бокал. Ленард взял виски и отошел к камину. Когда Галлахер направился к нему, он почему-то очень резко скомандовал:

— Не расслабляться! Всем быть начеку!

Галлахер продолжал подозрительно, чуть ли не с угрозой смотреть на Ленарда. Услышав приказ, он неохотно вернулся к двери. Они опять заняли свои места. Лайнем никак не могла встретиться с Ленардом глазами. Наконец спустя пять минут она взяла себя в руки и подошла к нему.

— Их сейчас доставят?

— Да.

— Когда?

— Скоро. Через час или даже раньше.

— Почему надо было ждать, пока... как глупо...

Ленард пожал плечами.

— Это уловка, — вырвалось у нее.

— Если так, то мы будем действовать по плану.

В глазах Харриет и каноника стоял немой вопрос, обращенный к полковнику.

— Думаю, все будет в порядке,— загадочно произнес он.

— Слава Богу,— отозвался каноник.

Ленард допил виски и налил еще. Решение было принято, но, чем больше он о нем думал, тем больше сомнений оно вызывало. В течение последних трех лет жизнь его была постоянным и мучительным выбором. К трудным решениям он привык, однако на этот раз необходимо было все очень тщательно взвесить. Расправа с первой жертвой значительно ослабляла его позиции. Вторую порцию виски он оставил нетронутой на каминной доске, возле часов. Двенадцать тридцать. Вертолет должен быть в два — если, конечно, за эти полтора часа не произойдет ничего непредвиденного... Внезапно Ленард ощутил сильную усталость. Он подошел к дивану, лег и закрыл глаза. Прошел час.

— Это ловушка, Мартин,— услышал он у самого своего уха голос Галлахера.

Ленард открыл глаза. Глядя в это ледяное, непроницаемое лицо, лгать было невозможно.

— Надо подождать.

— Пока нас сцапают?

— Мы должны ждать.

— Ты врешь.

— Я устал.

— С чего бы это?

— Легче на поворотах, Джек.

— Так дела не делаются. Я хочу знать.

Ленард посмотрел на Лайнем. Он понимал: она, как и Галлахер, чувствует, что произошло нечто неожиданное, непредусмотренное. Но посвящать их в свои планы он был не намерен.

— Джек, не дави на меня.

Уяснив, что из Ленарда ничего не вытрясешь, Галлахер направился к двери, но Ленард увидел, что тот подчинился, и тихонько присвистнул, подзывая его к себе. Галлахер вернулся, наклонился к Ленарду, и тот что-то прошептал ему на ухо. Галлахер выпрямился. Некоторое время он стоял неподвижно, о чем-то размышляя, а затем кивнул и чуть ли не с состраданием посмотрел на Лайнем. У нее тревожно сжалось сердце. Что Ленард сказал ему? Посвятил в свои планы? Но почему не ее?

— Вы о чем-то между собой договорились.

Ленард кивнул.

— О чем?

— Скоро узнаешь.

Полковник оторвал глаза от книги Дж. Кларка Наттела «Цветущие кустарники», открытой на главе XVIII: «Вечнозеленые рододендроны».

Он уже в третий раз читал один и тот же абзац и теперь рассеянно перелистывал книгу, разглядывая превосходные цветные иллюстрации. Время от времени он показывал иллюстрации жене, которая кивала и говорила «потрясающе» или «великолепно». Каноник Пламм продолжал просматривать «Избранные воскресные проповеди». Время от времени он отмечал какое-то место в книге, и Харриет, не выпуская изо рта сигарету, внимательно этот абзац прочитывала.

В десять минут третьего все услышали шум приближающегося вертолета. Как только шум стих, Ленард поднялся с дивана и сделал полковнику знак следовать за ним. Когда они вышли в коридор, Ленард сказал:

— Если они здесь, двое из вас дойдут с нами до вертолета.

— Когда вы разоружитесь?

— Когда вы вернетесь.

Полковник спустился с крыльца, обогнул бронетранспортер и меньше чем через минуту вернулся. Еще стоя в дверях, он сказал Ленарду:

— Они здесь.

Ленард вошел в комнату и направился к Лайнем. Взял ее сумку, вынул оттуда пистолет и положил себе в задний карман. Окончательно сбитая с толку, ничего не понимая, она смотрела, как он подходит к Паскалю и что-то говорит ему на ухо. Паскаль вручил Ленарду свой пистолет. Затем он подошел к Пачелли, и тот тоже отдал ему пистолет. Один из пистолетов Ленард передал Галлахеру.

— Что ты делаешь? — не выдержала Лайнем.

Ленард не ответил. Он отошел к камину и встал под огромным позолоченным

зеркалом. Галлахер отошел от окна и занял место в дальнем конце комнаты, чтобы видеть одновременно всех присутствующих. И тут только Ленард заговорил — тщательно подбирая слова и так тихо, что всем приходилось напрягать слух:

— Они предложили: либо ничего, либо... обмен... трое на трое...— Он помолчал.— Ценность тех, кого они сегодня выпустили, вам известна... Я вынужден был выбирать... и я выбрал.

Лайнем слушала и не верила своим ушам: эти куцые слова делали ее соучастницей в убийстве, обрекали на медленную смерть в тюремной камере.

Ленард окинул Паскаля и Пачелли грустным взглядом:

— Простите, ребята... О вашей матери позаботятся.

Он повернулся к Лайнем. Все, что он собирался сказать, не имело теперь никакого значения. Внезапно во взгляде этих полузакрытых глаз она прочла мелочность, трусость, предательство. Не успел он открыть рот, как она в сердцах крикнула:

— Себя-то ты выбрал!.. Господи, какой же ты трус!

Лайнем так дрожала, что с трудом могла говорить. Она кивнула в сторону Галлахера:

— Его ты выбрал... его, не меня...

— Он делает свое дело лучше, чем ты — свое,— сказал Ленард и еле удержался, чтобы не добавить: «И братья – тоже».

— Он псих, и ты это знаешь,— звенящим голосом сказала она.

— Если уж на то пошло, то и я псих... не мне судить... и потом, решение принято... прости.

— Ты не... Капитан и его помощник первыми бегут с тонущего корабля. Когда ты пойдешь под трибунал, командир, о тебе будут слагать баллады... «Ленард» станет именем нарицательным — как Иуда.

Ленард был уязвлен. То, что сказала сейчас Лайнем, не раз приходило в голову за эти два часа и ему. Но он не сомневался: его решение, при всех его минусах, получит поддержку и у Берка, и в Военном совете. Два специалиста по взрывным устройствам и агитатор (к тому же довольно неблагонадежный) не шли ни в какое сравнение с выпущенными на свободу, с их отвагой, энергией и преданностью. Ему надо было выбрать двоих из пяти, и выбор его остановился на Галлахере и самом себе, как на самых полезных для дела. Да, враги будут теперь обзывать его так же, как только что обозвала Лайнем,— самым обидным для солдата словом. Но ведь он стрелял в присутствии свидетелей, в окружении телевизионных камер, чем лишил себя возможности остаться, даже если б ему такую возможность предоставили. Если бы убийство совершил не он, а кто-то из братьев, Ленард выбрал бы его. Но Лайнем осталась бы в любом случае...

— Это тебе не морское путешествие,— донесся до него голос Галлахера,— где капитан ценой собственной жизни спасает пассажиров. Это война: он приказывает... ты подчиняешься... только и всего.— И уже мягче Галлахер добавил: — Если ты так высоко ценишь свою жизнь, можешь идти — останусь я. Это, ребята, и вас тоже касается...

Ленард хотел было вмешаться, но тут Паскаль и Пачелли сказали одновременно:

— Я остаюсь, Мартин.

— Я тоже, Мартин прав.

— Что скажешь? — Галлахер повернулся к Лайнем.

— Ты действительно готов остаться?

— Действительно.

Так бывает: благородные люди на поверку оказываются подлецами, а подлецы — благородными людьми. По-прежнему не веря своим ушам, она переводила взгляд с Ленарда на Галлахера. Блефует? Ей надо было только сказать «да». И тут вдруг Лайнем поняла: Галлахер предложил ей поменяться местами, оттого что презирал ее, ни во что не ставил; по сути дела, он щеголял своей удалью убийцы, издевался над ее мягкотелостью и совестливостью. Отнюдь не будучи великим психологом, он, предоставляя ей право выбора, щекотал ей нервы с иезуверским психологическим расчетом. Принять его предложение было бы куда постыднее, чем обречь себя на самые тяжкие испытания. Теперь-то она понимала: каждое слово, каждый шаг неумолимо подводил ее к этому мгновению, мгновению ужаса и унижения.

— Я предпочитаю сидеть в тюрьме, чем иметь дело с любым из вас,— еле слышно проговорила она.

— Ничего удивительного,— сказал Галлахер.

Под ногами заскрипел гравий. Ленард подошел к окну: к дому опять приближался Колдуэлл.

— Мы берем вас и каноника,— сказал Ленард полковнику.

Галлахер обнял Паскаля и Пачелли и издали, с того места, где стоял, крикнул Лайнем:

— Slán [1].

Лайнем не ответила.

Ленард пожал руки братьям и встретился глазами с Лайнем. Когда он подошел к ней, она сказала:

— Предложив мне поменяться с ним местами, он хотел унизить меня... Лучше умереть, чем увидеть, как вы празднуете победу. Не дай Бог.

Ленард о чем-то задумался. О чем — неизвестно. Тем же невозмутимым голосом он сказал:

— Понятно.

Когда он повернулся к выходу, Галлахер отозвал его в сторону. Чувствуя, что́ он собирается сказать, Ленард заметил:

— Это она не к тому.

— К тому, Мартин, к тому... Кто... почему... когда... для чего... Она выложит им все... мы не можем ее здесь оставить!

— Таков договор: трое на трое.

Галлахер прикусил губу.

— У меня было два часа на раздумье,— успокоил его Ленард.— Я просчитал все варианты! Этот — единственный.

— Я останусь вместо одного из братьев.

— Нет.

— Я хочу, Мартин.

— Подложить бомбу всякий может... а такие, как ты, нужны.

— Мы ведь солдаты... мы должны... мы не можем бросить их, Мартин... тем более обоих.

— Когда я пойду, пойдешь со мной. Понял?

В первый момент Ленарду показалось, что Галлахер не подчинится. Не глядя на него, он переспросил:

— Понял?

— Понял,— сказал Галлахер.

Ленард сделал знак полковнику и канонику Пламму следовать за ним. Галлахер напоследок махнул свободной рукой братьям — дескать, не поминайте лихом. В этом взмахе была какая-то обреченность. Братья Макалир встали и отдали честь. Ленард вяло отсалютовал и вышел. Когда комната опустела, Лайнем с потерянным видом села спиной к окну. Далеко не сразу она увидела устремленные на себя глаза Харриет, услышала ее голос:

> Живые мертвецы грешат на Божий свет:
> «Живется тяжко нам, под солнцем счастья нет».

Когда Харриет вышла из комнаты, к Лайнем с одинаковыми застывшими улыбочками подошли Паскаль и Пачелли. Она окинула их неподвижным взглядом.

— Они будут мучить... пытать нас,— вырвалось у нее.

— Не думай об этом, подружка,— сказал Паскаль.

— Все это выдумки,— добавил Пачелли.

— Должен же кто-то страдать.

— Пройдет годков пять — и мы еще посмеемся.

— Уж это точно.

— Покажи им, что ты не боишься, Белла.

— Встань, ты же солдат.

— Наберись храбрости... встань рядом с нами.

Она встала между братьями, и они, как и накануне вечером, поцеловали ее в обе щеки.

[1] Счастли́во *(ирл.)*.

Стоя в дверях, Харриет слышала, как стрекочут телекамеры, видела, как репортеры снимают четырех мужчин, идущих по гравиевой дорожке к ожидающему их вертолету. Когда они скрылись из виду, она подошла к Алексу, стала возле него на колени и открыла ему лицо. Обе пули вошли в темя, оставив лицо в неприкосновенности. Харриет сняла туфлю и, чтобы закрылся рот, подложила ее под подбородок, а потом, услышав краем уха, как бегут по гравию к крыльцу солдаты, поспешно, двумя большими пальцами, закрыла убитому глаза. Солдаты, пробежав мимо, ворвались в дом. Рядом с ней опустился на одно колено английский офицер и взял ее за локоть.

— Миссис Армстронг.

— Да.

— Мы все это сами сделаем.

— Нет, лучше я... друг... любимый, любимый друг, такой добрый, человек, вы понимаете?

— Конечно.

— Человек.

Она покачала головой. Черты лица Алекса стерлись.

— Вам лучше пройти в дом.

Офицер мягко, но настойчиво тянул ее за локоть.

— Нет... я... я в порядке... в полном порядке.

С того места, где Харриет стояла на коленях, видно было, как из дома, в сопровождении солдат, вышли братья Макалир и Лайнем. Лайнем замедлила было шаг, собираясь что-то сказать, но один из солдат довольно бесцеремонно толкнул ее в спину. Харриет опустила голову и заплакала. Над домом поднялся вертолет, сверкнули на солнце лопасти винта, и огромное насекомое полетело на юг, над озером, лугом, потом лесом.

Когда она подняла голову, полковник и каноник давали интервью. Колдуэлл стоял возле телевизионщиков. Один репортер и оператор с камерой в руке направились к крыльцу. Офицер встал и сделал им знак, чтобы они уходили. Но это их не остановило, и офицер сказал:

— Джентльмены, пожалуйста... потом.

Увидав, что они приближаются, Харриет встала.

— Я не против, пусть только Алекса не снимают...— сказала она.

Журналист и оператор остановились в трех ярдах. Застрекотала камера.

— Что вы хотите узнать? По-моему, все и так ясно!

— Насколько я понимаю, вас жестоко избили, миссис Армстронг,— начал репортер.

Харриет покачала головой.

— У вас все лицо в синяках.

— Ерунда.

— Какие чувства вы сейчас испытываете?

— Какие чувства?.. В связи с чем?

Репортер смутился и замолчал. Харриет терпеливо ждала.

— Всего несколько минут назад вы ведь находились между жизнью и смертью,— сказал репортер.

Харриет кивнула.

— Да... итак... какие чувства я испытываю...

Она помолчала — по-видимому, ей трудно было говорить. Офицер покачал головой, давая репортеру понять, что интервью закончено.

— Нет, нет... я отвечу... сейчас я испытываю чувство... опустошенности... невыразимого отчаяния... вот какое я испытываю чувство... отчаянье... но оглядитесь по сторонам.

И Харриет посмотрела поверх стоящих полукругом мощных боевых машин и одетых в военную форму людей — на длинное озеро, на огромный лес за ним, на ослепительное летнее солнце и бескрайнее небо.

— Оглядитесь вокруг.

Ее лицо болезненно сжалось.

— Мир по-прежнему прекрасен.

Она кивнула, попыталась улыбнуться и повторила еще раз:

— Прекрасен.

■

БРЕНДАН БИЭН

Говоря о веревке

Трагикомедия в трех актах

Перевод с английского ИОСИФА БРОДСКОГО

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Арестанты	*Надзиратели*
Данлейн	**Шеф (Корпусной или Старшой)**
Сосед	**Риган**
А. (тяжелый случай)	**Криммин**
Б. (тридцатилетний)	**Донелли (1-й надзиратель)**
Бессрочник	**Новенький (2-й надзиратель)**
Новенький	**Начальник тюрьмы (Хозяин)**
Миксер	**Хили**
Английский голос	**Палач («Сам»)**
1-й малолетка	**Дженкинсон**
2-й малолетка (Шейбо)	
В. (парень с острова)	
Г. (растратчик)	
Д. (букмекер)	

АКТ ПЕРВЫЙ

Пение арестанта в одной из камер:

Здесь холод-голод, а я так молод,
И мышь скребется, мешает спать.
Тюрьма ночами
Гремит ключами,
И их далёко вокруг слыхать.

Занавес поднимается.

Сцена представляет собой нижний этаж корпуса Б-1 в городской тюрьме. На металлических дверях камер — таблички с именем, возрастом и вероисповеданием обитателя. На двух камерах таблички отсутсвуют.

В левой части сцены — площадка, ведущая к административному центру тюрьмы; правая кончается стеной, стоящей под прямым углом к публике. В стене — окно, в которое можно увидеть прачечный двор женской тюрьмы. На торце стены — лицом к публике — огромными, типа вывески викторианским шрифтом слово «ТИХО!».

Голос арестанта. Чуть солнце встанет, как мусор тянет:
«Займись приборкой, тяни свой срок».

Copyright 1956 by Brendan Behan and Theatre Workshor
© Перевод И. А. Бродского, 1994.

Ах, друг любезный,
Замок железный,—
А дом родимый далек, далек.

Хрипло и громко звякает треугольник — инструмент, с помощью которого в английских тюрьмах подаются сигналы; вроде нашей сирены или рельса. Торопливо входит надзиратель, позванивая связкой ключей, направляется к свободным камерам, заглядывает в глазки, вынимает из кармана две таблички и прикрепляет их к дверям камер.
Потом подходит к остальным дверям и отпирает их.
Тем временем певец в подвале переходит к третьему куплету:

Ах, мусор шнырит и в дырку зырит,
А зэк рыдает в своей норе...

но успевает дойти только до второй строчки, когда надзиратель перегибается через перила и орет.

Надзиратель. Мусор слышит не хуже, чем зырит! Прекрати скулеж, не то и впрямь наплачешься. Могу, между прочим, спуститься — завоешь по делу.

Пение прекращается.

(Выпрямившись, надзиратель кричит на весь корпус.) Корпуса Б-2, Б-3 и Б-1, стать у дверей! Выходи на оправку! Выходи! Начинай приборку! *(Уходит направо.)*

Арестанты А. и Б. выходят из камер, берут ведра и щетки и начинают обычную утреннюю приборку. А.— мужчина лет сорока, у которого за плечами две судимости; сейчас он приговорен к пяти годам, а то и больше. Б.— помягче, приятной наружности, держится непринужденно.

А. Неплохой денек для скачек, а?

Б. Боюсь, сэр, сегодня не выберусь. Слишком много дел в офисе. Ты слышал ночью суматоху в корпусе Д.? Может, помилование пришло?

А. Ага, хотя там два кадра с вышкой. Интересно, кому скостили.

Б. Данлейн должен знать, спроси-ка его.

А. Данлейн!

Голос из камеры. Эти ручки раскроют объятья,
Эти губы хочу целовать я,
Эти глазки, чей блеск...

А. Эй, Данлейн! Ты собираешься прибирать свое гнездышко?

Голос. Там, где синие тени в плену
У заката, там я отдохну,
И заботы дня
Отлетят от меня...

Данлейн появляется в дверях своей камеры; он натирает тряпкой эмалированный ночной горшок. Старик, проведший большую часть своей жизни по тюрьмам, он, в отличие от большинства старожилов, еще не окончательно отупел в заключении.

Данлейн. ...Лишь вернусь в родную страну.

А. Чего ради ты его так полируешь? Это что, по-твоему, Железнодорожный кубок?

Данлейн. По случаю важного гостя. Хили из Департамента юстиции будет сегодня инспектировать камеры.

А. Да он же недавно был тут.

Данлейн. Он всегда появляется накануне казни. Наверное, он в Бюро Ремней и Веревок.

Б. Слушай, Данлейн. Ты ведь в угловой камере, там, где все эти трубы отопления, так что слышишь все новости, стоит только приложить ухо...

Данлейн. Ну и?

Б. Что там за шухер был ночью, в корпусе Д.? Что, этому фраеру отменили вышку?

Данлейн. Минуточку, я только водворю на место свой фарфор, а потом все расскажу. Во-первых, кого именно ты имеешь в виду? Того деятеля,

который забил насмерть жену тростью с серебряным набалдашником, подаренной ему к юбилею Объединенным Управлением доплаты и Возмещений блаженной памяти Великой Южной железной дороги? Ага, ему отменили. Хотя почему ему, а не тому, второму, этого я в толк не возьму.

А. Ну, они просто посчитали, что он убил ее, и все. Он же не кромсал ее потом ножом, как мясник.

Данлейн. Это точно, второй малый — настоящий мясник. Настоящий поступок человека с болот. Почти так же плохо, как палить из дробовика или намешать химикалиев в супчик. И конечно, этот тип с серебряным набалдашником на голову выше мясника. С любой точки зрения.

А. М-да, и, полагаю, можно ждать, что Серебряный Набалдашник скоро явится сюда.

Б. Верно, у нас тут две вакансии.

А. Ага, уже новая табличка.

Данлейн. Небо свидетель, ты прав. *(Подходит и читает табличку.)* Нет, это вовсе не он, это другой парень, получивший два года за... У, грязное животное! Полюбуйтесь только, что натворил этот гнусный скот! Ну, знаете, совать мне под бок таких типов! Что они себе думают — что тут свинарник?

Б. Тут еще один, между прочим.

Данлейн. Не с теми же, надеюсь, наклонностями. *(Читает табличку.)* Ну ничего — это, слава Господу, просто убийца.

Остальные прочитывают таблички и шмыгают в свои камеры.

Что ж, вообще-то я лично ничего не имею против Серебряного Набалдашника. Убить жену — это вполне естественная вещь, что может случиться и с лучшим из нас. Но такое гнусное животное слева...

Б. Ну, здесь он будет класть свой помет, как и все.

Данлейн. Это еще не значит, что его нужно класть рядом с цветущей лужайкой. Бандиты, воры, убийцы — пусть, могу терпеть, но когда появляется что-нибудь в таком роде — тогда спокойной ночи, Джо Дойл.

А. *(показывая пальцем на 22-ю камеру).* Да, этому парню крупно повезло.

Б. Трупно повезло.

А. Это же надо, два человека ждут вышки, но именно этот выкрутился. Вообще-то они не любят отменять одному и вешать другого.

Данлейн. И, опасаясь, что выйдет ни рыба ни мясо, для вящей точности вздергивают обоих.

Все трое стоят, опираясь на швабры.

Б. Чу́дная это, должно быть, вещь, когда в последнюю минуту тебе объявляют, что не вздернут. Ты там валяешься весь в поту и пялишься в потолок. Два мусора, назначенные в смертную стражу, приходят в полночь, а те двое, что отдежурили, жмут тебе руку, и ты опять ложишься и глазеешь на потолок.

Данлейн. И эти двое молча кивают друг другу насчет чая, потому что надо делать это тихо, чтоб тебя не разбудить, и ты поворачиваешься на койке и говоришь им: «Если уж вы пьете чай, плесните и мне». И один мусор говорит: «А, так ты не спишь, Мик. Мы как раз завариваем, хорошо, что ты сказал вовремя».

А. И после этого чай выпит, и они тебе предлагают сигарету, хотя у тебя пасть уже вся закопчена куревом, и все равно у тебя сигарет больше, чем у них, и у тебя их столько, что после тебя еще останется. И ты ложишься и встаешь, встаешь и ложишься, а два мусора не подают вида, что следят за тобой, но не спускают с тебя глаз ни на минуту, и ты все бродишь взад-вперед по камере.

Б. И они спрашивают тебя, не хочешь ли партию-другую в шашки или там написать письмо, и, дожив до утра, ты слышишь городской колокол и спрашиваешь, который час, но они не говорят.

Данлейн. Но при этом они делают такие клевые лица, и один говорит: «Эти старые часы опять стали» — и потом спрашивает другого: «У тебя с собой твои часы, Джек?» И тогда этот второй откалывает свою коронную шутку: «Сейчас сбегаю в ломбард и попрошу разрешения взглянуть на них». И потом дверь открывается, и у обоих, конечно, душа в пятки, и они входят и просят его постоять минутку — то есть если он может,— пока они кое-что ему прочитают: «Мне поручено сообщить вам, что министр решил, не решил, решил, не решил, рекомендовать Президенту, чтобы...»

А. И тут этот парень говорит: «Вы сказали, решил рекомендовать или решил не рекомендовать? Что-то я не подсекаю как следует».

Данлейн. Но, кем буду, он все сечет; хотя, помню, был однажды такой случай — во времена старого Макса Гриба,— когда два гуся тоже были оба приговорены к вышке за разные дела,— и тогда один кретин из Тюремного Совета, как это тогда называлось, все перепутал и сказал тому, кто не был помилован, что он помилован. Парень был в восторге несколько часов, а потом они вернулись к нему и говорят: «Извините, произошла ошибка, и вас вздернут-таки».

Б. А тот, которого помиловали, держу пари, был доволен?

Данлейн. Конечно, он был доволен. И если кто-нибудь станет утверждать, что веревка лучше пожизненного, пусть держит это при себе. Знаете, кто хуже всего чувствует себя, выходя к петле?

А. Северяне. Или ребята из Корка. У них там чертовски крепкие шеи.

Данлейн. Ну, мне надо подготовить свои полчаса сатиры и юмора для дядюшки Хили, мне не до шуток.

А. Да ладно тебе, продолжай.

Данлейн. Хуже всего отключается, входя в красный домик с обитой серебром дверцей, тот, кто сидел уже раньше и при нем вешали какого-нибудь деятеля, или он слышал об этом в мастерской или на прогулке от мусора или старых сидельцев. А новичок — это обычно такой приличный малый, и за ним ничего, кроме убийства, вроде как наш Серебряный Набалдашник. И он ничего не знает про это дело, кроме нескольких строчек, время от времени встречающихся в газетах: «Осужденный вошел в камеру для повешения в 7 часов 59 минут. В 8 часов 3 минуты врач констатировал смерть».

Б. Да параша все это. Во-первых, врач отворачивается, когда люк уходит из-под ног, и поворачивается назад только тогда, когда мусор схватит веревку и остановит вращение. Потом они запирают лавочку, уходят завтракать и возвращаются только через час. Тогда они вынимают его из петли, и врач вспарывает ему шею на затылке, чтобы проверить, сломаны ли позвонки. Кто знает, что происходит в течение того часа, пока он там извивается в яме...

А. Это ты точно. Когда я сидел в Англии, со мой сидел один мусор: он спер медицинские отчеты о повешениях и продавал их в воскресные газеты; так он рассказывал мне, что один гусь жил семнадцать минут в петле.

Данлейн. Не верю. Семнадцать минут — неужто можно столько болтаться на этой веревке!

А. Это был их собственный медицинский отчет!

Б. С кем спорю, этот Набалдашник в полной отключке, что ему завтра не по пути с Мясником.

Данлейн. Ты спой это, если знаешь мотив.

А. Сейчас он появится здесь, в своем новом костюмчике.

Данлейн. Он и это сокровище. Конечно, скверно, что он раскроил бабе черепушку, но, по мне, лучше иметь рядом его, а не это фуфло. Скотина грязная. Надо же, такая непруха, а я надеялся раздобыть сегодня у дядюшки Хили письмецо в Общество Домовладельцев, к освобождению.

Б. Ты, что Данлейн, воображаешь, что Департамент намерен заняться твоей перековкой, на старости-то лет?

Данлейн. А это не касается Департамента. Милейший Хили помимо своей службы в офисе замазан с какой-нибудь там религиозной группкой, которая делает доброе тайком. Никогда не дают правой руке знать, что

творит левая, как сказал Человек. Ну, конечно, они никогда не опускают ни ту, ни другую в свой карман, так что денег ты от них не дождешься, но они могут дать письмецо в Общество бывших зэков или в Общество Домовладельцев. Заметьте, сегодня-то Хили прибудет как официальное лицо. Он просто устраивает получше делишки того, кого завтра повесят. Но если смогу к нему подобраться, он, может, смешает приятное с полезным, и я отхвачу ксиву к своему выходу.

Б. Теперь понятно, к чему вся эта генеральная уборка.

Данлейн. И парень с кухни сказал, что сделают специальный обед — в честь визита дядюшки Хили.

А. То есть что сегодня будем есть пищу?

Данлейн. Точно, и я не могу весь день гуры-гуры с вами. Нужно развесить всякие религиозные картинки и придумать пару клевых шуток. О Господи, я должен заниматься тем же, за что Джимми О'Дэй получает на радио тысячи, и все это ради пары старых носков и письма в Помощь Заключенным! *(Возвращается в свою камеру.)*

Появляются двое малолеток — обоим лет по семнадцать,— они держат под мышками швабры и напевают негромко и в унисон:

Мы свое отсидели
От звонка до звонка,
Остается неделя,
И мы скажем: «Пока».

А. Что вы поделываете здесь, молодые люди, нынче утром?

1-й малолетка. Да наш мусор приказал подмести корпус Несовершеннолетних и потом еще слегка прибрать здесь.

Б. А у себя вы уже кончили?

2-й малолетка. Не-а, и если б мы сначала взялись за свой, мы бы проморгали чувих: они тут белье развешивают; из нашего-то корпуса их не видно.

А. Может, оно и к лучшему. Вы уже и так достаточно испорченны.

1-й малолетка. Ну, могу сказать вам, какое зрелище открывается из нашего корпуса нынче утром. Это — столяр, который приволок для жмурика свой ящик и оставил его в морге, чтоб был под рукой. В обслуге, кроме нас, еще два малолетки, и мы бросали орла, кому отправляться сюда, но они — деревенщина и сказали, что лучше посмотрят гроб. По мне, лучше какую ни на есть чувиху мацать, чем самый клевый во всей Ирландии гроб. Точно, Шейбо?

2-й малолетка. Законно, и, кроме того, когда ты здесь, всегда есть шанс потолковать с опытными людьми за наш бизнес. Вы как считаете, сэр, что лучше для йейльских замков: целлулоид или триплекс?

1-й малолетка. А отмычка у вас всегда с собой, сэр?

А. Была бы с собой, я знаешь куда б ее сунул — в твою грязную...

2-й малолетка. Атас, керя, подметай, а то мусор идет.

Оба удаляются, подметая и напевая.

Б. А, он ведет уже первого. Это кто, Серебряный Набалдашник или?..

А. Набалдашник. Я видал, как его волокли из конторы в тот вечер, когда его приговорили к вышке.

Б. Ну, сейчас-то он как на рессорах катит.

А. Вид все-таки не блестящий. Видать, не совсем еще очухался.

Надзиратель и заключенный входят слева. Заключенный — человек средних лет, выговор интеллигентный. В руках — наволочка с постельным бельем и другими вещами.

Надзиратель Риган. Стой у двери с твоим именем. После медосмотра ребята помогут тебе устроиться. Стой тут, пока доктор не вызовет. Понял? *(Уходит.)*

Пауза. Арестанты рассматривают новенького.

Б. Он чертовски украсит это местечко, не правда ли?

Бессрочник. Закурить не найдется?

А. Хорош! Ты теперь не в камере смертников, понял? Здесь не подымишь.

Б. Если, конечно, не перепадут охнарики от подследственных.

А. В общем, разувай глазки во время прогулки — может, что и найдешь после подследственных; им-то разрешено. Хотя после тебя мы, ей-богу, ничего не находили. Куда ты свои окурки девал?

Бессрочник. Я? Сжигал.

Б. Что-о-о?

А. Как же получается, что другой, этот несчастный ублюдок, которого не помиловали и завтра утром вздернут, как же получается, что он оставлял целый след окурков, когда мы шли на прогулку, а ты — нет?

Бессрочник. Я никогда прежде не бывал в тюрьме. Откуда ж я знал?

А. Ты про́клятый Богом, друг мой, лжец, и ты знал. Потому что ребята из больничной обслуги, которые носят жратву смертникам, шепнули ему об этом. Но он ни разу не дал им даже спички! И он не мог даже оставить свои охнари в утюге, чтоб мы их подобрали.

Б. И теперь ты, поди, доволен, что не попрешься утром в железные ворота.

Бессрочник не отвечает и осматривает свою одежду.

А. И уж во всяком случае, в этом тряпье тебе будет лучше, чем тому хмырю в деревянном бушлате, завтра утром.

Б. Самое худшее, что тебя ждет,— двадцать лет. Но скорей всего выскочишь по половинке. Последний парень, который имел эту статью, отсидел только одиннадцать.

Бессрочник. Одиннадцать! Как же прожить столько?!

А. Ну, минута час бережет.

Б. У тебя не найдется закурить ему, а?

А. качает головой.

Может, у Данлейна есть. Эй, Данлейн, не дашь закурить этому парню? Эй, Данлейн!

Данлейн *(выходя из своей камеры)*. А в чем дело? Кто опять, бог вашу мать, на мою голову?

Б. Можешь сообразить этому типу насчет курева? Хотя бы бычок.

Данлейн. Здесь только один сорт сигарет — «Три монаха»: сегодня к монаху, завтра к монаху и послезавтра — тоже. *(Идет назад в камеру.)*

Б. Эх, Данлейн, добавят тебе на том свете уголька за это.

Данлейн. Да? Почему?

Б. Да ведь этот бедный гусь, после того как он курил по шестьдесят штук ежедневно....

Данлейн. Где же это?

Б. В камере смертников — где ж еще!

Данлейн. А-а, тогда дело другое. Я-то думал, что ты... а ты только убийца. Ну, Бог — в помощь. *(Жмет руку.)* Конечно, найдется, о чем речь. *(Шарит в пиджаке, потом расстегивает брюки и, озираясь, извлекает окурок.)* Конечно, найдется, держи. Итак, помилован на рассвете. Мертвые вставали и являлись многим, как сказал Человек. А я-то принял тебя за того подонка, ты же стоишь перед чужой дверью. Вот твое гнездышко, понял? На этой вывеске твое имя и все подробности. Так, сорок три года. Исповедание — римско-католическое.

Бессрочник *(читает)*. Пожизненно.

Данлейн. Ну, это лучше, чем смерть семь дней в неделю.

Б. Это уж точно. Хозяин растолкует тебе все это попозже.

Данлейн. А может, они пришлют на этот предмет милейшего Хили.

Б. Вали в камеру и можешь там пока покурить. Прихвати шмотки. *(Передает наволочку с вещами внутрь.)* Попали́ себе там, пока мусора нет. *(Бессрочник закрывает дверь.)* А мы на атасе.

Данлейн. Господь свидетель — мне с соседями повезло. Все же предпочитаю нормального убийцу, чем подонков вроде этого фрайера. Ладно, я возвращаюсь в свое гнездышко, надо все довести до кондиции, чтоб было по вкусу дражайшему Хили, когда он явится. *(Возвращается в камеру.)*

Б. *(в камеру Бессрочника).* Атас, кончай, мусор идет.

А. И волокет второго.

Надзиратель Риган и новый заключенный — Новенький, мужчина с беспокойным выражением лица, одетый в тюремное, в руках наволочка с вещами,— входят слева.

Риган. Ну-с, вот твоя клумбочка. Положи вещички, стой у двери и жди доктора. Эти ребята покажут, куда идти, когда вызовут.

Новенький. Понял, сэр, слушаюсь, сэр.

Риган уходит. Новенький осматривается.

Б. Гм, этот тип *(показывает на дверь Бессрочника)* все-таки курит... Может, хочешь присоединиться, пока мусор вернется?

Новенький *(видит табличку на двери Бессрочника).* Боже правый, вот до чего я докатился — вместе с убийцами! Нет, благодарю покорно, хотя закурить бы не мешало. Боже, мне придется провести долгие месяцы — даже если подпаду под досрочное — с убийцами, ворами и бог знает с кем! Вы ведь не все убийцы? Вот вы — вы здесь никого не убивали, не правда ли?

Б. Нет, пока нет.

Новенький. Не могу представить худшего преступления, чем отнять жизнь, вы согласны?

Б. Это смотря чью жизнь?

Новенький. Ну конечно! Если убийца решает покончить с собой, это одно... «Мы отправим его вдаль, говорит Карлейль,— вы, конечно, слышали о Карлейле, не правда ли? — мы пошлем его далеко, назад в пустоту, во мрак, дальше, чем звезды. Пусть он уходит от нас».

Данлейн *(голова из двери).* Ох! *(Смотрит на Новенького.)* А я думал, это Хили из Департамента или кто-нибудь из них.

А. Полюбуйся, от этого фраера просто несет интеллигентностью.

Данлейн. А-а, теперь это так называется?

Бессрочник. Спасибо за сигарету, мистер Данлейн.

Данлейн. Да не за что, пожалуйста. Заходи, когда пойдешь мимо. И помни, когда ты укокошишь следующую жену и тебе будут давать по сорок штук в камере смертников, не забывай тех, кому не так повезло, и оставляй охнари во время прогулки там, во дворе. Понял? Ох, опять эти трещотки сопливые сюда прутся.

Слева появляются двое малолеток — швабры под мышкой, они напевают; Новенький стоит неподвижно у двери.

Малолетки. Нам осталась неделя.
И мы скажем: «Пока».
Мы свое отсидели
От звонка до звонка.
Нам осталась неделя,
И мы скажем: «Пока»...

Бессрочник. Бога ради, прекрати этот мышиный писк!

1-й малолетка. Мы имеем такое же право разевать пасть, как и ты, а ты, к тому же, здесь и дня не пробыл.

Б. Оставь их в покое. Ты не у себя дома, ясно? И они не делают ничего плохого. *(К малолеткам.)* Вы что, хотите соскрести этот пол начисто?

Данлейн. Да, что вас приносит сюда так часто? Раз уже вы болтались на подследственном, могли бы принести окурков или газету.

1-й малолетка. Мы получаем курево и «Мейл» от одного англичанина на этаже, с подследственного. Есть тут такой, за автомобильную контрабанду. Но сегодня у вас можно позырить на чувих из прачечной. Они

развешивают тряпочки у себя во дворе. Вы-то хоть смотрите? Хотя старикам-то чего смотреть!

Б. Мне тридцать шесть, сынок.

1-й малолетка. А, я так и думал. Тебе, значит, еще не все равно, если без бабы. Вот, например, Шейбо, так он, например, ни о чем другом вообще не думает. Ты думаешь о чем-нибудь, кроме баб, Шейбо.

2-й малолетка. Да. О кражах и все такое. Вали к окну и держи там глаз, а я буду подметать, пока не позовешь.

1-й малолетка. О'кей, Шейбо, сейчас они подвалят. *(Подходит к окну.)*

Бессрочник. Я забыл и думать о женщинах.

Данлейн. А я — нет. Это входит в программу развлечений сегодня: бабы, и растирание ног спиртом. Соседу и мне нынче полагается.

1-й малолетка *(из окна громким шепотом)*. Шейбо, уже видно.

2-й малолетка. Та блондинка из Северного Крумлина?

1-й малолетка. Ага, и тут еще одна, но ее я не знаю...

2-й малолетка. Верно, не городская. Он ее и не знает. Женщины.

Данлейн. Женщины.

А. А блондинка вроде машет.

1-й малолетка. Чувиха эта, чтоб ты знал, моя, и машет она мне.

А. Ну, на это я махал ушами.

Данлейн. Эй, Сосед, Сосед! Где ты пропадаешь все утро? Сосед!

Скрипучий старческий голос: «Здесь я, сосед, здесь я».

Сосед, сгорбленный старик с палочкой, появляется слева, ковыляя так быстро, как только может.

Данлейн. Э-эх, всю мессу пропустил.

Сосед. А что, они уже смылись?

Данлейн. Нет, но они уже кончили верхний ряд, теперь вставать на стулья и тянуться не будут.

Сосед. Ну, будем благодарны Господу и за мелкие милости. Все равно они будут здесь через неделю.

А. Если ты доживешь до этого.

Сосед. А почему это мне не дожить? Да и вообще: я знал таких шикарных женщин, что эти против них...

А. С таким паскудным кашлем, как у тебя, они вполне могут оказаться последними.

Сосед. О Господи, ты старый замшелый пердун, мы помним таких женщин, какие вам и не снились, правда, Данлейн? Минна ля Блюм, помнишь ее?

Данлейн. Еще бы. Не одному морячку Минна и я заделали козу. И Микки Финн тоже.

Сосед. А бедную Мэй Облонг?

Данлейн. Эх, и где теперь бедная Мэй? Бог да призрит на нее, не мы ли с ней были однажды ночью в номерах, и там был еще один член Парламента, и Мэй заперла его в задней комнате и стянула его портки, а ему надо было идти в то утро голосовать за Самоуправление. «Если ты любишь нашу Родину,— взывал он из-под двери,— верни портки!» — «Я сделаю это,— отвечает Мэй.— Но не раньше чем сунешь под дверь пятерку».

Сосед. Он что — спрятал башли? У, грязная, подозрительная сука.

Данлейн. Это точно. Хитер оказался — притырил башли, хоть и был в ту ночь зверски пьян. Мы нашли в его портках только медальон с прядью того патриота-водопроводчика, что поклялся не стричься, пока Ирландия не будет свободной.

Сосед. Ах, бедняжка Мэй — она была душой общества.

Данлейн. И потом ее зацапали на улице — за то, что болталась после комендантского часа, беспокойные были времена,— и все бы обошлось, но они нашли под юбкой два автомата Томпсона образца 1921 года, три гранаты Миллса и плиточку динамита и дали срок.

Сосед. А разве можно забыть бедную Лотти Лестранж — как ее зацапали за то, что спихнула в воду солдата в Спенсерских Доках!

Данлейн. Да пребудет Господь с нашей молодостью!

Сосед. А Анна Корк и леди Лимерик!

Данлейн. А Джулия Райс и Глупышка!

Сосед *(воодушевившись, направляется к окну)*. Эй ты, отскочи отсюда! Данлейн, иди сюда — поглядим на блондинку, пока они не ушли.

1-й малолетка. Пошел вон, ты, старый кобель! Так говорить о моей чувихе! *(Отталкивает его.)* Ты, старая куча дерьма, лезть к честной девушке!

А. Эй, вы, сопляки, вы что, будь я проклят, решили, что это ваше собственное место?

1-й малолетка. А тебе понравилось бы, если б старый ящик с глазами пялился на твою бабу?

Б. Он же не сожрет ее.

Данлейн *(сзади)*. Да, но хотел бы!

2-й малолетка. Правильно! И он *(показывает на 1-го малолетку)* уже почти женился на ней. Она-то не против. Она однажды ради него приняла легавого. И он теперь ей каждую неделю гонит монету.

1-й малолетка. Да, а этот тут пялит на нее свои старые красные глазки!

Новенький *(у своей двери)*. Боже милостивый.

А. Но, будь я проклят, это не ваше окно! *(Отшвыривает 1-го малолетку от окна и дает пройти Соседу.)* Ну давай, если тебе так уж позарез видеть парад граций.

Сосед. О, спасибо, кореш! Такую кровь надо разливать бутылками.

А. Я это не ради тебя, но если этим щенкам все спускать, они просто на голову сядут.

2-й малолетка *(1-му)*. Але, пора отваливать. Мусор решит, что мы пропали.

Они отходят от стены, берут швабры и начинают подметать напевая.

1-й малолетка. Нам осталась неделя.
И мы скажем: «Пока».

2-й малолетка. Мы свое отсидели...

Бессрочник. Да заткните вы свои плевательницы!

Данлейн. Сам заткнись, ты шумишь больше, чем любой из них.

1-й малолетка. Не приказывай нам заткнуться, ты, ублюдок!

Б. Оставьте его в покое — он начал сегодня пожизненное.

1-й малолетка. О, простите, мистер, мы же не знали. Правда, Шейбо?

2-й малолетка. Господи, конечно. Ступайте и посмотрите на женский двор, если хотите. Они там развешивают сейчас шмотки. И его чувиха тоже там. Вы можете взглянуть на нее. Он не будет возражать, ей-богу. Ты ведь не против, а?

1-й малолетка. Конечно, нет. Особенно если послезавтра покатит на всю жизнь в Бог [1], где не увидишь женщин.

2-й малолетка. Ребенка.

1-й малолетка. Собаку.

А. А ну катитесь отсюда к чертовой матери в свой корпус! Надо же додуматься — говорить это человеку, который и сам знает!

2-й малолетка. Ладно, ладно, мы пошли. Мы пришли сюда не ради кучи грязных стариков, а ради девочек, и мы видели все, что хотели.

1-й малолетка. И во всяком случае, мы будем гораздо ближе к ним в следующую субботу вечером, чем вы. Вспомните нас, когда будете сидеть, запертые в своих клетках, штудируя Библию, глава I, стих 2-й, а мы неподалеку фалуем бабцов.

Пританцовывая, они удаляются, держа швабры как партнерш и напевая самбу.

А. Такие сосунки, язык без костей. Перед войной, когда я был малолеткой, в Уолтоне, ежели бы они там подняли такой хай, их бы живо утихомирили.

[1] Бог — название каторжной тюрьмы в Северной Ирландии, на болотах. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

Новенький. И так непочтительно говорят о Библии!

Сосед. И главное, зря. Не одного парня Библия утешала в камере. Чудесная тонкая бумага, немножко трухи из тюфяка и, если у тебя есть спичка, или трут, или что-нибудь в этом роде, выходит отличнейшее курево, какое я только пробовал. Правда, Данлейн?

Данлейн. Точно, Сосед. В первые двенадцать месяцев, которые я тянул, я таким способом наполовину скурил книгу Бытия и девять сантиметров своего матраца. Когда настало Свободное государство [1], мы даже опасались за свою жизнь в том смысле, что они заменят наши матрацы пуховиками. А пух и перья курить невозможно, ей-богу, нельзя — даже если ты завернешь их в Песню царя Соломона. Но, слава Богу, Свободное государство только одно заменило — кокарды у мусоров.

Новенький. Можно мне пока в свою камеру?

Б. Пока доктор не вызовет. *(Уходит к себе.)*

А. Ну, я, пожалуй, тоже пойду отдохну. Каторжная это работа — тянуть срок.

Бессрочник. Тянуть? Что это значит — тянуть? Быть на каторге?

Данлейн. От трех лет и выше.

Бессрочник. Три года — это огромное время.

Данлейн. Ну, я не хотел бы и сотую часть болтаться в петле.

Сосед. Так этот парень...

Данлейн *(тихонько)*. Серебряный Набалдашник! *(Громко.)* Начал сегодня пожизненное.

Сосед. Так, значит, в конце концов они тебя не вздернут. Ну, ты счастливец. Однажды я работал в госпитале, помогал там одному мусору, и он дал мне две бутылки портера, чтоб я снял балахон с казненного. Второй раз я не соглашусь даже за бутылку виски. Я стянул балахон, и башка его болталась из стороны в сторону, и вся морда почернела, но хуже всего были глаза — огромные, как у кролика. Это все страх.

Бессрочник. Откуда вы знаете? Может, он и не чувствовал ничего.

Сосед. Я говорю что видел. У меня не было случая его спросить. *(Подходит к двери Бессрочника, читает.)* Срок истечения: пожизненно. В каком-то смысле я и сам не возражал бы против этого. Что скажешь, Данлейн?

Данлейн. Не знаю. Конечно, мы уже слишком стары, чтобы шататься где-то и подыскивать себе место. Так что, когда ты однажды зимней ночью свалишься прямо на мостовой и заснешь, тебе еще привидится, будто ты тихо и уютно лежишь в Шелборне.

Сосед. Только чтоб проснуться в каком-нибудь параднике, и под тобой жесткий пол, и куча засохшей грязи вместо подушки. И тебя колотит от холода и от жажды, и ты мечтаешь только о рыночном кабаке, чтоб он был открыт, и, если у тебя хватит заплатить за выпивку, сможешь чуть-чуть посидеть в тепле. За исключением, конечно,— Господи, помилуй! — воскресенья.

Данлейн. Да, это — агония. Все кабаки закрыты, и колокол бьет по твоим оголенным нервам, и все, что ты можешь сделать при этом холоде и твоих болезнях,— это перевернуться на другой бок и молить Бога, чтобы он прибрал тебя поскорее.

Бессрочник. Нет, будь я на воле, все было б иначе.

Сосед. Да, но у нас-то так.

Данлейн. Видите, сэр, все мы — эгоисты.

Голос надзирателя. Врачебный осмотр! Кому на обследование, к доктору!

Бессрочник озирается.

Данлейн. Да, это вам. Поднимитесь по лестнице и ждите, пока мусор не вызовет. Сосед, крикни остальных.

Бессрочник уходит.

Сосед. Але, кто к ветеринару! Выходи!

---

[1] Ирландское свободное государство — название Ирландии 1922—1937 гг.

Данлейн *(обращаясь к Новенькому)*. Эй ты! Давай дуй на кастрацию.

Новенький, А. и Б. выходят из камер.

Сосед. Вам к доктору. Поднимитесь туда вместе с остальными. Мы с Данлейном остаемся — нам назначен массаж.

Данлейн. Не трепись ты с этим фраером. Знаешь, за что он тут?

Сосед идет и смотрит табличку. Новенький, А. и Б. уходят.

Сосед. Что он, черт возьми, натворил?

Данлейн. Вонючий секс-механик.

Сосед. А я и не знал.

Данлейн. Ну, теперь знаешь. Пойду принесу стул. Можешь не ходить за своим: посидишь после меня на моем.

Сосед. Ладно, но если ты идешь первым и будет шанс бутылочку заграбастать, не высасывай все, ладно? Помни, что я тоже лечусь.

Данлейн. Да не будь ты таким завистливым. Он же принесет целую кварту, а кто способен выдуть столько метилового спирта, если можешь делать только маленькие глотки?

Сосед. Ты способен, и даже целое ведро, был бы только случай. Я же видел. Тебе что это, что медный купорос — все одно, как слону дробина.

Данлейн. А помнишь старикашку доктора, что был тут у них несколько лет назад?

Сосед. Это которого Криппеном звали?

Данлейн. Он самый. Как-то утром приволакивают меня сюда после большой пьянки. А в полдень — а я все еще косой, как Понтий Пилат — Криппен меня осматривает. Открой рот и скажи «а», ну и так далее. А потом спрашивает: «Болели венерическими болезнями?» А я ему: «Не судите по себе, сэр». Да-а, хороший был человек.

Возвращаются А. и Б.

Сосед. Ну, что он вам прописал?

Б. *(входя в камееру)*. Прибавил шесть унций хлеба. Находит, что мы истощены.

А. Бар уже открыт?

Сосед. Да иди ты с баром! Эти жуткие боли в ноге, только втирания и спасают. Этот проклятый ревматизм мучает меня еще с войны, а ты дорываешься.

А. Какой войны? Экономической?

Сосед. Ты, трепло. А все ты, Данлейн, раззвонил этим фраерам насчет лишней порции выпивки. Чтоб все за наши дела знали.

А. и Б. входят в свои камеры и закрывают двери.

Данлейн. Никаких признаков господина Хили.

Сосед. Ты только попусту тратишь время, дожидаясь этого типа. Я однажды просил его насчет какого-нибудь старого пальто для себя, так он ответил, что он здесь представляет только правосудие и никакими другими делами — плохими, добрыми, никакими — не занимается. По-моему, этот Хили большую часть жизни ходит под мухой.

Данлейн. Да уж такой, как Хили, выпьет. Эти начальнички умеют устраиваться. Они, знаешь ли, даже пьют не под собственным именем. Ты можешь застать субчиков вроде Хили в одиннадцать утра в задних комнатках по Мэрион-роу, потчующих себя глоточками ликера. Бармен живо бы вылетел с работы, позволь он себе назвать их по имени. Все это выглядит примерно так: «Мистер Х. просит капельку воды, но не слишком крепкой».— «Да, мистер О.?» — «Нет, сэр, мистер Мак сегодня не приходил».— «Да, мистер Д., прелестное утро. Славный будет денек, если только не выпадет снега». Интеллигентные люди, понимаешь? Время от времени несколько слов о Боге, и таким тоном, словно Он только что прибыл из провинции, а они как бы оказывают Ему протекцию, отзываясь о Нем положительно.

Сосед. Еще двое вернулись. Скоро, значит, и нам.

Бессрочник и Новенький входят в камеры и закрывают за собой двери.

Данлейн. У этого новенького такой вид, точно это местечко не слишком ему подходит.

Сосед. Ты же сказал только что, чтоб я вообще с ним не разговаривал.

Данлейн. А, какое все это в конце концов имеет значение! Хорошо еще, что он не мусор или какой-нибудь там из Департамента. Он просто чей-то зад, и все.

Входит надзиратель Риган с бутылкой метилового спирта.

Риган. Вы — те двое, которым назначен массаж, ревматики?

Данлейн. Так точно, мистер Риган, сэр, старые и немощные, сэр, да, это мы. Старые раны, они все время дают себя знать, сэр.

Риган. Перестань трепаться. Ну, кто из вас первый, садись.

Данлейн. Я, сэр, я. Старость прежде невежества, как сказал Человек. *(Садится на стул.)*

Риган. Задери штанину. Которую ногу?

Данлейн. Левую, сэр.

Риган. Но ты же суешь мне правую.

Данлейн. Я и говорю, сэр,— левая, один день хуже левой, а на другой — правой. Чтоб никого не обделить, нужно натирать обе. Еще надо благодарить Господа, что я не сороконожка — при такой-то погоде.

Риган. Здесь больно?

Данлейн *(медленно пододвигаясь к бутылке)*. Немножко ниже, сэр, если можно. *(Хватает бутылку и подносит к губам.)* Чуть-чуть ниже, сэр, если вас не затруднит.

Риган, сильно наклонясь, массирует ногу, а Данлейн огромными глотками отпивает из бутылки и быстро ставит ее на пол, а потом, развлекая Соседа, делает ужасные гримасы, дескать, не сразу пошло и что внутри все горит,— это целая пантомима. Потом тыльной стороной ладони утирает губы.

О, это потрясающе, сэр. У вас руки целителя, сэр! Вам, должно быть, отчаянно везет с лошадьми. О, сэр, этими руками только помилования подписывать.

Риган выпрямляется, наливает на ладонь немного спирта и снова массирует.

О, сэр, это то что надо, я чувствую, как это входит в меня. *(Снова хватает бутылку, пьет.)* О, сэр, это то самое, оно так и входит в меня, настоящее блаженство, сэр.

Риган снова выплескивает спирт на ладонь и продолжает массаж.

Да, сэр, это в самый раз, это то что нужно. Если уж делать что-нибудь, то делать хорошо. *(Берет снова бутылку и поднимает ее.)*

Сосед озирается, во взгляде его немая мольба не пить так много.

(Покачивает бутылкой, делая этакий приветственный жест, словно он желает Соседу здоровья, и пьет.) Господь да вознаградит вас, сэр. О, вы, должно быть, седьмой сын седьмого сына! Или вы из рода лимерикских Ли по материнской линии. *(Снова пьет.)* Да, да, это единственное средство от простуды и вообще от всемирной несправедливости.

Риган. Так, теперь ты.

Сосед выходит вперед.

Донелли *(за сценой)*. Все в полном порядке, мистер Хили.

Данлейн. Святой Хили!

Входит Донелли.

Донелли. Сюда, мистер Хили.

Риган. Смирно! Стоять у дверей!

Данлейн. Особенно у левой.

Донелли. Сюда, сэр.

Входит мистер Хили, элегантно одетый господин.

Хили. Доброе утро.

Донелли. Жалобы есть?

А. Никак нет, сэр.

Хили. Доброе утро.

Донелли. Жалобы есть?

Новенький и Б. *(вместе).* Нет, сэр.

Хили. Доброе утро, друзья. Ну-с, я тут представляю Департамент юстиции. Так что, если у кого есть жалобы — выкладывайте.

Несколько заключенных. Нет, жалоб нет, сэр.

Риган. Все в порядке, сэр. Двое получают медицинскую помощь.

Данлейн. Массируют наши старые ноги, мистер Хили, сэр.

Хили. Отлично, отлично, пахнет, прямо как в баре.

Данлейн. Я почти пьян от одного запаха, сэр.

Хили. Ну, не буду вам мешать.

Данлейн. Ох эти проклятые ноги. Все оттого, что болтаешься по улицам в любую погоду. Впрочем, пока мы здесь, на это не пожалуешься.

Хили. Да уж, надо думать, мой друг. Ладно, я обследую вашу камеру наряду с другими.

Данлейн. Благодарю вас, сэр.

Хили. Ваша камера всегда делает вам честь, надо отдать должное. *(Обращаясь к Ригану.)* Эти старики, знаете ли, неисправимы, но в общем забавны.

Риган. Да, сэр.

Хили. Ваша фамилия — Риган, не так ли?

Риган. Да, сэр.

Хили. Насколько я понял, вы будете помогать канонику завтра утром?

Риган. Да, я буду с приговоренным, сэр. Надо присмотреть, чтобы он не натворил с собой чего-нибудь ночью и чтобы утром нырнул в дыру с как следует свернутой шеей. И не производя слишком большого шума.

Хили. Печальная обязанность.

Риган. Сворачивание шеи и удушение, сэр?

Хили бросает на него острый взгляд.

Вы должны извинить меня, сэр. Я видел слишком много этого. Говорят, близость порождает отвращение.

Хили. Что ж, зато у нас есть одно утешение, Риган: приговоренный получает священника и причастие, чего, возможно, не имела его жертва. Я рискнул бы сказать, что некоторые из них умирают более пристойным образом, чем это было бы в случае их естественного конца.

Риган. Жалко, нельзя прибить вывеску: «Соверши убийство и умрешь праведником». На это бы все клюнули. В этой стране очень серьезно относятся к религии.

Хили. Ладно, ладно, хорошо. Насколько я понимаю, Риган, помилованный уже где-то здесь.

Риган. Камера номер двадцать шесть, сэр.

Данлейн. Как раз рядом со мной, сэр.

Хили. А, да. Так вот мы где. Счастливец, а? Ладно. Начальник тюрьмы попозже объяснит вам детали. Ваше дело будет пересматриваться каждые пять лет. А пока вам, может, захочется украсить свою каморку одним-двумя образками. Господь сохранил вам жизнь, и вы должны благодарить его теперь каждым своим вздохом. Не правда ли? Ну, будьте милосердны в сердце своем. Я еще загляну к вам, если останется время. *(Входит в камеру Данлейна.)* Гм, весьма похвально.

Данлейн. Говоря откровенно, сэр, это только сегодня. Видите ли, мы знали о вашем визите.

Хили. Очень мило.

Данлейн. Стараюсь как могу сделать свое гнездышко поуютней, и Блаженный Мартин, которого вы подарили, очень помогает.

Хили. Стало быть, ты не признаешь цветного барьера.

Данлейн. Единственный барьер, который я признаю, сэр, это стойка в Бридж-баре или в заведении на углу Томас-стрит.

Хили. Ну, мне пора. Приятно видеть, что за вами тут хороший уход.

Данлейн. Знаете, сэр, это, собственно, не так уж срочно, но не могли б вы уделить мне одну минутку?

Хили. Ладно, но давай побыстрее. У меня сегодня еще масса дел.

Данлейн. Понимаю, сэр. Видите ли, сэр, я не намерен находиться тут вечно. Хотя тут массаж и приносят пищу. Но, как сказано в Библии, сэр, создай сам или обходись без и подумай о черном дне, ибо не знаешь, в какую ночь будешь спать в подворотне.

Хили. Понятно, понятно, так чего же ты хочешь?

Данлейн. Я насчет шансов получить комнатенку где-нибудь у Букингемского моста, сэр, если б вы только могли дать мне письмецо в Общество Домовладельцев, когда я выйду, чтоб немножко помочь с арендой.

Хили. Вы же все знаете, когда я посещаю тюрьму, то как официальный представитель юстиции, а не как член какой-нибудь организации, в которой, может, и состою.

Данлейн. Понимаю, сэр, но где ж еще мне вас встретить? Вряд ли я поймаю вас в Бридж-баре, когда буду на свободе, ведь правда, сэр?

Хили. Нет, конечно нет. Но ведь ты знаешь помещение Общества на площади. Найдешь меня там в любую пятницу с восьми до девяти вечера.

Данлейн. Благодарю вас, сэр. И да постелят вам на небесах.

Хили. И тебе также. *(Направляется в следующую камеру.)*

Данлейн. И всем остальным, и надеюсь, все мы увидимся снова через год здесь же! *(Злобно вслед Хили.)* Чтоб тебя доконало.

Надзиратель Донелли стучит в камеру Бессрочника, потом заглядывает в глазок.

Донелли. Боже правый! Он повесился на простыне! Скорей сюда!

Риган и Донелли вбегают в камеру Бессрочника. Он висит. Они вынимают его из петли.

Риган. Осторожней.

Надзиратели выносят Бессрочника, кладут в коридоре и пытаются привести в чувство.

Хили. Кошмарная история, и еще этот, которого завтра казнят.

Заключенные скапливаются около.

Донелли. Марш по камерам! Убирайтесь!

Хили. Он еще жив?

Риган. Все будет в порядке — через час или два. Сходите за врачом, мистер Донелли.

Звонит треугольник.

Донелли. Корпуса Б-2, Б-3 и Б-1. По камерам. Живо, живо! Расходись! Живо. Нашли развлечение. Марш по камерам. Живо!

Риган и Хили отходят от лежащего без сознания Бессрочника.

Хили. Беда, беда. Каноник будет очень расстроен.

Риган. Слава Богу, ничего страшного. Им не придется заполнять лишнее свидетельство о смерти.

Хили. Не слишком это... почтенная, что ли, точка зрения, Риган.

Риган. Большинство людей и вовсе не считает нашу работу почтенной.

Хили. Нашу?

Риган. Да, сэр, нашу. Мою, священника, палача и, если вы не возражаете, вашу, сэр.

Хили. Общество не может существовать без тюрем, Риган. Мои обязанности состоят в оказании посильной помощи этим несчастным. Но человек с вашими взглядами — я не понимаю, почему вы избрали этот род деятельности?

Риган. Это спокойная работа, сэр. Между казнями.

Слышен треугольник. Входит врач с двумя санитарами.

Занавес.

АКТ ВТОРОЙ

Прогулочный двор. Приятный вечер.

Голос арестанта за сценой. Здесь холод-голод, а я так молод,
И мышь скребется, и долог срок,
Тюрьма ночами
Гремит ключами,
И дом родимый далек, далек.

Донелли. Корпуса Б-1, Б-2 и Б-3 — на прогулку, живо! Б-1, марш! Все до одного — на прогулку!

Гуськом выходят заключенные, впереди надзиратель Донелли.

Голос арестанта за сценой. Был чудный вечер, и веял ветер,
Кружились чайки, а зэк скучал
О малютке Салли,
И ключи бренчали,
И канал Английский вдали журчал.

Заключенные разбредаются по двору; большинство время от времени поглядывают на недорытую могилу.

Он лежал в печали,
И ключи бренчали,
И канал Английский вдали журчал.

Донелли. Это еще что за баритон? А ну заткнись! Забыли, где находитесь?

Сосед. Это не мы, сэр, это какой-то в подвале, сэр, в одиночке.

Донелли. Вот посажу эту птичку на хлеб и воду, посмотрим, что запоет. Здесь не филармония, понял!

Пение продолжается.

Эй ты, а ну заткнись! Заткнись, или ты взвоешь у меня! Забыл, где находишься?

Пение прекращается.

Можете сесть, кто хочет. *(Садится.)*

Сосед *(кивая в сторону могилы)*. До утра им придется вырыть еще пару футов.

Б. Им! Нам, а не им. После чая четверо еще получат по лопате на сладкое.

Сосед. Уж ты-то небось постараешься, превратишь глину в перину. *(Сплевывает и отходит прочь.)*

Б. По крайней мере, пару сигарет заработаем.

Заключенные бродят.

Сосед. Ну, ты как, сосед?

Данлейн. Помираю.

Сосед. Ну что ж, значит, жадность погубила фраера. Ты ж оставил мне только глоток.

Данлейн. Значит, я спас тебе жизнь: спирт был ужасный.

Б. А что сказал Риган, когда нашел тебя на полу в камере?

Сосед. Сначала он хотел вломить нам — за то, что мы погуляли на его счет,— но Данлейн объяснил, что мы были малость не в себе после того, что стряслось утром, и не ведали что творим. Тогда он только послал нас к черту и выразил надежду, что мы погубили себя этим на всю жизнь.

Данлейн. Бог ему простит.

Сосед. По мне, это была лучшая капля метила, какую я пробовал. Не сравнишь, конечно, с довоенным, но, пока суд да дело, тоже согревает. Ах, это прекрасный вечер, и еще один день позади.

Б. Да и зима позади, Сосед! Впрочем, когда стукнет девяносто, дней не замечаешь.

Сосед. Эх, просиди ты с мое, ты бы тоже пацаном не выглядел.

А. Да что ты сидел?! Да, кем буду, ты никогда срок не тянул. Так, месяц тут, неделя там — за кражу дароносицы из часовни или бутылки портера с прилавка. Дай тебе больше шести месяцев, и тебе каюк.

Сосед. Скобарь ты темный, вот что.

А. Ты полегче. Два срока на мне — понял? Пять и семь лет. И еще предварительное заключение, и в Муре и в Паркхерсте.

Сосед. За что? Злостное попрошайничество?

А. Ну, какой я ни есть, а легавым или придурком при мусорах никогда не был, и, будь ты в зоне, я знаю, что с тобой бы сделали за закладывание всяких бедных ублюдков, которые заливаются в одиночке, потому что там ни ночи, ни дня и надо хоть петь, чтобы совсем не спятить.

Сосед. Да это же для его собственной пользы. Потому что, если мусор его наколет, корпусной возьмет и добавит ему пару деньков.

Данлейн. Бога ради, может, уйметесь, вы оба? Ваш хай терзает мои рваные нервы. Это негуманно. Англичане должны проявлять больше сострадания к человеку, у которого башка раскалывается. Метиловый мученик, вот я кто.

Сосед *(к А.)*. Этот парень и я, мы уже тянули срок, пока ты не родился. В Килмейнхеме, где ты никогда не был. Первые четырнадцать дней без матраса, баланда три раза в день. И ничего похожего на прогулки, как нынче. Я попросил одного парня отрубить мне палец на ноге, чтоб в больничку попасть, там все-таки была кормежка.

Данлейн. Жалко, что ты не попросил заодно ампутировать голову, раз уж ты занялся этим. Не трепал бы лишнего.

Сосед. А у меня, между прочим, рот, чтобы говорить, как у всех. Мы, конечно, не такие образованные, как некоторые, чтобы в новогоднем концерте заделывать соло на электрическом стуле.

Данлейн. Это ты не по делу, Сосед... Завязал бы спорить и переливать из пустого в порожнее. Смени пластинку и давай что-нибудь всем интересное. Например, насчет этого бедняги и как его вздернут завтра по холодку.

Сосед. Это уж точно, Данлейн. Уютная получится клумбочка из этого парня. *(Тычет палкой в сторону могилы.)* Через два месяца будем есть капусту, что тут вырастет.

А. Что-то уж больно ты торопишься перевести чувака на капусту. Может, его еще и помилуют, как Набалдашника, почем ты знаешь?

Бессрочник. Иисус, Мария и Святой Иосиф! Вы, поди, предпочли бы увидеть там меня? *(В ярости отходит прочь.)*

Сосед. Этот фраер просто отключается, когда слышит о веревке.

А. Ты бы тоже, если б ты несколько часов назад пытался удавиться.

Сосед. Ну, ладно, что хоть отвалил, так что можно спокойно болтать. Если уж трепаться, так не трепать нервы соседям.

Б. Никто не знает, что может случиться с приговоренным. Господь милосерден.

В. И Дева Мария тоже.

Они с удивлением смотрят на молодого человека, который к ним присоединился.

Данлейн. Э, нет, теперь все. Уже поздно. Не успеют они его помиловать.

А. Но бывали же помилования в последнюю минуту.

Сосед. Так-то оно так, да ведь он еще слил кровь — родного своего братца — в лохань, точно это был боров, и зарыл останки в разных местах; так что опознать потом не было никакой возможности.

В. *(по-ирландски)*. Go bfoiridh Dia reinn! [1]

Сосед. Нет, у него шансов, ни одного на всю кошачью расу. Вздернут не хуже, чем Гилдроя.

А. Ты у нас, гляжу, затейник. Послушаешь тебя, вспомнишь анекдот.

[1] Господи, помилуй! *(ирл.)*

Послали девочку утешить папашу, так она так старалась, что он перерезал себе глотку.

Д. А-а, все равно он прав. Повесят его.

Сосед. Точно. Ставлю свой воскресный бутерброд с ветчиной — если найдется идиот, чтоб спорить.

Заключенный Д., букмекер, прислушивается.

Д. На бутерброд твой я положил, но если хочешь, оформим пари как следует.

Один из заключенных становится на шухере. Д. действует как заправский букмекер на скачках.

Эх, старая фирма. Приятно поработать. Сосед ставит воскресный бутерброд с ветчиной, что мальчика утром повесят. Что против?

Г. Пять сигарет.

Д. Да пошел ты...

Миксер. Полбутерброда.

Д. Полбутер...

Сосед. Э, нет, целый бутерброд!

Д. Равные бутерброды! Кто берет равные бутерброды? Вот вы, сэр. Давайте вы. У вас вид спортсмена.

А. Не стану я жрать ничего, к чему он притронулся. Даже если буду помирать с голода.

Сосед. Иди ты!

Д. Ладно-ладно-ладно, не прерывайте ставки. Кто берет?

Данлейн. Я беру, хотя бы лишь для того, чтоб заткнуть это жадное грызло.

Сосед. Иди ты! Треплешься...

Данлейн. Нет, ставлю свою ветчину, что до утра придет помилование. Чуют мои кости.

Сосед. Это просто ревматизм.

Д. Принято, Сосед?

Сосед. Принято.

Д. Пожмите руки.

Данлейн. Добрый день, лорд Лонсдейл.

Сосед. Ладно, ладно. Завтра утром, когда люк ему скажет: «А», твоя ветчина — моя.

А. Да не лишит тебя Бог аппетита.

Сосед. Будь спок, его вздернут.

А. Но если нет, я, клянусь, расскажу ему, как ты ставил ветчину против его жизни.

Сосед. Не посмеешь.

А. Это почему же?

Сосед. Не будешь ты настолько злым.

А. А что, собственно, тут такого злого?

Сосед. А то, что раскол и несогласие вносишь.

Появляются двое малолеток.

А. Да уж, надеюсь, он оценит шутку.

Б. Опять эта пацанва здесь. Экскурсия по Райли с познавательной целью? Ну, куда вы направляете свои стопы?

1-й малолетка. Пришли повидать кореша. Ему позавчера стукнуло двадцать, так что его перевели от нас сюда. *(Замечает В.)* А, вот ты где. Мы прямо из больницы, с осмотра, в субботу выходим, знаешь. Так что вот тебе сигаретка. *(Достает пачку «Вудбайн», вынимает сигарету и протягивает ее В.)*

В. *(застенчиво встает и принимает)*. Спасибо.

1-й малолетка *(передразнивая ирландский)*. Гуры-муры-гыт — хочешь сказать?

В. *(слабо улыбаясь)*. Go raibh maith agat! [1]

1-й малолетка *(величественно)*. Na bac leis [2]. *(К остальным.)* Шпарит

[1] Благодарю вас *(ирл.)*.

[2] Не за что *(ирл.)*.

по-ирландски как бог. Он с острова, который где-то между нами и Америкой. А Шейбо даст тебе огонька.

2-й малолетка *(роется в складках своего пальто, извлекает спички и протягивает В.)*. Держи. Вот гадство — перевести тебя сюда, ко всем этим старперам. Подумаешь, двадцать лет. Но, может, ты после нас особо не задержишься и тоже пойдешь домой.

В. *(с акцентом графства Керри)*. Надеюсь, если Господу будет угодно. Это будет летом, а там очень красиво, когда солнышко светит.

Малолетки на мгновение смущаются.

Данлейн. А не поцеловаться ли вам на прощание?

2-й малолетка *(1-му)*. Слышь, нырнем-ка в яму, пока мусора нет.

1-й малолетка. Законно, надо поглядеть, что это такое.

Оба лезут в могилу, старики кричат на них, но тут у дверей в госпиталь появляется надзиратель Донелли.

Донелли. А ну вылезайте к чертовой матери оттуда и катитесь к себе! *(Кричит надзирателям, находящимся в помещении.)* Примите двоих с Несовершеннолетнего! Катитесь ко всем чертям отсюда!

Малолетки выскакивают из могилы как пробки и, пританцовывая и делая на ходу так называемый знак V — левой рукой по сгибу правой,— убегают в дверь.

Сосед. Вот наглые щенки. Для них тут просто малина. Поджарил бы я их розовые задницы, оч-чень было бы полезно. Нахальные такие теперь щенки всюду бегают. Никакого уважения ни к Богу, ни к человеку, хватают все, что не прибито гвоздями.

Б. Это, Сосед, в тебе метил проснулся.

Данлейн. Мог бы беситься в своей постели.

Английский голос *(в одном из верхних окон)*. Эй, эй, там, внизу, во дворе.

Данлейн. О, кажется, лорд говорит.

А. Это тот гусь из Лондона, за автомобильную контрабанду.

Английский голос. Эй, там, внизу!

Б. Ну чего, наверху?

Сосед. По заду захотел?

Б. Да заткнись ты на минуту. Дай-ка послушать, чего ему надо.

Английский голос. Есть там у вас внизу кто-нибудь, кто на неделе освобождается?

Б. Миксер завтра выходит. Да он тут, на прогулке. *(Кричит.)* Обожди минутку! *(Озирается.)* Эй, Миксер!

Миксер. Ну, чего?

Б. Этот англичанин, который тут из-за машин, ему надо знать, не выходит ли кто на неделе. Ты вроде завтра освобождаешься?

Миксер. Выхожу, утром выхожу. *(Англичанину.)* Чего тебе?

Английский голос. Слушай, надо, чтоб ты законтачил с моим напарником. Он в Дублине. Это насчет выкупа за меня. Я сейчас напишу тебе имя и адрес и спущу на веревочке. Я не хотел, чтоб легавые накололи его адрес в Дублине, так что не мог написать просто. Я тут фунт на шмоне притырил, так я спущу его вместе с адресом. Сделай, а?

Миксер. Ладно, давай спускай адрес и денежку.

Английский голос. Мой кореш подкинет тебе еще, когда доберешься.

Миксер. Ладно, ладно, гони денежку-то и адрес, пока мусор не накнокал. Я завтра выхожу и сразу же его повидаю — как только выйду из рыночного паба. Полтретьего.

Б. Спускает.

Миксер. Ну что ж, по крайней мере, денежка-то вот она. *(Читает записку.)*

Сосед встает, заходит сзади и заглядывает через плечо. Миксер замечает это.

Убирайся отсюда к дьяволу.

Сосед. Да я только хотел посмотреть, что он пишет.

Миксер. Ага, и отправить его кореша в Брайдвелл, пока солнышко не село. Знаю я тебя, легавый сраный.

Сосед. Давай-давай, но ты еще пожалеешь об этом.

Миксер *(сует ему фунт)*. На, закажи себе панихиду.

Сосед. А тебе бы тоже не повредило приложиться к ручке священника.

Миксер *(смеется над ним)*. А, это для грешников. Только грязному надо мыться.

Сосед. Такой остряк и тут пропадает.

Миксер *(возвращаясь к остальным, стоящим в глубине)*. Отвали по-доброму, Сосед. Как станешь подыхать в богадельне, ужо навещу.

Сосед *(кричит ему вслед)*. Да ты лучше о себе позаботься! Я, между прочим, пару лет назад видал тут этого чувака, которого завтра вздернут. Тоже молодой и здоровенький, как ты, во всей своей силе и наглости. Они тут за корпусом А в футбол играли, а мы с беднягой Мокриджем гуляли и никому не мешали. И вдруг мне — бац по голове, так что я с копыт и ухо чуть не напрочь. А он и говорит: «Хорошо головой принимаешь», а я после того оглох на три дня. Так кому сейчас лучше, какой он там ни молодой и сильный? И как будет чувствовать себя его ухо, когда ему завтра там намылят и веревкой обмотают? И у кого копыта подогнутся, когда распахнется люк и он загремит к чертовой матери в яму? Так что́ толку в этой молодости, а?

Некоторые арестанты прислушиваются.

Миксер *(отходит прочь и, глядя презрительно на Соседа, кричит)*. Вали, вали, скот недоделанный.

Проходит надзиратель; звонят городские колокола, гудят заводские сирены, слышны свистки пароходов. Арестанты ходят взад-вперед, как звери в клетке.

Сосед. Данлейн, не дашь карандаш на минутку?

Данлейн. Это зачем?

Сосед. Хочу черкнуть пару слов этому англичанину, насчет его дела.

Данлейн. Давай по-быстрому, пока мусор не вернулся.

Сосед *(пишет)*. Алё, подними это, тут насчет поручения.

Английский голос. Ты получил фунт и адрес?

А. Что этот старый пес затеял?

Данлейн. Да оставьте вы его в покое. Парень немного опрометчив, а наш старик хочет помочь ему выкрутиться.

А. Ну да, с помощью штопора.

Сосед. Спусти шнурок и получишь записку.

Английский голос *(видны руки в окне, держащие записку)*. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Хочешь жить — умей вертеться». *(Кричит в ярости)*. Ты, гнусный ублюдок, ты же взял мой фунт — ну, гадом буду, скажу об этом мусору! Я продам тебя, сучье племя!

Миксер. Что ты написал ему?

Сосед. Хочешь жить — умей вертеться. *(Хихикает по-стариковски.)*

Английский голос *(кричит в окно)*. Ладно, вертеться так вертеться, но я продам тебя, я скажу мусору, продам тебя за этот фунт!

Миксер *(кричит в окно)*. Закрой свою пасть на минутку. Это не я, я ничего тебе не писал.

А. Это тут один старпер дорывается.

Миксер. Я не посылал тебе письма, понял? Это все эта бутылка с сифилисом.

Сосед *(прекращает смеяться, напуганный приближающимся Миксером)*. Да ну, Миксер, я ж просто пошутил.

Миксер *(наступая)*. Я тебе дам пошутил.

Миксер наступает на Соседа. Остальные стоят и смотрят. Внезапно Миксер хватает Соседа и, торжествующе крича, тащит его к могиле и сталкивает его туда. Заключенные обступают толпой могилу и, пиная грунт ногами, забрасывают Соседа.

Все *(скандируют)*. Хочешь жить — умей вертеться!

Хочешь жить — умей вертеться!

Б. Атас, Миксер, атас, атас, мусор идет.

А. Да это просто повар с ужином для приговоренного.

Из ворот госпиталя выходит арестант в белом фартуке, в руках у него поднос. Он задерживает шаг, и его тотчас окружает любопытная толпа — за исключением Бессрочника, стоящего поодаль, и Данлейна, прикорнувшего на авансцене. Голоса заключенных, столпившихся вокруг пищи, превращаются в возбужденный хор.

А. Яичница с ветчиной.

Б. Это ему давали вчера.

Миксер. Кура.

Сосед. Это было в обед.

Б. Торт.

А. Эх, вешаться не жениться.

Сосед. Бифштекс с луком.

Миксер. Колбаски с ветчиной.

Б. И ливер.

А. Свиная отбивная.

Б. Ножки.

А. Семга.

Сосед. Рыба с картошкой.

Миксер. Желе с кремом.

Сосед. Баранина.

А. Пудинг.

Б. Индейка.

Сосед. Гусь.

А., Б. и Сосед *(вместе)*. Яичница с ветчиной.

Все. Яичница с ветчиной! Яичница с ветчиной! Это яичница с ветчиной, и ветчина и яичница, и яичница и ветчина!

Повар *(отчаянно)*. Мужики, постойте...

Все. Брось, дай взглянуть, подними крышку, давненько я этого не видел.

Повар — арестант из обслуги — пытается защитить свою ношу; заключенные от возбуждения и жадности образуют настоящую свалку вокруг него, их ноздри как бы обезумели от этого запаха. Из госпитальных ворот раздается рев.

Донелли *(орет)*. Разойдись! Разойдись к чертовой матери! Забыли, где находитесь!

Заключенные бросаются врассыпную. Повар с достоинством удаляется.

Сосед *(усаживаясь)*. Ох, два яйца и желток посередине, как... как невестины глазки под прозрачной фатой... и свиное сало... бледное и чистое, как жидкое золото.

Данлейн. Да разрази тебя гром, что ж ты делаешь, а? Мне и так уже худо.

Сосед. И опять же — два куска ветчины.

А. Да заткнись ты, сука завистливая. Авось, когда ты вернешься в свои апартаменты на Сент-Джеймс-стрит, дом 1, цены опять подскочат. А там будет яичница с ветчиной. Представляешь, как придется втыкать, если завидуешь даже фраеру, который рубает в последний раз на этом свете.

Сосед. Ну, если хочешь знать, то, во-первых, не в последний. Он получит еще ужин на ночь и завтрак утром. И нисколько я ему не завидую. А потом он получит тушенку из пеньки, и пудинг на крышке люка, и еще черную дырку на сладкое. И, в конце концов, ты тоже притащился сюда вместе с остальными поглазеть на жратву, а?

А. Во всяком случае, не от зависти.

Б. Надо же хоть как-то развлечься, а то в этой ночлежке от однообразия сдохнуть можно.

Звонит треугольник.

А. *(мрачно)*. Ты прав. В Стрейнджуэйзе, в Манчестере — я там был во

время войны,— мы там даже любили налеты. Нас там всю дорогу держали взаперти, и во время бомбежки тоже. Тогда мы взобрались на столы и содрали затемнение. Шикарный, надо сказать, был вид: весь город пылал внизу под нами. Мусора носились взад-вперед и орали в глазки, чтоб мы отошли от окон, но потом они удрали в бомбоубежище. Да, грандиозное было зрелище, но потом бомба угодила в соседний корпус, и там укокошило двадцать рыл. Они так и остались там на столах, без единой царапины, но с концами. Это тогда тоже нарушило однообразие.

Входит надзиратель Донелли.

Донелли. А ну, все! Валите сюда.

Б. Не забудь о пари, Сосед.

Донелли. Ну, живо, стройся в шеренгу.

А. И не забудь, что я расскажу-таки приговоренному.

Донелли. А ну, тихо! *(Начинается обыск.)* Так, что это у тебя в кармане? Напильник? Ножницы из мастерской? Нет? Кусочек веревки? А, это просто твой носовой платок. *(Обыскивает следующего.)* Ну-с, что у тебя? Кусочек воска? Который ты забыл оставить в мастерской? Отлично, в следующий раз не забудешь. А это что?

Арестант вытаскивает 5 сантиметров веревки.

Это зачем? Ах, вы перевязывали сегодня посылки? Да, в конце концов, сами собой они не обвязываются. И ты забыл ее там оставить? Ладно, отваливай, за пять лет у тебя будет достаточно времени, чтоб сделать веревочную лестницу. Ах, у тебя только шесть месяцев. Так, может, ты пожалел деньги налогоплательщиков и решил повеситься? Печально, конечно, если так, но они ведь захотят узнать, где ты взял веревку.

Заключенные угодливо смеются.

Подходи следующий. *(Донелли уже спешит.)* Ну, нет ли у вас ножниц, иголок, ножей, бритв, топоров, револьверов и пустых бутылок из-под пива? Нет? *(К последнему.)* Ладно, не желаешь ли купить билетик на Полицейский бал?

Заключенный принужденно улыбается.

Риган *(голос из корпуса)*. Все в порядке, сэр?

А. Не забудь, Сосед.

Донелли. Да, сэр, открывайте.

Ворота со скрипом открываются.

Корпус Б-1, марш!

Сосед. Во всяком случае, могила вырыта и палач в пути.

А. Это еще ничего не значит. Они всегда роют яму. Просто чтоб пустить пыль в глаза.

Донелли. Прекратить разговоры!

Заключенные удаляются, ворота закрываются за ними; еще некоторое время слышны звуки их шагов, пока они расходятся по камерам.

Риган *(голос из корпуса)*. Корпус Б-1, закрыть двери! Живо по камерам, и закрыть двери! Марш по камерам, и закрыть двери! Запираем, запираем! Марш все внутрь, и закрыть двери!

Последняя дверь хлопает, и воцаряется тишина.

Голос из подвала *(поет)*. Фонарь качался, и день кончался,
А я на нарах лежал, скучал,
Я лежал в печали,
А ключи бренчали,
И канал Английский вдали журчал.

Ворота тюрьмы открываются, звонит треугольник. По ступенькам спускаются Корпусной и надзиратель Донелли. Они приближаются к могиле и осматривают ее.

Шеф *(то есть Корпусной, роскошный в своей фуражке с серебряным шитьем)*. Кто это тут так заливается?

Донелли. Я полагаю, кто-нибудь из тех, кто в душегубке.

Шеф. Где?

Донелли. В карцере, сэр.

Шеф. То-то. Скажите ему, чтоб заткнулся.

Голос. Ах, в зоне женской
Полсотни женщин...

Донелли *(выходит на середину и кричит)*. Эй ты, там, внизу! Заткнись, или я тебе вставлю кляп.

Пение прекращается. Донелли возвращается назад.

Шеф. Что, приговóренный уже попил чай?

Донелли. Кончает. Он как раз готов к прогулке. В корпусе все в порядке. Они сидят по камерам и пьют чай. Его выпустят с минуты на минуту.

Шеф. Он что, придет сюда?

Донелли. Да, сэр.

Шеф *(раздраженно)*. Черт возьми, вы что же — хотите показать ему его могилу? Да еще наполовину вырытую! Бегите и скажите этим идиотам, чтоб вывели его другим ходом и прогуливали там, у кочегарки; и пусть держат его поближе к стене, чтоб из камер не пялились. Живее, и уж постарайтесь, чтоб он вас не слышал. Ну, сделайте там вид, что это о чем-то... Надзиратели! Вам бы торговать чулками у Вулворта! *(Выходит на середину и кричит вниз.)* Эй ты, там, внизу! В камере под лестницей! Поёшь, чтоб составить себе компанию? Да не бойся, я всего лишь Корпусной. Как давно ты тут? Что? Семь дней — первая камера и двадцать один — вторая? Господи, прости нас и помилуй, ты, видно, натворил что-нибудь ужасное. Ну, я, может, смогу для тебя что-нибудь сделать. Хотя, Бог свидетель, ты не должен на это рассчитывать. Я тут не хозяин. Что? С кем? А, понятно, я тоже когда-то поцапался с этим типом. Поглядим, что можно сделать. Ты уже порядочно торчишь тут, с кем бы ты ни повздорил.

Входит надзиратель Донелли.

Ну, как?

Донелли. Все в порядке, сэр, они отправили его через другой выход.

Оба смотрят за пределы сцены.

Шеф. Вроде бы спорят о чем-то.

Донелли. Футбол.

Шеф. Боже, вы только взгляните, с какой настойчивостью он их убеждает.

Донелли. Я был внизу, в камере смертников, когда он пил чай. Я спросил, все ли в порядке, и он сказал, что да, а потом говорит: «Вечера становятся как будто длиннее, правда?»

Шеф. Полюбуйтесь, как он наслаждается воздухом.

Донелли. Да, хороший вечерок выдался ему напоследок.

Шеф. Я выяснил имя того парня, который устроил концерт в карцере. Утром, когда все кончится, проследите, чтоб его перевели на ту сторону. Пусть распевает свои серенады кочегарке. Для разнообразия. Если, впрочем, завтра у него будет настроение.

Донелли записывает в блокнот.

О каждом пустяке приходится заботиться. Никто из вас лишний раз пальцем не пошевелит. Кроме когда получку дают. Тут вы быстрые. Ладнó, за дело.

Донелли подходит к могиле и снимает брезент.

(Смотрит за сцену.) Минуточку... Нет, все в порядке. Они прогуливают его

с той стороны кочегарки. *(Заглядывает в могилу.)* Не так уж плохо, еще пара футов и дело в шляпе. Как только он кончит прогулку, Риган приведет сюда рабочую команду.

Донелли. Но он же и так далеко, сэр. Вон, небом любуется.

Шеф. Можно подумать, прощается. Что ж, он и впрямь больше его не увидит.

Донелли. Никаких шансов на помилование, сэр?

Шеф. Никаких. Хили даже не заикнулся на этот раз о почте. Будь хоть один шанс, он заставил бы нас выделить человека дежурить там всю ночь. А он только сказал, что начальник тюрьмы скажет последнее слово на рассвете. Это означает лишь одно. Ступайте.

Надзиратели Риган и Криммин входят с заключенными.

Риган. Рабочая команда прибыла, сэр. Ну-с, снимайте доски, пора харчи отрабатывать. Еще два фута в глубину, глину укладывайте наверху, и поаккуратней.

Шеф. Слушайте, Риган...

Риган. Займитесь, мистер Криммин.

Шеф. Я хотел сказать, Риган, почему бы вам не дать себе немного отдыха, пока они тут роют? Это же чертовски длинная смена — до восьми утра.

Риган. Благодарю вас, сэр.

Шеф. Не за что. Ну, мы еще увидимся,— прежде, чем вы заступите. Ступайте пока что и перекурите там в госпитале. Не забудьте же.

Шеф и надзиратель Донелли уходят.

Риган. Слушайте, Криммин. Шеф, как приличный человек, разрешил нам пойти в санчасть и малость перекурить, пока ребята будут тут вкалывать. Он, конечно, соображает, что мы и так бы туда смотались, но для него важно, чтобы и волки сыты и овцы... В общем *(достает из кармана пачку сигарет и вынимает несколько штук)*, дайте-ка это ребятам.

Криммин. Хорошо, я прибавлю еще из своих.

Риган. Ни в коем случае. По одной на каждого вполне достаточно. Вы, конечно, можете им сунуть парочку, когда они кончат. Но если у этих парней по две сигареты на рыло, они палец о палец не ударят и будут проводить время, созерцая кольца дыма в вечернем воздухе, как истые лорды. Сначала отвалю я, а вы чуть-чуть позже. Да, и скажите им, чтоб у них ничего этого не было в зубах, если сюда Шеф или Начальник нагрянет. *(Он поднимается по ступенькам в госпиталь.)*

Криммин окликает заключенного В.

В. *(подходит к нему)*. Seadh a Thomais? [1]

Криммин *(передает ему сигареты и спички)*. Seo, cupla toitin. Taim f hein is an screw eile ag did isteach chiung an oispeasdal, noimest Roinn amach no toitini siud, is glacfaidh sibh gal, M. thagann an Governor nor Chief, no an Principal, no blodh in bhur mbeil agaib iad. A'tuigeann tu? [2]

В. Tuigim, a Thomais, go raidh maith agat [3].

Криммин *(официально)*. Отлично, а теперь приступайте к работе.

В. Есть, сэр.

Криммин поднимается по ступенькам в госпиталь.

В. Он дал мне немного сигарет.

Заключенный Г. отходит к могиле, Б. стоит рядом.

А. Чтоб мне всю жизнь работать за такую цену! Слушайте, вы вдвоем повтыкайте немного, а мы малость подымим и потом подсменим.

---

[1] Слушаю, Томас *(ирл.)*

[2] Здесь несколько сигарет. Я и второй надзиратель на минутку уйдем в санчасть. Разделите сигареты и покурите. Если появится Шеф, Начальник или кто-нибудь из администрации — спрячьте. Понял? *(ирл.)*

[3] Понял, Томас. Спасибо *(ирл.)*

В. Он сказал, чтоб остерегаться Шефа и прочих.

Б. Передай огоньку напарнику. Он говорит, что с бóльшим удовольствием покурит там в яме — никто не увидит. Все-таки порядочные мужики — Риган и тот второй.

А. Сдохнуть можно от этой порядочности. Тот же Риган был нынче что зверь в мастерской. Нельзя было словом перекинуться.

В. Никогда не видел его таким.

Б. В таких случаях он всегда не в себе. Видно, смертная казнь действует ему на нервы.

А. Ему-то чего, он же ни черта не почувствует.

Б. Да ведь он назначен в последнюю смену, с полуночи до восьми.

А. Я верна тебе до гроба.

В. Бедняга, кажется, сам его попросил.

А. Они всегда его просят.

В. И Криммина тоже.

А. Неплохое начало для новичка — он же совсем не обнюхался.

Б. Смешно, что все они зовут Ригана. Словом думают, что он принесет им удачу, потому что приличный человек.

А. Приличный! Ты когда-нибудь видел, чтоб мусор, и был приличный? Знаешь историю, как мусор женился на проститутке?

Б. Ну и что было?

А. Она опустилась. До его уровня.

Б. Он сказал мне, как-то, что, если б я не так налегал на пиво, ни в жисть бы сюда не угодил. А я спросил, а как он сам насчет этого дела, и он ответил, что мне бы следовало за него помолиться.

В. Когда я сидел в корпусе Несовершеннолетних, он трёкал с нами в таком же духе. Говорил, что Пресвятой Деве о нас известно больше, чем судьям, полиции и даже нам самим. Что мы должны считать себя большими грешниками, но Она-то знает, что мы неплохие ребята, но слегка одичали.

А. У него точно не все дома.

В. И что мы отбываем наказание вместо людей, которые богаты и могут грешить безнаказанно. Особенно судьи.

Г. появляется из могилы.

А. Мертвые вставали и являлись многим.

Б. Чего ты вылез из своей норки?

Г. Я думал, что благоразумней курить в яме, но не мог там высидеть, слыша ваши разговоры, не мог, как налогоплательщик — особенно эти недостойные речи о слугах правосудия. *(Укоризненно смотрит на В.)*

В. Я только повторил, что говорил мистер Риган, сэр.

Г. А он может поплатиться за это. Согласно ему, можно обойтись без закона и порядка. Нас бы всех давно перерезали в наших постелях, мы стали бы жертвою любого негодяя, которому взбрело бы в голову забрать наше добро и даже жизни. Собственность должна быть неприкосновенна! Чем бы было общество без полиции, судей и хороших тюрем? Хаос! Я считаю, что повешение еще слишком мягкая мера.

В. О, мистер Риган отвергает смертную казнь.

Г. Боже правый, да этот человек атеист. Его нельзя держать на государственной службе. Я сообщу об этом министру, когда выйду отсюда. Я учился в школе с его племянником.

А. Кем, черт возьми, он себя воображает? Верховным судьей?

Г. Хаос!

Б. Он тут за растрату, из-за которой, кстати, там была пара самоубийств и еще перевыборы правления.

Г. Есть еще некоторые, кто заботится, знаете ли, о порядке в стране. У нас в семье это традиция. Еще мой дед получил четыре недели за подстрекательство к мятежу — во время Земельной войны. С тех пор мы не останавливались. Один из моих младших племянников, должен вам сказать, только что поступил в Сандхерст [1].

[1] Военное училище сухопутных войск в Англии.

Б. Это там, где ты отсидел свои четыре года?

А. Нет, это был Паркхерст.

В. *(остальным)*. С высшим образованием человек. Смешно, правда?

Г. Я употреблю все свое влияние, чтобы осадить этого Ригана.

В. Вы, должно быть, очень влиятельный человек, сэр.

Г. Я из Кэшл Кэролсов, мой мальчик, и по материнской линии прихожусь родственником Килленсам из Килкока.

Б. А, те, что стирали на наше семейство.

В. Go bfoiridh Dia rainn! [1].

Г. Ты говоришь по-ирландски?

В. Да, сэр.

Г. Если хочешь знать, я получил в школе золотую медаль за ирландский.

В. Это значит, вы говорите по-ирландски?

Г. Конечно.

В. О, сэр. Ta Caoliumn go leor agamsa. O'n gobliabh an amach [2], сэр.

Б. Вот ты и попался.

Г. Да. Tuighin thu [3].

Б. Этот парень из Керри, они там иначе не говорят.

Г. Из Керри? Ну тогда, конечно, у тебя другой диалект, чем тот, которому я учился.

Б. Этот молодой мусор — Криммин — тоже оттуда. Когда дежурные уходят, он просачивается на нашу площадку, и вот они часами болтают через глазок. И все по-ирландски, все по-ирландски.

Г. Это никуда не годится.

Б. А что тут плохого?

Г. О какой дисциплине может идти речь при такой фамильярности надзирателя с заключенным?

В. Но он же только сообщает мне вести из дома — ну, кто уехал в Штаты или в Англию. Он здесь тоже совсем недавно, как и я... и нам обоим одиноко.

Б. Малыш поет иногда по ночам. Одну старую песню, довольно мило. Это как-то скрашивает жизнь, когда ты ночью один в камере. Приговоренный тоже слышал его и даже попросил каждую полночь петь немного для него.

А. Придется тебе нынче, парень, напрячься для него напоследок.

В. О Господи, смилуйся над ним! Все равно его жалко. Это же ужасно — умирать на конце извивающейся веревки и черный балахон поверх твоего лица!

А. Ну, его вздергивают не просто так, ни за что. Все-таки зарезал своего брата, да еще и расчленил его, как мясник — тушу.

Г. Совершенно справедливо, сэр. Варвар каких мало.

В. Может, он и сделал все это, но, Господи, помоги ему. Сидит там и знает, что это последняя его ночь на земле. Ждет там, когда его разбудят и поволокут к петле.

А. Да какое там разбудят! Держу пари, вот уж кому не понадобится ставить будильник на без четверти восемь.

В. Да обретет он покой в другом мире.

А. Или братана, чтоб перекинуться парой слов, как он четвертовал его таким малопочтенным образом.

В. Никто этого не знает наверняка.

Г. Как так! Суд установил, что этот человек действительно в свое время был мясником и использовал, можно сказать, свой опыт, когда, убив брата, разрубил его топором на части, чтоб замести следы.

В. Go bfoiridh Dia rainn!

А. Ну, я не очень-то верю разным судам, но я знаю от парня из его деревни, что он сначала связал брата, а потом зарезал его как свинью.

Г. И, согласно уликам, слил всю кровь в корыто. Да его за это мало трижды повесить.

---

[1] Господи, Боже правый *(ирл.)*.

[2] У меня хороший ирландский. С самой колыбели *(ирл.)*.

[3] Я понял *(ирл.)*.

А. Я думаю, раз ваш дядюшка учился с президентской бабушкой, это будет нетрудно устроить.

В. Я не верю, что он плохой человек. Когда я сидел еще на подследственном, нас на прогулку вместе выводили, и он очень сочувствовал, когда я рассказал ему о своем брате, погибшем в армии у янки, и об отце, которого завалило в шахте в Манчестере. Он был хорошим товарищем для меня, а ведь я там и не знал никого, кроме малолеток, издевавшихся надо мной, и я его жалею.

А. Ужасно это все трогательно, насчет вас обоих. Малолетки, значит, должны расстилать бархатную дорожку, когда являешься ты или какой-нибудь другой дикарь. *(Раздраженный, он отходит.)* Лучше займемся этой вшивой ямой.

Б. Атас, атас.

Риган *(входя вместе с Криммином)*. Я торчу здесь уже десять минут, и все это время ничего, кроме ля-ля-ля не происходит. И, будь я проклят, Корпусной или Хозяин могут появиться каждую минуту. Что это за родительское собрание! И ты, и этот лысый мешок с газами, в чем дело!

Г. Мы просто немного обменялись впечатлениями, сэр.

Риган. Это ложь, и не стоит лжи.

А. Ладно! Да, мы действительно трепались. А я не набивался в прорабы, понял? Давай запирай меня в камеру! Запирай! Пусть Корпусной даст мне трое суток карцера! Удавы!

Риган. Очень это тебя расстроит.

А. Это уж точно.

Риган. Брось, не строй из себя деточку. Мы все знаем, что — битый. Где ты тянул срок? На болотах?

А. Два срока, сэр. И не на болотах, а в Паркхерсте и в Муре.

Риган. А-а, это наш национальный комплекс неполноценности. Наши собственные ирландские плетки и дубинки со свинцом из Каррикских шахт его не устраивают. Ему, видите ли, подай Дартмур или Паркхерст. А что было бы, если б ты попал куда подальше, в Синг-Синг или на Чертов Остров!

А. *(уязвленно)*. Я здесь не для того, чтоб надо мной издевались, сидел я в Англии или нет.

Риган. Да кто хоть слово сказал об этом. Сам же выпендриваешься перед ребятами, точно богатый янки. Слушайте, хотим мы этого или нет, но приговоренный будет похоронен здесь утром, так что кончайте трепотню и займитесь делом.

А. Я никому не позволю над собой смеяться!

Риган. Да? Ну и что ты сделаешь? Пожалуешься в контору Святого Хили? Давай. Он, известное дело, всюду сует свой нос. Как старый добрый член ИРА с прекрасной конторой в Свипе. Порекомендуйте меня приличным людям и так далее. Брось-ка ты это, парень, ради Христа. Это скверная ночь для всех нас. Неплохой дебют для такого юнца, как этот, только-только из пеленок... Брось. Ты же еще не совсем забыл, что происходишь из приличного дома. Где на сон грядущий читают молитву.

А. Нет у меня времени на такую болтовню. В жизни не слышал, чтоб религия приносила кому-нибудь пользу, кроме мусоров. В прошлый сочельник, когда я сидел в Уолтоне, священник явился к парню, который в то утро получил восемнадцать ударов плеткой. Когда парнишка слегка очухался и перестал стонать, слышит, как тот предлагает ему размышлять о страстях нашего Господа, а когда дверь захлопнулась, в камере остался такой запах перегара, что можно было обалдеть. *(Он смотрит на сцену, туда, где гуляет приговоренный, и с ворчанием приступает к работе.)*

Риган. Лучше бы ты молился — за алкоголика-то. Ладно, приступайте, все вы, и поторопитесь. У нас с Криммином еще вся ночь впереди, и мы не хотим кончать за вас.

Все влезают в могилу.

А. Никогда не видел такого мусора.

Б. Никто не видел.

Они работают.

Криммин. Который час, сэр?

Риган. Без десяти семь.

Криммин. «Сам» уже прибыл?

Риган. Да, вчера, вечерним пароходом. Самолет его нервирует. Говорит, это как-то неестественно. Сейчас он отсыпается после поездки и появится попозже. Мы подождем, пока он обмерит беднягу, а потом будет отдыхать до двенадцати.

Криммин. Хорошо.

Риган. И, бога ради, постарайтесь выглядеть повеселей, когда снова заступите.

Криммин. Я никогда не видел еще ничьей смерти, мистер Риган.

Риган. А я, конечно, черствый мерзавец, поскольку привык.

Криммин. Я не имел этого в виду, сэр.

Риган. Мне это нравится так же, как в первый раз.

Криммин. Понимаю, сэр.

Риган. Это был молоденький протестант, в первый раз. Он спросил, нельзя ли повести его спиной вперед — так, чтобы не видеть веревки.

Криммин. Господи, помилуй.

Риган. Да помилует он всех нас. Молодой священник, которого тогда позвали, попросил тюремного капеллана ему помочь: для него это тоже была первая казнь. Я пошел за каноником — он у нас роскошный парень. «Риган,— сказал он,— я думал, на сей раз мне удастся избежать этого. Но этого не избежишь. Никто не может избежать этого. Ну ладно,— говорит он,— может, за то, что я двадцать раз видел это, меня вышвырнут из чистилища двумя минутами раньше».

Криммин. Amen, a Thighearna Dhia [1].

Риган. Молодой священник был великолепен. Он читал вслух Библию этому протестантику, пока они ждали, и он пошел с ним внутрь, поддерживая его за руку и повторяя, пока они шли, что пусть опирается на милосердие Божие, которое сильнее человеческой власти. Я шел рядом с ними, и подвел паренька к люку, и поставил его под перекладиной. Накинули на него петлю, намылили за ушами, потом надели балахон. И все это время молодой священник повторял ему — великолепным ровным голосом, сквозь балахон: «Я возвещаю тебе этой ночью, мой возлюбленный Христос...» — и гладил его по голове, пока тот не провалился в люк. Тут он потерял сознание, и нам с каноником пришлось тащить его в кабинет Корпусного.

Пауза. Слышно, как люди работают в могиле.

Приговоренный позвал именно вас, Криммин. Он хочет, чтобы рядом были вы, потому что вы молоды и не закоснели еще во зле. Вы будете для него утешением в это утро, когда он будет окружен толпой куда больших негодяев, чем он сам,— говоря откровенно. Он надеется на вас, и вы уж постарайтесь.

Криммин. Да, мистер Риган.

Риган *(подходя к могиле)*. Как подвигается?

А. Почти всё, сэр.

Риган. Отлично, вы можете идти.

Они вылезают.

Оставьте здесь лопаты, они понадобятся завтра утром. Мистер Криммин, ступайте и доложите, что они кончили. Я провожу их. *(Обыскивает заключенных, находит окурок у А. и нюхает.)* Гвоздь от гроба. Подходяще. *(Идет к воротам и говорит.)* Обыскивать не нужно. Пропустите.

А. *(в сторону)*. Псих, абсолютный псих.

В. Но милосердный.

Риган. Марш, марш, вперед.

[1] Смилуйся над ним, Господи, аминь *(ирл.)*.

Г. Здесь не место для милосердия — за счет налогоплательщиков.

А. Расскажи об этом своему дядюшке, когда снова будешь ходить в смокинге.

Риган. Тихо! Рабочая команда прибыла, сэр.

Пока заключенные удаляются, по ступенькам медленно спускается П а л а ч.

Криммин. Это...

Риган. «Сам».

Палач. Мистер Риган, не так ли? Вот мы и снова вместе, как девочка сказала солдату.

Риган. Чудесный вечер. Надеюсь, хорошо добрались.

Палач. Неплохо. Приятно, знаете, снова попасть в старую Ирландию. Хороший бифштекс и пара пинт пива, как только сойдешь с парохода. Ну, вы, кажется, хотите отвалить, а? Я сейчас только нырну взглянуть на него, и потом вы свободны.

Риган. Мы вас поджидали.

Палач. Этот юноша пойдет с нами утром?

Криммин. Да, сэр.

Палач. Одолжи-ка мне на минутку свою фуражку, сынок.

Криммин. Я не уверен, что она вам впору, сэр.

Палач. А нам и не надо особенно впору. Впрочем, мистер Риган, наверно, даст свою? Пора бы ей уже и подходить мне, а мистер Риган, надеюсь, не простудится. *(Выходит.)*

Криммин. Зачем ему нужна была фуражка?

Риган. Видите ли, он получает сведения о приговоренном от доктора, но ему этого недостаточно. Он предпочитает взглянуть сам, чтобы знать, тонкая ли у него шея, какую петлю сооружать и так далее. Потому что, если произойдет ошибка, он либо задушит его, вместо того чтоб сломать шейные позвонки, либо голову вообще оторвет от плеч.

Криммин. Go bfoiridh Dia rainn [1].

Риган. Вы могли бы одолжить ему свою фуражку. Когда он поднимет уголок глазка, все, что приговоренный сможет увидеть, это козырек. Это можете быть вы, или я, или кто угодно. В конечном счете, «Сам» не делает ничего сверх того, за что ему платят. Как и мы с вами. Люди платят за это и голосуют, значит, это их вполне устраивает.

Палач возвращается.

Палач. Ладный мужичок. Пять пудов и превосходные плечи. Ну, мы еще поболтаем вечерком в госпитале. Я — в своих обычных апартаментах. Этого юношу тоже милости просим, если он согласен составить компанию.

Риган. Хорошо, сэр.

Палач. Ну, увидимся.

Риган. Итак, Криммин, в полночь, и чтоб вид был получше. Бедняга и так уже не в своей тарелке, недоставало еще наших синих рож. Как сказано в инструкции министерства внутренних дел: «Рекомендуется создание непринужденной атмосферы, игра в шашки, лото, кости, а также разговоры на спортивные темы».

Криммин. Понял, сэр.

Риган. И еще одно, Криммин...

Криммин. Слушаю, сэр.

Риган. Снимите ваши часы.

Они уходят.

Сосед *(из камеры)*. Эй, Данлейн! Не забудь о воскресной ветчине. Пари остается в силе. Они только что были у могилы, и я все слышал. Эй, Данлейн, слышишь меня?

А. Вали в станок, ты, старый антихрист! Звучишь точно тебя с того света на уик-энд отпустили.

[1] Господи, Боже правый *(ирл.)*.

Английский голос. Эй, ты, который освобождается утром! Не забудь повидать моего кореша и попроси помочь мне вывернуться.

Сосед. Хочешь жить — умей вертеться.

Песня:

Фонарь качался, и день кончался,
А я на нарах лежал, скучал.
Я лежал в печали,
И ключи бренчали,
И канал Английский вдали журчал.

Занавес.

АКТ ТРЕТИЙ

Сцена первая

Позднее в ту же ночь. Светятся окна камер. Синий фонарь во дворе. По временам слышно слабое перестукивание заключенных. Когда поднимается занавес, мы видим на сцене двух надзирателей. Первый — Донелли, второй — Новенький.

Донелли. Не бросай спичку на пол.

Новенький. Виноват.

Донелли. Пара минут свободных. У Шефа куча дел, он совать сюда нос вряд ли станет.

Новенький. Отвратная вещь ночное дежурство. Тем более нынче.

Явственно слышно перестукивание.

Донелли. Вообще-то мы обязаны совершать обход каждые полчаса, но стоит ли! Ты только послушай.

Перестукивание.

Новенький. Трёк, трёк, трёк. Удивительно, как эти чертовы трубы, чтоб они сгорели, еще выдерживают.

Перестукивание.

Донелли. Черт бы их всех подрал. Все это кодло треплется уже с семи часов.

Перестукивание.

Новенький. Может, пойти взглянуть, кто это там так старается.

Донелли. Кто старается? Да ты послушай.

Новенький. Все-таки, может, сходить?

Донелли. Стой, где ты есть, и лучше закури. Это никогда не мешает. Как только ты сунешься в первый глазок, сосед оповестит весь корпус. Ну и не выставляй сигарету-то. Ты когда-нибудь попадал в такую историю прежде?

Новенький. Нет.

Перестукивание.

Донелли. Они будут так стучать с шести утра, а без четверти восемь будет такой тарарам, как репортаж с Гранд Нэшнл.

Перестукивание.

(В пространство.) Прекратите же, черт возьми. И когда он пойдет, здесь будет жуткий гвалт. Последнее, что он услышит.

Перестукивание замирает.

Новенький. Расскажи еще что-нибудь.

Перестукивание.

Донелли. Успокаиваются понемногу. Можно подумать, они решили почитать или вздремнуть.

Новенький. Отвратная работа.

Донелли. Мы здесь, дружок, из-за трех «п»: получка, повышение, пенсия. Вот о чем положено думать государственным служащим вроде нас.

Новенький. Ты прав.

Донелли. Слушай, ты ведь не решишь, что я выпендриваюсь, если скажу, что из нас двоих я старший, верно?

Новенький. Понятно.

Донелли. Это самое, я не хочу хвастать — Бог дает нам мозги, это не наша заслуга; так я думаю, я могу говорить с тобой как старший. Ничего?

Новенький. Да, конечно. За любую науку я тебе только благодарен буду. Дурак, кто не хочет послушать, верно же, когда кто постарше скажет ему что-то полезное для карьеры.

Донелли. Ну вот; так я буду прав, если скажу, что у тебя еще нет своего этажа?

Новенький. Конечно; конечно ты прав. Я просто тут, там и где надо,— в общем, куда старший погонит.

Донелли. Ну вот, факты есть факты, против них не попрешь. Все мы сначала ползаем, а потом уж встаем на ноги, как сказал Человек. Но сказать тебе прямо, что́ я говорил про тебя Старшому?

Новенький. Конечно, давай прямо. Если ты во мне нашел недостатки, лучше о них узнать от друга, чем от врага.

Донелли. Не о недостатках речь. Если уж не могу человеку хорошее сделать, лучше вообще молчать, чем напортить.

Новенький. Да, это я знаю..

Донелли. В общем, я сказал Старшому, что ты вполне можешь справиться с этажом. Если, значит, объявится вакансия. И я не думаю, что выдам служебную информацию, если скажу, что такая вакансия может объявиться в ближайшем будущем. Еще до конца месяца. Усек?

Новенький. Конечно усек, и я уж не знаю, как благодарить тебя. Но я от тебя другого и не ждал. Это в твоей природе.

Донелли. Может случиться, что наш Старшой уйдет на повышение в Бог и что кому-нибудь из старичков отдадут его место.

Новенький. Да ну?!

Донелли. Не ну, а точно.

Новенький. Да тут каждый обрадуется служить под твоим началом. У тебя такой подход ко всем. Даже к зэкам.

Донелли. Ну, я надеюсь сделать что могу для товарищей, и каждый может на меня рассчитывать, если только он не двуличный гад и ханжа, как некоторые, о ком лучше не говорить. Что ж, он и я, мы занимаем одинаковый пост, но только один может стать Старшим, и я уж точно знаю, они не назначат туда полудурка, который ходит и просит всех убийц молиться за него.

Новенький. Надо думать. Если, конечно, они сами не полудурки.

Донелли. И надо думать, они знают его не хуже нашего.

Новенький. Кроме каноника; этот бедняга хорошо о нем отзывался.

Донелли. Ну, насчет «бедняги» это ты уже лишнее. Прости, Господи, не хочу брать греха на душу — и в Писании сказано: «Не прикасайтесь к помазанным Моим»,— но каноник еще тот тип. Ты еще всего не знаешь.

Новенький. Да иди ты к богу.

Донелли. Точно. Я тебе говорю. С него стребовали подписку, чтоб он молчал кое о чем, и отправили сюда, и это единственная работа, больше бы никуда не взяли. Натворил он дел, хотя, да простит меня Бог, наверно не стоит болтать об этом.

Новенький. Ну, спеть-то можно.

Донелли. Мне рассказывали, что он уговорил экономку принять в дом девку,— это к священнику в дом! — чтоб она родила — и незаконного!

Новенький. Да разве такому можно священником быть?

Донелли. Ему и капелланом-то тюремным нельзя быть, а не то что. Кажется, Корпусной идет или еще кто-то. Дуй в коридор и сделай вид, что выслеживаешь перестукивающихся. И о нашем разговоре — ни-ни. Это между нами.

Новенький. Что ты! Ясно — могила. Но спасибо все равно.

Донелли. Пожалуйста, не за что. Не удивляйся, если получишь этаж раньше, чем ожидал... Тридцать камер в полное твое распоряжение еще до того, как тебе стукнет пятьдесят.

Новенький. Велю племянницам за тебя молиться.

Входит Шеф.

Донелли. Все в порядке, сэр.

Шеф. Черта с два «все в порядке»! Я уже полчаса слышу, как ты треплешься с этим парнем.

Донелли. Переговаривались по водопроводным трубам, сэр, и я десять раз велел ему сходить на этаж и посмотреть, кто это. По-моему, сэр, этот человек несколько туповат.

Шеф. По-твоему. Что ж, ты сам такой же тупица, тебе и судить. Но кто, черт бы тебя подрал, кто ты такой, чтоб приказывать кому-то что-то делать? Ты несешь такое же ночное дежурство, как и он.

Донелли. Я думал, сэр, поскольку сегодня особая ночь...

Шеф. Что, ночь под Рождество, что ли? Слушай, то, что утром будет казнь, к тебе никакого отношения не имеет. Твоя работа вовсе не в том, чтоб об этом думать, но, если ты за нее взялся, смотри, как бы самому случайно не окрутиться да и угодить в яму. И вообще, что ты тут делаешь?

Донелли. Я думал, нужно сторожить могилу, сэр.

Шеф. Боишься, что ее сопрут? Возможно. Здесь столько воров, что ничего нельзя оставить. Убирайся отсюда и принимайся за дежурство. Если б ты не был тут одним из старейших, я бы сообщил Начальнику. Катись отсюда и забудем об этом.

Донелли. Слушаюсь, сэр. Спасибо, сэр.

Перестукивание.

Шеф. И прекрати это перестукивание.

Донелли. Конечно, сэр. И еще раз спасибо, сэр.

Донелли отдает честь и идет к воротам тюрьмы. Ворота открываются. Входит Начальник в вечернем костюме. Донелли замирает на секунду по стойке «смирно», козыряет и потом выходит. Начальник спускается по ступенькам и подходит к Шефу.

Шеф. Все в порядке, сэр.

Начальник. Что ж, хорошо. С помилованием ничего нового, в полдень было получено последнее слово. Но вы же знаете, Шеф, как это делается, всегда надеешься, что в последнюю минуту что-то изменится. Сознаюсь, впрочем, я был бы более чем удивлен, если б министр подал прошение. Ну что ж, пойду повидаю его, пока каноник не пришел. Они обычно легче исповедуются, когда знают, что надеяться уже не на что. Как он?

Шеф. В полном порядке, сэр. Сидит у огня и болтает с надзирателями. Говорит, что, может, ляжет спать, после того как повидает священника.

Начальник. Позаботьтесь, чтоб исполнителю и его ассистентам дали хороший завтрак.

Шеф. Разумеется, сэр. Он как раз очень беспокоился, чтоб была именно яичница с ветчиной. Прошлый раз какая-то голодная скотина сожрала пол его завтрака. Так он готов был убить.

Начальник. Смотрите, чтоб в этот раз ничего подобного.

Шеф. Ну что вы, сэр! У него на той неделе еще одна казнь в Крамлине, и нам ни к чему, чтоб он болтал в Белфасте, будто мы его тут заморили голодом.

Начальник. Они еще не вернулись из города?

Шеф *(смотрит на часы)*. Все уже закрылось. Полагаю, они скоро появятся. Я поставил Клэнси у боковых ворот пропустить их. После того как он обмерил беднягу, они отправились в его любимое заведение. Какой-то кабак в начале Грэфтон-стрит. Он там душа общества. Посетители считают его туристом из Англии. Хозяин-то знает, кто он на самом деле, но они ведь — коллеги; оба — владельцы пивных, а этот бизнес иной раз не хуже повешения.

Начальник. Наверное, такая работа делает его философом, а вино, как известно, утешение философов.

Шеф. Вы, несомненно, правы, сэр. Но он сам мне рассказывал, что выпивает, только когда у него работа. Остальное время он обслуживает посетителей за стойкой собственного бара.

Начальник. Дженкинсон с ним?

Шеф. Да, сэр. Он любит, чтоб он был с ним на случай, если переберет малость. Однажды он отправился по кабакам прямо с парохода и провел там весь день. Так когда он сюда добрался, оказалось, что он-таки забыл свой черный ящик с веревкой, мылом и прочим барахлом в каком-то кабаке и никак не мог вспомнить в каком.

Начальник. Не может быть

Шеф. Клянусь. Вы тогда работали в Лимерике, сэр. У нас тут было бог знает что. Наутро казнь, а ящика со всеми причиндалами нет. Тогдашний начальник посулил Святому Антонию девятидневную молитву и два объявления в «Мессенджер», если только найдут вовремя. И точно, после того как машины отделения объездили весь город, ящик нашли — в кабаке у Северной стены, в самом первом, куда он пошел. Вот вам сила молитвы, сэр.

Начальник. Да, понимаю.

Шеф. Так что он теперь всегда берет с собой Дженкинсона. Видите ли, Дженкинсон непьющий и вообще праведник. Он уличный проповедник — у методистов или как их там. «Сам» предпочитает трезвенников. Одно время у него был ирландец из Клэра, так он выгнал его за пьянку. В этом, говорит, цирке только одному можно выпивать — распорядителю.

Начальник. Во время Экономической войны мы хотели нанять палача из местных и дали объявление. Нужно было, чтоб он бегло говорил по-ирландски. Cauliochtai do rior Meamram V. 7 [1]. Подходящей кандидатуры так и не нашлось.

Шеф. Кстати, сэр, должен вам сообщить: два надзирателя из ночной смены болтали здесь вместо обхода.

Начальник. Напомните мне об этом завтра.

Шеф. Слушаюсь, сэр; и по-моему, мне следует сообщить вам, что старший из них отпустил шутку насчет казни.

Начальник. Боже правый! Это уж переходит все границы. Я сейчас был на вечере встречи в своей бывшей школе; ушел просто в замешательстве. Шуточки, которые отпускались в мой адрес за моим столом,— все как будто находили их остроумными. Мой старший сын был в ярости, что я вообще пришел туда. Он сидел со студентами из университета, так те были еще хуже. Один щенок обнаглел настолько, что спросил его, не соглашусь ли я продекламировать «В ту ночь как Ларри растянули». Непременно скажу ректору, что в этом городе есть, кажется, только одно место, где к казни относятся действительно всерьез. Ну, доброй ночи.

Шеф. Доброй ночи, сэр.

Перестукивание. Шеф ходит взад-вперед по сцене. Входит Риган.

Шеф. А, мистер Риган. А где ваш напарник?

Риган. Придет через минуту.

Шеф. Не знаю, Риган, что бы мы делали без вас в таких случаях. Не могу ли я или Начальник чем-либо помочь?

Риган. Разве что десяток молитв.

Шеф. Вряд ли я могу просить о таком Начальника.

Риган. Его молитвы ничем не хуже других.

Шеф. Ну, а с практической стороны — можно что-нибудь предпринять?

Риган. Бутылку чего-нибудь.

Шеф. Вы думаете, он будет пить?

Риган. Нет. Но я буду.

Шеф. Риган, я вам удивляюсь.

Риган. Я воспитывался среди людей, которые по поводу смерти либо

[1] Ограничение, в соответствии с пунктом № 7 Меморандума *(ирл.)*

пили, либо молились. Некоторые и то, и другое. Вы думаете, если смерть освящена законом, она отличается от других? От вашей, например.

Шеф. Меня не сочли виновным в убийстве, Риган.

Риган. Нет, конечно нет. И никто не собирается кидаться на вас завтра утром и выпускать из вас дух. Но не о нем я сейчас думаю, о себе. И не вкручивайте мне, что это только поворот рычага — и дело в шляпе. Вы забыли, как они иногда цепляются и как приходится его тащить к краю и спихивать в дырку. И вы никогда не слышали, как надзиратели там, внизу, повисают у него на ногах, чтоб как следует сломать шею? Или прыгают ему на спину, если он пролетел слишком мало?

Шеф. Я удивляюсь вам, Риган.

Риган. Это уже второй раз сегодня.

Перестукивание. Входит Криммин.

Шеф. Риган, я надеюсь, вы постараетесь забыть, что́ вы сейчас говорили. Если подобные разговоры пойдут за пределами тюрьмы...

Риган *(почти кричит)*. Из этого надо сделать публичное представление в Кроук-парке! Это, в конце концов, делается на деньги публики, и она это допускает. За свои деньги они могут получить побольше, чем клочок бумаги на воротах.

Шеф. Доброй ночи, Риган. Если бы я вас не знал, я бы доложил обо всем начальству.

Риган. Все равно доло́жите.

Шеф. Спокойной ночи, Риган.

Риган *(Криммину)*. Криммин, вы тут? Схожу в больницу, соображу что-нибудь нам на ужин. Пустой мешок не стоит, как сказал Человек; а полный не гнется. *(Уходит.)*

Криммин прохаживается. Вдалеке слышен шум уличного движения, заглушающий на время перестукивание. Слышно пение пьяной компании. В темноте появляются Донелли и Новенький.

Донелли. Это вы, мистер Криммин?

Криммин. Да, я.

Донелли. Скверная у вас нынче работа — для начинающего. Но одно вам могу сказать: с вами сегодня прекрасный человек. Мы с коллегой только что о нем говорили.

Новенький. Совершенно верно. Потрясающий человек — и порядочный.

Донелли. Там кто-то идет. Слишком сегодня хорошая ночь, чтоб оставаться в четырех стенах. Доброй ночи, мистер Криммин.

Криммин. Доброй ночи, сэр.

Донелли *(удаляясь)*. Пошли глотнем чайку.

Криммин ждет. Слышно перестукивание. Снова входит Риган.

Риган. Ужин готов. Хорошая, ясная ночь. Слышите, это автобусы. Парни разъезжаются от своих птичек или после кино или танцев; и некоторые, верно, хорошо поднабрались, но наполовину трезвы от мысли, что́ их баба скажет, когда они домой заявятся. Всего в каких-нибудь ста ярдах отсюда, на мосту! Можно подумать — за сотню миль. Вон наши из кабака возвращаются.

Слышны голоса. Входят Палач и Дженкинсон.

Палач *(поет)*.
Как роза, была она нежная, летняя,
Глаза ее сердце ласкали и жгли.
И лишь из-за этого, лишь из-за этого
Влюбился я в Мэри, розу Трали.

Никаких признаков Ригана.

Дженкинсон. Он, наверно, заступил на дежурство. Уж слишком поздно вы ушли оттуда.

Палач. Что ж, если гора не идет к Магомету, придется Магомету идти к горе.

Риган *(из темноты)*. Как девочка сказала солдату.

Палач. Как девочка сказала солдату. Это вы, Риган? Выпьете, а?

Риган. Боюсь, нам пора.

Палач. Да подождите вы, «пора»! Опрокиньте одну со мной. Приятно увидеть вас снова. Редко встречаемся. Адам, передай-ка ему бутылку чистого. *(Снова поет.)* «И лишь из-за этого, лишь из-за этого влюбился я в Мэри, розу Трали...» Неплохо для старика, верно? Прекрасная песня, по-моему. Хотя и религиозная. «Фонтан бедного христианина». Люблю старинные ирландские песни; у нас там по субботам, знаете, много ирландцев.

Риган. Это называется «спортивный кабак»?

Палач. Совершенно верно, и со старым спортсменом за стойкой бара к тому же. Все ирландцы приходят — точно, Адам?

Дженкинсон *(мрачно)*. Вроде, да. Может, потому что больше никто не хочет.

Палач. Что ты хочешь сказать? У нас лучшее пиво в округе. Хотя ты не разбираешься.

Риган. Ваше здоровье.

Палач. Чтоб нам всегда такое иметь. *(Дженкинсону.)* Подходящее у тебя настроение, ничего не скажешь; заставляешь всех считать, будто ко мне только ирландцы ходят. У меня никогда не было нехватки в друзьях. А знаешь почему? Потому что мне ничего не стоит отмахать сотню миль, чтоб оказать человеку услугу. Я всегда старался исполнить свой долг.

Дженкинсон. Я тоже.

Палач. Помнишь, как я встал больной с постели, чтобы повесить того солдата в Стрейнджуэйзе? А все потому, что знал, что у тебя и Крисмаса не хватит опыта.

Дженкинсон. Что ж, это верно.

Палач. Не буду я с тобой ссориться. Слышь, достань-ка свою концертину, сыграй им тот гимн, что сам сочинил.

Дженкинсон колеблется.

Ну, давай же. Отличный мотив, надо отдать тебе должное. Давай, парень.

Дженкинсон. Ладно, только ничего кроме гимна. *(Идет за инструментом.)*

Риган. Хорошая идея.

Палач. Славный он парень, наш Адам, но сейчас малость не в своей тарелке. Он и Крисмас, они раньше распевали на перекрестках с Оркестром Святой Радости, каждую субботу, вечером, и с концертиной тоже. Но кто-то из ребят пронюхал, кто они такие, и в коробке для денег стали попадаться куски веревки. Пришлось покончить с уличными концертами. Но этот гимн прямо за душу берет — про повешение, помилование и все такое. Прямо слезы на глаза наворачиваются, как послушаешь, как Адам и Крисмас его поют.

Дженкинсон возвращается.

Дженкинсон. Петь?

Палач. Давай.

Дженкинсон *(поет)*. Мой бедный брат, Господь у нас в сердцах.
Покуда твой не пробил смертный час,
Стань на колени и о всех грехах
Скажи Тому, кто принял смерть за нас.

Палач. Значит, если парень весит шесть пудов, то ему надо дать пролететь восемь футов...

Дженкинсон.

Когда тебя все люди гонят прочь
И плачешь ты — с тобою плачу я.
Пускай грехи твои черны, как ночь,
Приди ко мне: их смоет кровь моя.

Палач. ...а на каждые пять кило, если он легче, придется бросать его на два дюйма ниже, так что, если он весит пять с половиной пудов, бросаешь на восемь футов и два дюйма, а ежели в нем пять пудов — ему надо лететь восемь футов и четыре дюйма.

Дженкинсон. Хоть ты меня обидел тяжко, брат,
Я все ж люблю тебя, взгляни-ка ввысь:
Смотри, я не закрыл небесных врат,
Приди и к ранам там моим прижмись.

Палач. ...и поскольку, значит, в нем без четырех килограммов пять пудов, то, в общем, ему надо дать восемь футов и... и восемь дюймов. Но у него крепкая шея, так что, пожалуй, накину-ка я ему еще парочку дюймов. Да, значит, получается восемь футов и десять дюймов.

Дженкинсон. Мой бедный брат, близка пора твоя.
Скажи «прости», и я благословлю.
Ты дорого достался мне, но я
За это лишь сильней тебя люблю.

Палач. Теперь поделим четыреста двенадцать на вес тела в пудах и потом умножим на... на... *(Оглядывается и как бы спохватывается.)* Он, наверно, католик, мистер Риган?

Риган. Именно.

Палач. Ну что ж, все. Спокойной ночи.

Дженкинсон. Спокойной ночи.

Риган. Спокойной ночи.

Палач и Дженкинсон удаляются.

Спасибо за гимн. Славная ночь для звезд. Если на какой-нибудь из них есть жизнь, неужто там творится то же самое? Неужто на какой-нибудь планете сейчас тоже по двору прохаживаются надзиратели, и какой-нибудь ихний малый тоже ждет наутро веревку и в последний раз смотрит сквозь решетку на луну и на нашу землю? Хотя, сколько я помню, это их мало заботит. Обычно это все больше письма матерям или женам — но мы-то их потом не отсылаем, бросаем с ними в могилу. Какой смысл распространять этот душераздирающий вздор?

В. *(поет из окна своей камеры)*. Is e fath mo bhuadhartha na bhaghaim cead curts [1].

Риган. У нас нынче просто настоящий церковный хор.

Криммин. Он поет для... для...

Риган. Да, для приговоренного.

Криммин. Да. А почему англичанина интересует, не католик ли он?

Риган. Ну, им надо знать, разрезать ли потом балахон, потому что по обряду положено смазать его елеем, и руки и ноги тоже, так что ребятам в морге придется стаскивать с него ботинки, носки и так далее.

В. *(поет)*. N'il gaoth adtuaidh ann,
Ni'l sneachta cruaidh ann... [2]

Риган. Пошли-ка, пора уже, а то эти двое там, поди, осатанели, сидемши в четырех стенах. Они же там с четырех.

В. *(поет)*. Mo whuirnin bhan... [3]

Песня постепенно замирает; сцена понемногу светлеет и начинается

[1] Потому и горюю, что нельзя тебя видеть *(ирл.)*.
[2] То не северный ветер, то не обжигающий снег... *(ирл.)*.
[3] Моя светлая, моя дорогая *(ирл.)*.

Сцена вторая

Тюремный двор, раннее утро.

Донелли. Сколько сейчас?

Новенький. Без семи.

Донелли. Как только будет без пяти, они начнут. Можно подумать, у них там хронометр. Сидеть бы сейчас дома, завтракать. Сколько?

Новенький. Почти без шести.

Голос Миксера. Bail o dhis orribh go leir a chairdre [1].

Донелли. Я так и знал. Ага, это эта сволочь Миксер. Ну, на сей раз он попался!

Голос Миксера. Мы ведем тебя в корпус Д...

Донелли. Ты, ублюдок! Я тебе покажу корпус Д!

Голос Миксера. Время пришло, и мы начинаем. И кого же я вижу во главе парада, как не Шерифа нашего древнего, славного города, известного в песнях и в сказках как место, где свиньи сожрали однажды кисти для побелки. И...

Надзиратели обнажают головы.

...мы шествуем в следующем порядке: Начальник, Корпусной, два мусора — Риган и Криммин,— и Ты между ними, и еще два мусора, и три темных субъекта с той стороны пролива тоже не отстают, дальше каноник. А ты — ты стараешься держать себя в руках. Последние десять метров. Белый мешок для пудинга уже на твоей голове. Уже недалеко идти. Всё. Пришли.

Часы начинают бить, каждую четверть все громче.

Они ставят его ноги к меловой черте. Сейчас их свяжут. Мешок наденут на морду. Мусора сходят с крышки люка, выпрямляют его. Ну. «Сам» подходит к рычагу. И...

Бьет восемь. Надзиратели крестятся и надевают фуражки. Заключенные издают яростный рев.

Все. Загнулся, преставился, загнулся, преставился.

Донелли. Заткнитесь, заткнитесь!

Новенький. Заткнитесь, заткнитесь, заткнитесь!

Донелли. Я знаю, кто в каком окне! Вы у меня получите! Заткнитесь.

Шум утихает и наконец прекращается совсем.

А теперь пошли за Миксером. *(Мрачно.)* Вылечу я его от кашля. Пошли...

Входит Риган.

Риган. Помогите-ка мне с этим парнем.

Донелли. Мы идем за Миксером.

Риган. Это терпит, помогите-ка мне. Он потерял сознание, когда люк открылся.

Донелли. Хрупкая нынче молодежь пошла. Как спички.

Через двор проносят Криммина.

Голос Соседа. Данлейн! Воскресная ветчина моя. Его таки вздернули.

Голос А. Ничего, скоро ты его нагонишь.

Голос Данлейна. Не обращай внимания, Сосед.

Голос Соседа. Не забудь про ветчину, Данлейн!

Голос Данлейна. Сосед, я забыл тебе сказать.

Голос Соседа. Что ты забыл мне сказать?

Английский голос. Где этот малый, что выходит сегодня?

Голос Соседа. Наверху, у Нелли за часами. Так что́ насчет ветчины, Данлейн?

Английский голос. Эй, который освобождается! Не забудь повидать моего кореша, пусть поможет выкрутиться.

---

[1] Море и небо не ждут человека *(ирл.)*.

Голос Соседа. Хочешь жить — умей вертеться. Так ка́к насчет ветчины, Данлейн?

Английский голос. Да пропади ты пропадом с твоей ветчиной!

Голос Данлейна. Заткнись ты на минутку со своим корешем, дай я скажу ему за наше пари.

Голос Соседа. Ты ж проиграл, об чем речь?

Голос Данлейна. Ага, но врач сказал, у меня брюхо не в порядке, и посадил на молочную диету.

Через ворота входит Шеф и задирает голову.

Шеф. Убирайтесь с окон. Слезайте, ну, живо! *(Делает знак тем, кто за сценой, войти.)*

Мимо Шефа проходят А., Б., В. и Г. У Б. молоток и стамеска.

Эй ты, впереди! У тебя молоток и стамеска?

Б. Так точно, сэр.

Шеф. А вы трое — за работу. Лопаты там, где вы их вчера оставили. Приведите яму в порядок и подготовьте. Ясно?

А., В. и Г. подходят к могиле, снимают мешковину, берут лопаты и принимаются за работу. Б. стоит на верхней ступеньке лестницы со своей стамеской и ждет. Шеф изучает бумаги, чтоб отдать последние распоряжения.

Да, точно... Значит, так. *(К Б.)* Вырежешь на камне Е-777. Понял?

Б. Понял, сэр. Е-777.

Шеф. Правильно. Вообще-то по бумагам он Е-779, но девятку вырезать трудней, чем семерку. Вон на том камне в стене, который поближе. Давай, пошел. *(Повышает голос.)* Каждому по две бутылки чистого, как обычно. Но только если будете работать как люди.

Донелли. Сэр, я знаю, кто устроил сегодня этот шум. Это Миксер. Пойду отведу его в карцер. Это будет у меня час переработки, сэр.

Шеф. Опоздал малость. Он уже освободился. Мы ему еще с вечера одежду выдали. Ждали только, чтоб все кончилось, и теперь он пошел.

Донелли. Но... Сэр, это он же заварил сегодня всю кашу.

Шеф. Ну так чего же ты хочешь, чтоб я побежал за ним по Круглой дороге? Он вышел по досрочному, понял? Мы могли бы и отменить, но ты, черт бы тебя побрал, прокопался.

Донелли. Мы помогали переносить...

Шеф. Помогали переносить... Надзиратели! Вам бы у Вулворта работать.

Новенький. Надо же, как вывернулся, гад. Подумать противно. Орал, когда человек отходил к Богу!

Донелли. Это-то черт с ним. А вот он нахамил мне однажды, в сорок втором году, на лесопилке, а я сделать ничего не мог — он был тогда на подследственном. Я, можно сказать, годами ждал случая поговорить с ним по душам.

Новенький. Не расстраивайся: вернется.

Над краем могилы виднеется только голова А.

Б. Как считаешь, этот камень ближе всего?

А. Сойдет и этот. Это же только для отчета. Вряд ли они когда-нибудь станут выкапывать его и канонизировать.

Б. Да уж наверное. Значит, Е-777.

Риган бросает письма в могилу и уходит.

А. Черт возьми, дай-ка эти письма. Воскресные газеты хорошо за них заплатят.

Б. Что-то такое ты вроде бы вчера рассказывал.

А. Ладно, давай их сюда.

Г. Они настолько же твоя собственность, как и каждого из нас.

Б. Не драться же из-за них. Поделимся по-честному. Кто хочет, может взять мою долю. Малыш тоже, наверное, не жаждет.

Г. Верно. Договоримся как деловые люди. Бизнес есть бизнес. Их всего три; каждому по письму, а третье разыграем. Я человек дела.

А. Что ж, это по-честному. Разве мы не бизнесмены? Только без конторы.

Г. Тебе какую сторону? Где адрес или пустую?

Голос из карцера. Ах, в зоне женской
Полсотни женщин,
Побыть бы с ними, мне так их жаль,
А ключ на связке
Бренчит как в сказке,
И канал Английский струится вдаль.

Занавес опускается.

Конец

От редакции

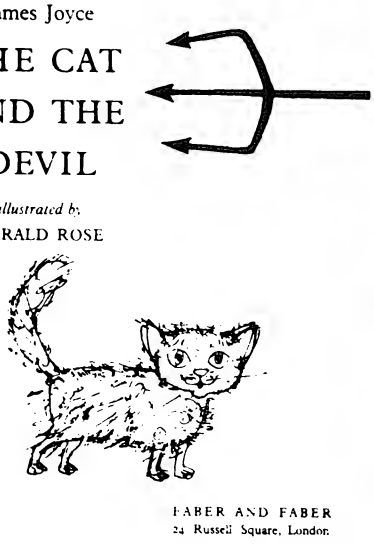
Публикации на страницах нашего журнала ранних переводов Иосифа Бродского в последние годы становятся почти регулярными. Два десятилетия рукописи этих переводов бережно хранились не только его близкими друзьями, но и малознакомыми людьми в какой-нибудь редакции или театре, где их в свое время отвергли. Бродский потерял след этих рукописей, и по его просьбе мы посылаем ему копии в Нью-Йорк.

Первыми в журнале увидели свет переводы стихов английского поэта-метафизика Джона Донна и посвященная Донну «Большая элегия» самого Бродского (1988, № 9), затем последовали переводы современных писателей — пьесы английского драматурга Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (1990, № 4) и стихов американского поэта Ричарда Уилбера (1990. № 10). В этом номере публикуется трагикомедия ирландца Брендана Биэна «Говоря о веревке»; на рукописи, сохранившейся в редакции «ИЛ», рукой переводчика написан обратный адрес: Ленинград, Литейный, 24, кв. 28.

Дело не только в восстановлении справедливости и в том утешительном факте, что рукописи не горят. Любопытно следить, чем являлся перевод для молодого Иосифа Бродского, как он, перефразируя его собственные слова, сказанные о другом поэте, «поглощает», словно «кит планктон или кисть — палитру», «стилистические наречия» разных стран и эпох. В наши грешные 90-е, время коммерциализации культуры (и размаха переводческой халтуры), этот опыт весьма поучителен.

Перевод пьесы Б. Биэна «Говоря о веревке» был переработан И. А. Бродским специально для настоящей публикации.

■



ДЖЕЙМС ДЖОЙС

Кошка и черт

Перевод с английского А. ЛИВЕРГАНТА
Иллюстрации ДЖЕРАЛЬДА РОУЗА

Сказка «Кошка и черт» написана Джойсом в 1936 году для внука Стивена. В «детской» сказке звучат отголоски давнего конфликта писателя с ирландскими властями; не случайно поэтому перехитрившему самого дьявола мэру Божанси дано имя Альфреда Бирна, мэра Дублина, одного из наиболее резких критиков «Дублинцев» (1914).

Стивену Джойсу

Мой милый Стиви, несколько дней тому назад я послал тебе игрушечную кошку с конфетами, но, возможно, ты не знаешь историю про кошку из Божанси.

Вийе Сюр-Мэр
10 августа 1936 года

Божанси — крошечный старинный городок на берегу Луары, самой длинной реки во Франции. И самой широкой — во Франции, по крайней мере. В Божанси Луара достигает такой ширины, что от одного берега до другого никак не меньше тысячи шагов.

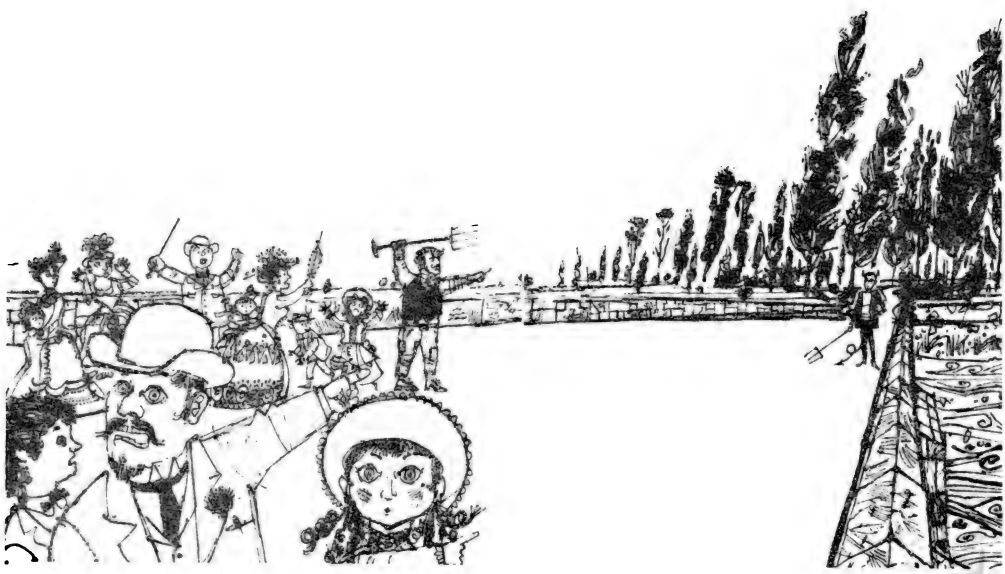
Было время, когда жителям Божанси, за неимением моста, приходилось, чтобы перебраться с одного берега на другой, садиться в лодку. Ни построить мост сами, ни заплатить за строительство они не могли и поэтому очень горевали.

Тогда черт, узнавший про неприятности божансийцев из газет (черти ведь обожают читать газеты), надел фрак и отправился на прием к лорд-мэру Божанси мсье Альфреду Бирну. Лорд-мэр и сам был ужасный щеголь, он носил алую мантию, а на шее у него красовалась тяжелая золотая цепь. Цепь эту он не снимал даже ночью, когда крепко спал, свернувшись калачиком.

Черт сообщил лорд-мэру о том, что́ он прочел в газетах, и сказал, что берется построить мост через Луару, дабы жители Божанси могли переходить с одного берега на другой столько раз в день, сколько понадобится. «Я сооружу мост, какого еще свет не видывал,— заявил черт,— и к тому же — всего за одну ночь».

Когда же лорд-мэр поинтересовался, в какую сумму ему обойдется строительство моста, то оказалось, что от денег черт наотрез отказывается, но хочет, чтобы ему достался первый, кто перейдет по мосту с одного берега на другой. «По рукам»,— сказал лорд-мэр.

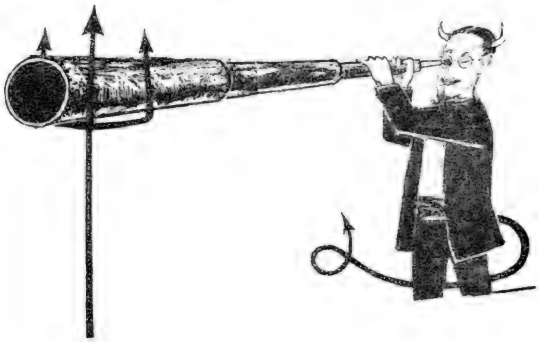
Наступила ночь, все жители Божанси разошлись по домам и крепко уснули, а наутро, выглянув в окно, закричали: «О Луара! Какой замечательный мост!» И действительно, через широкую реку был переброшен красивый каменный мост.



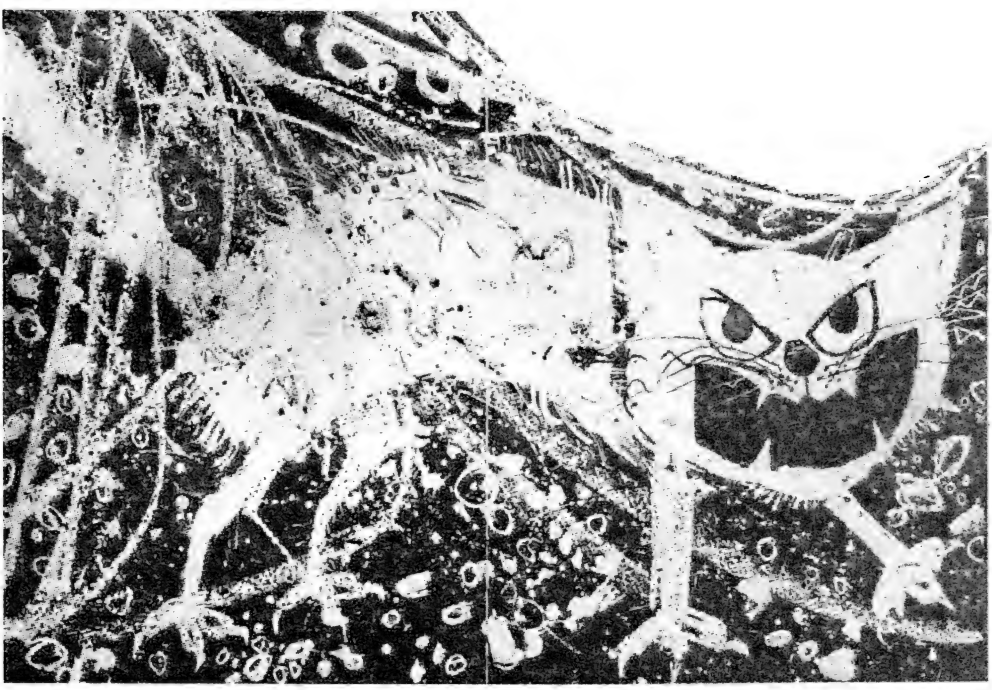
Божансийцы бросились к Луаре и увидели, что на противоположной стороне стоит черт и поджидает того, кто первым перейдет на другой берег. Но смельчаков, естественно, не нашлось.

Тут затрубили трубы, голоса в толпе смолкли и появился мсье Альфред Бирн в своей широкой алой мантии с тяжелой золотой цепью на шее. В одной руке он держал ведро с водой, а в другой — кошку.

Увидев лорд-мэра, черт перестал приплясывать и приставил к глазу длинную подзорную трубу.



Божансийцы зашептались, а кошка взглянула на лорд-мэра, ибо в городе Божанси кошкам разрешается смотреть на лорд-мэров.



Когда же кошке надоело смотреть на лорд-мэра (ведь даже кошкам в конце концов надоедает смотреть на лорд-мэров), она стала теребить его тяжелую золотую цепь.

Стоило лорд-мэру ступить на мост, как все божансийцы затаили дыхание, а все божансийки потеряли дар речи.

Лорд-мэр опустил кошку на мост и — вылил на нее ведро ледяной воды.

Кошка, которой теперь терять было нечего, стремглав бросилась через мост — прямо, что называется, черту в лапы.

Черт же был зол как черт.

— Messiers les Balgentiens! — закричал он громовым голосом.— Vous n'êtes pas des belles gens du tout. Vous n'êtes pas que des chats!

Кошке же он шепнул: — Viens ici, mon petit chat! Tu as peur, mon petit chou-chat? Tu as froid, mon pauvre, petit chou-chat. Viens ici, le diable t'emporte. On va se chauffer tous les deux. Господа божансийцы, вы негодяи! Вы не люди, вы кошки! Иди сюда, котик. Ты боишься, моя киска? Тебе холодно, моя бедная. Иди сюда, черт тебя раздери. Давай согреемся.

И, взяв кошку на руки, удалился.

Вот почему жителей этого городка с тех пор называют божансийскими кошками.

Что же касается моста через Луару, то он цел до сих пор, и по нему гуляют и катаются на велосипедах мальчики и девочки.

Надеюсь, тебе понравилась эта история.

Твой Нонно.

Обычно черт изъясняется на своем собственном, никому не понятном языке «чертногусломе», но когда злится, то очень хорошо говорит на очень плохом французском, причем, по мнению некоторых, с сильным дублинским акцентом...

АЙЛИШ НИЙ ГИВНЕ

Вышивка цветочками

РАССКАЗ

Перевод с английского В. ВОРОНИНА

У Ленни есть мечта, простая, даже банальная мечта и, как она сама знает, едва ли осуществимая. Она хочет найти свои корни. Не просто установить имена и даты жизни по приходским метрическим книгам и данным переписей. Это-то она узнает без особого труда, если сохранились подобные записи. Нет, она мечтает докопаться до настоящих корней, до истинной сути. Воссоздать домашнюю жизнь, проникнуть сквозь покровы одежд в души людей, в их умы и сердца.

Зачем ей это надо, она сама не знает или знает лишь очень смутно. Отчасти ею движет обычное любопытство, желание заглянуть в прошлое своей семьи, отчасти же — более личное стремление познать себя. Почему у нее такая, а не иная внешность? Почему она любит одно и не любит другое? Почему она поступает так и не поступает иначе? Ведь знай она, от кого ею унаследованы те или иные индивидуальные черты характера, наверняка она смогла бы лучше судить о том, кто она такая и кем может стать.

Стоит ей начать задавать себе эти вопросы, как ее сперва охватывает возбуждение, а потом у нее начинает кружиться голова. Литания [1] вопросов обретает собственную жизнь: она буйно, как стебель фасоли по весне, идет в рост, но это не приносит удовлетворительных результатов. И чем больше возникает вопросов, тем больше убеждается Ленни в важности ответов. Обещание разгадок — вернее, надежда найти их — светится, как фонарь, в темно-зеленой, в черной пещере ее сознания, где иногда витают, но чаще не появляются вовсе платоновские тени [2]. Опьяняясь вопросами, она начинает верить, что существует один ответ, истинное всеобъемлющее объяснение, которое раз и навсегда зальет эту сумрачную местность ослепительно ярким светом и рассеет все личные недоумения, раскроет все тайны.

Конечно, когда приходит отрезвление, Ленни хорошо понимает, что такого ответа нет и быть не может. Единственное, что ей удалось узнать об истине (она верит в ее существование, таково уж ее кредо),— это то, что истина многогранна. В отношении прошлого это так же верно, как в отношении настоящего и будущего. Знание жизни предков не разъяснило бы ей всего того, что ей необходимо понять, чтобы ясно увидеть себя или что-либо. Но некоторые ключи к разгадке оно ей даст.

Ключи к разгадке. Кое-какие ключи у нее есть. Особенно многообещающий ключ — родина ее предков. Если можно верить преданиям (а документы как будто подтверждают их достоверность), они жили там, в одном и том же месте, сотни лет. Уэйвсенд. Невысокие холмы с черными и фиолетовыми склонами, кое-где ярко-зелеными от моха, полого спускаются к темно-зеленым полям, украшенным желтыми цветками амброзии и бутеня одуряющего. Царственная красная фуксия, розовый шиповник, таволга и наперстянка цветут в канавах по обеим сторонам грязной дороги, ведущей к берегу. Песчаные дюны, похожие на задние лапы львов, отражаются в золотой воде залива. Золотой залив, бирюзовый залив, индиговый залив, нефритово-зеленый залив. Черная гладь, игра теней. Тени облаков, вечно бегущих по высокому опаловому небу. Крачки, кулики-сороки и чайки ныряют в тени

© Éilís Ní Dhuibhne, 1991

[1] Молитва у католиков: длинное перечисление. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Платон утверждал, что мы видим не саму реальность, а лишь ее тени, колышущиеся, словно тени на стене пещеры при свете огня.

облаков и в свои собственные тени, завидев тени сельдей, тени косяков макрели. Тени по ту сторону призрачного зеркала воды.

Каменный дом в два этажа с низенькой дверцей и узкими косыми оконцами на серых стенах. Косоглазый дом, подслеповато прищурившийся на коровник по ту сторону «улицы». По мощенной булыжником дорожке люди медленно пробираются туда подоить коров, а если это женщины (обычно это так и есть, поскольку ходить за коровами — женская работа), то и справить нужду. Молоко хлещет в деревянные ведерки, прочее — через аккуратную квадратную дыру в полу в зеленый зловонный прудик. Чудно́е слово — прудик, Ленни не может его выговорить без смеха. Прудик, пруд пруди, «прундить».

Внутри дома ярко раскрашенная мебель оживляет полумрак помещений. Синий кухонный шкаф с посудой, на полках которого красуются чайные чашки, расписанные цветами, тарелки с синим узорчатым ободком в китайском стиле, пузатые кувшины с нарисованными на их боках красными розами среди розовато-синих облачков. Кувшины эти доставались даром, полные малинового варенья; поэтому их так много. Особые часы, именуемые американскими, с медным маятником и короной из солнечных лучей. Красные лари для овса и корма для кур.

Достояние музеев народного быта. Ленни берет этот материал из учебников («Ирландские народные обычаи») и из каталогов выставок, а также из своей собственной памяти. Выставочный макет дома и настоящий дом настолько слились в ее представлении, что теперь ей трудно отличить один от другого. На ее собственном веку — ей тридцать с хвостиком, не девочка и не старуха — живая жизнь ушла в музей и стала историей. Живой язык перебрался в архивы звукозаписи языковых департаментов и фольклорных институтов и постепенно вышел из употребления. Это произошло на протяжении жизни одного-двух поколений. При жизни ее поколения. То была эпоха гибели многих вещей. Эпоха смертей, больших и малых. Но она-то скорее любопытствует, чем мучительно переживает. В конце концов она наблюдала жизнь Уэйвсенда со стороны; ведь прежде чем познакомиться с ним и его обычаями и понять их значение, она уже приобщилась к иному образу жизни и пользовалась иным языком. В действительности она никогда не была частицей уэйвсендского жизненного уклада, и поэтому его бальзамирование и погребение, в то время как некоторые его органы еще продолжали жить, слабо подергиваясь, как члены казненного, не обескураживало и не оскорбляло ее. Печалило, да, но не обескураживало.

Другие ключи к ее прошлому тоже взяты из музеев народного быта да учебников по истории. Голод. Морские водоросли, морские желуди и сельди на обед. Пришлой батрачке дали миску каши, и это стало причиной ее немедленной смерти. Она поела и замертво упала на теплый пол кухни, спаси ее и помилуй, Господи; у нее целый месяц не было крошки во рту, и желудок этого не выдержал. У предков Ленни была каша, были морские водоросли и морские желуди, поэтому они выжили, во всяком случае, некоторые из них выжили. Что это говорит ей о них? Литания продолжается. О матерь Божья всевидящая! О матерь Божья всеголодная! О матерь Божья всемилостивая! О матерь Божья всежестокая! Пошли нам кашки! Предки Ленни перешли из католичества в протестантство, а потом вернулись обратно в католичество. Некоторые из них уехали в Америку, а потом вернулись восвояси. Крутые повороты судьбы. Так или иначе, они выжили, а значит, и ты. Ведь верно?

Вулф Тоун прошел мимо этого дома, держа путь во Францию. Под кайфом. Ред Хью прошел мимо этого дома, держа путь в Дублин. Под хмельком. Прапрапрабабушка Ленни провожала корабль и помахала платочком. Эй, Вулфи! Мы на твоей стороне! (Забудьте хронологию. Она не отражает сути дела, как правило.)

Мировая война. Артиллерийские учения на берегах залива. Звук пушечного выстрела гулко раскатывается по тихой ночной воде. Бумм. Вздрагивают спящие тяжелым сном мужчины. Бумм. Кричит младенец. При свете дня — днем все-таки не так страшно, как ночью,— в дом заходили солдаты купить молока и яиц. Интересно, как они держались? Дружелюбно? Оставались поболтать о том о сем? Не влюбилась ли какая-нибудь местная девушка в одного из них? Они подвезли отца Ленни на автомобиле. Его первая поездка на автомобиле. Самое памятное событие тех лет. Наверное, у тебя дух захватило, да, папочка?! Еще бы. Еще бы.

Случай из жизни: когда папе было семь лет, он упал с велосипеда, большого мужского велосипеда, на котором он приспособился ездить — не на седле, не на раме, а обеими ногами под ней. После этого случая он десять месяцев пролежал в больнице. Не заживала рана на ноге. Так и выписался домой с гнойником, то ли жить, то ли помирать. Гной, зловоние. Народная вера в чудесное исцеление. Его бабушка взяла священный камень из святого колодца, колодца Святого Патрика [1].

[1] Св. Патрик (ок. 389 — ок. 461) — национальный святой Ирландии, считается покровителем ирландцев.

Камни из святилищ или из древних мест поклонения, из музеев под открытым небом брать нельзя, но люди тогда этого не знали. Она взяла камень домой без всякого разрешения и приложила его к больному месту, а назавтра отнесла камень обратно. Рана зажила. Он всю жизнь хромал, но выздоровел благодаря целебному действию того камня.

А каково это было — пролежать десять месяцев в больнице совсем одному? Никто ни разу не навестил девятилетнего малыша. Ни разу. Он похоронил память об этом. Не вспоминает больницу. Совсем. Может быть, ему слишком больно вспоминать.

Этого достаточно, чтобы полезть на стенку. Археология, история, этнография. Лингвистика, генеалогия. Они ведут речь об обществе, а не об отдельных людях. О них же может поведать только литература. А так как в роду Ленни все были неграмотны, пока ее деды и бабки не пошли в школу, да и потом не стали грамотеями, литературы нет. Во всяком случае, пока нет. Народное устное творчество. Какое устное творчество?! Оно ушло, кануло в прошлое вместе с их родным языком, когда появились школы. Мало-помалу они учатся выражать свои чувства и мысли на новом языке. Мало-помалу у них складывается новый фольклор. Если только существует такая вещь, как новый язык или новый фольклор. Неужели их нужно придумывать? Как приходится придумывать историю? Придумывать, открывать, возрождать? Попутно можно и себя переделать. Нужно переделать. Полностью. Но вот же, вот же она — сидит на черной скамеечке в темно-зеленом пещерном полумраке коровника; на лицо ей спустились длинные волосы, а ее ловкие руки с длинными пальцами тискают горячие коровьи соски. Вот она! Салли Руа. Двоюродная бабушка Ленни. Рослая зеленоглазая девушка с родинкой на подбородке и двумя родинками на правой ступне. В общем и целом мягкая, иногда резкая и бесцеремонная. Те, кому она не нравится,— в основном это женщины, потому что она принадлежит к тому сдержанному женскому типу, к которому безотчетно влечет многих мужчин,— называют ее змеей. Когда она убирает волосы назад, открывая длинную белую шею, это сравнение представляется довольно метким, хотя парни, которым она нравится, сравнивают ее, более традиционно, с лебедем.

Она жила в том доме в Уэйвсенде, спала в спальне с окном, в которое приходилось вставлять подпорку, чтобы оно не закрылось, и с зеленым платяным шкафом с кремовыми каемками, собственноручно сделанным ее отцом. По утрам она ходила в школу, помещавшуюся в низеньком белом коттедже рядом с церковью. Весь остальной день занималась разнообразными домашними делами. Пекла и варила, давала корму, доила. Чесала шерсть, пряла, ткала, вязала, шила, стирала, гладила. И подавала чай нескончаемой череде бездельников-гостей. «Напастью», вот как их называли, людьми, которые укорачивают день и вечер и крадут время, предназначенное для работы. Здравствуйте, добро пожаловать. Только подождите немного, пока я заканчиваю этот моток.

Когда Салли Руа было тринадцать лет, в Уэйвсенд приехала учительница из Монахана, мисс Бернс, чтобы открыть тут школу кружевной вышивки. Ее прислала комиссия по перенаселенным районам, поручившая ей обучить двенадцать способных к рукоделию девочек ремеслу, которое поможет им пополнить семейный бюджет. Таким ремеслом и была вышивка тамбурным швом. Жители Уэйвсенда, да и мисс Бернс тоже, называли это ремесло «вышиванием цветочками». Двенадцать девочек, в том числе и Салли Руа, собрались в доме постоянной учительницы — в комнате, которую та любезно предоставила мисс Бернс. Там она и начала обучать их основам своего рукодельного искусства.

Мисс Бернс была миловидная женщина тридцати шести лет с мягким характером — не то что вечно недовольная и капризная мисс Галлахер, постоянная учительница, предоставившая им свою комнату. Она носила белоснежные блузки с высоким воротничком с темно-синей или темно-зеленой юбкой, и у нее были светлые волосы. То, что называли светлыми волосами в ту, допергидрольную, эпоху. Коричневатые, цвета палой листвы, собранные у нее на затылке в нетугой пучок. Миловидность ее лица не была совершенной. Над ее верхней губой рос пушок, настоящие усики, и это, по мнению Салли Руа, придавало ее внешности мягкость, делало ее более доброй, приятной и симпатичной, чем она, возможно, была на самом деле; более жизнерадостной, более одержимой своей задачей обучить деревенских девочек искусству вышивки.

В холодной комнате, где они работали, рассевшись вокруг большого стола, царила атмосфера веселой непринужденности. Здоровая рабочая атмосфера, вполне отвечавшая делу, которым они занимались. Это было связано, думалось Салли Руа, не столько с процессом вышивания, ни даже с влиянием мисс Бернс, сколько с тем фактом, что среди них не было мальчиков. В отсутствие мальчиков не возникало того возбуждения, того трудного, но чем-то приятного напряжения, которым, как электричеством, был насыщен воздух в обычной классной комнате, так что каждый,

чем бы он ни занимался, был начеку и сознавал, что под будничной поверхностью школьной учебы с ее уроками, где все расписано заранее, постоянно происходят вещи необычайные. Здесь, на занятиях по вышиванию, где собирались одни девочки, ничего такого не происходило, ничто не нарушало сосредоточенного покоя.

Сначала они учились вышивать розу. Салли Руа закрепила последнюю петлю и оборвала нитку к концу первого дня, хотя большинству других девочек потребовалась неделя, чтобы закончить эту работу. К тому времени Салли Руа научилась вышивать маргаритку, виноград и трилистник и обшила каймой из трилистника льняной платок. Она трудилась над своими вышивками не только в школе, но и дома, ставя по вечерам рядом со свечой стеклянный кувшин с водой, с тем чтобы на работу падало больше света. Этой хитрости мисс Бернс научила их в первый день занятий. (Она также рассказала им, что, для того чтобы рукоделье не запачкалось, лучше всего держать его под подушкой, если у них нет шкатулки или жестяной коробки. Обладательниц таких вещей среди них не нашлось.)

— Ты уже выучилась всему, чему я могу тебя научить! — сказала мисс Бернс в конце недели, улыбнувшись Салли Руа доброй, но немного нервной улыбкой. Ей и раньше попадались очень способные ученицы, и встреча с ними ее не пугала. Однако всякий раз перед ней вставала проблема, чему учить их дальше, и в душу к ней закрадывалось подозрение, что они уже знают больше, чем их учительница.— Если хочешь, можешь больше не посещать занятия. Ты вполне можешь начать работать за деньги.

Салли Руа не хотела бросать занятия. Начальную школу она к тому времени закончила — обучение вышивке стало для нее чем-то вроде пансиона благородных девиц, где выпускниц школы готовят к светской жизни. Перспектива оставаться по утрам дома и, едва забрезжит, садиться за работу в одиночестве, где-нибудь возле дома, где светлей, и попутно выполнять еще тысячу повседневных домашних дел не настолько ее привлекала, чтобы она стала торопить события. Все это и так ждало ее в самом недалеком будущем.

— Может, вы покажете мне, как делать это? — она показала на большую вышивку, лежавшую на столе перед учительницей. Это была незаконченная картина, изображавшая лебедя на пруду. Мисс Бернс нарисовала картину на листе бумаги и подколола к нему канву. Теперь она стежками переносила контур лебедя на материю.

— Это? — Мисс Бернс смутилась.— Ты не сможешь делать это. Я хочу сказать, ты не сможешь делать это на продажу. Комиссии нужны платки, а не такая вышивка.

— Как она называется?

— Каррикмакросское кружево, аппликация.— Мисс Бернс, которая сама была родом из Каррикмакросса или его окрестностей, вышивала эту картину для своей сестры, которая через несколько месяцев должна была выйти замуж. Картина должна была украсить белую скатерть, предназначавшуюся для новой столовой сестры.

Салли Руа вызвалась закончить за нее работу, если она покажет, что и как надо делать, и после некоторых колебаний мисс Бернс согласилась, хотя, строго говоря, это было не вполне этично. Но ведь Салли Руа продолжала вышивать розочки и маргаритки и уже зарабатывала вдвое больше, чем любая другая ученица, так что это не слишком нарушало планы комиссии по перенаселенным районам. Тогда как, признаться, мисс Бернс этот лебедь успел порядком поднадоесть.

Эта работа продвигалась медленно. Больше недели ушло у Салли Руа на то, чтобы, стежок за стежком, завершить картину, которая на фоне того же цвета выглядела анемичной и почти невидимой. Затем бумагу, что была подколота к канве, убрали, и картина, прочерченная на прозрачной ткани четкой белой линией, чудесным образом ожила.

— Как будто нарисовано на льду,— заметила Салли Руа. Посреди холмистой возвышенности, которая находилась за Уэйвсендом и называлась романтично и выразительно Лебедиными горками, было озеро, где обитало несколько этих птиц. Каждую зиму оно замерзало: в те времена климат в Донеголе был холодней, чем сейчас. Детвора из Уэйвсенда взбиралась на холмы, чтобы покататься, и Салли Руа, которая не раз там бывала, собственными глазами видела картины, размашисто нарисованные на гладкой ледяной поверхности лезвиями коньков. Но однажды она увидела на озере лебедя — вернее, уже скелет лебедя,— вмерзшего в лед и объеденного до костей более сильными, более удачливыми птицами.

Мисс Бернс дала Салли Руа материю и канву для новой вышивки. Она разрешила ей сделать свой собственный рисунок и сама предложила несколько тем: голубей, оленей, цветы. Салли Руа нарисовала несколько цветков наперстянки и фуксий в обрамлении розочек, и ее рисунок был одобрен. Вышить его было очень

сложно, но она справилась. Мисс Бернс сказала, что пошлет ее рукоделие в дублинский магазин, торгующий подобными вышивками, и дала Салли Руа еще материала. На этот раз Салли вышила зайца, перепрыгивающего через невысокую каменную стену. На заднем плане она изобразила облака и луну в последней четверти.

— Красиво,— сказала мисс Бернс.— Только вот я не уверена... очень уж это необычно.

— Я это часто видела,— ответила Салли Руа, которая никогда не видела оленя или голубя и уже научилась вышивать цветы.— В этом нет ничего необычного.

— Ну что ж,— сказала мисс Бернс.— Посмотрим.

Через три недели, когда пошла последняя неделя учительства мисс Бернс, пришел ответ из дублинского магазина. Аппликация, говорилось в письме, им очень понравилась, и они собираются отправить ее в Нью-Йорк, где она будет выставлена на ирландском стенде большой ярмарки, которая называется Всемирной выставкой. В письмо была вложена гинея для Салли Руа; мисс Бернс вычла из нее девять пенсов за материю.

— На часть полученных денег тебе надо бы приобрести еще канвы и батиста,— посоветовала мисс Бернс.— Адрес магазина: Дублин, Графтон-стрит, Браун Томас и компания. Сделай еще одну вышивку этим каррикмакросским швом и пошли ее им. У тебя получается лучше, чем у монахинь из монастырей.— И, будучи доброй и честной женщиной, она добавила: — Знаешь, ты теперь умеешь вышивать цветочками лучше меня. Это ты должна была бы быть учительницей, а не я.

Салли Руа, которая с первого дня обучения вышивке цветочками знала, что она искусней мисс Бернс, последовала совету своей учительницы. Она пошла в Ратмаллан, ближайший город, расположенный в семи милях от Уэйвсенда, и купила несколько ярдов канвы и батиста. Она вышила аппликацией несколько картин: чаек, качающихся на волнах залива; кулика-сороку, пролетающего под большой аркой в Портсалоне; похожие на лохани рыбачьи лодки, на которых выходили в море ловить рыбу ее отец и братья. Каждая из этих картин была отослана в магазин Брауна Томаса, и за каждую ей заплатили десять шиллингов и шесть пенсов — цену, вдвое меньшую, чем за первую ее картину, за которую, как ей казалось, тоже дали слишком мало. Она так никогда и не узнала, что сталось с той картиной и как приняли ее на Всемирной выставке.

Времени на эти аппликации уходило много, и на поверку выходило, что работа над ними оплачивалась хуже, чем обычная вышивка цветочками. Салли Руа продолжала усердно заниматься и ею, хотя особого удовольствия это ей не доставляло. Как бы то ни было, за неделю она могла вышить несколько десятков розочек или маргариток, а именно этот товар был нужен купцу, который по пятницам являлся в уэйвсендскую школу за рукоделием. За каждый цветок она получала четыре пенса. Заработанные ею деньги служили полезной прибавкой к бюджету семьи, так что цель, поставленная комиссией по перенаселенным районам, была достигнута, а жизнь Салли Руа обрела, как она сама находила, полезную упорядоченность: вышивание цветочками и домашние дела днем, занятие аппликацией (и прочие развлечения) вечером. Ей жилось счастливей, чем когда бы то ни было раньше.

Продлилось это недолго. К сентябрю мисс Бернс уехала из Уэйвсенда, и школа кружевной вышивки закрылась. В марте следующего года, шесть картин спустя, отец Салли Руа и два ее брата утонули, когда ловили в заливе рыбу во время шторма. После того как бдения, похороны и первые дни траура остались позади, мать ознакомила Салли Руа с практическими последствиями постигшей их беды. Ей больше не по средствам жить на ферме в Уэйвсенде, если ее дочери не наймутся на работу и не начнут зарабатывать свой хлеб (единственный ее оставшийся сын, Денис, был женат). Рукоделием не прокормишься. Салли Руа придется найти себе настоящую работу, такую, которая позволит ей полностью обеспечивать себя и откладывать немного денег для матери.

Она поступила работать служанкой в один дом в Ратмаллане, дом врача, доктора Линча. Ей повезло: ее сестрам, Мэри Кейт и Дженни, пришлось уехать аж к берегам Лагана и наняться батрачками к фермерам. Поскольку Салли Руа получила дополнительное образование и пользовалась репутацией искусной швеи, ей была уготована лучшая участь.

Дом в Ратмаллане стоял на пологом склоне, этакий каменный прямоугольник, возвышающийся над городскими крышами. Его называли «Вороньим гнездом», поскольку рядом находилась роща, где гнездились тысячи ворон. Комната Салли Руа была, конечно, на чердаке в задней части дома, прямо над хозяйственным двором, и выходила окном на деревья и воронье, радости от них было мало. Это была маленькая холодная каморка, но Салли Руа проводила в ней мало времени. Каждый ее день был до отказа заполнен длиннющей чередой неотложных

повседневных дел в доме и на хозяйственном дворе. Линчи держали и другую прислугу, но в недостаточном количестве, и работы у нее всегда хватало.

Поначалу Салли Руа не чувствовала себя несчастной. Миссис Линч, женщина разумная, хотела, чтобы ее слуги были довольны, хотя бы потому, что тогда они лучше и больше работали. Со слугами она говорила по-ирландски, так как знала, что они предпочитают ирландский; со своими детьми она тоже говорила по-ирландски, так как и сама владела ирландским свободней, чем английским, хотя врач, уроженец Леттеркенни, настаивал, чтобы в его доме говорили по-английски. Это мало что значило: дома он бывал редко и никогда не заходил на кухню, где Салли Руа трудилась почти все время, свободное от работы в коровнике или на ферме. Описывая матери, которую она навещала раз в месяц, свое житье-бытье в Ратмаллане, Салли Руа рисовала картину спокойного существования в достатке и довольстве.

Все начало меняться месяца через три. Салли Руа сказала, что ее гложет тревога, голос у нее был тусклый и монотонный, и это само по себе не могло не насторожить мать. Мать, раздвинув ноги, чтобы лучше прогреться, сидела у печки, она посмотрела на Салли встревоженно, покачала головой и не поддержала разговор на эту тему. Той ночью Салли Руа, лежа на своей высокой кровати в Ратмаллане, глядела на темные тени огромных дубов на полу и горько плакала. Она говорила себе, какая она глупая. Она говорила себе, как ей грустно. Она говорила себе, какая она несчастная, одинокая.

Конечно же, она скучала по родному крову, по сестрам, по подружкам. Скучала по матери. Ее одолевала тоска по дому. Она тосковала по дому с самого первого дня. Но не только это было причиной ее отчаяния. На самом деле она плакала и чувствовала себя несчастной потому, что скучала по своей работе. Своей настоящей работе. Вышиванию цветочками.

На первых порах она лелеяла надежду, что здесь найдется для нее и такая работа. Что миссис Линч попросит ее вышить салфеточки на спинки ее больших кресел и дивана, которые им очень бы подошли, или дорожки для туалетных столиков и буфета. Месяца через полтора она поняла, что подобных просьб не последует. В доме Линчей было полно всякой работы для швеи, но вся она сводилась к зашиванию простыней, нижнего белья да ночных рубашек — сложным рукоделием тут и не пахло. В обязанности Салли Руа входило посвящать все вечера починке содержимого бельевого шкафа и гардероба миссис Линч и ее дочерей. Ведь ее взяли на работу главным образом как искусную рукодельницу, а прочая работа, которой она занималась по двенадцати часов в день, поручалась ей просто в придачу к основной.

Никакой возможности заниматься в свободное время вышиванием у себя в комнате у нее, конечно, не было — просто потому, что у нее не было свободного времени. Каждая минута в доме Линчей, не занятая сном или едой, должна была быть отдана работе на хозяев. Свободным у нее было только одно воскресенье в месяц — то воскресенье, когда она навещала мать. Дома она иной раз немного вышивала цветочками. Но нескольких часов в месяц было недостаточно. Ей никогда не хватало времени закончить хотя бы один цветок, не говоря уж о целой картине.

Салли Руа чувствовала себя все более и более несчастной. Одновременно она становилась все более и более раздражительной. Она огрызалась на других служанок и батраков, работавших на хозяйственном дворе, и даже на Эмму и Луизу, хозяйских дочек. Мало-помалу у нее настолько испортился характер, что она стала славиться своей сварливостью, подобно тому как раньше славилась своим искусством вышивальщицы. Иногда на нее что-то накатывало, и она, вместо того чтобы пойти в свой выходной в Уэйвсенд, день-деньской бродила по Ратмаллану, глазела на развалины аббатства, на лодки, плывущие по темной глади залива, и на кружащихся над ним чаек. Глазела она и на ворон, вьющих гнезда в костлявых ветвях дубов, окружавших дом Линчей.

Однажды зимним вечером, когда белый круг полной луны лил на землю свет сквозь скелеты деревьев, она увидела зайца на изгороди, отделявшей сад от болота. Мех у него был разноцветный: коричневый, золотистый, желтый, лиловый с неровными белыми пятнами. Хвостик — белый и пушистый. Никогда еще она не видела зайца так близко. До того близко, что были видны уставившиеся на нее желтовато-коричневые глазки и дрожащая раздвоенная губа. Она долго глядела на него, и все это время заяц оставался так же неподвижен, как изгородь, на которой он сидел. Потом что-то произошло. Ветка ли упала, луна ли зашла за облачко. И в этот же миг заяц и Салли вышли из оцепенения. Она наклонилась, чтобы поднять камень и швырнуть его в белый заячий хвостик. Но прежде чем она дотронулась до камня, заяц исчез, опрометью ускакав по залитому лунным светом торфянику.

Несколько дней спустя Салли накричала на миссис Линч. Миссис Линч просто попросила ее сшить Луизе белое платье для конфирмации и сказала, что хорошо бы

немного его украсить вышивкой на манжетах и воротничке. Это была первая подобная просьба за все время. Пожалуй, здесь подошли бы маргаритки, заметила она. Салли Руа взяла материю, пару ярдов белого шелка, и бросила ее в камин. Молча смотрела она, как вспыхивает и горит материя, а потом, когда миссис Линч, справившись с потрясением, стала выговаривать ей, она собрала все подушечки, скатерти и салфетки, разложенные по комнате (дело происходило в гостиной), и тоже швырнула их в огонь. После чего подняла крик. Это помогло миссис Линч выйти из замешательства. Она побежала за подмогой на кухню. Батрак Джон и кухарка Бриджит (всех кухарок зовут Бриджит) схватили Салли Руа, повалили ее на диван и крепко держали, пока посланный разыскивал доктора. То, что они лишили Салли Руа свободы, пригвоздив ее к дивану, доставило им некоторое удовлетворение: это была маленькая месть за все оскорбления, которыми она осыпала их в течение последних месяцев.

Сейчас в Леттеркенни есть сумасшедший дом, а тогда его еще не было. Зато была богадельня с отделением для душевнобольных — туда-то и отправилась Салли Руа. Впоследствии ее преобразовали в психбольницу, а Салли Руа, заставшая эту перемену, стала ее пациенткой и провела там два десятка лет вплоть до самой смерти. Она дожила до семидесяти шести лет и была совершенно невменяемой в продолжение большей части своей жизни.

Салли Руа. Она сошла с ума из-за того, что не могла делать работу, которую любила, из-за того, что не могла вышивать цветочками. Такое иногда случается. Человек может так сильно любить какую-то работу, что теряет рассудок просто от невозможности заниматься ею. Причиной тому могут стать как внешние, так и внутренние препятствия. Салли Руа сталкивалась только с внешними препятствиями. Она вышивала с таким мастерством, была такой гениальной рукодельницей, что у нее никогда не возникало внутренних препятствий. В этом отношении за нее можно порадоваться.

Салли Руа. Предшественница Ленни. Все это, конечно, выдумка. Небылица, плод фантазии. Не совсем небылица: Ленни читала о женщине, похожей на Салли Руа. Она прочла, в книге по истории вышивки в Ирландии, про женщину, которая лишилась рассудка потому, что не имела возможности продолжать заниматься вышиванием цветочками, которое любила, и была вынуждена поступить в услужение в городской дом на севере Ирландии. Сюжет для рассказа. Да и что правда, что выдумка даже в этом описании? Она ведь могла сойти с ума так или иначе. Возможно, у нее было врожденное предрасположение к душевной болезни. Или у ее умопомешательства была какая-то другая причина, никак не связанная с вышиванием. Может быть, ее изнасиловал хозяйский сынок. Или его отец. Или дед. Или слуга. Люди сходят с ума по многим разным причинам, но нечасто — оттого, что у них нет времени заниматься вышиванием.

И все же. Женщина, написавшая книгу по истории вышивки, превосходную книгу, живую и волнующую,— ее имя было бы названо тут, будь это научный труд, а не простой рассказ,— верила, что именно такова была причина трагедии. И Ленни в это верит. Потому что ей хочется в это верить. Ей хочется также сделать ту женщину — ту женщину, которую звали, в истории, не Салли Руа, а как-то иначе, не так интересно (на самом деле Салли Руа — это имя прабабушки Ленни, но о ней она почти ничего не знает),— своей предшественницей. Потому что она не видит особой разницы между историей и художественным вымыслом, между живописью и вышиванием, между ними и литературой. Или наукой. Или архитектурой. В конце концов все эти занятия вдохновляются единой и неразделимой энергией творчества. Важнейшее искусство постижения того, как обрабатывать сырой материал, превращать его в нечто упорядоченное и выразительное, придавать ему если не более совершенную и прекрасную форму, то хотя бы отличную от исходной и более отвечающую содержанию, одинаково приложимо ко всем этим видам деятельности. Видам деятельности, которыми любит заниматься Ленни. Живописью и литературой, вышиванием и наукой. Если эти вещи любит она, должен же был кто-то тоже любить их там, в Уэйвсенде ее предков? А если в Уэйвсенде ее предков никто не любил их, если Салли Руа вовсе, вовсе не было, с чем же остается тогда Ленни?

■

МОРИС КЕННЕДИ

Владивосток

РАССКАЗ

Перевод с английского Л. ЛОКШИНОЙ

1

Май всегда обещает лето, а июню, точно продажной женщине, ничего не стоит обмануть. «Ибо,— написал когда-то рыцарь сэр Томас Мэлори,— подобно тому как завязываются плоды и цветут в мае травы и деревья, так и сильная любовь, живущая в каждом влюбленном, наливается соком, и на ней распускаются цветы сильных поступков. ...И потому, влюбленные, обращайтесь в памяти своей к месяцу маю, как делала королева Гвиневера»[1]. Мы, подобно суровому рыцарю, скажем о ней несколько слов: всю жизнь она оставалась верной возлюбленной и потому пришла к доброму концу, не такому, как у нашего рассказа.

2

Это было в мае: с холодного, неспокойного моря дул свежий ветер. Джо Уолш выбежал из воды, энергично размахивая руками и наклоняя голову, чтобы согреться и вытрясти воду из ушей. По мокрому песку, бахроме водорослей, сухому песку — к россыпи гальки, где под дамбой, ограждавшей набережную, лежала его одежда, сваленная в кучу и прикрытая старым плащом. Он наклонился, чтобы найти рубашку.

— Эй, Тарзан,— окликнул его голос сверху,— как поплавал?

Джо задрал голову и испуганно посмотрел на девушку, которая сидела на дамбе, завернувшись в большое пальто. Интересно, давно она там сидит? У девушки было на удивление маленькое, бескровное личико, усыпанное темными веснушками и увенчанное копной черных волос, по цвету, а может, и на ощупь похожих на осмоленную колючую проволоку. Игривая полуулыбка скривила ее губы, покрытые чересчур толстым слоем слишком бледной помады. Джо в свои девятнадцать лет еще толком не знал, как вести себя с девушками, особенно если у них были игривые полуулыбки и слишком бледная помада. Он так и застыл перед ней нагишом: ненадетая рубашка повисла в руке.

— Хорошо? — спросила она снова и расплылась в улыбке.

— Отлично,— ответил Джо.— Отлично. Вода — просто класс. Но если будешь плавать, осторожней. Сегодня ужасный прибой.

— Я? — изумилась девушка.— Я полезу в такую воду? Ты что, принимаешь меня за дурочку?

Джо вдруг почувствовал, что весь покраснел. Мокрый и продрогший, тяжело дыша, он натягивал на себя рубашку, и наконец из ворота показалась его голова с торчащими во все стороны волосами. Он быстро снял плавки, влез в штаны, пригладил руками волосы и втиснул ноги в зашнурованные туфли. Потом отряхнул трусы от песка, с силой ударив ими по ноге, запихнул их в карман плаща и перекинул плащ через руку. Теперь он оделся и был готов уйти.

— Боже мой,— сказала девушка,— вы тут очень закаленные люди. Вы что, никогда не простуживались?

— Нет,— сказал Джо, ковыряясь носком ботинка в прибрежной гальке, как будто уронил монету и теперь искал ее.— А почему я должен простуживаться? Что может быть полезней морской воды?

Он в последний раз оглядел берег и начал взбираться по крутому склону дамбы. Когда он был уже почти наверху, девушка наклонилась, быстро схватила его за запястье и потянула с поразительной силой. Он оказался на набережной. Девушка держала его за руку, кажется, на секунду дольше, чем это было необходимо.

— Неподходящее время для отпуска,— сказал Джо.— Вы, наверное, проводите здесь отпуск? Я в этом городе каждую собаку знаю, а вас я раньше никогда не видел.

[1] Цитата из романа Томаса Мэлори «Смерть Артура». *(Здесь и далее — прим. перев.)*

© Maurice Kennedi, 1954

— Мне тоже так кажется,— сказала девушка, оглядывая безлюдную набережную, пустынный берег и покинутые дома с запущенными садами.— Веселенькое у вас здесь место. В городе над одной дверью я видела дату тысяча четыреста какой-то. Смешно, но этот дом выглядел самым молодым на всей улице. Чем же здесь можно заняться?

— В Павильоне два раза в неделю танцы, студенты показывают спектакли в Ратуше, ну и, конечно, кино,— ответил Джо.

— Да, кино,— сказала она.— Опять «Бен Гур» [1] и вестерн, который я уже четыре раза видела. И до танцев еще три дня. Да, сплошные удовольствия. Я все бы сейчас отдала за хороший джаз-бэнд! — И она забарабанила носками по бетону, отбивая такт.

Порыв ветра бросил им в лицо острые песчинки и обрывки бумаги. Уткнувшись в воротники, они повернулись к длинной неровной полосе желтого берега, тянувшейся в сторону завешенного дымкой мыса. На берегу не было заметно никакого движения, если не считать маленьких песчаных вихрей, пляшущих на ветру.

— А как вы убиваете время?

— Я никогда об этом серьезно не задумывался,— ответил Джо.— Думаю, я никак его не убиваю, пускай себе живет.— Он вдруг рассмеялся.— Я много плаваю — с апреля и до ноября. Когда-то я плавал круглый год, но зимой это немного опасно. Видите там камни? — Она посмотрела туда, куда указывал его палец, и увидела гряду больших острых камней неподалеку от основания дамбы.— Это остатки старой дамбы,— продолжал он,— некоторые из этих обломков весят по полтонны. Хватило одного сильного шторма и...— он выразительно щелкнул пальцами.

— Понимаю,— сказала она поеживаясь.

— Зимой я много играю в бильярд. Но в основном, конечно, ловлю рыбу.

— Рыбу...— повторила она и встала.— Да... Единственное, что мне здесь нравится, это то, что через день я отсюда уезжаю. У нас небольшая авария на фабрике: взорвалась холодильная установка. Адский взрыв — и все наполнилось парами аммиака. Некоторые девушки попали в больницу с отравлением и в шоковом состоянии. В общем, установка вышла из строя, вот босс и отпустил нас на несколько дней. Держу пари, старикашка вычтет их из нашего летнего отпуска. И дернул же меня черт сюда приехать! А все потому, что я очень много слышала об этих местах. Господи, да лучше б я сейчас лежала в больнице.

— Ну что вы, сейчас просто не сезон. Осенью по выходным дням дорогу не перейдешь из-за скопления машин, а на берегу столько народу, что яблоку негде упасть. Двери повсюду открыты, окна освещены, играет радио. Оба танцевальных зала забиты до отказа, а там внизу, около вокзала веселая ярмарка, и везде разноцветные лампочки. На привокзальной площади танцуют под мелодеон до полуночи, до последнего поезда. Пивные набиты битком, люди со свежим красным загаром едят мороженое в полночь. По правде сказать, мне это не больно по душе, но приезжие, кажется, довольны. Пускай бы всегда была осень.

— Вот и берите себе осень,— ответила она печально.— А мне бы такой вот праздник... Но сейчас пора идти домой обедать. Раз уплачено, надо есть, даже если отравят.

— Кстати, где вы остановились? — поинтересовался Джо.— Я думал, гостиницы еще закрыты.

— Так и есть. Видите там вдали за дорогой? — она показала через болото и железнодорожный путь на приземистое строение с уродливыми железными балконами и фиолетовой шиферной крышей.— Вон там. Сперва хозяева сказали, что они еще закрыты, но потом, я думаю, жадность взяла верх. Они меня пустили, но оказалось, что держать одного постояльца совсем невыгодно, и они все время дают мне это понять. Я у них почетный жилец,— она посмотрела на часы.— О боже мой, я же опоздаю к обеду. А им нужен только повод.

— Нет, вы не опоздаете,— обнадежил Джо.— У вас есть еще десять минут. Можно напрямик через болото, только одна вы обязательно залезете в грязь. Идите за мной.

Он повел ее через дорогу, по узкой тропке между двумя домами, через дырку в заборе и вдоль по дамбе к открытому заболоченному пустырю, поросшему высоким кустарником. Она следовала за ним осторожно, временами спотыкаясь и беззлобно поругиваясь: «Проклятые босоножки, в них попадает каждая песчинка, каждая капля».

— А сейчас будьте внимательны,— предупредил Джо.— Наступайте только в мои следы. Иначе будете по шею в грязи.

---

[1] Шедевр американского немого кино, исторический фильм по одноименному роману Л. Уоллеса (реж. Фред Нибло, 1926 г.).

Он медленно пошел зигзагами в сторону железнодорожной линии; мшистые камни, сохранившиеся от старой дороги, утонули в грязи, но по-прежнему оставались наиболее надежной опорой. Остановились на путях, чтобы пропустить медленно следовавший товарный состав; облако удушливого дыма обволокло их и поплыло над болотом. Пересекли железнодорожную линию: девушка прихрамывала, проходя по острой щебенке между шпалами.

— Теперь,— сказал Джо,— самое неприятное, потому что здесь вообще нет никакой тропинки; но если вы ухватитесь за край моего плаща, все будет в порядке.

Она молча последовала его совету, и они двинулись дальше, осторожно перескакивая с кочки на кочку. Только раз девушка охнула и один раз так сильно потянула его за край плаща, что он едва не потерял равновесие. Наконец они вышли на обочину дороги.

Он перемахнул через каменный перелаз и повернулся, чтобы подать ей руку. И вот она на вершине невысокой каменной стены: в грязных босоножках, раскрасневшаяся, черные волосы спадают ей на лоб,— стоит, широко улыбаясь, и победно помахивает каким-то растением. Лист у него мечевидной формы и метровой длины, а корни облеплены черной грязью.

— Ну вот и дошли.

— Да,— сказал Джо.— А где вы нашли фелеструм?

— Фелеструм? — переспросила она.

— Ну, вот это,— и он показал пальцем,— касатик. Дикий ирис, я думаю, так он правильно называется.

— А,— сказала она,— так это дикий ирис. Я вытащила его из болота, я тогда чуть не сбила вас с ног. Я подумала — просто позор умереть, не имея чего-нибудь на память об этом прелестном отпуске.— Она сморщила нос и помахала листом над головой: — Да, да. Дикий ирис. Дикий ирис — это я. Я дикий ирис, растущий среди крапивы.

Она снова грозно помахала перед Джо зеленым мечом и внезапно спрыгнула со стены. Непроизвольно он поймал ее и, спотыкаясь, пронес несколько шагов. Она оказалась довольно тяжелой. Он остановился и как-то нелепо держал ее, пока она сама не освободилась.

— Пора на обед,— объяснила она.— Меня зовут Ирис, это на тот случай, если вы еще не догадались.

— А меня Джо. Всего хорошего,— сказал он смутившись и пошел прочь. Один раз он обернулся: она все еще стояла на обочине с ирисом в руке. Джо помахал, и она помахала ему; зеленый клинок был согнут и болтался, как сломанное крыло. Джо повернулся и пошел домой.

3

Старый город безмятежно дремал в полуденной тишине, утренний колючий ветер утих. Серо-коричневая грязь, оставшаяся после отлива между стенами дока, мерцала отраженным солнечным светом. В грязи лежали положенные внахлест перевернутые лодки, а в тени бортов суетливо копошились крошечные зеленые крабы. По глубоким черным ямам в гладкой грязи можно было определить те места, где Джо пару часов упрямо работал лопатой в поисках пескожилов. Он медленно поднимался по слипу: в одной руке у него была тяжелая лопата, а в другой — неполное ведро бесформенных, щетинистых, темно-каштанового цвета существ. Лицо его было испачкано грязью, а брючина на колене разорвана.

— Эй! — окликнул его приветливый голос.

Джо задрал голову и увидел Ирис, она шла по улице, громко стуча каблуками по тротуару, как маленькая девочка, играющая в «классы». Он ждал, пока она подойдет поближе.

— Ну что, труженик. Вот мы и опять встретились. Что у тебя в ведре?

— Черви,— ответил Джо,— посмотри.

Она осторожно заглянула в ведро и схватилась за горло.

— Ой, какие отвратительные. Убери их. Что ты собираешься с ними делать — есть?

— Боже упаси! — сказал Джо.— Это наживка. Может, удастся поймать несколько камбал или даже окуня.

— Я в жизни ничего ужаснее не видела,— сказала она.— Когда ты сказал «черви», я подумала, что там маленькие розовые земляные черви. Они такие неприятные, извивающиеся, но эти... Мне неделю будут сниться кошмары.

Может быть, рассказать ей еще, что у них желто-зеленая кровь, думал Джо, немного злорадствуя: это бы окончательно ее добило. Они стояли у стены дока, недоверчиво глядя друг на друга.

— Ну а что ты будешь делать вечером,— спросила она,— еще копать червей?

— Нет,— ответил Джо,— дойду по дамбе до моста и поищу там крабов-горошинок.

— Не возражаешь, если я пойду с тобой? Я сама себе уже так надоела.

— Конечно,— сказал Джо.— Вечером здесь хорошо прогуляться.

Он поставил ведро у стены и положил на него лопату.

— А не пропадет? — поинтересовалась она.

— Конечно, нет,— ответил он удивленно.— Кому тут красть? Да и потом, мы все здесь очень честные, во всяком случае, в мелочах.

Смеясь, они шли по широкой пыльной и безлюдной улице; на тротуаре спали собаки. Потом — в тени высокого склада с осыпающимися стенами и листами ржавого рифленого железа на окнах. Миновав склад, они оказались на мощенной булыжником площади, улочка подходила к ней через норманнские ворота, а выходила на прекрасную лужайку: бугристое раздолье, поросшее редкой травой и чертополохом, с огромным ржавым якорем посередине, распластавшимся, как выбросившийся на берег кит. Слева на свалке галдели чайки и вороны. А поодаль с большой высоты, раскинув крылья, наискось несся в тихую воду устья баклан. На всем этом пространстве больше никто не подавал признаков жизни.

По пологому склону они забрались на дамбу. Один склон круто уходил к серой пенящейся воде, которая булькала и лизала падавшие с него камни. Противоположный, травянистый, склон спускался к солончаку, заросшему бурыми сорняками, на нем сиротливо паслись в отдалении несколько коров. Длинный узкий и грязный пруд шел параллельно дамбе, на его стальной глади играла легкая зыбь.

Они стояли на резвившемся ветру, вглядываясь в безбрежную и унылую панораму. Слева вдалеке раскинулось устье, речной поток извивался как змея на его свинцовой поверхности, а желтая пенная полоса рисовала границу между синевато-серой морской водой и илистым руслом реки. Вдруг лосось сильным прыжком выскочил почти на самом краю стоячей воды. Баклан большой прыгал по руслу, кивая глянцевой черной головкой. Ветер принес с собой кислый запах грязи и водорослей. Ирис задрала подбородок и стряхнула волосы с глаз.

— О, как хорошо,— произнесла она вполголоса.

Джо удивленно посмотрел на нее. Потом снова оглядел знакомый пейзаж, стараясь мысленно представить себе, что видит его впервые, но от этого ничего не изменилось.

— Ладно,— сказал он наконец,— пойдем к мосту.

Она поскакала вперед, аккуратно перепрыгивая с камня на камень, чтобы не угодить в заросли репейника. Они подошли к тому месту, где ограда из колючей проволоки, тянувшаяся от самой воды дальше вдоль дамбы и пересекающая тропинку, невежливо преградила им дорогу. Девушка взглянула на буро-зеленую растительность солончака.

— Какая глубина у этого пруда? — спросила она.— В нем что-нибудь водится?

— Пожалуй, метр — полтора,— ответил Джо.— Но тут есть несколько глубоких ям. Детьми мы плавали здесь, но в пруду тысячи ключей, они пробиваются сквозь ил, а где ключ, там и зыбучий песок; потом мы поумнели и бросили это занятие. Видишь там?

— Где?

— Между нами и маленьким кустом на противоположном берегу. Видишь на воде пятно неправильной формы?

— А, да. Да, теперь вижу. А что в нем особенного?

— Это косяк кефали. Здесь ее полно. Это самая сообразительная из морских рыб. Ее невозможно поймать. Если ловить сетями, она перепрыгнет через них. Можно использовать две сети, одну за другой, и взять неожиданностью, но для этого понадобится много лодок. А кто будет с этим возиться?

— А что, не стоит?

— Сказать по правде,— ответил Джо,— они на вкус как мокрая фланель. Но я бы хотел, чтобы ты увидела мальков кефали. Они такие серебристые, длиной с ноготь твоего большого пальца. Совсем маленькие рыбки, и все одинаковые. Они плывут всегда в определенном порядке, группами по пять или шесть, каждая такая группа — пятно размером с твою ладонь. Крошечные хвосты мальков снуют так быстро, что их едва можно разглядеть; мальки носятся туда-сюда, как черти. Они б тебе понравились. Но ты приехала слишком рано, тебе бы подождать два месяца.

Вдруг он замолчал, смутившись от собственной восторженности и слабой улыбки на лице девушки.

— Да,— сказала она,— я уезжаю завтра утром. Думаешь, мне *стоило бы* вернуться, чтобы увидеть мальков?

Было что-то такое в наклоне ее черной головы, что внезапно напомнило ему

глянцевого, темного баклана, когда тот созерцательно смотрит на кильку, уже готовый ее сцапать.

Джо ухватился за столб изгороди, торчавший из волнореза, и ловко перемахнул через нее, потом ногой и рукой раздвинул проволоку, чтобы Ирис могла пролезть. Ее волнение передалось и ему. Выпрямляясь, она задела его плечом, и он вдруг отпустил проволоку от внезапно созревшего решения. Но девушка была уже на берегу.

4

Он сделал несколько шагов и остановился в задумчивости, глядя вниз, на высокие соломки желтоватой травы на камнях.

— Эй! — окликнул он Ирис.— Подожди меня.

Он спустился с дамбы прямо к серой вздымавшейся воде. Ирис обернулась, помедлила и не спеша побрела назад, держа руки в карманах и опустив голову.

— Ну, малыш,— сказала она,— что же теперь?

— Крабы-горошинки,— ответил он и снова начал ковыряться в траве и камнях.— Помнишь, я говорил тебе?

— Я хочу их увидеть,— сказала она возбужденно.

Он вздрогнул, когда ее каблуки заскользили по гладким отполированным водой камням, поднял голову и, покраснев, отвернулся. Она восстановила равновесие, одернула юбку, подошла к нему и стала в траве, не обращая внимания на грязную влагу, наполнившую ее туфли.

Он схватился за моток скользких пузырчатых водорослей и вырвал их вместе с камнем размером в кулак, за который зацепились их корни. Ямку заполнила вода, и в ней что-то шевелилось. Джо сунул руку в воду и вытащил пару крабов — большого темного, с огромными клешнями, в одной из которых он крепко держал другого, маленького желто-зеленого, чьи клешни были беспомощно расслаблены. Большого Джо выбросил, а маленького зажал в руке.

— Смотри,— сказал он, повернувшись к ней,— это краб-горошинка.

И Джо стал выкручивать одну из его острых ножек. Она треснула и отвалилась, словно оторванный рукав; под ней, словно оптический обман, остался еле заметный желто-зеленый портрет панциря, схожий с оригиналом как две капли воды даже в мельчайших темных зубчиках на кончике клешни.

— Это всегда так: новый панцирь вырастает под старым, который краб сбросит через несколько дней. И тогда, несколько дней, пока новый панцирь не затвердеет, краб совершенно беспомощен — даже передвигаться на может. Ну что-то вроде яйца в мешочек. Вот поэтому они и прячутся между камнями. Это лучшая в мире наживка для окуня.

— А другой краб? — спросила Ирис.— Ну тот большой, он защищал маленького?

— Не думаю,— ответил Джо.— Держу пари, он только и ждал, когда маленький сбросит панцирь и крабика можно будет съесть.

— О боже мой,— сказала Ирис,— это ужасно.

Он с трудом расслышал ее из-за шума, который сам и поднял, вырывая большие охапки водорослей и откатывая в сторону камни. Достав из кармана плотно скатанный маленький мешочек, он окунул его в воду и положил среди водорослей. Обнаружив краба, он быстро совал его в мешочек. Наконец, он приподнял мешок, потом выпрямился и сказал удовлетворенно:

— Ну, хватит, кажется.

Она уже начала взбираться на дамбу и, морщась, шлепала по водорослям.

— Осторожней,— предупредил Джо.— Эта дрянь очень скользкая.

Она улыбнулась ему через плечо и уверенно пошла дальше. Он последовал за ней, но из-под ног у него внезапно выскользнул камень: Джо упал на спину и поехал по травянистому склону, пока не оказался по колено в морской воде. Ирис слабо вскрикнула, и только когда он уже сидел и тряс головой, она повалилась на дамбу и принялась хохотать. Джо карабкался вверх по камням с мешочком в руках, а вода с него ручьями стекала прямо на промокшие брюки. Ирис смеялась, покачиваясь из стороны в сторону и держась за бока, и свисавшие на лицо волосы мотались в такт. Он тоже начал смеяться. Схватив девушку за руку, он поднял ее на ноги, и они продолжали стоять на тропинке, прижавшись друг к другу, пока приступ смеха не прошел; тогда, взявшись за руки, они отправились к мосту.

Тропинка перешла в ровное пространство размером с теннисный корт, усеянное галькой и пучками сухой травы, здесь разводной мост сходился с дорогой и дамбой. Шагая по асфальтовой глади моста, они дошли до выложенной неров-

ными досками его подъемной части, перегнулись через железные перила и глазели вниз на окаймленные водорослями деревянные пирсы, напоминавшие покинутые баржи, на глубокую воду: она плескалась и булькала между ними и закручивалась водоворотцами, которые потом сносило по течению. Чайки, белоснежные и с черными и коричневыми спинками, качались на маленьких волнах, а то вдруг взлетали, хлопая крыльями. Когда долго глядишь с моста на спокойное течение воды, кажется, что мост медленно заваливается назад. Чтобы отвлечься, они посмотрели на устье и ограждавшие его два холма.

По одну сторону его широко разлилась липкая грязь и легла прибрежная дорога, скрывавшаяся из виду в долине, где, извиваясь в иле, бежал маленький ручеек. По другую сторону тянулась длинная дамба, которую они только что миновали. Два мыса зажали гавань в кольцо: один, голый и скалистый, был отмечен небольшими посадками сосен, другой размещал на себе разбросанный городишко и прилепившийся на возвышении маяк, маленький и белый на фоне неба.

Выше по течению, под невысоким двухарочным каменным мостом протекала маленькая речушка. Коровы стояли по колено на мелководье. Цапля, красовавшаяся на одной ноге неподалеку от берега, неуклюже поднялась в воздух, как скатерть, сорванная с бельевой веревки вдруг налетевшим ураганом. Между рекой и ее притоком вклинился поросший соснами мыс, на котором возвышались на широко расставленных ногах опоры высоковольтной линии. А за мысом, пенясь и извиваясь, исчезала из виду река. Над головой легко дышал ветерок, а повздорившие чайки скрежетали, как ржавые пилы.

Откинувшись назад, Ирис облокотилась о перила и посмотрела вверх по течению.

— Здорово,— сказала она и глубоко вздохнула.— Помню, я как-то смотрела фильм о путешествии по Рейну. Так здесь прямо как на Рейне.

— Говорят, она так извивается еще тридцать километров и все время течет по лесу,— сообщил Джо.— Если идти вверх на лодке, то нужно все время маневрировать из-за течения, иногда так близко подойдешь к берегу, что, кажется, можно достать до него рукой, а листья почти касаются твоего лица. Там небольшие утесы, и всегда кажется, будто сверху на тебя смотрит козел. В общем, хорошо. Летом два раза в неделю организуются прогулки вверх по реке на моторных лодках. Тебе бы там понравилось, но сейчас слишком рано.

— Да,— мрачно подтвердила она,— слишком рано. Все или слишком рано, или слишком поздно в этом проклятом городе.

Она подняла камушек и с сердцем швырнула его в воду.

— Почему ничего не происходит сейчас? Я не хочу всю жизнь ждать. Почему здесь никто ничего не делает?

Она взглянула на Джо, ее сжатые губы побелели. Вода из мешочка с крабами звучно капала на ноги Джо.

Тишину нарушил натужный рев мотора. Старый грузовик, поскрипывая, въехал на мост и ворча притормозил. Водитель высунулся из пустой оконной рамы и вытер пот с лица тыльной стороной запыленной руки.

— Привет, Джо,— прокричал он,— который час?

— А черт его знает, Стив.

Едва он успел это сказать, как с берега донесся тихий колокольный звон.

— Звонят к вечерне,— сказал Джо.— Я и не знал, что уже так поздно.

— О Господи,— воскликнула Ирис,— у меня часы, наверное, стоят.

— Вас подбросить до города? — спросил Стив.

— Да, пожалуйста,— ответила девушка.— Вы спасете меня от голодной смерти.

Она перебежала на другую сторону и подошла к водителю.

— А как ты, Джо? — спросил он.— Придется тебе лезть в кузов.

— Ничего.— сказал Джо.— Главное, чтобы даме было удобно.

Он запрыгнул в кузов и, усевшись на гору пыльных мешков, прислонился к борту. Мешочек с крабами шевелился и дергался рядом с ним. Грузовичок задрожал и тронулся. При малейшей неровности дороги все в кузове бешено подпрыгивало. За ревом мотора он едва мог расслышать их голоса, но, судя по всему, им было весело. Давай-давай, больше слушай Стива, подумал он со смешанным чувством досады и злорадства. Джо услышал, как Ирис громко запела. Он уловил обрывок несвязной народной баллады:

С Черного пруда, красивы и стройны,
Девушки стоят у Солнечной стены.
Здесь...

Тут шум мотора заглушил песню.

Парни со Светлого холма не теряли бы с тобой времени даром, подумал Джо. Не то что я, бескорыстный рыцарь с мешком крабов-горошинок. Грузовик между тем подскакивал на рытвинах, без которых не обходится въезд ни в один приморский городишко, а Джо схватился за свой мешок, только когда тот уже грозил выпасть на дорогу. Крабы скреблись и возмущенно копошились в мокром брезенте, как будто хотели показать, что они еще живы.

Они проехали под старой аркой из песчаника, что оседлала главную улицу, и эхо ревущего мотора оглушило их. Грузовик остановился у переулка с покосившимися домами, который выходил прямо к порту. Стив высунул голову, оглядываясь на кузов.

— Здесь, Джо? — спросил он.

— Да,— ответил Джо, спрыгивая на дорожку.— Счастливо вам добраться. Ну, до субботы.

Ирис высунулась из окна и как бы нехотя помахала ему, когда грузовичок тронулся. Джо немного подождал, потом свернул в переулок. Интересно, думал он, каково ей будет, когда она узнает, что Стив живет в тридцати километрах отсюда? Бедняжка, ты проведешь в одиночестве последний вечер. Он усмехнулся и взмахнул мокрым мешком с обреченными крабами.

5

Наступил ясный и безветренный вечер. Клочок тумана, повисший над гладью моря, тянулся на лимонном горизонте коричневатой полосой. Высоко летали ласточки. Темнота все никак не наступала, но бледная голубая дымка уже успела скрыть очертания старых магазинов, осыпающейся арки и лодок, что качались на приколе в тихой воде. В уродливом здании городского клуба сгущались сумерки. Джо беспокойно бродил вокруг пустой бильярдной и не включал свет, как будто отказывался признать, что и этот день кончился. Зачехленные бильярдные столы неясно вырисовывались во мраке.

Джо включил радио, но тут же его выключил, не услышав ничего, кроме атмосферных помех. Потом, взяв журнал, он поднес его к окну, вертя так и сяк в надежде поймать последние лучи света, но буквы расплывались перед глазами, и он бросил журнал на стул. Подошел к пустому камину и уставился на тусклые пыльные призы в витрине, ее зеленое сукно выцвело и пожелтело. Он ударил ногой по каминной решетке и послушал ее глухое звяканье. Мысли ни на чем не могли остановиться.

Он начал негромко насвистывать, но соскользнул на мотивчик «Парни со Светлого холма» и тут же осекся. Подошел к двери и, уже держась за выключатель, помедлил в нерешительности. Часы в тишине громко отсчитывали секунды, потом вздохнули, захрипели и пробили девять. Звуки потонули в сумерках. Джо дернул на себя дверь и, спустившись по ступенькам, ощутил вечерний холодок и двинулся по хрустящему гравию.

На востоке мерцала звезда, и ночь затаилась по углам. С моря на безлюдную набережную потянуло соленым, пахнущим морем ветром. Волны стихли и шептались у самого берега. На вершине скалы бил в нос запах цветущего утесника. Внизу, где диковинными красками отливала ровная, болотистая местность, уходила в темноту железнодорожная линия, а зеленый изумруд далекого сигнала был единственной освещенной точкой на всем невыразительном пространстве. Расстояния и размеры перепутались. Фабрика на верхней дороге казалась не больше спичечного коробка, а маленькие кустики смотрелись неясной громадой.

Джо бесшумно ступал по травянистой кромке скалы, время от времени поглядывая вниз на россыпи гальки. И вдруг услышал, как кто-то испуганно охнул. Это было так неожиданно, что он споткнулся и чуть не упал. Под самым краешком скалы показалась из-за выступа одинокая фигура, Джо увидел тусклый овал лица.

— Кто там? — спросил испуганный голос.— Черт побери, почему вы ходите так тихо?

Через секунду он узнал ее.

— Так это ты. Замерзла, наверное.

— Да,— ответила она,— я все сидела и думала и не заметила, как продрогла.

Она неловко вскарабкалась, цепляясь за траву, и они вместе бесцельно зашагали вниз по склону.

— Ну, как у тебя со Стивом? — спросил он.

— Стивом? — удивилась она.— А, да. Предлагал встретиться в пятницу.— И она мрачно усмехнулась.— В пятницу,— повторила она,— но завтра наступит раньше, чем пятница.

Земля под ногами стала ровной. Взобравшись на волнорез, они оказались среди песчаных дюн, обступивших берег. Подошвы скользили по камышу и жесткому песколюбу, покрывавшему дюны, ноги утопали в мягких песчаных ямах. Над головой гулял ветер. Они подошли к яме в форме чаши шириной в несколько метров, где из песка, точно из лысины, торчали редкие волосья травы.

— Я устала,— сообщила она и села в нее, поджав под себя ноги.— Давай немного отдохнем.

— Закуришь? — предложил Джо, доставая смятую пачку сигарет.

— Спасибо,— поблагодарила она.

Спичка чиркнула неожиданно громко, и девушка закрыла глаза от яркого света. Пальцы дрожали, и сигарета загорелась неровно. Пламя спички затрепетало и погасло, и только два красных огонька горели в сгущающихся сумерках. Ирис подняла глаза на его лицо, освещенное теплым неровным светом, откинулась назад, опершись на руку, и вдруг испуганно вскрикнула.

— Меня кто-то укусил,— сказала она.

Джо быстро подошел и, положив ей руку на плечо, посмотрел туда, откуда она только что убрала руку.

— Это всего-навсего морской чертополох,— засмеялся он.

И снова зажег спичку, и по мере того как свет перемещался, она увидела бледный полосатый стебель, ужасно колючие серо-зеленые листья, бордовый дикий цветок, хрупкий на вид, как фарфор, и твердый, как сталь.

— Ой, какой красивый! — воскликнула девушка.

Неосторожно дотронувшись до цветка, она снова вскрикнула от боли: такой мягкий на вид розовый усик оказался колючкой, острой, как игла.

— Но недружелюбный,— печально заметила Ирис и снова посмотрела на Джо.

Он стоял рядом и смотрел на нее сверху, между пальцами у него тлела сигарета. Колючий от песка ветерок играл с дюнами, и вдруг Джо рукой почувствовал, что девушка вздрогнула.

— Тебе холодно,— сказал он выпрямляясь.— Минутку.

Он вспомнил о том, что мелькнуло при свете спички. Поискав у подножия дюны, Джо выкопал немного хвороста. Он скомкал обрывки принесенной ветром газеты, разломил об колено сучки, соорудил маленький костерок и зажег его. Из соседней впадины приволок еще немного хвороста и тоже отправил в костер. Сгоравшие сучки он подталкивал ногой на самую середину. Песок нагрелся, Джо и Ирис прилегли на склон дюны, теперь они были на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Где-то далеко ворчали волны, а здесь над дюнами шептал ночной ветер. Над костром повисла и замерла темнота.

— Помню, мы делали так в детстве,— начал Джо.— Мы покуривали тайком, и как-то раз сбежали сюда на ночь с пачкой сигарет, и нашли только одну спичку: пришлось разжечь костер, чтобы высидеть ночь. Все точно так же. Кажется, это был январь.

— У тебя в детстве было много приключений,— засмеялась она.— Все мальчишки одинаковы. Пачка сигарет, и больше ничего не нужно. И наверняка бросались камнями в лагерь девочек-скаутов?

— Да,— удивился Джо,— бросались. Крепко же нам потом влетало. А ты откуда знаешь?

— Просто я ясновидящая. Могу будущее предсказывать. Мальчики всегда будут мальчиками, а девочки...— Ирис не договорила.

Она подалась вперед и бросила окурок в костер. Ветка опрокинулась в огонь, и пламя разгорелось с новой силой. У Ирис засверкали глаза и заблестели белизной зубы.

— Я бы хотела, черт побери...— Она набрала полную пригоршню песка, и он неторопливо заструился у нее между пальцев. Ирис мельком посмотрела на Джо, но в колеблющемся свете он не разглядел толком выражения ее лица.

— И жалко, что приехала, и жалко, что нужно уезжать: сама не знаю, что мне нужно,— и снова она уставилась на огонь.

Он уткнул каблуки поглубже в песок и потерся спиной о склон, так что струйка песка потекла за шиворот. Посмотрев на свою руку, столь безмятежно лежавшую рядом, на освещенный в полуметре от него профиль Ирис, он медленно приподнял эту руку, как если бы она закоченела. Девушка не шелохнулась и продолжала смотреть на огонь. Джо хотел дотронуться до ее плеча, но не дотянулся. Между ними оставались какие-то сантиметры освещенного мрака, которые он так и не нашел в себе смелости преодолеть. Время уходило, и он медленно отвел руку назад. Ирис ссутулилась и обхватила локти. Огонь потрескивал, и, пока не заболели глаза, Джо пристально вглядывался в золотистые языки пламени.

Вдруг он уронил голову на грудь и очнулся. Ирис покачивалась из стороны

в сторону и мурлыкала что-то вроде шотландской колыбельной. Она скосила на него насмешливый взгляд:

— Бедный мальчик, тебе хочется спать?

— Нет, нет. Просто закружилась голова оттого, что долго смотрел на огонь.

Джо подался вперед и подтолкнул дрова в костер, огонь разгорелся с новой силой. Ее глаза улыбались и губы тоже. Что же теперь меня останавливает, думал Джо, немного развлечься, что в этом плохого? Ну, целуй же ее, идиот. И вдруг, увидев Джо на фоне костра, она расхохоталась: неуклюжий поворот головы, лоб в морщинах от напряженной работы мысли.

— Бери мои,— предложила Ирис, протягивая пачку сигарет.— Как сказал один фермер, застав сына в объятьях девушки: «Ну, теперь только курить осталось научиться». Ну, не смотри так мрачно. Тебе же не надо завтра уезжать.

Момент был упущен. Обжигая пальцы, он вытащил из огня красный уголек и зажег сигареты. Под ребрами у Джо затаился холодок, и жар костра ничего не мог с этим поделать. Вдруг Ирис поперхнулась, как будто только что проглотила колечко дыма, но вскоре снова замурлыкала. Потом встала, отряхнула песок с юбки, а Джо повернулся на бок, чтобы лучше ее видеть, и спросил:

— Хочешь уйти?

— Нет,— ответила она.— Только не в последнюю ночь. Ни за что на свете, малыш. Не вставай,— добавила она, заметив, что Джо начал подниматься.— Оставайся там, я сейчас вернусь.

Она кинула окурок в костер и постояла немного, глядя вниз на Джо, красные отблески пламени, пробегая, скрывали выражение ее лица.

— Куда?.. — начал Джо.

— Не будь грубым, малыш,— сказала она улыбнувшись.— Подожди здесь, пока я не вернусь.

Ирис медленно разжала пальцы, и рядом с Джо на песок упал стебель чертополоха с оторванными корнями. На остриях колючек сидело несколько крошечных капель крови, некоторые колючки были поломаны и являли собой как бы следы борьбы корчевателя с растением. Джо не мог выговорить ни слова и, опустив голову, смотрел на стебель чертополоха. Когда он снова поднял голову, Ирис уже не было видно. Еще слышались какое-то время ее приглушенные шаги по песку, потом шорох гальки, и наконец воцарилась полная тишина, только холодный ночной ветер шуршал в камышах. Далеко у горизонта виднелись тусклые молочные проблески бьющих о берег волн, но все остальное потерялось в темноте. Джо снова лег и, опершись на локоть, терпеливо ждал: не отрываясь он смотрел на языки пламени, пока наконец ему не привиделась молчаливая факельная процессия, движущаяся по широкой улице между громадными темными зданиями. Здания колыхались, как флаги на ветру, они росли и росли, и подходили все ближе и ближе, пока в конце концов не опрокинулись на него.

Он проснулся спустя много времени и почувствовал, что до мозга костей продрог. Луна висела высоко, и по ее положению Джо определил, что было уже хорошо за полночь. Струйка дыма от последних углей поднималась в ночной воздух. Вокруг не было ни души. Джо с трудом повернулся, что-то через рубашку укололо его в грудь. Это был смятый чертополох. Джо встал, оглянулся на безлюдную, пустынную береговую линию, исполосованную черными тенями, и заковылял на негнущихся ногах через дюны, залитые лунным светом, в сторону дома. Он нес стебель чертополоха и, сам того не замечая, смял его в кулаке.

6

Ту ночь он почти не спал, во сне его мучили кошмары: черногривые белые кони во весь опор мчались ему навстречу по улице между высокими домами и в последний момент становились на дыбы и поворачивали обратно. Он проснулся задыхаясь, подушка лежала на лице, а одеяла валялись на полу. Окно было раскрыто, и птицы приветствовали Джо своим пением. Он подошел к окну и взглянул на устье.

Рассвело недавно, и на западе небо еще оставалось серым. Мир замер без движения, только небольшие маслянистые волны медленно накатывали на берег. Холодный зелено-золотой свет плотно обволакивал все вокруг, точно листом венецианского стекла; привязанные лодки вразброд крутили носами, мотаясь на волнах. Чайка на одной ноге примостилась на крыше кремового полицейского катера и лениво чистила перышки. Вдали у противоположного берега из воды выпрыгнул лосось, промелькнув как яркая вспышка. По воде пробежала зыбь — и от зеркальной картинки с песком, камнями, деревьями, буйками и лодками остались лишь дрожащие зеленые, золотые и коричневые пятна. Джо глубоко-глубоко вздохнул и отвернулся, расчесывая пятерней волосы.

Он поднял одежду, сваленную в кучу в ногах кровати, натянул ее на себя и, босой, на цыпочках спустился по лестнице. Захватив леску и мешок с крабами, он неслышно прикрыл за собой дверь и, немного повозившись, всунул ноги в разбитые кеды, потом перешел через дорогу, взобрался на волнолом и сбежал с него прямо к морю.

Час спустя он еще стоял по колено в ледяной воде и чувствовал, как с откатывающими волнами из-под ступней по чуть-чуть уходит песок. Солнце наконец, осветило волнорез, и у Джо приятно согрело спину. Канал был покрыт небольшими волнами, и натянутая леска приятно подергивалась у Джо на пальце. Джо весело посвистывал и, переступая с ноги на ногу, удовлетворенно обозревал пустынный берег и дикое пустынное море.

Леска слабо задергалась. Джо чуть отпустил ее, и она легко заскользила у него между пальцами. Медленно, по сантиметру, ушел метр лесы. Джо сжал пальцы, продолжая чувствовать живую леску, и отдернул руку. Леска запрыгала и заметалась, а он, уже не заботясь, чтобы витки не путались, стал выбирать. Серебристо-оливковая рыбина билась на крючке, раздув жабры и ощетинившись острым спинным плавником. Джо выбежал на берег, волоча за собой окуня, и оттащил его на несколько метров от воды. Там он оставил рыбу и скоро вернулся со здоровенным булыжником. Прижимая одной ногой вздыбленный плавник, Джо примерился и ударил рыбу по темному пятнышку на голове. Пришли в движение жабры, окунь забился, оливковая чешуя стала голубой, потом посеребрела, и рыба затихла.

Джо вытащил крючок и, довольный, поднял окуня, просунул палец под жабры. Он сполоснул рыбу у берега, чтобы смыть песок, и гордо посмотрел на нее. В ней было не меньше трех килограммов. Вот такие моменты делают рыбную ловлю ценнейшей частью человеческой жизни и не сравнимым ни с чем удовольствием.

Джо осторожно приподнял здоровенный спинной плавник, и он встал торчком, как плюмаж, полупрозрачный, рифленый от острых, точно иголки, колючек и светящийся на солнце. Джо опасливо притронулся к колючкам, но его пальцы закоченели от воды, и он поздно почувствовал боль. Крошечная капелька крови заискрилась на колючке, как осколок рубина. Тучи, по-видимому, закрыли солнце, и забрызганная рубашка стала неприятно холодить. Утро лишилось позолоты, и море стало серым.

Джо наморщил лоб и, щурясь, смотрел на солнце, прикидывая время. Было около восьми, в лучшем случае без четверти. Кое-как смотав леску, он так и впихнул ее, нераспутанную, в гирляндах из водорослей, в мешок с крабами и побежал вдоль берега. Прилив достиг огороженного теннисного корта, и Джо без разбору шлепал почти по колено в воде. Он потянул за щеколдный шнур на своей двери, швырнул мешок в угол, схватил старую газету, чтобы завернуть рыбу, и выбежал снова. Дверь громко хлопнула. Он бежал по улицам старого города: с его кед и промокших брюк стекали на серые тротуары капли морской воды.

Джо был уже на вершине холма у маяка, у него кололо в боку и сердце колотилось под ребрами. За зданием вокзала клубился пар. Джо не видел ни одного опоздавшего пассажира. Он все бежал, несмотря на усталость. Как ни странно, на вокзальных часах было без четырех минут. Он отдышался, потом вышел на перрон и направился вдоль состава.

Она сидела в углу в пустом купе и читала журнал о кино. Джо постучал по стеклу. Она посмотрела на него с улыбкой и открыла окно.

— Подумать только! Бойскаут собственной персоной. Во время нашей последней встречи вы смачно похрапывали.

Джо испуганно и недоверчиво уставился на девушку. Шутит или всерьез? О чем она? Вдруг она засмеялась:

— К счастью, нас здесь никто не услышит. Ваша репутация могла бы пострадать. И все из-за такой ерунды.

— У меня для тебя кое-что есть,— сказал Джо.— Извини, что так неаккуратно завернуто, я очень торопился.

— Ничего,— сказала она, приподняла краешек газеты и заглянула. У нее расширились глаза, и она приглушенно фыркнула, то ли весело, то ли с отвращением.

— Ой, теперь я вижу. Это рыба. Спасибо. Хорошо, что тебе пришло это в голову. Теперь у меня будет что-то на память о тебе.

Они молча смотрели друг на друга, она, облокотясь на оконную раму и поглаживая красные царапины на ладонях, он, прислонившись плечом к стенке вагона, в мокрых фланелевых брюках, липнущих к ногам. Случайные струйки пара, закручиваясь, вытекали из-под вагона и проплывали между ними. Начальник станции вышел из зала ожидания, посмотрел на вокзальные часы и пошел обратно.

— Ты вернешься? — спросил Джо.— То есть я хотел спросить, когда ты вернешься?

— Слышал ты когда-нибудь сказку про Транссибирскую железную дорогу? — спросила она.— Нет? Так слушай.

Она глубоко вздохнула, посмотрела вдоль состава и начала ковырять пузырь краски на оконной раме.

— Однажды русский солдат и русская девушка сели на поезд в Москве, и оказались они одни во всем вагоне. Две недели спустя, когда они проехали уже половину нигде, солдат говорит: «Холодно». Через две недели, когда они проезжали Омск, девушка отвечает: «Да, холодно». Прошла еще неделя. И когда они уже отъехали от Томска, солдат говорит: «Может, закроем окно?» Через неделю они добрались до Иркутска и девушка отвечает: «Да, давайте закроем». И спустя две недели, когда до Владивостока оставался еще месяц пути, солдат не спеша встает и говорит: «Полюбезничали, и будет. Раздевайтесь!» — Ирис серьезно посмотрела на Джо: — Во Владивостоке они поженились и были несчастливы потом всю жизнь. Ну, как сказка?

Джо начал было что-то говорить, но слова потонули в оглушительном свисте вырывающегося пара. Начальник станции вышел на перрон, держа наготове свернутый зеленый флажок. Он перевел взгляд со своих часов на вокзальные и обратно. Джо положил руку на оконную раму, его пальцы были все еще мертвенно-бледными от морской воды.

— Ну, что? — спросил он и натянуто улыбнулся.

— Полюбезничали, и будет,— ответила она.— Я не вернусь. Утром я уезжаю во Владивосток. Ты опоздал.

Начальник станции махнул флажком — поезд ожил и со скрежетом тронулся. Огромное облако пара заклубилось перед ними, оно скрыло лицо Ирис, и Джо отступил назад. Когда облако рассеялось, он увидел ее в окне: копна черных волос обрамляла ее бледное лицо. Девушка весело махала ему. Джо высоко поднял руку, но через несколько секунд рука его безвольно опустилась. Поезд завернул за поворот, и Джо потерял Ирис из виду.

Он шел по вокзальному двору, ноги его тонули в песке. Потом вышел в ворота и взглянул на серое, неспокойное море и серое небо. Они предвещали хороший улов. Полный раскрасневшийся мужчина с чемоданом и плащом в руках, задыхаясь, несся к воротам. Добежав, он зажестикулировал как безумный.

— Простите, но поезд уже ушел. Вы опоздали,— вежливо сказал Джо.

Безутешный пассажир так и остался стоять в воротах, а Джо, хлюпая мокрыми кедами, медленно зашагал домой.

7

«В наши дни,— как заметил сэр Томас Мэлори,— не проходит и семи ночей, как влюбленные уже исполнят все свои желания. Но это может убить любовь, ибо как скоро они исполняются, так скоро остывает и нетерпеливая страсть. Нет в ней постоянства. Не такой была старая любовь. Мужчины и женщины могли любить друг друга семь лет, и не находилось тут места для чувственной страсти, и была та любовь преданной и искренней. Было таковое за обычай во времена короля Артура» [1].

В наши дни, к сожалению, ни у кого нет в запасе лишних семи лет.

■

[1] Цитата из романа Томаса Мэлори «Смерть Артура».

УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЕЙТС

Единственная ревность Эмер

ПЬЕСА ДЛЯ ТАНЦОВЩИКОВ

Перевод с английского Г. КРУЖКОВА

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ 1923 г.

В творчестве Уильяма Батлера Йейтса драма, театр занимают особое место. Он сказал в своей Нобелевской речи: «Возможно, английские комитеты никогда не назвали бы вам моего имени, если бы я совсем не писал пьес и статей о театре, если бы моя лирическая поэзия не имела бы сходства с речью, практикуемой на сцене; возможно даже — хотя это никак не могло быть намеренно с их стороны,— если бы мое имя не было до некоторой степени символом целого движения». Поэт имел в виду ту роль, которую играл театр в культуре Ирландии начала века, названной Ирландским возрождением.

Йейтс был одним из создателей Ирландского Национального театра (Театра Аббатства) и — в течение трех десятилетий — его директором, он писал для него пьесы и сам ставил их на сцене; в многочисленных эссе и теоретических статьях Йейтса запечатлены поиски новых театральных форм, характерные для Европы рубежа веков. Подолгу живший в Лондоне и постоянно наезжавший в Париж, он был в курсе театральной жизни обеих столиц, видел на сцене пьесы Метерлинка и Уайльда, был знаком с Малларме, его опытами поэтического театра.

Театр Йейтса в сути своей — философско-поэтический. С самых первых драматических опытов (относящихся еще к 1880-м годам) поэт искал ту идеальную форму, которая позволила бы воплотить на сцене то, что он называл «духовными сущностями». На этом пути у Йейтса было немало колебаний — ибо его интересовало и особенное, индивидуальное — и компромиссов, неизбежных в практической театральной работе. В 1910-е годы Йейтс делает окончательный выбор в пользу искусства, очищенного от быта и характерности. Он писал в 1915 году в эссе «Поэт и актриса»: «...Искусство, которого я жажду...— это борьба, но она происходит в глубинах души, и один из антагонистов не имеет земного облика и не говорит на языке смертных».

Во вступительной статье к сборнику пьес японского театра Но Йейтс заявил: «...С помощью японских пьес... я изобрел утонченную, лишенную буквальности, символическую форму драмы...». (Кстати, редактировал переводы для этого сборника Эзра Паунд, бывший в то время его секретарем.) Четыре свои пьесы, где использована модель театра Но, Йейтс назвал «пьесами для танцовщиков». «Единственная ревность Эмер» (1916—1917) — вторая из них. Предельно скупая декорация, направляющая все внимание зрителя на актеров; присутствие на сцене музыкантов (с цитрой, гонгом и барабаном), выполняющих также функцию хора; лица, закрытые масками или загримированные под маски; танец персонажа, «не имеющего земного облика», как кульминация действия — таковы приемы, почерпнутые Йейтсом из театра Но.

Сюжет «Единственной ревности Эмер» основан на эпизоде из ирландских

саг (к которым Йейтс-драматург обращался постоянно): сида (фея) Фанд, обитательница Страны блаженства (в пьесе — символ абсолютной красоты), держит в любовном плену героя-воина Кухулина; Эмер, жена Кухулина, благодаря своей самоотверженной любви возвращает его на землю. Йейтс добавил новых персонажей, среди них — юная возлюбленная Кухулина Этна Ингуба, воплощение чувственной страсти.

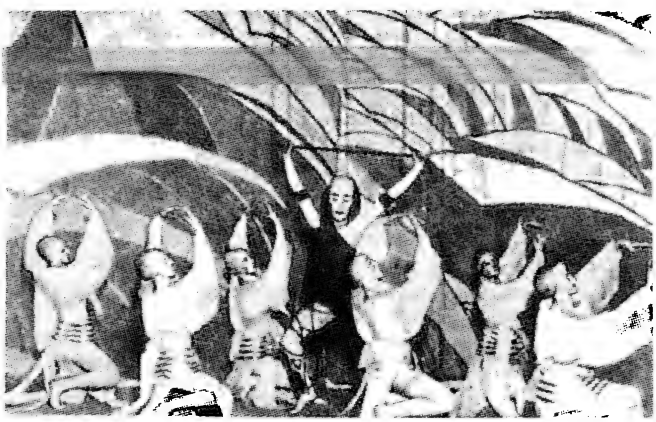
Известно, что на замысел произведения повлияли сложные события личной жизни Йейтса. Пятидесятидвухлетний поэт женился на молодой англичанке, получив окончательный отказ Мод Гонн — женщины, которую Йейтсу суждено было любить всю жизнь,— а вслед за ним и отказ ее юной дочери. Разумеется, из этого вовсе не следует, что и в пьесе можно «распределить роли» между тремя женщинами, принимавшими участие в реальной любовной драме. Верный своему творческому принципу, Йейтс создает общечеловеческие символы и типы: три женских персонажа — это три ипостаси женственности.

«Единственная ревность Эмер» — первая пьеса, где отразилась авторская концепция диалектики, по которой развивается жизнь души. Согласно философии Йейтса, двигатель духовной жизни — борьба Я и анти-Я в душе человека. К персонажам саги поэт добавляет еще одно новое лицо — Оборотня в обличье Кухулина, бога раздора Брикриу. Пьеса о вечной загадке женственности обладает глубинным планом и прочитывается и как драма борьбы в человеческой душе между стремлением к гармонии и разрушительным началом.

Можно было бы продолжить комментарий системы поэтических символов, однако перед нами не «ученое» аллегорическое произведение, а одна из лучших лирических драм большого поэта. Перевод Г. Кружкова дает русскому читателю возможность ощутить непосредственность живого чувства и красоту стиха.

«Единственная ревность Эмер» впервые была поставлена в 1922 году в Амстердаме Альбертом ван Далсумом. Для своего же театра Йейтс написал прозаический вариант под названием «Битва с волнами». В дублинском спектакле (1929 г.) участвовал большой оркестр и балет во главе с известной танцовщицей и хореографом Нинетт де Валуа. Новое заглавие относится к эпизоду, который предшествует действию пьесы: Кухулин, по роковой случайности убивший собственного сына, обезумев от горя, сражается с волнами, пока море не выбрасывает его, бездыханного, на берег.

В. РЯПОЛОВА



Пролог к спектаклю, в центре — Кухулин.

ПЕРСОНАЖИ ПЬЕСЫ

Три музыканта *(загримированные под маски).*
Призрак Кухулина *(в маске).*
Оборотень, имеющий обличье Кухулина *(в маске).*
Эмер
Этна Ингуба } *(в масках или загримированные под маски).*
Сида *(в маске).*

Входят м у з ы к а н т ы, одетые и загримированные как в «Ястребином источнике». При них те же самые музыкальные инструменты, которые или уже находятся на сцене, или могут быть внесены либо п е р в ы м м у з ы к а н т о м — до того, как он выйдет на середину сцены со свернутым покрывалом в руках,— либо другим актером, когда покрывало уже развернуто. Сценой, как и прежде, может служить часть комнаты, задником — стена, а черное покрывало можно использовать то же, что в «Ястребином источнике».

Музыканты поют, медленно развертывая и вновь свертывая покрывало.

Первый музыкант *(поет).* Женская красота — словно белая птица,
Хрупкая птица морская, которой грустится
На незнакомой меже среди черных борозд;
Шторм, бушевавший всю ночь, ее утром занес
К этой меже, от океана далекой,
Вот и стоит она там и грустит одиноко
Меж незасеянных черных и жирных борозд.
Сколько столетий в работе
Душа провела,
В сложном расчете,
В муках угла и числа,
Роясь, рискуя —
Куда там орлу и кроту! —
Чтобы такую
Вывести в свет красоту?

Странная и бесполезная это вещица —
Хрупкая раковина, что бледно искрится
Там, на песке, далеко за приливной чертой:
Волны разбушевались пред самой зарей,
На побережье ветер накинулся воя...
Вот и лежит она — хрупкое чудо морское,—
Шквалом внезапным выброшенная перед зарей.
Что за великие шлюзы
Судьбы прорвало,
Непостижимые узы
Навеки свело,—
Мучась, ликуя,
Кровью платя за мечту! —
Чтобы такую
Миру явить красоту?

Музыканты занимают свое место у стены. Сбоку сцены обнаруживается ложе или просто груда тряпья, на которой лежит ч е л о в е к в п о г р е б а л ь н о й о д е ж д е. На его лице героическая маска. Д р у г о й ч е л о в е к в точно такой же одежде и маске съежился на корточках ближе к зрителям. Рядом с ложем сидит Э м е р.

Первый музыкант *(говорит).* Я вызываю из памяти
Хижину рыбака,
Сети, висящие
На закопченных стропилах,
Длинное весло у стены.

В углу лежит человек,
Он умер или впал в забытье.
Это — Кухулин,
Страстный, свирепый и славный Кухулин.
Возле ложа его — королева Эмер.
Всем остальным она повелела уйти,
Но вот кто-то входит
Нерешительным шагом.
Это Этна Ингуба, возлюбленная героя.
Она замирает на миг у порога,
И тогда за дверью открывается море,
Сверкающее и грозно шумящее море...
(Поет.) Белая раковина, белое оперенье!
Не пожелал бы я ни себе и ни другу
Хрупкую и бесполезную эту мечту;
Знает душа, что бесплодно над бездной паренье,
Судьбы и волны, бушуя, ходят по кругу,
Ветер срывает пену с валов на лету.

Эмер *(говорит)*. Входи, присядь со мною возле ложа,
Не бойся, Этна, ибо я сама
Послала за тобой.

Этна Ингуба. Нет, госпожа,
Не смею, ибо я вас оскорбила.

Эмер. Из всех живущих только мы с тобой
Имеем право тут сидеть, ведь мы
Его любили больше всех.

Этна Ингуба. Он умер?

Эмер. Обряжен в погребальные одежды,
Но он не умер. Небеса извергнут
Огонь, и вся земля зальется кровью,
Как при кончине мира, в день ухода
Героя, чтобы и последний раб
Почувствовал тогда величье смерти
Кухулина.

Этна Ингуба. Что с ним произошло?

Эмер. Сегодня на совете королей
Он встретил юношу, который сразу
В нем вызвал необычную приязнь.
Но короли все обратили в распрю,
Он вызвал юношу на бой и насмерть
Сразил его на берегу морском,
Там, где могила Байле. Слишком поздно
Он осознал, что собственного сына
Убил своей рукой,— как говорят,
Того, что в ранней юности зачал
С какою-то воительницей дикой.
От горя обезумев, он схватил
Свой меч и щит и бросился к волнам,
Клич грозный испустил и стал сражаться
С бессмертным морем. Все, кто были там,
От ужаса оцепенев, не смели
Ни усмирить его, ни образумить.
А он с прибоем бился, наступая,

Пока его один могучий вал
Не потопил с размаху и не бросил
Без чувств на берег.

Этна Ингуба. Как он страшно бледен!

Эмер. Но он не мертв.

Этна Ингуба. Ты пробовала в губы
Его поцеловать — иль на груди
Главу бесчувственную возлелеять?

Эмер. Быть может, это даже и не он,
А оборотень — например, коряга,
Которой приданы его черты,
Иль кто-нибудь из свиты Мананнана,
Владыки моря,— одряхлевший всадник,
Не годный больше для седла.

Этна Ингуба. Окликни
Его по имени. Ведь говорят,
Что души, нас покинувшие, бродят
Поблизости; он может услыхать —
И выгнать оборотня.

Эмер. Нелегко
Добиться, чтобы он меня услышал —
Жену постылую; но если ты
Его покличешь голосом любимым,
Он возвратится.

Этна Ингуба. Я любима им
Как новизна, но, новизной пресытясь,
Он возвратится к той, что верно ждет
И верит в возвращенье.

Эмер. Я и вправду
Надеюсь, что когда-нибудь мы вместе
У очага родного отдохнем,
Как прежде.

Этна Ингуба. Женщин, вызывавших страсть,
Пресытившись, отбрасывают в угол,
Как скорлупу разбитого ореха.
Кухулин, слушай!

Эмер. Погоди, сперва
Его лицо я скрою, чтоб не видеть
В зрачках застывших этой мертвой зыби,
И в очаге огонь разворошу
Поярче. Мананнан, владыка моря,
Из бездны шлет своих свирепых слуг
На неоседланных конях. Но чары
Зыбучих волн боятся чар огня.

(Она задергивает занавески над ложем так, чтобы актер мог незаметно переменить маску. Потом переходит на другую сторону сцены и показывает жестами, что подкладывает дрова в очаг и ворошит огонь. Музыканты сопровождают ее движения звуками барабана и, может быть, флейты.

Окончив пантомиму, Эмер остается возле воображаемого очага, поодаль от Кухулина и Этны Ингубы.)

Теперь попробуй позови его.

Этна Ингуба. Ты слышишь, я зову тебя?

Эмер. Склонись
Пониже, прошепчи ему на ухо
Все нежности, чтоб сердце в нем взыграло,
А если он не здесь, пусть возревнует.

Этна Ингуба. Кухулин, где ты?

Эмер. Это слишком робко.
В такой отчаянный момент страшиться,
Что я все слышу,— значит доказать,
Какой он сделал жалкий выбор. Помни:
Мы заодно, а море — против нас.

Этна Ингуба. О мой возлюбленный, прости меня
За робость. Я отбрасываю стыд.
Ты помнишь: как бы я ни тосковала,
Я не звала тебя к себе: ты сам
Все чувствовал и приходил. Дай знак,
Что это ты: пошевелись, промолви
Хоть слово! Ты был так красноречив
Со мною. Что сковало твой язык
Или замкнуло слух? Во имя страсти,
Не гаснувшей, когда мы расставались
На берегу, в холодный час рассвета,
Ответь!
Не слышит...

Эмер. Поцелуй его;
Быть может, губ твоих прикосновенье
Осилит чары.

Этна Ингуба *(отшатнувшись)*. Это не Кухулин!
Я ощутила на губах своих
Какой-то злой озноб.

Эмер. Он шевельнулся!
Уста твои его вернули к жизни.
Из забытья.

Этна Ингуба *(отступая еще дальше)*. Взгляни, он сухорук!
Рука вся, до плеча, как костяная.

Эмер *(подходя к ложу)*. Откуда ты пришел? И для чего?

Оборотень. Я прискакал из царства Мананнана
На неоседланном коне.

Эмер. Кто ты,
Посмевший взять Кухулина обличье
И лечь на это ложе?

Оборотень. Вольный дух
Из рода сидов — Брикриу зовусь я,

Да, Брикриу — тот самый дух раздора,
Известный меж богами и людьми.

Эмер. Зачем явился ты?

Оборотень *(садится на ложе, раздвигая занавески и показывая свое безобразное лицо).* Чтоб устрашить
Всех, кто любим Кухулином.

Ингуба уходит.

Эмер. Ты лжешь!
Исчадья ветра, вы полны обманов
И хитростей. Я не боюсь тебя!

Оборотень. Тут нет обмана: ты ведь нелюбима.

Эмер. Да, нелюбима — и не устрашусь
Потребовать, смотря тебе в лицо,
Чтоб ты вернул его к живущим.

Оборотень. С этим
Я и пришел — за выкупом.

Эмер. Ах, вот что!
Давно ли сиды стали торгашами?

Оборотень. Когда они освобождают пленных,
Они берут взамен иное что-то,
И это справедливо. Рыболов,
Просящий колдуна о возвращенье
Жены иль дочки, знает, что за них
Пойдет в уплату лодка, сеть иль даже
Молочная корова; есть такие,
Что предлагают жизнь свою взамен.
А мне ни жизни, ни богатой вещи
Не надо от тебя. Ты говорила,
Что, может быть, когда-нибудь опять
Он сердце обратит к тебе — под старость,
Когда придут недуги. Откажись
От всех надежд — и он вернется к жизни.

Эмер. Я вижу цель твою: ты сеешь зло
Средь тех, кого любил он; но со мной,
Чтоб власть упрочить, ты готов на сделку.

Оборотень. Власть тешит всех — и женщин, и мужчин,
И духов; покорись — и он вернется.

Эмер. Нет, ни за что!

Оборотень. Боишься осужденья?
А он вот не боялся.

Эмер. У меня
Две радости последние остались:
Воспоминанье и надежда.

Оборотень. Знай же:
Вам не придется состариться вдвоем
У очага: он сгибнет на чужбине

От многих ран, и женщина чужая
Склонится над умершим.

Эмер. Ты мечтаешь
Отнять мою последнюю надежду,
Чтоб ввергнуть в окончательную гибель
Всех, кто вокруг него.

Оборотень. Не ерепенься!
Ты до сих пор не ревновала, зная,
Что он пресытится; но разве можно
Пресытиться любовью неземной?
Встань ближе; я хочу, чтоб ты прозрела.

(Он касается ее глаз своей левой, невысохшей рукой.)

Эмер *(увидав Призрак Кухулина, недвижно сидящий на полу).*
Здесь муж мой!

Оборотень. Я рассеял мрак, скрывавший
Его от глаз твоих, но этот взор
По-прежнему незряч.

Эмер. О муж мой, муж мой!

Оборотень. Не стоит звать: он так же глух, как слеп,—
Фантом, сюда мольбами привлеченный;
Не то чтобы он вправду слышал их,
Но тот покой, в каком он пребывал,
Разрушен грезами, и в этих грезах
Облекся он в свой прежний образ: так
Случается с тенями, что покуда
К своей свободе новой не привыкли.
Он ничего не сознает — ни где он,
Ни с кем.

Входит С и д а и останавливается у двери.

Эмер. Кто эта женщина?

Оборотень. Рыбачка.
Сказать точней, она пришла сюда
Из Царства-под-водой, приняв обличье,
Которое поможет ей поймать
Еще одну рыбешку. Эти сиды —
Ловцы мужчин, наживка их — мечта.

Эмер. Так, значит, этот облик — лишь притворство,
Обман?

Оборотень. Мечта — не ложь, а воплощенье;
Пока способны юноши мечтать,
Останется возможность возвращаться
У мертвых — и у тех, других теней,
Что вовсе не жили иначе, как
В снах и мечтах.

Эмер. Я знаю этих дев.
Они приходят к спящим и усталым
От дел войны, закутывают их
В туман своих волос, целуют в губы.
Проснувшимся бывает невдомек,
Что было с ними; но когда потом
Своих мужей мы обнимаем ночью,
Они уже не с нами.

(Вынимает из-за пояса нож.)

Оборотень. Сталь не может
Поранить воздух. Слушай и смотри;
Я слух и зренье дал тебе недаром.

Сида начинает танцевать, кружа вокруг Призрака Кухулина все быстрей и быстрей. Он медленно просыпается. Порой она почти касается его своими волосами. Танец сопровождается звуками струнного инструмента, флейты и барабана. Ее маска отсвечивает золотом или бронзой, медью или серебром, так что она должна казаться скорее идолом, чем человеческим существом. В голосе ее тоже звучат металлические обертоны.

Призрак Кухулина. Кто это предо мной стоит
И свет такой вокруг струит,
Как будто полная луна,
Чья красота завершена,
Бросается из круга прочь —
В свою пятнадцатую ночь?

Сида. Я страстью все еще полна
И, значит, не завершена.
Скажи, что так тебя гнетет
И распрямиться не дает?

Призрак Кухулина. Лик той, кому я изменил,
Взор юноши, что мною был
Убит. Воспоминаний гнет
Мне распрямиться не дает.

Сида. Любивший столько жен и дев,
Способен ты, помолодев,
Влюбиться в ту, что у черты
Стоит нездешней красоты?
Взгляни!

Призрак Кухулина. О, я тебя узнал!
Давным-давно, у темных скал,
Близ высохшего родника,
Пришедшему издалека,
Ты мне плясала... Я к тебе
Стремился, покорясь волшбе.
Но ты исчезла в тот же миг,
Как ястреба донесся крик.

Сида. Вновь устремись ко мне. В тот раз
Иначе было, чем сейчас.
Теперь я женщина вполне;
Все ястребиное во мне
Ушло.

Призрак Кухулина. Но я уже не тот
Юнец. Воспоминаний гнет
Мне взоры застит пеленой,
Туманя яркий облик твой.

Сида. Так поцелуй меня в уста.
Пусть торжествует красота
Над всем, что противостоит
Любви — будь это память, стыд
Иль угрызенье.

Призрак Кухулина. Значит, я
Вкушу отрады забытья
И совесть заглушу навек?

Сида. Да, время остановит бег.
Когда к устам уста прильнут,
Все жажды утолятся тут,
Замкнется лун круговорот
И сердце навсегда замрет.

Призрак Кухулина. Целуй!

(Она наклоняется к нему, но в последний миг он отворачивает голову.)

О Эмер, Эмер!

Сида. Трус!
Так вот каких видений груз
Тебя пригнул!

Призрак Кухулина. Передо мной
Тот день, когда рука с рукой
Мы в дом входили в первый раз,
Перед родней не пряча глаз.

Сида. Припомни, сколько раз потом
Тайком ты покидал свой дом.

Призрак Кухулина. О Эмер, милая жена!

Сида. Как умер, так опять она!
А был живой, тянуло прочь.
И впрямь, тому любить невмочь
Обычных женщин, кто рожден
Не для земных любвей и жен,
Не для упреков и оков,
А для того, чтоб со зрачков
Смыть памяти земную грязь
И вечное узреть смеясь.

Призрак Кухулина. Целуй, целуй меня скорей!

(Устремляется вслед за убегающей Сидой.)

Оборотень. Скорее
Клянись, что отвергаешь навсегда
Его любовь.

Эмер. Нет, ни за что!

Оборотень. Вот дура!
Я враг колдуньи Фанд и для того
Явился, чтоб ее расстроить планы;
А ты стоишь и упускаешь время.
Чу! Слышишь стук копыт на берегу?
Она уже садится в колесницу.
Кухулин медлит. Есть еще мгновенье.
Кричи! Клянись, что ты его отвергла,—
И власти Фанд конец. Уже Кухулин
Ступил одной ногой на колесницу.
Кричи!..

Эмер. Я отвергаю навсегда
Любовь Кухулина.

Оборотень откидывается назад, натягивая на себя покрывало. Входит Этна Ингуба и становится на колени возле ложа.

Этна Ингуба. Приди ко мне, любимый, это я.
Я, Этна. Поглядите! Он очнулся.
Он шевельнул губами и рукой.
Лишь я одна смогла отвоевать
Его у моря и вернуть к живым.

Эмер. Он жив!

Лежащий на постели поворачивается. На нем опять героическая маска.

Кухулин. Как ласковы твои ладони,
Ингуба!.. Мне приснился страшный сон.

Музыканты выходят вперед и поют, медленно развертывая и затем так же медленно свертывая черное покрывало.

Музыканты. Отчего ты так испуган?
Спрашиваешь — отвечаю.
Повстречал я в доме друга
Статую земной печали.
Статуя жила, дышала,
Слушала, скользила мимо,
Только сердце в ней стучало
Громко так, неудержимо.

О трагическая тайна,
Воздаянье без вины!
Мы глядим со стороны
И молчим, удивлены,
Лишь порой вздохнем случайно.

Пусть постель твоя согрета
И для скорби нет причины,
Пусть во всех пределах света
Не отыщется мужчины,
Чтобы прелестью твоею
В одночасье не прельститься:
Тот, кто был их всех вернее,
Статуе устал молиться.

О трагическая тайна,
Воздаянье без вины!
Мы глядим со стороны
И молчим, удивлены,
Лишь порой вздохнем случайно.

Почему так сердце бьется?
Кто сейчас с тобою рядом?
Если круг луны замкнется,
Все мечты пред этим взглядом
Умирают, все раздумья;
И уже пугаться поздно:
В ярком свете полнолунья
Гаснут маленькие звезды.

Когда покрывало снова свернуто, сцена оказывается пустой.

Конец

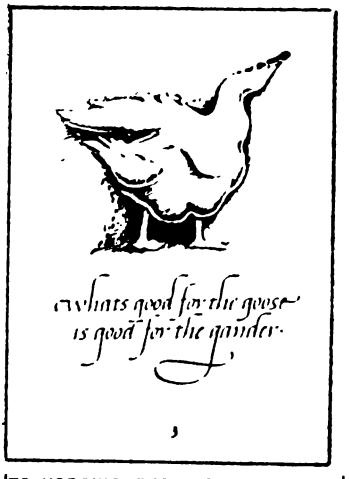
Заключительная сцена у ложа Кухулина

Ирландский Национальный театр, 1929 г.

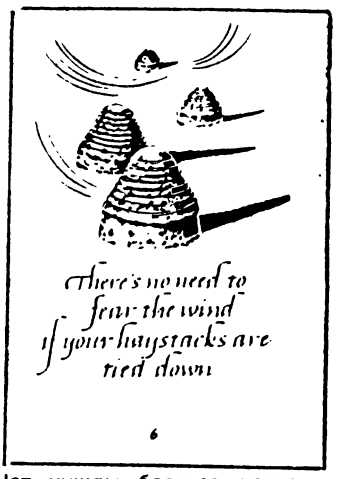
ИРЛАНДСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ

Перевод с английского А. ЛИВЕРГАНТА

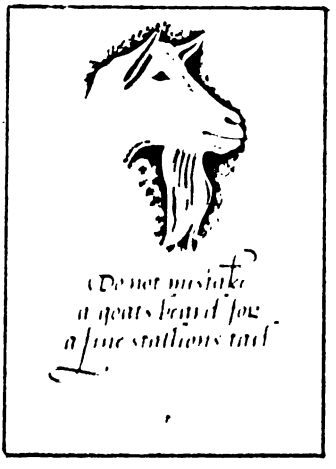
Иллюстрации КАРЕН БЕЙЛИ



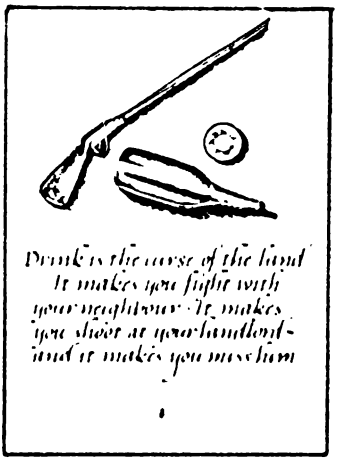
Что хорошо для гусыни, хорошо и для гусака.



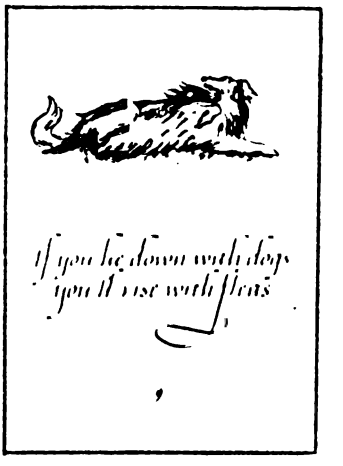
Нет нужды бояться ветра, если скирды связаны.



Не принимайте козлиную бороду за хвост жеребца.

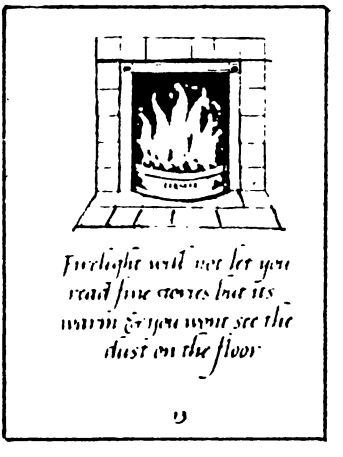


Выпивка — проклятье страны; из-за нее вы сражаетесь с соседом; из-за нее стреляете в хозяина; из-за нее же потом сами его оплакиваете.

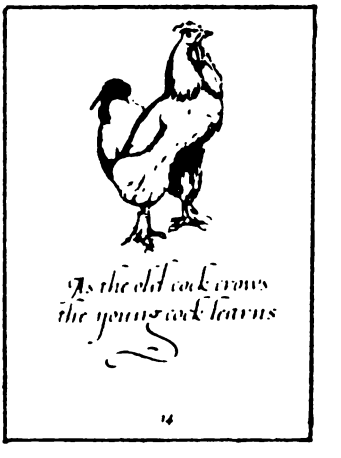


Если ляжешь с собаками, то встанешь с блохами.

Лучший друг малыша — его мать, и нет на свете пут прочней, чем завязки на ее фартуке.

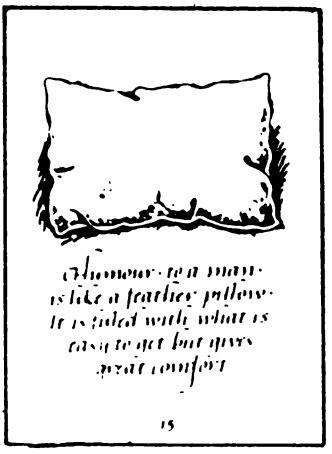


Чтобы читать, огня в камельке недостаточно, зато — тепло, да и пыли на полу не видать.



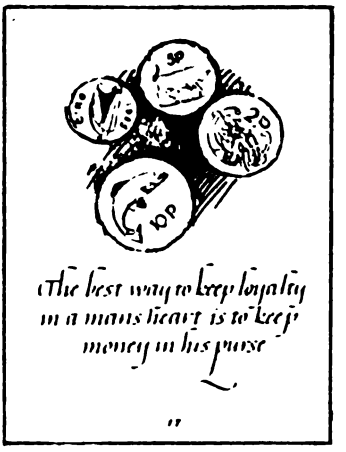
Как крикнет старый петух, так выучится и молодой.

© Caren Bailey, 1986

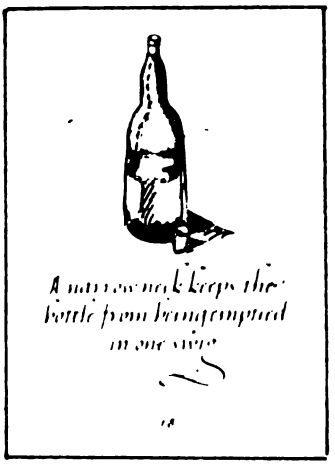


Юмор для человека — что пуховая перина: стоит дешево, а жизнь красит.

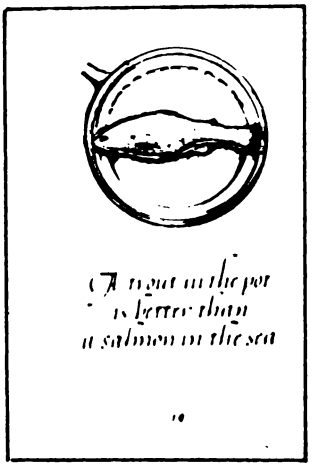
Нередко богатство ирландца зависит от кружева на нижней юбке его дочери.



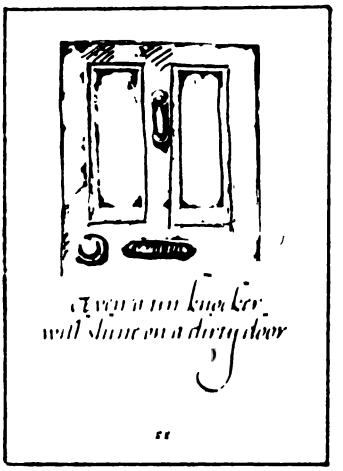
Лучший способ хранить верность человеку — это хранить деньги в его кошельке.



Узкое горлышко бутылки не дает осушить ее в один присест.

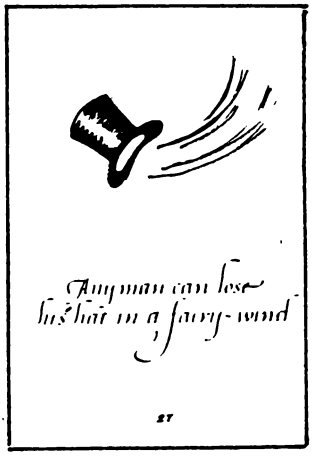


Форель в горшке лучше, чем осетрина в море.

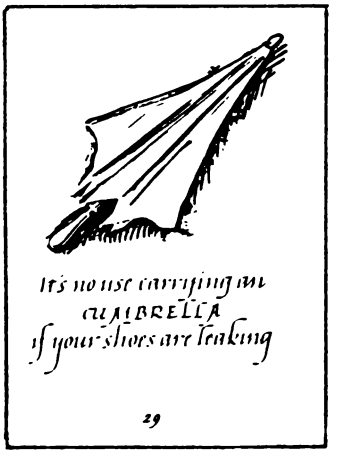


На грязной двери и оловянная табличка блестит.

Старая метла знает грязные углы лучше молодой.

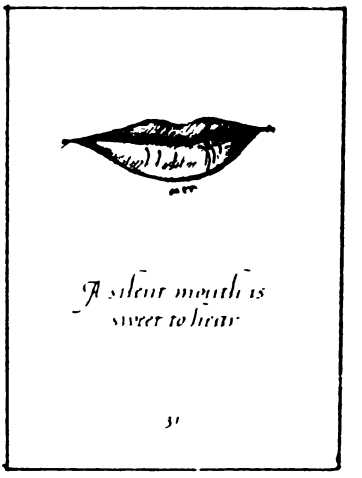


На сильном ветру шляпу любой потеряет.

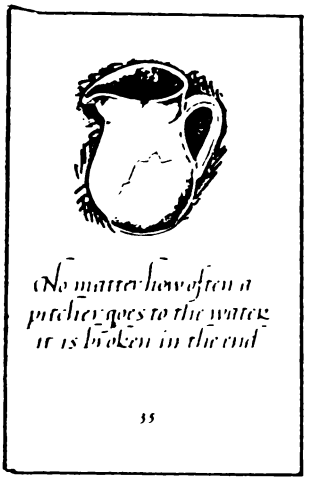


К чему брать зонтик, если башмаки худые?

Когда обе козы слепые, трудно сказать, которая из них лучше.



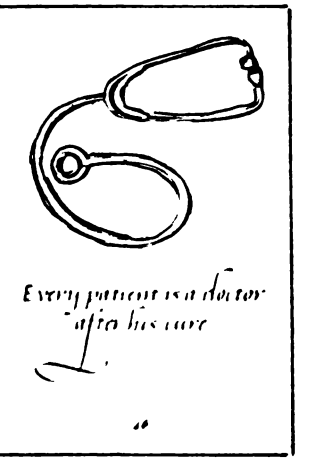
Закрытый рот — услада слуху.



Сколько бы раз кувшин в воду ни опускался, в конце концов он все равно разобьется.

Слепой лошади что кивай, что подмигивай.

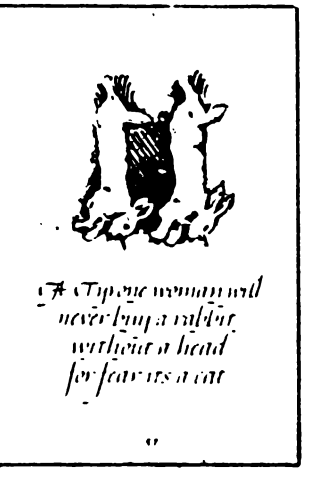
Скорее прилетит белая ворона, чем упрямая женщина согласится развязать узелок.



После выздоровления каждый больной — врач.

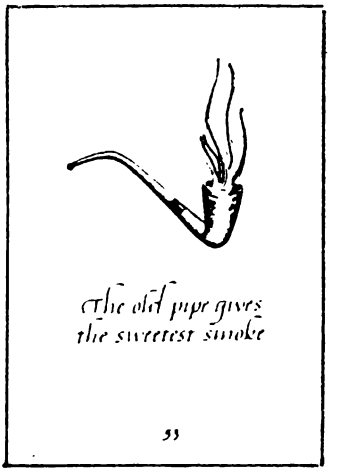
Не давайте вишни свиньям, а советы — дуракам.

Непойманная рыба красивее пойманной.

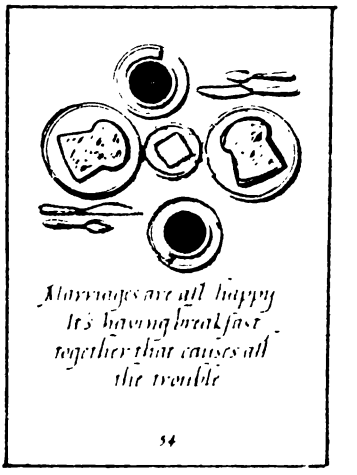


Женщина из Тайрона никогда не купит кролика из страха, что это кошка.

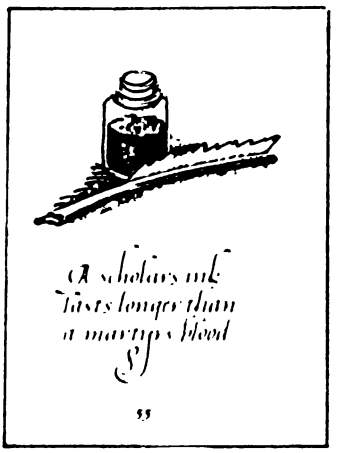
В ветреный день солому на крышу не стелют.



Чем старше трубка, тем слаще табак.

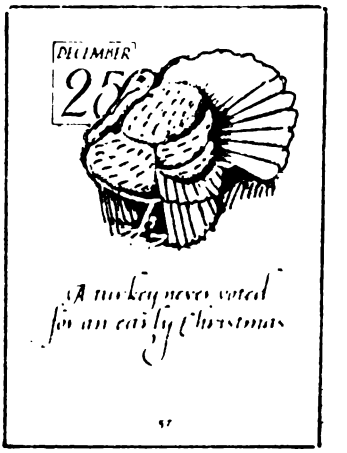


В браке счастливы все — только не надо садиться вместе завтракать.

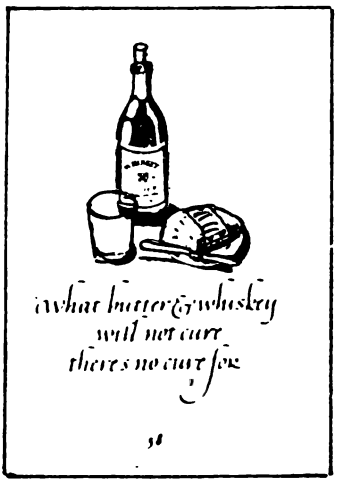


Чернила ученого дороже крови мученика.

Принимайте подарок с тем же вздохом, с каким дарящий его покупал.



Индейка никогда не радуется раннему Рождеству.



То, что не лечится маслом и виски, не лечится ничем.

Ирландцы прощают своих великих людей не раньше, чем их похоронят.

Дорога из дома — самая длинная, домой — самая короткая.

Связь человека с местом его обитания — загадочна, но очевидна. Или так: несомненна, но таинственна. Ведает ею известный древним genius loci, гений места, связывающий духовные явления с их материальной средой. Для человека нового времени главные точки приложения и проявления культурных сил — города. Их облик определяет гений места, и представление об этом — сугубо субъективно. Скажем, Нью-Йорк Драйзера и Нью-Йорк О. Генри — города не просто разные, но и для каждого из нас — свои особые.

Еще любопытнее отнестись к своим путешествиям как к некоему процессу, в ходе которого неизбежны сравнения — главный инструмент анализа. Идея этой рубрики и состоит в двойном со- и чаще противопоставлении: каждый город, воспринятый через творческую личность, параллелен другой паре: гений — место. Еще хотелось бы отклониться от российской традиции литературоцентризма, опираясь не только на писателей, но и на живописцев, композиторов, кинематографистов.

В планах, которые, впрочем, могут измениться: «Чарли Чаплин — Лос-Анджелес, Джек Лондон — Сан-Франциско»; «Веласкес — Мадрид, Эль Греко — Толедо»; «Вагнер — Мюнхен, Сакс — Нюрнберг»; «Ривера — Мехико, Борхес — Буэнос-Айрес»; «Шекспир — Верона, Мериме — Севилья»; «Дюма — Париж, Флобер — Руан» и другие двойные пары, легитимность которых определена лишь пристрастиями автора рубрики.

На линиях органического пересечения художника с местом его жизни и творчества возникает новая, неведомая прежде реальность, которая не проходит ни по ведомству искусства, ни по ведомству географии. В попытке эту реальность уловить и появляется странный жанр — своевольный гибрид путевых заметок с литературно-художественным эссе, результат путешествий по миру в сопровождении великих гидов.

ПЕТР ВАЙЛЬ

УЛИЦА И ДОМ

Джойс — Дублин, Конан Дойл — Лондон

В Сэндимаунт, юго-восточный пригород Дублина, я приехал автобусом, отходящим от Тринити-колледжа в семь утра. Теперь это куда более респектабельное место, чем во времена Джойса: как и всюду, публика тянется за город, к морю. Тут, правда, поселился умеренно зажиточный средний класс: одно название, что живешь на побережье. Пляж есть, но редкого плоского убожества — по нему и шел в третьей главе «Улисса» Стивен Дедал, на нем содрогался от вожделения к незнакомой малолетке в главе тринадцатой Леопольд Блум. Когда отлив — до купания брести и брести по мелководью, мне, выросшему на Рижском заливе, это занудство знакомо. Настоящие богатые из Дублина двинулись южнее — туда, где начинается «Улисс».

Где начинается «Улисс»...

Сейчас туда за 35 минут довозит электричка, и от станции Сэндикоув (в Сэндимаунт мы еще вернемся, но позже — ничего не поделаешь, странствия начались) надо идти пешком по кромке берега. Здесь так же шагал 22-летний Джойс. Было то же время — начало сентября: такие же чайки, вдали паруса, слабый стойкий запах темно-зеленых водорослей на серых валунах. Если обернуться, видны сливающиеся на расстоянии готические шпили двух церквей: Морской и Св. Георгия. Впереди — приземистая круглая башня Мартелло, воздвигнутая когда-то британцами в ожидании высадки Наполеона: в ней прожил несколько сентябрьских дней 1904 года Джеймс Джойс перед самым отъездом в добровольное изгнание на всю жизнь.

В башне начинается «Улисс». С верхней площадки открывается синее, не северное море, с гористыми берегами, гомеровское. Посреди бухты — остров с населением в 12 коз. За горами классическая Ирландия с рекламных проспектов: на фоне густо-сиреневых от вереска холмов неестественно зеленые луга с черноголовыми овцами, клейменными по спинам и задам большими цветными буквами. Это древний обычай, четверть века назад мы в армии поймали овцу и написали на ней плакатной гуашью: ДМБ.

Красивой Ирландии нет у Джойса, она проходит смутным видением по рассказам и «Портрету художника в юности», не молодостью даже, а детством. Средиземноморская экзотика башни Мартелло обозначила отправной пункт Одиссеевых скитаний — и отслужила свое. Сугубый урбанист, Джойс знал, что подлинное событие — это город.

Как раз в бессобытийность уползает современный человек. Склоны нарядного залива Килкенни, за башней, покрыты виллами. Я ехал в автобусе, и разговорчивый, как все настоящие ирландцы, водитель сказал сначала о Мартелло и Джойсе — никто и головы не повернул. Зато когда он

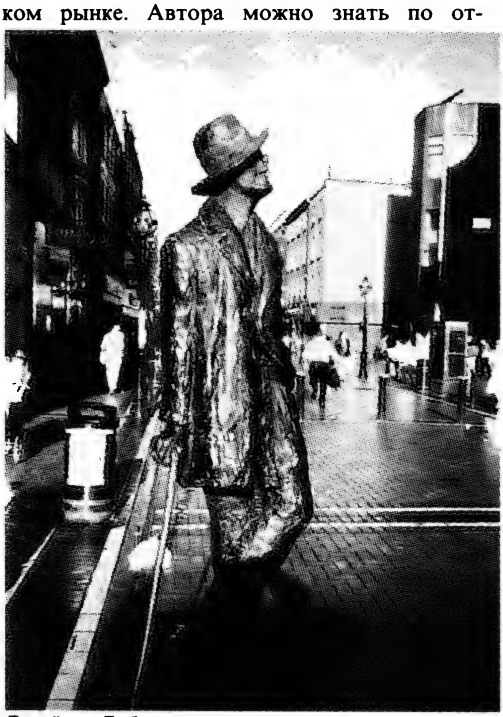
объявил: «Слева усадьба Боно!» — автобус чуть не перевернулся, стар и млад кинулись смотреть на большие глухие ворота звезды рок-группы «U-2».

Джойс в Дублине — звезда, но с тысячей оговорок, из которых главные: уважают, но не любят; почитают, но не читают. Таксисты кивают: «Оу, йе, Юлиссис, о'кей», но только с 93-го года Джойс введен в школьный курс. Две его младшие сестры, чей дом и теперь стоит на Маунтджой-сквер, до конца своей жизни отрицали родство. Мне редкостно повезло, и меня по городу водила внучатая племянница великого писателя Хелен Монахан; она рассказала про своих родственников, лишь несколько лет назад узнавших, что они — Джойсы: их оберегали от близости с порнографом и ненавистником Ирландии.

Любой хороший писатель — оскорбление для его народа. Хорошее писательство — это правда. Но кому и когда она нужна? Лишь тогда, когда правда со временем становится частью мифа, в котором живет народ. Ведь к мифу вопросов не обращают — он сам дает ответы на все. Так постепенно Ирландия привыкает к Джойсу, учится жить с ним и еще научится любить, как полюбила Испания Сервантеса. Верный признак незавершенности процесса: при всей туристской эксплуатации Джойса, с мельканием его узкого асимметричного фаса на майках и кружках, нет изображений его героев. Разве что четырнадцать Блумов, в котелке и с сытым животиком, попираются на вделанных в тротуар бронзовых рельефах, отмечающих путь по городу в главе «Лестригоны». Но коммерчески соблазнительной, не хуже Дон Кихота и Санчо Пансы, пары Стивен — Блум нет на дублинском рынке. Автора можно знать по отзывам, но про героев надо непредвзято прочесть. Должно вымереть поколение, для которого Джойс был еще тамиздатом.

Он попытался совершить непозволительное: победить время и сразу, изначально, мифологизировать Дублин. И не все и не сразу поняли — насколько блистательно ему это удалось. Как написал Борхес, «любой день для Джойса — это втайне все тот же неотвратимый день Страшного суда, а любое место на свете — Преисподняя или Чистилище». Но все же не любой и не любое, а 16 июня 1904 года и Дублин — время и место действия «Улисса». Потому книгу не просто и даже не столько читают, сколько возносят и канонизируют: для культа необходима конкретность ритуала — предметы священного обихода, координаты алтарных камней, маршрут процессии. И нет в мировой словесности книги, дающей все это в таком изобилии. По каким дорогам подниматься к Замку из великого романа Кафки? На каких тропах искать Йоknапатофу из великих книг Фолкнера? А Джойс оставляет адреса.

Потому туристы с его справочным романом в руках толпятся возле Национальной библиотеки на Килдер-стрит, где вел диспут о «Гамлете» Стивен Дедал. Потому в «добропорядочном» пабе Дэви Берна, где Блум запил бутерброд с горгонзолой стаканом бургундского, каждый Блумсдей, 16 июня, съедаются тонны «зеленого сыра, пахнущего ногами», и выпиваются бочки красного вина (а обычная еда, даже стандартное ирландское рагу, у Дэви Берна неважная: ему теперь это не надо). Потому можно, взяв в руки шестую главу — «Аид»,— проделать и самый длинный в «Улиссе» путь, через весь Дублин: с похоронной процессией — на кладбище Гласневин из Сэндимаунта.



Джойс в Дублине

(Фото автора)

Дом из «Мертвых»

Я обещал, что мы сюда вернемся, хотя бы для того, чтобы лишний раз изумиться топографической дотошности Джойса, который в 20-м году прислал из Триеста своей тетке открытку с вопросом — есть ли за сэндимаунтской церковью Звезды морей деревья, видимые с берега? Такие деревья есть, и есть благоговейный восторг перед высшей профессиональной честностью литератора. Или высшей уверенностью в себе? Откуда он знал, что через много лет я буду его проверять? Какая разница — торчит над тремя треугольниками церкви крона или нет? Напрашивающийся ответ: если правда, что при выходе с моста О'Коннелла, напротив Портового управления, через Уэстморленд-роуд, стоит паб Гаррисона — то правда, что женщине «не все ли равно, он или другой», а в аду шумно, тесно и темно.

Однако страсть Джойса к скрупулезной достоверности принимает черты психиатрические: он кружит по городу, как герой одного из рассказов в «Дублинцах», истово ожидающий возвращения приятеля с деньгами. Я прошел по этому кольцевому маршруту, мучительно монотонному, как болеро, ощутив в итоге то, о чем догадывался, читая рассказ: долгожданную, освобождающую усталость. «Названия дублинских улиц занимают меня больше, чем загадка Вселенной»,— написал как-то Джойс. Еще бы: по Вселенной не погуляешь, а по Дублину он перемещался беспрерывно и исступленно, нанизывая в своем европейском изгнании имена незабываемых мест покинутого острова, изнуряя себя до чувства облегчения и высвобождения.

Если читать джойсовские письма подряд, в хронологии, то видно, как точно перепады любви и ненависти к родному городу совпадают с добрыми и дурными событиями в его жизни. Всплеск злобы приходится на осень 1909-го, на первое из двух возвращений в Ирландию. Джойс тогда загорелся идеей открыть первый в Дублине кинотеатр, и открыл, под названием «Вольта», но было не до того: ему рассказали, что его возлюбленная жена Нора была ему неверна еще в Дублине. Он бросается писать ей, и ничего равного по разнузданной эротике не знает мировой эпистолярий. Каждое письмо — сексуальный акт, с бесстыдной и изобретательной сменой способов и поз.

Доказывая этими дистанционными коитусами право на любимую женщину, Джойс попутно расправлялся с городом, который пытался, как ему казалось, у него эту женщину отнять. «Я считаю потерянным день среди дублинской публики, которую ненавижу и презираю», «Дублин гадостный город, и люди здесь мне мерзки», «Мне отвратительны Ирландия и ирландцы». Настоящей родиной была Нора: «Я хочу вернуться к моей любви, моей жизни, моей звезде, моей маленькой странноглазой Ирландии!» И тут же: «Моя маленькая мама, прими меня в темное святилище своей утробы. Укрой меня, родная, от опасности». И Джойс возвратился в «Ирландию» — к Норе в Триест, чтобы всего еще однажды коротко наведаться на остров и провести всю жизнь в Италии, Швейцарии и Франции, отказываясь от любых приглашений приехать на родину.

Тяжелые эдиповы отношения со страной и городом продолжались до смерти. И быть может, примечательнее всех похвал и проклятий Дублину — беглое пояснение к сказке, которую Джойс сочинил для своего четырехлетнего внука: «У черта сильный дублинский акцент».

Он знал заклинание против этого беса: без конца твердить городские имена. Запечатлеть на бумаге — освободиться.

Ведь это он, и только он, Джойс, нанес Дублин на карту мира, хотя здесь до него родились Свифт, Шеридан, Уайльд, Шоу — но они проявились «за водой», across the water, как обозначали ирландцы Англию.

«Средоточием паралича» назвал он этот город, а что до самого Джойса, то его диагноз — Дублин. Только не болезни, а диагноз жизни и смерти. Он знал строку другого изгнанника — Овидия: «Ни с тобой, ни без тебя жить невозможно». Так для него легла карта города.

«Улисс» глыбой нависает над всей словесностью XX века, из-под нее только недавно стала выбираться литература, реабилитируя повествовательность, так долго казавшуюся примитивной на фоне авангардного величия «Улисса». И уж тем более в густой тени романа потерялись две другие выдающиеся книги Джойса. В них его пуантилистская техника еще не доходит до почти пародийного предела, в них сохраняется гармония и баланс традиционного письма. В них Дублин еще нагляднее и важнее, чем в «Улиссе», где он часто ощущается рассчитанным сюжетным приемом, тогда как в «Портрете» и «Дублинцах» город живет естественной и напряженной жизнью главного героя.

В одержимости Джойса Дублином чувствуется не только болезненность, но и нарочитость: он как бы заводит себя, вроде блатного в драке, подключая новые и новые детали, названия, персонажи. Все это мелькает и несется, как пушкинское описание Москвы, только львы на воротах тысячекратно размножены и названы по именам: и ворота, и львы. Перипатетики Джойса вроде и не присаживаются, без устали топча каблуками улицы. Город и сейчас невелик, около миллиона, так что пройти по всем, даже дальним местам возможно, возвращаясь на ночевку в отель на улице Уиклоу, рядом с избирательным участком из рассказа «День плюща», а утром снова в путь, чтобы осознать нутром главный нерв Джойса и его главную тему — бездомность.

Сам писатель, сделавший экологический принцип переработки вторсырья своим литературным кредо, сейчас не прошел бы мимо такой детали: от дома, где жили Леопольд

и Молли Блум, на Экклс-стрит, номер 7, осталась только дверь. Она наглухо вцементирована в стену ресторана «Бейли» и не ведет никуда. Зато от нее начинается шествие по вечерним дублинским пабам.

Это особая институция. Блум в «Улиссе» ставит вопрос: можно ли пересечь город, ни разу не пройдя мимо паба, и решает, что нет — одно из заключений Джойса, имеющее ценность по сей день. Дублинский паб не столь фешенебелен, как лондонский, across the water, но не в пример уютнее, и в нем так вкусно съесть кусок баранины с картошкой, запив пинтой смоляного «Гиннесса» — бокал с шапкой пены называют блондинкой в черной юбке. Поэтическое оформление пьянства нам знакомо, и Ирландия держит в Европе (без учета России) сдвоенное первенство: самое высокое потребление алкоголя и книг на душу населения. Понятно нам и гордое самоопределение замечательного писателя Брендана Биэна: drinker with writing problems [1].

В сочинениях Джойса, как и в жизни города, все пьют в пабах, которые предстают ближайшим аналогом отсутствующего дома. С домами — зданиями — у Джойса специфические отношения. Конечно, в его книгах нет средневекового Дублина: век назад это тоже был памятник. Но нет и великолепного георгианского города: видимо, он не волновал писателя даже не как слишком элегантный и респектабельный, а как слишком ясный и уравновешенный. Светлому кирпичу и высоким переплетчатым окнам эпохи Георгов Джойс предпочел бурую кладку узких приплюснутых строений. На первых этажах этих домов и размещаются пабы, замершие во временах позднего викторианства с ирландским акцентом: с замысловатой конфигурацией зальчиков, обилием уголков и закутков на два-три, даже одно место, бездельных завитушек, перегородок с линялыми зеркалами, неожиданных откидных досок-столиков, чтобы сидеть в одиночестве, глядя в стенку и никого не видя.

Поразительным образом, в одном из самых общительных городов мира — нигде со мной так часто не заговаривали незнакомые люди — именно в узлах его, как сказал бы Бердяев, коммюнотарности, в дыме, толкотне и галдеже паба — можно найти уединение и покой.

В пабе шумно, жарко, тесно и темно — характеристики ада. Но это единственные пристанища в голой бездомности джойсовских улиц. Именно улицы, а не дома интересны ему. Пути, а не пристанища. Не объекты, а связывающая их неопределенная субстанция. Не зря среди своих литературных ориентиров молодой Джойс часто называл Ибсена, у которого события менее важны, чем пустоты между ними. То же — у Чехова, но Джойс отрицал, что знал его, когда писал «Дублинцев». При этом венчающий сборник, лучший из всех, а может быть, и один из лучших в мировой словесности, рассказ «Мертвые» — это чеховский рассказ. В конце концов, неважно. Хватит того, что бывают странные сближения, и в год смерти русского гения произошли главнейшие события в жизни и творчестве Джойса.

Вообще, русских он знал хорошо. Очень высоко — и в 22, и в 53 года — ставил Толстого: «Великолепный писатель. Никогда не скучен, никогда не глуп, никогда не утомителен, никогда не педантичен, никогда не театрален». Сдержанно отзывался о Тургеневе: «Он скучноват (не умен) и временами театрален. Я думаю, многие восхищаются им потому, что он «благопристоен», точно как восхищаются Горьким потому, что он «неблагопристоен».

Но вот: «Единственная известная мне книга, похожая на нее («Портрет художника в юности».— *П. В.*),— это «Герой нашего времени» Лермонтова. Конечно, моя намного длиннее, и герой Лермонтова аристократ, пресыщенный человек и красивое животное. Но есть сходство в цели, и в заглавии, и временами в едкости подхода. ...Книга произвела на меня очень большое впечатление».

Бесприютность, неприкаянность Печорина и его полная свобода на грани преступления — вот что должно было привлекать молодого Джойса, творца молодого Стивена Дедала. Слой за слоем, как листы с кочерыжки, герой «Портрета» снимает с себя обязательства и привязанности: семью, дружбу, родину, религию. «Я не боюсь быть один, быть отвергнутым ради другого, оставить то, что должен оставить. И мне не страшно совершить ошибку, даже огромную ошибку, ошибку на всю жизнь и, может быть, даже на всю вечность». Потрясенный приятель говорит: «Ты страшный человек, Стиви, ты всегда один». Он не один, конечно, он один на один с призванием, ради чего и брошено все остальное. И важно то, что, в отличие от романтических кавказских декораций печоринской драмы, экзистенциальные жесты Стивена предельно прозаичны. Его путь к творчеству, как и путь самого Джойса — само собой, метафизический, но и конкретный: по улицам Дублина. Почти словами своего героя он пишет Норе: «Мой разум отрицает весь существующий порядок... Как мне может нравиться идея дома?»

Главное для него — текущий по улицам город.

Одна из пронзительнейших в литературе сцен разыгрывается на ступенях Бельведерского колледжа. Мы стояли на крыльце этой действующей и сегодня школы с Хелен Монахан, и она, в ответ на мой вопрос, показала: «Вон туда, они шли туда». «Они» — это четверо шагающих под музыку молодых людей, которых замечает вышедший со священником на крыльцо Стивен. Только что была беседа о выборе духовной карьеры, он почти согласился, и пастырь вывел его на улицу, подав руку как равному. Мы с Хелен смотрели на

[1] Запойно пишущий пьяница *(Прим. ред.)*

церковь Финдлейтера, в сторону которой век назад шагали юнцы, и она прочла на память: «Улыбаясь банальной мелодии, он поднял глаза к лицу священника и, увидев на нем безрадостный отсвет меркнувшего дня, медленно высвободил руку...»

Город, само биение его жизни, оказывается союзником Стивена в борьбе за свободу и одиночество. Но именно от города следовало освободиться, чтобы быть последовательным,— ибо Дублин и был средоточием всех привязанностей, мешающих призванию. Как же было Джойсу не ненавидеть и не любить Дублин столь страстно?

Переместившись в среду, абсолютно свободную от всего прежнего, в полную, декларативную бездомность, Джойс в своем европейском изгнании, ставшем образом жизни и принципом письма, сводил счеты любви-ненависти.

И совсем не случайно единственный в «Дублинцах» с любовью и подробностями описанный дом помещен в рассказ с названием «Мертвые». Сейчас этот дом на набережной Ашерс-айленд мертв окончательно: пустой, грязно-серый, с треснувшими стеклами, и для пошлой детали — с крыши свисает неизвестно как выросшая там зеленая ветка; всюду жизнь. Совсем не случайно единственный, по сути, надежный и крепкий дом в «Улиссе» — это могила Падди Дигнама на кладбище Гласневин, куда Блум отправляется с похоронным кортежем от дома покойного в Сэндимаунте.

Я с параноидальным упорством возвращаюсь в Сэндимаунт, чтоб двинуться с юго-востока на северо-запад, по пути джойсовских утрат. Ведь все рушится и исчезает: аптека Свени, где я в подражание Блуму купил лимонное мыло, уцелела, а концертный зал Энтьент исчез — еще пять лет назад в нем был хотя бы кинотеатр «Академия»», теперь ничего. А тут выступали не только персонажи Джойса, но и он сам, обладавший прекрасным тенором и принесший ради литературы даже больше жертв, чем Стивен, а именно — еще и артистическую карьеру. Я послушал полтора десятка любимых романсов и арий Джойса: они просты, чтоб не сказать — банальны. В них звучит та внятная жизнь, которую услышал юноша, сделавший выбор на крыльце Бельведерского колледжа.

Похоронный путь пролегает через новый город, в котором целых два небоскреба — аж в 11 и 17 этажей: Дублин остался приземистым; мимо кабаков, магазинов и памятников, вокруг знаменитой Ротонды с ампирным фризом по кругу. Это — образцовый пример обхождения Джойса с городом. В рассказе «Два рыцаря» о персонаже сказано: «Фигура его приобретала округлость» — таков русский перевод. В оригинале же стоит rotundity: по топографии движения героев ясно, что в этот миг они проходят мимо не названной в тексте Ротонды, оттого полнота и названа «ротондоватостью». ...Через площади, перекрестки, речки и каналы, до самого Стикса.

Джойс с самого начала, с «Дублинцев», принялся мифологизировать город, и в «Улиссе» символический смысл носит все — вода тоже, водяные улицы. Женщина была для Джойса рекой, что слышно по текучему монологу Молли Блум, а река — женщиной. Скромную Лиффи, делящую Дублин на север и юг, он роскошно нарек — Анна Ливия, и такой реке теперь поставлен монумент, которого она вряд ли дождалась бы под своим девичьим именем.

Стиксом же в «Улиссе» назван Королевский канал, и оба имени слишком шикарны для неширокой канавы, бурно заросшей травой. «Странно, из каких грязных луж ангелы вызывают дух красоты» — это Джойс Норе. Когда б вы знали, из какого сора. Такой сор метет по улицам Дублина.

* * *

Так вот, не доходя до Стикса, там, где я вслед за похоронными дрогами повернул с Северной окружной дороги к кладбищу, стоит большой паб с необычно размашистой длинной вывеской: «Сэр Артур Конан Дойл».

Мало ли кто попадается на пути Леопольда Блума и других героев. Одних писателей длинный список, и автора Шерлока Холмса в нем нет. Но есть в рассказе «После гонок» Дойл, учившийся «в Англии, в большом католическом колледже», который джойсоведы давно определили как Стоунихерст в Ланкашире. Именно в этом иезуитском заведении провел девять лет ирландец по происхождению Артур Конан Дойл, собиравшийся даже сделать духовную карьеру, как собирались Стивен Дедал и сам Джеймс Джойс. Совпадение это случайно, хотя Джойс, конечно, читал Дойла — да и не мог не читать.

С викторианскими писателями произошло то, что обычно случается с классиками. Даже величайший из них, Диккенс, по словам Оруэлла — «один из тех, кого люди всегда «собираются прочитать» и о ком, как о Библии, имеют некоторое представление». Тем более, к началу XX века отступили в хрестоматию властители дум века XIX — Мередит, Джордж Элиот, Троллоп, Гиссинг. Читались и читаются младшие, поздние викторианцы: сатира Уайльда и Шоу, юмор Джерома, экзотика Киплинга, приключения Стивенсона и Хаггарда, фантастика Уэллса. И более всех — Артур Конан Дойл, создавший героя, «который прочно вошел в жизнь и язык народа, став кем-то вроде Джона Булля или Санта-Клауса» *(Честертон)*.

Баснословная популярность Дойла и Холмса началась с первого появления «Этюда в багровых тонах» в 1887 году и длится по сей день. В одной Америке — 50 холмсианских обществ (членами Нью-Йоркского были Рузвельт и Трумэн), а недавно мне прислали бандероль из Екатеринбургского общества, издающего отличный альманах. В последний

Очаг Шерлока Холмса *(Фото автора)*

раз в Лондоне я жил на Пикадилли-серкус, у Criterion Bar'a: здесь Уотсон познакомился с тем, кто познакомил его с Холмсом,— и это святыня. По шерлок-холмсовскому Лондону есть путеводители и экскурсии, как по Петербургу Достоевского, тоже детективного мастера не из худших. Мы шли от Скотленд-Ярда к вокзалу Чаринг-кросс, откуда герои так часто уезжали на дела, к театру «Лицеум», возле третьей колонны которого была встреча в «Знаке четырех», к ресторану «Симпсон», где несколько раз пообедал Холмс и однажды довольно невкусно я, и дальше, дальше.

Такой организованной любви еще не было в мой первый приезд в Лондон в 81-м. Весь в цветах паб «Шерлок Холмс» у Трафальгарской площади, был, конечно, но на Бейкер-стрит находился банк, где в ответ на мои вопросы предложили купить сувенирный кирпич в обертке. Что-то они должны были предлагать: ведь и тогда, как сейчас, по адресу Бейкер-стрит, 221b, на имя Холмса приходили 30—50 писем в неделю. Банк стоит, но в здании рядом, нарушив законы нумерации улиц, благо они в Англии произвольны — в 90-м открыли квартиру Шерлока Холмса. А в соседнем доме — ресторан миссис Хадсон, его экономки, с недурным викторианским меню: суп-пюре из кресс-салата и свинина с абрикосами в сидре — не чета шикарному «Симпсону». Уже станция метро «Бейкер-стрит» выложена плитками с профилем великого детектива, чтобы заранее забиться в предвкушении. В квартире все «как было», а в книге посетителей полно русских записей. Лондон, как и Европа в целом, быстро русифицируется. В Вестминстерском аббатстве лежат буклеты: «Теперь смотрите вверх и к западу на великолепную сводчатую крышу...» Наше творческое присутствие ширится. В библиотеке Джойсовского центра в Дублине из «Иностранной литературы» выдрана середина «Портрета художника в юности».

«Бейкер-стрит была раскалена как печь, и ослепительный блеск солнца на желтом кирпиче дома напротив резал глаза». Это из «Картонной коробки»; все так, только на самом деле дом напротив — красного кирпича, излюбленной викторианской кладки.

Дойл — не Джойс. Топографическая точность — роскошь. Наименования мелькают, но для сути не важно, где что. «Мы гуляли часа три по Флит-стрит и Стрэнду, наблюдая за калейдоскопом уличных сценок». За три часа — два названия; ничего общего с джойсовской топографией души.

При этом сам Шерлок Холмс — суперлондонец и знает город, как Джойс свой Дублин. Когда его везут в темноте с бешеной скоростью в кебе, он безошибочно называет все улицы, площади и мосты вслепую.

Потому-то я и выбрал Холмса гидом по Лондону. И потому так был поражен встречей с сэром Артуром Конан Дойлом на пути Леопольда Блума. Стоит только начать, как вырисовывается параллель между парами Стивен—Блум и Холмс—Уотсон: интеллект и эмоция, артистизм и здравый смысл, полет и приземленность. Но еще важнее: с такого, across the water, угла видишь сходство этого парного кружения по двум крупнейшим городам Британской империи. Увлекательность джойсовских блужданий по Дублину — детективная. Этот перенасыщенный культурными аллюзиями, сверхинтеллектуальный текст захватывает простым соучастием: где и как разойдутся и встретятся Стивен с Блумом, застукает ли Леопольд жену, на чем проколется изменница Молли?

Ни эрудиция, ни тем более оригинальность, ни даже психологизм не сделали бы Джойса культовым писателем, если б под

ними не таилась конкретная динамика сюжета.

И не стал бы всемирным кумиром Шерлок Холмс, будь он только разгадывателем криминальных тайн. Из Конан Дойла мы изъяли самое лакомое — сюжет — еще в детстве, но по детскому неразумению оставили самое питательное: ради сюжета книги не перечитывают, особенно детективы. В этих историях — солидное обаяние эпохи, когда девушки были невинны, бандиты небриты, шторы задернуты. Это уже в наши дни пошли книги, разоблачающие лицемерие викторианства. Их интересно читать, но не отвлекаясь на сверхзадачу: добродетель и порок распределяются во времени примерно поровну, это этикет и свобода слова меняются. Викторианский очаг был не метафорой, а жаркой реальностью в сырой стране, и на обогрев большого дома уходило до тонны угля в день.

Холмс и Уотсон утверждают и защищают главное в британской иерархии ценностей, то, что так эффектно разрушал Джойс,— дом.

Они последовательно и серьезно трудятся над этой задачей, и зря Честертон упрекал Конан Дойла в отсутствии иронии: она разрушила бы внятность образа.

«— Трудно вообразить себе ситуацию более странную и необъяснимую... — Холмс потер руки, и глаза у него заблестели». Зачины всех историй одинаковы, как в сказке. Так гуляешь по знакомому городу — знаешь, что тебя ждет, и с нетерпением ждешь этого.

Будет преступление, его разгадка, а между — гон. У Конан Дойла, боксера и крикетиста, постоянны отсылки к спортсменству, охоте (Холмс не раз сравнивается с гончей), азарту — сути викторианского джентльмена. Сто лет без войны («Ни одна из великих стран никогда не была столь крайне штатской по своим мыслям и практике, как викторианская Англия».— *Дж. Тревельян)* побудили к сублимации, что принесло миру популярнейшие поныне виды мирного противоборства: футбол, хоккей, теннис, бокс. Страсть к охоте и спорту во многом определила любовь к природе: в живописи господствовал пейзаж, в поэзии — Теннисон. И тут выглядит еще большим эксцентриком, чем кажется нашей городской цивилизации, Шерлок Холмс — убежденный урбанист.

«Ни сельская местность, ни море никак не привлекали его. ...Любви к природе не нашлось места среди множества его достоинств». Апология большого города — кредо самого Конан Дойла, написавшего тогда же, когда и первую холмсовскую историю, статью «Географическое распределение британского интеллекта», где он доказывал, что в Лондоне выдающиеся люди рождаются в пропорции 1 на 16 000, а в провинции 1 на 34 000. Город богаче и интереснее, а не страшнее — важнейший парадоксальный пафос городских сочинений Конан Дойла о преступлениях.

Холмс городом пользуется, а не только работает в нем. Не зря после дела он все хочет поспеть в оперу, раздражая нормального читателя пародийным эстетством à la Оскар Уайльд, со своей монографией «Полифонические мотеты Лассуса», что оттеняет простой малый, афганец (служил в Кандагаре, лежал в Пешаварском госпитале) Уотсон.

«— Как мотив этой шопеновской вещицы?.. Тра-ля-ля, лира-ля!..— Откинувшись на спинку сиденья, этот сыщик-любитель распевал как жаворонок, а я думал о том, как разносторонен человеческий ум».

Характернейший пассаж. Неизбежность морализаторского комментария и — утверждение принципа любительства: Холмс не служит. Эпоха профессионализма еще не наступила, и инспектор полиции — существо низшего сорта, даже приличный, вроде Грегсона или Лестрейда. Холмс — артист, искусство ради искусства. А еще ближе — капитан КВН, фрезеровщик из драмкружка, Юрий Власов, забывший у штанги томик Вознесенского.

У этого физика и лирика в одном лице, мечущегося от скрипки к пробирке — гротескные отношения с наукой: Холмс печатается в химических журналах, но не знает, что Земля вращается вокруг Солнца. Он верит не в науку как систему знаний, а в конкретное практическое знание. В основе этого — веяния эпохи, придававшей науке общественно-полезный уклон, так что открытия Пастера порождали аналогию порочного человека с вредным микробом: паршивая овца могла испортить стадо. Тут-то и нужен был вооруженный передовым мышлением страж порядка.

Оттого и наукообразен Холмс, хотя к научно-техническим новинкам он почти не прибегает — разве что все время шлет телеграммы. Телеграф и почта работают великолепно: это для современного читателя едва ли не самое поразительное в дойловских криминальных историях. И это тоже знак британского имперского времени: можно управлять миром, не покидая дома.

Идея дома не исчезает и в передвижении. Английский поезд — я на таком ездил из Лондона в Дувр — дублирует английскую улицу, где у каждого свой подъезд. У всех купе отдельный вход — не изнутри, а снаружи, так что по рельсам перемещается цепочка домиков.

Что до города, то по нему Холмс и Уотсон ездят в кебе — движущемся монументе частной жизни, который Дизраэли назвал «гондолой Лондона».

К тому времени в английских городах было полно омнибусов. В галерее Тейт я рассмотрел картину Джорджа У. Джоя 1895 года: рядом сидят джентльмен в цилиндре, элегантная дама с букетом, сестра милосердия и нищенка с детьми — об уюте и уединении говорить нечего. Не то кеб. Холмсовские истории — единый гимн этому дому на колесах. Возница помещался сзади, на скамеечке, вознесенной на верхотуру, и правил лошадьми через крышу. Прайвеси двух седоков было

абсолютным: ни подсмотреть, ни подслушать, не чета нашему такси. Особенно если учесть безумный шум в городах конца XIX века: прежде всего от дикого скрипа стальных колесных ободов по булыжнику.

От такого города хотелось укрыться, и у Конан Дойла видна эта линия: противопоставление улицы и дома. Внутри — очаг, а снаружи: «Полосы слабого, неверного сияния, в котором, как белые облака, клубился туман. В бесконечной процессии лиц, проплывавших сквозь узкие коридоры света... мне почудилось что-то жуткое, будто двигалась толпа привидений. Как весь род человеческий, они возникали из мрака и снова погружались во мрак».

Почти библейский парафраз — Екклесиаст. Мифологема преступного Лондона-ада: всегда тьма, туман, сырость — будто в Сицилии не убивают.

Хотя, похоже, и впрямь было неуютно. Холмсов цвет — серый, Холмсов свет — газовый, и освещались только главные улицы. В тумане прохожие падали в Темзу. С утра уже небо темнело от дыма. Дамы шли в оперу в белых шалях, возвращались в грязных. Зонтики бывали только черные. Ежедневно на улицах оставлялось сто тонн навоза.

Викторианство было внутри. Туману противостоял камин, и в рассказах Конан Дойла о преступлениях никогда нет погружения в ужас и тоску от несовершенства мира и человека. В этом — основа его позитивного стиля, суть его успеха. И еще: Холмс и Дойл далеки от сухости правового сознания, они борются не за букву закона, а за дух добра.

Холмсовский канон — это 56 рассказов и 4 повести, и в 14 из 60 случаев Холмс отпускает изобличенного преступника. Берет правосудие в свои руки, по-русски ставя правду выше права, стоя на страже нравственности общества и неприкосновенности очага. «Как умиротворяюще подействовал на меня спокойный уют английского дома! Я даже забыл на секунду это ужасное, загадочное дело».

«Человек без дома — потенциальный преступник»,— сказал Кант. А социология по образцу физиогномики — «лицо — зеркало души» — видела в жилище отражение сути человека. Дом восстанавливал достоинство у социально ущемленных. Демократия давала право на прайвеси, рынок — материальные возможности (отдельное жилье, досуг). Естественно, желание охранить свое сочеталось со страстью проникновения в чужое. Видимо, тут и следует искать причины того, что детектив стал популярнейшей фигурой массовой литературы, которая возникла в последнюю четверть XIX века, когда появились книжные народные серии и желтая журналистика.

Ограждение своего — способ выживания в меняющемся мире. «Англичане живут в старой, густо населенной стране,— писал Пристли. — Человек, живущий в такой стране, вынужден обособиться от других. Он молчит, потому что хочет побыть наедине с собой». И это желание обострилось с мировой экспансией: в империи не заходило солнце, а в доме задергивали занавеси. Во времена имперских триумфов, когда центробежный Киплинг звал британцев в Мандалай, Конан Дойл работал — центростремительно.

Имперский уют — этот оксюморон в целом описывает Лондон, не встречаясь более нигде. (Сравним: Москва — уют, Петербург — имперство, но не разом вместе.) Квартал за кварталом проходишь по викторианским оплотам в Южном Кенсингтоне и Мейфэре, поражаясь этому парадоксальному сочетанию величия и домовитости. Тут и была в конце века воздвигнута «стена частной жизни» — фразу бросил кто-то из французов, но построили стену в Англии, укрыв за ней все, что натащили в дом со всех концов империи.

За красным — от розового до багрового — кирпичом мощных зданий торжествует стиль антикварной лавки. Викторианский интерьер — это избыточность. На рабочем столе Холмса я насчитал 43 предмета, от чернильницы и кисета до подзорной трубы и слонов эбенового дерева. На каминной полке не протолкнуться. Лишь одно помещение дает ощущение простора — сортир с сервизным унитазом, но пуристы уже объявили его профанацией. Так же забиты мебелью и безделушками подлинные сохранившиеся дома эпохи, из уюта которых не хотелось выходить никуда и никогда, хотя обед стоил полкроны, а стаканчик бренди восемь пенсов, но миссис Хадсон кормит вкуснее, чем в «Симпсоне». Шторы оберегают ковры от выцветания, хозяев от морщин и дурного глаза. Вполоборота к двери у камина сидит Шерлок Холмс.

* * *

Как интересно рассматривать городские фотографии столетней давности. Толчея коробчатых экипажей на улице, занавешенные окна домов, и никого — без головного убора.

Дублин — Лондон — Нью-Йорк

ШЕЙМАС ДИН

ВЕК ИРЛАНДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

За последнее столетие ирландская литература добилась видного положения в мировой литературе. В начале этого периода подобная перспектива показалась бы почти невероятной. Всего сорок лет прошло после Великого голода; деревню терзала земельная война; наступал последний период политического владычества ирландских протестантов, а ирландские католики были вовлечены в долгую борьбу за землю и независимость, начавшуюся при О'Коннелле в 1820-х и завершившуюся возникновением Свободного Ирландского государства в 1920-х гг. Ирландская литература на английском языке создавалась в основном ирландскими писателями-эмигрантами в Лондоне. Она оставалась, как и вся страна в целом, всего лишь придатком английской системы и традиции. Однако изменениям политической ситуации должны были соответствовать и даже предшествовать те перемены, которым суждено было произойти в литературных отношениях между Англией и Ирландией.

Три ирландских писателя стали известны в Лондоне за два последних десятилетия XIX века: Джордж Мур (1852—1933), Джордж Бернард Шоу (1856—1950) и Оскар Уайльд (1854—1900). Поразительно многогранный литератор, Дж. Мур, помещик-католик из графства Майо, писал в Париже, Лондоне и Дублине. Подобно большинству писателей-соотечественников отторгнутый от Ирландии, он превратился в ярого космополита. Жил он на доходы от родового имения, Мур-холл, которое сдавал в аренду. Когда во время земельной войны выплаты прекратились, он стал профессиональным писателем, хотя и сохранил взгляд на жизнь, присущий благородным бездельникам. В своих романах Мур описывал и анализировал наиболее наглядные и ощутимые перемены в общественной и политической ситуации в Ирландии. В 1886 году в его самом знаменитом «дублинском» романе, «Киссйная драма», появилось мрачное описание картины упадка Дублина и Ирландии в последний период господства протестантов, когда их политика обернулась салонными интригами. Во время пребывания в Париже Мур познакомился с новым направлением во французском романе — натурализмом и, следуя за своим наставником Золя, убедительно показывал воздействие деградирующей среды на тех, кто в ней вращался. Этот мрачный реализм перешел в нечто, близкое к истерии, в книге эссе «Парнелл и Ирландия» (1887), где его презрение к ирландским помещикам и отвращение к ирландскому крестьянству выражены с почти одинаковой яростью. Подобно многим представителям своего класса, он предвидел гибель старого полуфеодального помещичьего землевладения, но не желал смириться с мыслью, что его сменит землевладение крестьянское. Хотя Муру пришлось вернуться в Ирландию в 1901 году, он так и не смог представить себе родную страну местом, где писатель или художник чувствует себя свободным. Для него культура Ирландии всегда была замкнутой, ханжеской, недоверчивой к свободе, задавленной нищетой, несправедливостью и насилием. В 1918 году Мур предвидел несчастье, ожидавшее его родовое гнездо, Мур-холл, сожженный в 1923 году во время Гражданской войны в Ирландии:

> *Мур-холл непременно погибнет. Как только тебя не станет, деревья срубят и разберут крышу; Мур-холл превратится в руины всего через несколько лет, потому что тебе осталось жить не так уж много.*

Мур привил английской литературе технику французского реализма и французского импрессионизма и стал одним из ведущих деятелей Ирландского возрождения.

Английский театр почти стольким же обязан Шоу и Уайльду, скольким английский роман — Дж. Муру. Под влиянием Ибсена Шоу взялся за сатирическое разоблачение недостатков и нелепостей поздневикторианского общества, навлекая на себя гнев цензуры, но завоевывая признательность широкой аудитории. Его «Пьесы неприятные и приятные» (1898) являются, по сути, нападками на существующий общественный порядок и на некоторые романтические мифы и заблуждения, способствовавшие его выживанию. «Три пьесы для пуритан» (1901) включали «Ученика дьявола», пьесу, которая принесла ему первый значительный гонорар, и «Кандиду», с которой началось его блестящее сотрудничество с Харли Грэнвилл-Баркером, актером и режиссером лондонского «Ройал корт-тиэтр». В наиболее значительных пьесах — «Человек и сверхчеловек» и «Майор Барбара» (1905), «Дом, где разбиваются сердца» (1920), «Назад к Мафусаилу» (1922) и «Святая Иоанна» (1926) — нашли драматическое воплощение его взгляды на социализм, эволюцию, евгенику и войну. Его единственная «ирландская» пьеса, «Другой остров Джона Булля» (1904), была поставлена в «Эбби-тиэтр» лишь в 1916 году. Это — характерная для Шоу смесь блестящих диалогов, ярких персонажей

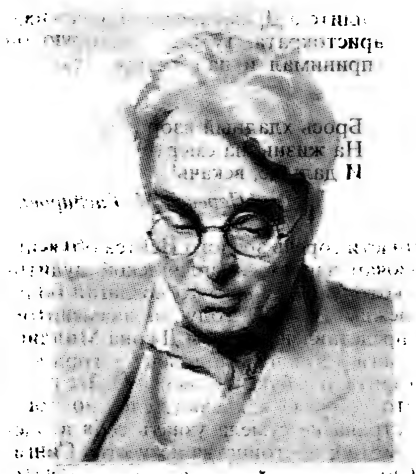
[1] © Eaton L Son Ltd, 1986

и точных оценок природы англо-ирландской проблемы. Комментарии Шоу по поводу ирландской и английской политики, особенно в период между 1914 и 1940 годами, являются выдающимся примером газетной публицистики.

Успех сопутствовал Шоу до самой смерти. Совершенно иначе сложилась судьба Оскара Уайльда, самого знаменитого денди так называемого периода декадентства в Англии конца XIX века. Выпускник дублинского Тринити-колледжа и Оксфорда быстро утвердился в гостиных Лондона как самая остроумная и самая необычная фигура литературного мира. Его пьесы, особенно «Как важно быть серьезным» (1893), обнаружили комедийное дарование, какого сцена не знала со времен Шеридана. Его нападки на традиционные моральные принципы и убеждения отличались таким изяществом, что поначалу их резкость недооценивалась. Но общество отомстило Уайльду, посадив в тюрьму за гомосексуализм в 1895 году, в то время как в Лондоне с успехом шли его пьесы. После освобождения он уехал в Париж, где умер в 1900 году. Суд над Уайльдом и связь с замужней женщиной великого ирландского парламентского лидера Парнелла в 1890 году были заметными событиями, каждое из которых по-своему обозначило конец культурной и политической системы XIX столетия. Англия и Ирландия приступили к болезненному процессу разделения и самопознания.

ИРЛАНДСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Считается, что Ирландское литературное возрождение началось с публикации в 1878 году «Истории бардов Ирландии» Стэндиша О'Грейди. В ней не было ни бардов, ни истории, но молодой У. Б. Йейтс относился к книге так, словно все это в ней было. Йейтс нашел у О'Грейди многие мотивы, которым суждено было продолжиться в его собственном творчестве. Оплакивание гибели аристократии, тоска по героическим легендам древней Ирландии, мечты о возможном возрождении двух этих утраченных культур как фундаменте будущей Ирландии — вот темы, звучавшие у О'Грейди и позднее — у Йейтса. Восстановить особую ирландскую культуру — такую цель ставили общества, которые, словно грибы, возникали в Ирландии в 90-е годы прошлого века. Дуглас Хайд основал Гэльскую лигу в 1893 году, тогда же он выпустил свои знаменитые переводы ирландской поэзии, «Любовные песни Коннахта». Йейтс помог основать Ирландское литературное общество в Лондоне (1891), Национальное литературное общество в Дублине (1892), Ирландский литературный театр (1897), Ирландское национальное театральное общество (1902) и «Эбби-тиэтр»[1] (1904). В Дублине в 1896 году прошла конференция, посвященная национальным проблемам Ирландии. В тот год, когда отмечалось столетие восстания 1798 года, родилась газета «Уокерс рипаблик», созданная Джеймсом Коннолли, первым в Ирландии философом-марксистом, впоследствии — руководителем восстания 1916 года. Другие значительные национальные издания — «Юнайтед айришмен» (1899) Артура Гриффита и «Лидер» (1900) Д. П. Морана. С са-



Уильям Батлер Йейтс

мого начала особенностью Ирландского возрождения была взаимосвязь литературы и политики. Собрание фольклора Йейтса, переводы кельтских саг Сэмюэла Фергюсона, переводы кельтской поэзии Джорджа Сигерсона и (важнее всего для Йейтса) — «Кухулин из Муиртемны» леди Грегори,— все это было одной из попыток привить английскому языку ирландцев кельтскую культуру, которая по большей части была им недоступна. Такое стремление воплотить идею «ирландскости» — существенная черта раннего этапа современной ирландской литературы.

В 1896 году критик Артур Саймонс, Йейтс, помещик и драматург Эдвард Мартин (1859—1923) пригласили Джорджа Мура на встречу в доме Мартина, замке Тьюлира в графстве Голуэй. Последовавшее затем чаепитие в имении леди Грегори, Кул-парке, положило начало новому ирландскому театру. Леди Грегори была его самым преданным сторонником и оказывала ему реальную поддержку. Глава «Эбби-тиэтр» и автор сорока пьес, она подчинила своему влиянию всех, кто был связан с театром, за исключением Йейтса, который оставался его духовным лидером. На рубеже столетия Йейтс создал себе имя как драматург («Графиня Кэтлин», 1899, и «Кэтлин ни Хулиэн», 1902) и как поэт (сборник «Ветер в камышах», 1899). «Избранные сочинения» возвели его в ранг ведущего поэта в англоговорящем мире. К тому времени он начал использовать в стихах разговорный язык, хотя в пьесах обращался к более избранной аудитории и заведомо «непопулярному театру». Йейтс с настойчивым постоянством создавал картину деградировавшего современного мира, который мчится к гибели и в то же время несет в себе семена благородного возрождения новой, прекрасной цивилизации. В каком-то смысле он оплакивает гибель Ирландии времен последнего периода господства протестантов, но сквозь призму мировой истории видит ее и как символ, и пример упадка современности вообще.

Многие исторические личности в поэзии Йейтса превращаются в фигуры легендарные или символические. И сам он — наиболее яркое произведение собственного художественного воображения. Даже эпитафия на его

[1] Театр Аббатства.

могильной плите в Драмклиффе поддерживает образ аристократа, ту позу, которую он так часто принимал и над которой сам же издевался:

Брось хладный взор
На жизнь, на смерть —
И дальше, вскачь!

(Перевод М. Гаспарова)

Отчасти горечь зрелого Йейтса объясняется разочарованием в ирландской аудитории, на которую он когда-то возлагал большие надежды. В 1907 году на знаменитом первом представлении пьесы Джона Миллингтона Синга «Удалой молодец — гордость запада» зрители взбунтовались, и Йейтс воспринял это событие как свидетельство того, что его страна не сумела узнать себя и оценить прямоту и достоинства искусства Синга. Пьесы Синга — это исследования одиночества и заброшенности. Долина Уиклоу в «Сумраке долины» и Аранские острова в «Скачущих к морю» (обе пьесы 1902 года) — это прекрасные, но пустынные пейзажи, где человеческие отношения сводятся к минимуму, а вмешательство человеческой речи оттоняет отчаяние, превращает одиночество в общность. Следовательно, язык в драмах Синга неизбежно играет важную роль. Богатство и яркость языка, помимо основной функции, воплощают и назначение поэзии и воображения в целом — спасение погибшего мира, где царит одиночество. Ни до, ни после Синга никому не удавалось так успешно вводить в английский язык ирландские выражения. Он придал ирландской драме четкую форму и стиль, сохраняющиеся до настоящего времени. Роль слова в разобщенном мире или обществе, вкус к языку, несоответствие действительности идеалу — все это роднит Синга через О'Кейси с Беккетом, Мерфи и Фрилом. Смерть Синга в 1909 году обозначила конец первого периода истории «Эбби-тиэтр». Вскоре Йейтс отказался от первоначального представления о новом театре и обратился к экспериментальной драматургии, для воплощения которой «Эбби-тиэтр» казался ему неподходящим. Начало политического кризиса 1912 года в Ольстере, Большая стачка в Дублине в 1913 году, первая мировая война и Пасхальное восстание 1916 года стали историческим рубежом для Ирландии и Европы. Синг, подобно Парнеллу и Уайльду, был одной из тех фигур, чья смерть ощущалась Йейтсом как символ трагических перемен.

Между 1911 и 1913 годами Джордж Мур опубликовал злую и любопытную книгу, отражавшую его собственный взгляд на Ирландское возрождение,— «Приветствие и прощание». Йейтс — ее центральный персонаж, но он не затмевает фигуру Джорджа Рассела, известного под псевдонимом АЕ (1867—1935), мистика, поэта, издателя, человека, финансировавшего кооперативное движение в сельском хозяйстве Ирландии. АЕ считался настоящей душой Ирландского возрождения. Его влияние было значительнее, чем можно судить по его произведениям. «Необходимо,— писал Мур,— советоваться с АЕ по любому важному поводу». В нем в высшей степени сочетались мечтательность и прагматичность, присущие Йейтсу и, на свой лад, Джойсу.

ДЖОЙС И ИРЛАНДСКИЙ РОМАН

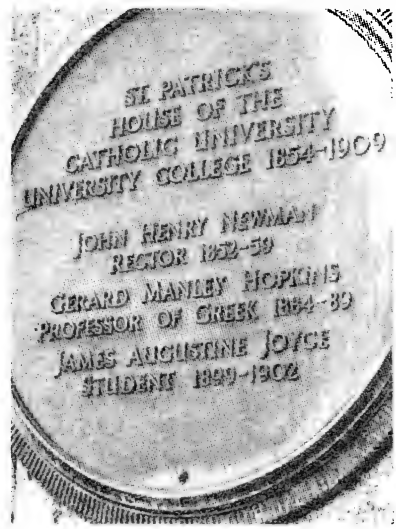
Джойс — величайший из ирландских романистов и одна из ключевых фигур столетия. Его исключительность проявилась еще в студенческие годы на Сент-Стивен-Грин, 86, в здании, где находился Университетский колледж Дублина. Это был тот самый мир ирландских католиков, духом которого проникнуты его произведения. Но все же не он был первым ирландским католиком-романистом. С 1820 годов права ирландских католиков нашли свое отражение в произведениях таких писателей, как Джеральд Гриффин (1803—1840), братья Бэним, Джон (1798—1842) и Майкл (1796—1874), Уильям Карлтон (1794—1869), Чарльз Кихэм (1828—1882) и Кэнон Шиэн (1852—1913). Роман Гриффина «Коллеги» (1829) пользовался большой известностью, она еще больше возросла, когда появились пьеса Диона Бусико «Колин Бон» и опера Бенедикта «Килларнийская лилия», созданные на основе книги. «Зарисовки и рассказы из жизни ирландского крестьянства» Карлтона (1830), «Мой новый викарий» Шиэна (1900) и «Могилы в Килморне» (1915) и прежде всего «Нокнегоу, или Семьи из Типперери» Кихэма (1879) были неизменно популярны у ирландской аудитории и по степени этой популярности значительно превзошли Джойса. Кихэм умер в том же году, когда появились на свет Джойс и Де Валера. Джойс ввел в свои художественные произведения новый мир, тогда как Де Валера, можно сказать, продолжал в условиях двадцатого века защищать мир века девятнадцатого, который с такой ностальгией изображали Кихэм и другие. Джойс первым из ирландских романистов всерьез обратился к городской жизни; чувство одиночества и изолированности, быстрый темп этой жизни коренным образом отличали его мир от сельского традиционализма предшественников.

В то же время для других писателей главной темой продолжал оставаться закат протестантизма. Среди них наиболее знамениты Эдит Соммервилл (1858—1949) и Вайолет Мартин (1862—1915) (псевдоним Мартин Росс), известные как Соммервилл и Росс — их помнят, главным образом, благодаря классическому произведению «Настоящая Шарлотта» (1894), возможно, и поныне лучшему из серии романов о «Большом доме», и циклу юмористических зарисовок о жизни ирландцев в Западном Корке, первая из них называлась «Из опыта ирландского королевского судьи» (1898). Более мрачный взгляд на драматическое одиночество ирландского протестантизма был дан Шериданом Ле Фаню (1814—1873), чьи «Дом у кладбища» (1863) и «Дядюшка Сайлас» (1864) являются центральными произведениями ирландской готической литературы девятнадцатого века, начавшейся с Чарльза Роберта Мэтьюрина (1780—1824) и завершившейся знаменитым «Дракулой» (1897) Брэма Стокера (1847—1912), единственным из его произведений, обеспечившим ему посмертную славу.

Среди писателей, связавших себя с Ирландским возрождением, самым значительным был Джордж Мур. В сборнике рассказов «Безбрачные жизни» (1895), еще более знаменитом сборнике «Невспаханное поле» (1903) и романе «Озеро» (1905) Ирландия представлена как прекрасный дом с удушливой атмос-

ферой условностей и предрассудков. Этот образ пригодился Джойсу и продолжал периодически тревожить таких ирландских писателей, как Бринсли Макнамара (1890—1935) в «Долине косящихся окон» (1918) и Аймар О'Даффи (1893—1935) в «Утраченном острове» (1918). Но беспощадный реализм соседствовал с наследием народных сказок и игрой воображения, чему лучшим примером служит творчество Джеймса Стивенса (1882—1950), чьи «Дочь служанки» и «Горшок с золотом» (обе 1912) замечательно сочетают в себе и то и другое. Его рассказ о Пасхальном восстании «Бунт в Дублине» (1916) является маленьким шедевром.

Но произведения, придерживающиеся этих разнородных традиций, не идут в сравнение с творчеством Джойса. Пятнадцать рассказов в «Дублинцах» (1914) и прекрасно выстроенный «Портрет художника в юности» (1916) передают атмосферу несвободы в католическом Дублине со скрупулезной, почти бесстрастной точностью. Тем не менее два великих произведения, «Улисс» (1922) и «Поминки по Финнегану» (1939), наполнены радостью. Дублин в «Улиссе» — город отталкивающий, но и грандиозный; это символ города двадцатого века, так же как Ирландия и ее история в «Поминках» становятся микрокосмом мира и мировой истории. Джойс нашел способ сочетать энциклопедические познания с накалом и глубиной чувств и, таким образом, изменить сами традиционные представления о том, как создаются и читаются романы. Предвестье трансформации, которой Джойс подверг роман и английский язык, обогатив, обновив и облагородив оба эти понятия, ощутимо и в произведениях других ирландских писателей этой эпохи. Для того чтобы сделать английский язык истинно ирландским достоянием, понадобилась хирургическая решительность Джойса, но и до него существовали произведения ирландской литературы, которым свойственно стремление вырвать английский язык из рамок сложившегося стереотипа. Джойс сделал это главным фактом ирландской литературной традиции. Заслуга писателя еще и в том, что Дублин, его улицы, дома, пабы и церкви вошли в великое литературное произведение как живой образ извечного стремления творческой мысли к полной, всеобъемлющей свободе.



Мемориальная доска на стене дома № 86 по Сент-Стивенс Грин, где первоначально находился Университетский колледж, с именами трех крупнейших литературных деятелей, чья жизнь связана с этим зданием

ПОСЛЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Насилие и жестокость, царившие в Ирландии в 1916—1922 годах, шоковое воздействие мировой бойни вызывали у многих людей недоверие к идеологии военного национализма. В Ирландии самым заметным был писатель Шон О'Кейси (1880—1964), еще один великий драматург «Эбби-тиэтр». За всю свою долгую литературную карьеру О'Кейси ни разу не превзошел уровня своих трех блестящих «дублинских пьес» — «Тень стрелка» (1923), «Юнона и павлин» (1924) и «Плуг и звезды» (1926). Последняя стала причиной еще одного скандала в «Эбби-тиэтр». Все эти пьесы поддерживали идею непротивленческого гуманизма в противовес призыву к вооруженному восстанию. Когда Йейтс отверг его следующую пьесу, «Серебряный кубок» (1928), экспериментальную драму об ужасах мировой войны, О'Кейси порвал все связи с Ирландией и «Эбби-тиэтр» и встал в ряды ирландских писателей-изгнанников. Хотя и после этого он оставался плодовитым и интересным драматургом, шедевром принято считать только его «Автобиографии» (1963). После О'Кейси «Эбби-тиэтр» как национальный театр пришел в упадок. Дэнис Джонстон (1901—1984) лучшую свою пьесу, «Старая леди говорит «нет!» (1928), отдал в «Гейт-тиэтр», а Пол Винсент Кэрролл (1900—1968) хотя и поставил в «Эбби» «Тень и сущность» (1937) и «Белого коня» (1939), не смог возродить в театре энергию и энтузиазм, которые поддерживал там О'Кейси. Поэт Остин Кларк (1896—1974) предпринял героическую попытку восстановить в Ирландии стихотворную драму — и в «Эбби-тиэтр», и на радио. Но лучшие дни театра уже миновали.

Раннее поэтическое творчество Кларка затмевала слава и влияние Йейтса. Успех пришел к Кларку после публикации в издательстве «Долмен пресс» сборника «Поздние стихотворения» (1961). Изумленная аудитория открыла для себя редкий дар версификаторства и душевные переживания, подавленные религиозными и сексуальными запретами. Другой талантливый писатель, Дэнис Дэвлин (1908—1959), только после смерти получил заслуженное признание. Он был утонченным, сложным поэтом с глубоко религиозной восприимчивостью. «Лоу-Дерг и другие стихотворения» (1946) — одна из наиболее значительных книг в современной ирландской поэзии. Другу и современнику Дэвлина, Брайану Коффи (р. 1905), одному из блестящей плеяды парижских изгнанников, куда входили и прекрасный поэт Томас Макгриви, и Сэмюэл Беккет, пришлось дожидаться выхода своих «Избранных стихотворений» (1971), чтобы добиться реального признания. Над этим поколением высится масштабная фигура Патрика Каванаха (1904—1967), поэта из Монахана, чья поэма «Великий голод»

Шон О'Кейси, последний из великих драматургов «Эбби-тиэтр»

(1942) покончила с романтической загадочностью Ирландского возрождения и ввела в обиход новый, более простой и суровый стиль региональной поэзии, которому суждено было повлиять на два последующих поколения писателей, особенно североирландцев. Хотя не все в творчестве Каванаха равноценно, он сумел изменить направление развития ирландского стиха, восстановить право поэзии считаться важным видом творческой деятельности, сумел сделать ее достоянием широкой литературной аудитории. Он был дублинцем, знаменитым и почитаемым в родных пенатах, из которых особенно дорога ему память Раглан-роуд, Большого канала и книжного магазина Парсонз на Бэггот-стрит. Каванах обладал даром ощущать родство с окружающим ландшафтом, будь то в Монахане или в Дублине, и находить в прозе жизни черты волшебства. Из современных ему поэтов лишь Луис Макнис снискал бóльшую известность. Уроженец Каррикфергюса в Северной Ирландии, Макнис учился в Оксфорде и входил в сообщество, сплотившееся в тридцатые годы вокруг Одена. Эти люди явились зачинателями новой поэзии так называемых «марксистских» тридцатых. Макнис был по природе интернационалистом, что не мешало ему видеть Ирландию то как уютную родину, то как обитель таинственного, то как колониальную страну, то как обособленный остров, избежавший вовлечения в мировую историю во время второй мировой войны. «Осенний дневник» (1939) — самая знаменитая из его поэм, но он написал немало лирических стихотворений, которые принадлежат к поэтическим шедеврам нашего столетия.

Проза 1930—1960 годов находилась под столь же сильным влиянием достижений Джойса, как поэзия — под влиянием Йейтса. Традиционную роль писателя как критического голоса общества не только продолжил, но наполнил новой силой и смыслом Шон О'Фаолейн, чья деятельность в качестве редактора журнала «Белл» — наглядный пример того, какой честностью и каким мужеством должен обладать писатель в пору засилья провинциальной ограниченности и фанатизма. Его рассказы — особенно сборник «Человек, который изобрел грех и другие рассказы» (1948) — мастерски выстроены, отличаются изяществом. Замечательно воскрешает дух и большого города, и эпохи автобиографическая книга «Единственный ребенок» (1964) другого уроженца Корка, Фрэнка О'Коннора (1903—1966). О'Коннор тоже восставал против предрассудков и цензурных строгостей нового государства. Чтобы зарабатывать себе на жизнь, он был вынужден эмигрировать в Америку и там создал некоторые из своих самых знаменитых рассказов, написанных для нью-йоркских журналов. Сборники «Желе из крабов» (1944) и «Внутренние отношения», пожалуй, вобрали в себя его лучшие произведения. Как и у О'Фаолейна, отношения с романом у О'Коннора более сложные. Эти двое и Мэри Лэвин (р. 1912), вероятно,— самые яркие представители жанра рассказа в современной ирландской литературе. Трудно переоценить значение рассказа, именно в этом жанре еще в девятнадцатом веке были предприняты попытки ввести фольклорные мотивы в обиход литературного английского языка. Рассказ столь же важен для ирландских прозаиков, как лирическое стихотворение — для ирландских поэтов.

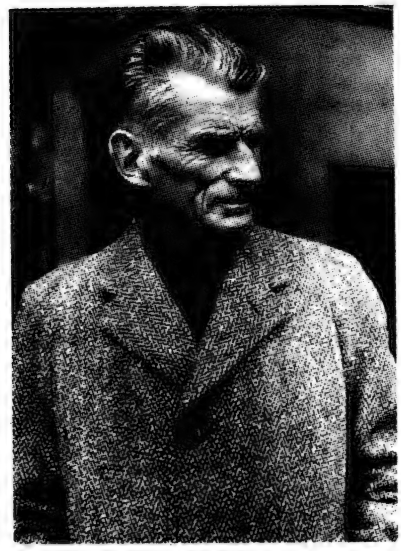
Скорбь о теперь уже окончательно погибшем «Большом доме» особенно трагично звучит в романе Элизабет Боуэн «Последний сентябрь» (1929). Разобщенная жизнь членов протестантского клана, полная нервозности, напряжения и постоянного страха, отражена в ее поздних романах и рассказах; действие многих из них происходит в зловещем затемненном Лондоне времен второй мировой войны. В романах того же периода, которые мы можем назвать католическими, разрыв с отечеством часто ведет не к смятению, а к освобождению. Эмиграция может быть и внутренней, проявляясь в избавлении от ограничений традиционной общественной и религиозной морали, как в произведениях Кейт О'Брайен (1897—1974), чей роман «Мэри Лэвелл» (запрещенный в Ирландии в 1936 году) рассказывает именно об этом. Имена двух великих писателей-изгнанников этого времени связаны с местечками Далки и Киллини в окрестностях Дублина. Брайан О'Нолан (1911—1966), больше известный под псевдонимами Флэнн О'Брайен или Майлз на Гопалин, и Сэмюэл Беккет (1906—1989) имеют отношение, хотя и в разной мере, и к Джойсу — частично из-за влияния, оказанного на них его творчеством и известностью, частично потому, что они намеренно следовали за ним по пути эксперимента, создавая литературу, которая помогала изменять существовавшие концепции прозы, ее методы и приемы.

Флэнн О'Брайен достиг хрупкого равновесия между фантазией и реализмом в своем исполненном неподражаемого веселья и пародийности шедевре «Две-птицы-на-плаву» (1939). Более поздние романы, жутковатая фантазия «Третий полицейский» (1940) и «Архив Далки» (1961), где действующим лицом выступает Джеймс Джойс — в качестве викария в пабе Северного Дублина, по художественным достоинствам уступают его ранним произведениям, но представляют интерес, в том числе и тем, как на примере их странных главных героев осуждается разрушительный эгоцентризм таланта. Еще безвестный

Беккет — славу принесет ему пьеса «В ожидании Годо» (1953) — создал впоследствии знаменитую трилогию романов, которых, собственно, ему вполне хватило бы, чтобы войти в историю литературы: «Моллой», «Мэлон умирает» и «Безымянный». Он написал их по-французски, а потом перевел на английский язык. На обоих языках слова стремятся стать тишиной, но так и не становятся ею. Вся его последующая выдающаяся работа в драматургии и в прозе исследует пограничную область, в которой язык исчезает или почти воплощается в мрачную тишину. Едва намеченные ирландские пейзажи, где перемещаются страдающие персонажи Беккета, и беспощадный юмор, которым они встречают свое безнадежное положение,— узнаваемые приметы отчуждения и неудовлетворенности, характерной для многих ирландских писателей периода, который завершился в 1960 году. Один из Нобелевских лауреатов-ирландцев и один из самых признанных писателей в мире, он остается в западне разочарования, присущего его поколению и его классу.

Если Беккет во время второй мировой войны сражался против фашистов в рядах французского Сопротивления, то Фрэнсис Стюарт (р. 1902) сотрудничал в Берлине с немецким радио, а после войны был заключен в тюрьму. В свое оправдание он написал роман «Черный список, раздел Х» (1971), одно из самых замечательных произведений последнего времени. Бóльшую часть своих книг Стюарт создал в послевоенные годы. Подобно Беккету, он делает отчуждение условием честности писателя и предпочитает быть опальным и осужденным, чтобы сохранить в чистоте свое религиозное чувство. Самый последний его роман «Файлландия» подводит итог предыдущим двадцати трем. Действие происходит в воображаемой Ирландии, где революция и крючкотворство борются с утопическими видениями, карающими развращенность национального и человеческого существования.

События в Северной Ирландии в 1968 году выдвинули на первый план творчество новых поэтов из провинции, и в то же время затмили достижения Томаса Кинселлы (р. 1928) и Джона Монтегю (р. 1929). Самая известная поэма Монтегю «Каменистое поле» (1972) представляет собой тщательно продуманное собрание стихотворений и прозаических вставок, где разъясняются сложности североирландского кризиса и даются сведения о биографии и творческом развитии самого поэта. Это выдающийся пример того, как историческое и личное могут быть переплавлены в поэтическое. Монтегю учился искусству поэмы у современных американцев, у Паунда, Олсона, Карлоса Уильямса и других. Но Кинселла, начав как лирический поэт огромной мощи, все чаще обращался к большим формам и к менее расхожим, хотя и имеющим глубокие корни, темам. «Записки из земли мертвых и другие стихотворения» (тоже 1972) знаменуют поворотный момент в его творчестве. Впоследствии его поэзию занимают тайны процесса созидания, исторического и биологического, причем сама поэзия выступает как прекрасный аналог этой борьбы за вычленение формы из хаоса. 1972 год оказался ключевым и для Шеймаса Хини, самого известного и любимого современного ирландского поэта, поскольку именно тогда он



Сэмюэл Беккет

опубликовал свой третий сборник стихов «Перезимуем», где в его поэзии впервые различимы мотивы насилия, мифологического и политического, и жертвенности, которые будут преобладать в следующем сборнике «Север» (1975) и определять главную тему в «Полевых работах» (1979) и «Острове покаяния» (1984) — конфликт между личной свободой и политическими обязательствами. В «Острове покаяния» священный остров Лоу-Дерг, прежде воспетый Дэнисом Дэвлином и Патриком Каванахом, а за столетие до этого — Уильямом Карлтоном, становится местом самопознания поэта. Насколько поэзия Хини регионально по тону, настолько же творчество Дерека Мэгона сознательно космополитично и с изяществом и остроумием высвечивает трагедию маргинализированного сознания и культуры. Чаще всего он обращается к отверженным людям или к покинутым местам, которые, как он говорит об острове Ратлин в одноименном стихотворении, «покончили с историей». Четверо названных поэтов вместе с Ричардом Мерфи и Майклом Лонгли являются самыми значительными представителями среднего и старшего поколения поэтов; среди младшего поколения Том Полин и Пол Малдун служат примером противостояния ангажированной и аполитичной поэзии, которое, по-видимому, еще усугублено североирландским кризисом.

Бесконечное бабье лето «Большого дома» в художественной литературе продолжилось, иногда меняя оттенки, в романах Айдан Хиггинс «Конец Лэнгриша» (1966), Дженнифер Джонстон «Капитаны и короли» (1972), Молли Кин «Хорошее поведение» (последний стал выдающимся литературным событием в 1981 году). Роман Джонстон «Тени на нашей коже» (1978) отличается от других ее произведений тем, что в центре повествования находится рабочая семья. Непрерывность фольклорной традиции, преобразованной в художественную литературу, подтверждается успехом Бенедикта Кили (р. 1919). Реальный политический кризис грубо вторгается в творческое пространство, и атмосферы в ро-

Джон Бэнвилл

манах Кили «Капитан с бакенбардами» (1960) и «В Карминкроссе ничего не происходит» (1985) разительно несхожи. Веселый мир первого сменяется беспощадной вселенной последнего. Однако самый значительный из североирландских романистов — Брайан Мур (р. 1921), который от сурового реализма «Одинокой страсти Джудит Хирн» (1955), этой негромкой драмы разочарования и утраченной веры, действие которой происходит в Белфасте на Кэмден-стрит, перешел к сложным иносказаниям в таких романах, как «Католики» (1972) и «Наследие Мэнгана» (1980). Печальная ясность — самая характерная черта безрадостных рассказов о распавшихся отношениях в романах Джона Макгахерна «Казармы» (1963), «Мрак» (1965). Все более напряженные ситуации преобладают в его поздних романах и рассказах, таких, как «Порнограф» (1979) и совсем недавний «Возвышенность». Самый «литературный» и самый сложный из нынешних романистов — Джон Бэнвилл (р. 1945), создавший тетралогию — «Доктор Коперник» (1976), «Кеплер» (1981), «Письмо Ньютона» (1983), «Мефистофель» (1986),— которая изменила наше представление о жанре исторического романа и одновременно стала притчей о тяготении творческого начала к порядку в противовес мировому хаосу.

До недавнего времени в современном ирландском театре преобладали три имени. Хью Леонард (р. 1926) добился выдающегося успеха своим фарсом «Мотель „Патрик Пирс“» (1971) и пьесой «Да» (1973), самой прочувствованной из его пьес. Его автобиографический роман «Домой до наступления ночи» воскрешает мир юности, проведенной в Далки. Наконец начал завоевывать заслуженное признание Томас Мерфи (р. 1935). Возможно, «Концерт Джильи» (1984) укрепит его положение одного из наиболее одаренных драматургов ирландского театра со времен недолгого расцвета Брендана Биэна (1923—1964). Но с середины шестидесятых в театре, несомненно, властвует Брайан Фрил (р. 1929). От «Филадельфия, вот и я!» (1965) до «Исцелителя» (1980) и «Переводов» (1981) Фрил находил поразительное разнообразие способов, с помощью которых вопросы сегодняшней истории можно вместить в рамки драматургии. «Переводы» положили начало компании «Филд дей-тиэтр», одним из основателей которой является Фрил. Среди ее самых замечательных театральных успехов была пьеса Томаса Килроя «Двойной крест» (1986) — жестокий и проницательный анализ отношений между личностью и политическими привязанностями...

Суммируя, скажем: литературные успехи последнего столетия свидетельствуют о результативности предпринятых Йейтсом и его поколением попыток создать литературу, которая была бы национальной, не замыкаясь при этом в себе, и интернациональной, не страдая от отсутствия корней.

Перевод с английского О. В.

Антология ирландского юмора

Anthology of Irish Humour. Ed. by Frank Delaney. «Century»

Уроженец южной Ирландии, пятидесятидвухлетний радиожурналист Фрэнк Делани утверждает, что все англоязычные юмористы — ирландцы по рождению и происхождению. Составленная им «Антология ирландского юмора» позволяет убедиться в этом всем желающим. Она включает в себя широкий спектр юмористических произведений ирландских авторов как прошлых лет, так и наших современников.

Наряду со всемирно знаменитыми — Голдсмит, Свифт, Уайльд, Шоу, Джойс — представлены и не столь громкие имена: Мария Эджуорт, Уильям Карлтон, Фрэнк О'Коннор, Шон О'Фаолейн, Флан О'Брайен. Среди современных авторов выделяются Хью Леонард и Эдна О'Брайен. Выбор составителя максимально демократичен: так, блестящие диалоги из пьес гениального Оскара Уайльда соседствуют с отрывками из произведений мало известного за пределами Ирландии драматурга Джона Б. Кина, который однажды на ярмарке видел «самого большого мужчину в своей жизни — у того на ширинке было тридцать семь пуговиц».

ДЖОН АРДАХ

Ирландия и ирландцы

John Ardagh. Ireland and the Irish. «Viking»

Джон Ардах известен как автор ряда страноведческих книг, среди которых, в частности, «Франция сегодня» и «Германия и немцы». Свою новую работу исследователь посвятил островному европейскому государству — Ирландской Республике. За последние сорок лет «Изумрудный остров» преобразился: экономика и жизненный уклад достигли современного стандарта, а ирландцы из замкнутой на себе нации превратились в жителей европейского дома.

Новые веяния потеснили традиционные «ирландские» ценности: католическая церковь обеспокоена возможной утратой своего авторитета, а обыватели пришли в замешательство от социальных перемен. Однако панорама современной жизни от трущоб Дублина до мелких ферм в Майо свидетельствует о неминуемости обновления: меняется роль женщины в обществе, утверждается ирландский язык, дает трещину политическая система, набирает силу движение за примирение в Северной Ирландии.

РОБЕРТ К. КОЙЛ

Дневники Грайне

Robert C. Coyle. The Grainne Journals. «Attic Press»

Живет в современной Ирландии малоприметчательная чета, а по соседству с ней — столь же неприметная старушка. По воле автора романа она гибнет во время пожара, успев, однако, передать супругам свои дневники, написанные в начале века. Их содержание оказалось неожиданным и невероятным.

...1918 год. Молодая протестантка Молли Стюарт вступает в ряды Ирландской революционной армии после того, как английские солдаты убили ее братьев. Став террористкой, она действует под началом генерала Майкла Коллинза, с которым связана и любовными отношениями. Грайне — такова ее подпольная кличка — попадает в плен, откуда соратники вызволяют ее, но следом происходит одна из самых загадочных трагедий в ирландской истории: убийство генерала Коллинза на глухой дороге.

Факты и художественный вымысел, гармонично сочетаясь, составили убедительный сюжет романа о стране, которая воюет сама с собой. Меж тем, это первая книга в прошлом бухгалтера, а ныне пенсионера, пятидесятидевятилетнего Роберта К. Койла.

ЭДНА ЛОНГЛИ

Живой поток

Edna Longley. The Living Stream. «Bloodaxe Books»

Среди публикаций университетского преподавателя из Белфаста Эдны Лонгли — антологии поэзии и прозы, литературоведческие книги. Взаимосвязь ирландской литературы (особенно современной поэзии), культуры и политики рассматривается в сборнике очерков «Живой поток», название которому дала строка из стихотворения У. Б. Йейтса.

Литература в Ирландии всегда ставила под сомнение цели национализма и юнионизма и тем самым помогала не прерваться «живым потокам» жизни. Э. Лонгли пытается определить место современной ирландской словесности в процессе последних перемен. По мнению автора, ирландскому литературоведению необходимо учитывать события ирландской истории, то есть принимать во внимание религиозные факторы, литературную связь с Британией и многообразие культуры как основу творческого многообразия.

В свете этих идей в сборнике анализи-

руются такие темы, как история в изображении североирландских поэтов, Белфаст в литературе, протестантские авторы после независимости, влияние Луиса Макниса, эстетические различия в поэзии Северной Ирландии и Ирландской Республики. При этом исследовательница пристально всматривается в творчество таких мастеров, как У. Б. Йейтс, Джеймс Джойс, Шеймас Хини, Джон Хьюитт, Дерек Мейон, Пол Малдун, Патрик Каванах, Брендан Кеннелли, Луис Макнис, Том Полин...

ТИМОТИ О'ГРЕЙДИ

Ирландия: вспышки памяти

Timothy O'Grady. Ireland: Acts of Memory. «Chatto & Windus»

Эта своеобразная книга-фотоальбом создана усилиями творческого тандема — писателя Тимоти О'Грейди и фотохудожника Стива Пайка. На двухстах с лишним страницах поведана — а ста двадцатью черно-белыми фотоснимками проиллюстрирована — история ирландского эмигранта XX века. Герой достигает совершеннолетия в средний период существования Ирландской Республики, долгие годы живет в Лондоне и Нью-Йорке, но затем возвращается на родину. Перед его взором, зачастую мысленным, проходят многочисленные картины жизни и образы, составляющие облик Ирландии. Это ярмарки скота, скачки, музыканты и их концерты, усыпальницы, погосты, бары, морские пейзажи, природа, лица ушедших и ныне здравствующих...

Ирландская тема не нова и не случайна в творчестве романиста, ранее жившего, как и его герой, в США и Великобритании; ведь корнями род О'Грейди уходит в эту страну. В соавторстве с К. Гриффитом он написал книгу «Устная история незавершенной Ирландской революции», а также отмеченный премией роман «Родина».

УИЛЬЯМ ТРЕВОР

Путешествие Фелисии

William Trevor. Felicia's Journey. «Viking»

Фелисия — так зовут молодую героиню нового романа Уильяма Тревора (о его предыдущей, автобиографической книге «Путешествие в действительность» см. «ИЛ», 1994, № 8). Тайком покинув провинциальный ирландский городишко, девушка отправляется в промышленный район Средней Англии на розыски своего дружка, от которого ждет ребенка. Там случай сводит ее с представительным пятидесятилетним мистером Хилдичем. Он также занят поисками, но не прежней, а новой подруги — шестой по счету. Волею необъяснимых, печальных, пугающих поворотов судьбы терпят крах и надежды неопытной Фелисии, и расчеты искушенного в делах, непогрешимо трезвомыслящего Хилдича.

По мнению критиков, в этом произведении старейший ирландский писатель особенно ярко проявил присущую ему способность проникать в глубины человеческой психологии, вызывая сочувствие к своим персонажам, за что еще раньше был удостоен сравнения с Чеховым.

ТОМАС ФЛАНАГАН

Конец охоты

Thomas Flanagan. The End of Hunt. «Dutton»

Этот роман семидесятилетнего американского писателя ирландского происхождения Томаса Фланагана вместе с двумя предыдущими — «Год французов» и «Обитатели времени» составляет трилогию об истории Ирландии. Автор обратился к истокам конфликта Северной Ирландии с Британией, к событиям 1919–1923 годов и неверным решениям, принятым во время переговоров на Даунинг-стрит.

В авторском понимании пламя войны раздувают бескомпромиссные борцы за независимость; для них достижение цели политическими средствами равнозначно предательству их святыни — Республики. Таковы Фрэнк Лейси — сын владельца газеты и Элизабет Китинг — учительница и журналистка. Когда ее соратник, офицер разведки Кристофер Блейк, выражает доверие к договору о независимости Северной Ирландии, Элизабет уходит из его группы в стан непримиримых. Меж тем, в 1920 году эта группа (ее возглавляет Майкл Коллинз — трагическая историческая фигура) уничтожила всю британскую разведслужбу в Дублине. Накал событий смягчен историей любви Блейка (он впоследствии погибает) и вдовствующей Дженис Ньюджент.

В отличие от первых двух книг «Конец охоты» не только повествует о прошлом, но и заглядывает в будущее. Автор опасается, что новая Декларация, предложенная Лондоном в 1993 году, будет отвергнута ирландскими республиканцами из-за их пресловутой «верности святыне».

■

Проза, пьесы, стихи, статьи

1956

ШОН О'КЕЙСИ.— О Бернарде Шоу, № 7.
ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ.— Почему она отказывалась (Маленькая комедия), № 11.

1957

Говорит Бернард Шоу (Выступление по телевидению 26 июля 1946 г.), № 5.

1959

ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ.— Чудесная месть (Рассказ), № 5.

1962

ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ.— Стопроцентная Америка (Речь, произнесенная 11 апреля 1933 года перед Академией политических наук в зале «Метрополитен опера» в Нью-Йорке), № 3.

1965

ШОН О'КЕЙСИ.— Огонь романтики разгорится снова (Неопубликованное письмо), № 3.

1966

ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ.— Воскресенье на холмах Суррея (Рассказ), № 9.

1967

ДЖОН БРЕННАН.— Последняя инстанция (Рассказ), № 1.

1969

ОСТИН КЛАРК.— Стихи, № 3.

1975

УОЛТЕР МЭККИН.— Действующие лица в порядке их появления (Рассказ), № 3.
ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ — Дилемма доктора (Трагедия в 5-ти актах), № 6.

1976

ШЕЙМАС ХИНИ.— Стихи, № 2.
ДЖЕЙМС ДЖОЙС.— Портрет художника в юности (Роман), № 10—12.

1978

ЭДНА О'БРАЙЕН.— Коврик. Ирландская пирушка (Рассказы), № 9.

1979

ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ.— 16 этюдов о себе. Эпилог к «Пигмалиону». Цитаты и афоризмы, № 5.
ФРЭНК О'КОННОР.— Как я ревновал маму (Рассказ), № 6.

1980

ЭРИК КРОСС.— Рассказы, № 3.
УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЕЙТС.— Стихи, № 11.

1981

ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ.— Деревенское сватовство (Маленькая комедия для двух голосов), № 4.
БРЕНДАН БИЭН.— В книжном магазине (Рассказ), № 5.
ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ.— Афоризмы, высказывания, шутки, № 7.
ОСКАР УАЙЛЬД.— Фразы и афоризмы для молодых, № 12.

1982

Из ирландской поэзии. ШЕЙМАС ХИНИ, ТОМАС КИНСЕЛЛА, ДЖОН МОНТЕГЮ, ИВЕН БОЛАНД, № 1.

1983

ДЖЕЙМС ДЖОЙС.— Лирика, № 2.

1984

МАЙКЛ О'РИОРДАН.— Вспоминая Брендана Биэна, № 6.

1986

УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЕЙТС.— Стихи, № 1.
ДЖЕЙМС ДЖОЙС.— Газ из горелки (Стихотворение), № 2.
ПАТРИК КЭМПБЕЛЛ.— На заднем сиденье. Правдолюб (Рассказы), № 2.

1987

ШОН О'ФАОЛЕЙН.— Не приведи Господь! (Рассказ), № 1.

1988

ПАТРИК КАВАНАХ.— Стихи, № 4.

1989

ДЖЕЙМС ДЖОЙС.— Улисс (Роман), № 1—12.

1990

УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЕЙТС.— Стихи, № 9.

1991

ШЕЙМАС ХИНИ.— Стихи, № 4.
УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЕЙТС.— Распятие отверженца (Рассказ), № 10.

1993

ОСКАР УАЙЛЬД.— Письма разных лет, № 11.

ДЖОН БЭНВИЛЛ (JOHN BANVILLE; род. в 1945 г.) — ирландский прозаик, критик, журналист. Автор повестей «Длинный Лэнкин» («Long Lankin», 1970), «Ночное отродье» («Nightspawn», 1971), «Берчвуд» («Birchwood», 1973), романов «Доктор Коперник» («Doctor Copernicus», 1976), «Кеплер» («Kepler», 1981), «Письмо Ньютона» («The Newton Letter», 1982). Бэнвилл — литературный обозреватель журнала «Хиберния», печатается в дублинских газетах «Айриш пресс» и «Айриш таймс».
Роман «Улики» впервые вышел в Англии в 1989 г. («The Book of Evidence». London, Martin, Secker and Warburg).

В подборке стихов ирландских поэтов представлены:

МАРТИН О'ДИРАН (MÁIRTIN Ó'DIREÁIN; 1910—1988) — один из крупнейших ирландских поэтов XX века, писавших на ирландском языке. Лауреат многих литературных премий. Автор десяти поэтических книг, включая том «Избранных стихотворений» («Tákar Dánta. Selected Poems», 1988), откуда взяты публикуемые стихи.

БРЕНДАН КЕННЕЛЛИ (BRENDAN KENNELLY; род. в 1936 г.) — поэт, драматург, прозаик и критик. Автор более двадцати книг, составитель антологии ирландской поэзии («The Penguin Book of Irish Verse», 1970). Публикуемые стихи взяты из книги избранных стихотворений «Время слушать» («A Time for Voices». Newcastle upon Tyne, Bloodaxe Books, 1990).

ЭНТОНИ КРОНИН (ANTHONY CRONIN; род. в 1926 г.) — поэт, эссеист и литературный критик. Автор нескольких поэтических сборников. в том числе сборника «Новые и избранные стихотворения», удостоенного литературной премии («New and Selected Poems». Manchester, Carcanet New Press, Dublin, Raven Art Press, 1982), из которого взяты публикуемые стихи.

ДЕСМОНД ИГАН (DESMOND EGAN; род. в 1936 г.) — поэт и критик, автор сборников стихов «Вдали от моря» («Midland», 1972), «Листва» («Leaves», 1974), «Дровосек» («Woodcutter», 1978), «Полуостров» («Peninsula», 1992) и др.
Публикуемые стихи взяты из книги «Избранные стихотворения» («Selected Poems». Creighton University Press, 1992).

ЮДЖИН МАККЕЙБ (EUGENE McCABE; род. в 1930 г.) — североирландский драматург, сценарист, прозаик, журналист. Автор пьес «Король замка» («King of the Castle», 1964; премия за лучшую пьесу из ирландской жизни), «Упадок» («Breakdown», 1966), «Свифт» («Swift», 1969), сборника рассказов «Наследство и другие рассказы» («Heritage and Other Stories», 1978).
Повесть «Жертвы» вышла в Англии в 1976 году («Victims». London, Gollancz).

БРЕНДАН БИЭН (BRENDAN BEHAN; 1923—1964) — ирландский писатель, драматург. Автор пьес «Смертник» («The Quare Fellow», 1956), «Заложник» («The Hostage», 1958; рус. пер. 1968), автобиографических повестей «Парень из Борстала» («Borstal Boy», 1958), «Исповедь ирландского мятежника» («Confessions of an Irish Rebel», 1965; опубликована посмертно), книг «Остров Брендана Биэна» («Brendan Behan's Island», 1962), «Нью-Йорк Брендана Биэна» («Brendan Behan's New York», 1964).
Пьеса «Смертник» «The Quare Fellow», (London, Methuen & Co., 1956) в переводе И. Бродского печатается в журнале под названием «Говоря о веревке».

АЙЛИШ НИЙ ГИВНЕ (ÉILÍS NÍ DHUIBHNE; род в 1954 г.) — ирландская писательница. Окончила Дублинский университет, где специализировалась на английском языке и ирландском фольклоре. Работает в Национальной библиотеке в Ирландии, а также преподает ирландский фольклор. Лауреат многих премий. Ее стихи и рассказы печатались в периодике и входили в антологии, в том числе в книгу «Лучшие рассказы 1986 года» («Best Short Stories», 1986). Айлиш Гивне — автор книги рассказов «Кровь и вода» («Blood and Water», 1988), романа «Кричащий дом» («The Bray House, 1990), книги для детей «Необычный баклан» («The Uncommon Cormorant», 1990). Рассказ «Вышивка цветочками» («The Flowering») взят из сборника «Есть женщин не рекомендуется» («Eating Woman is not Recommended». Dublin, Attic Press, 1991).

МОРИС КЕННЕДИ (MAURICE KENNEDY; род. в 1925 г.) — ирландский писатель. Окончил колледж в Лимерике и университетский колледж в Корке. Его рассказы и статьи печатаются в журналах и газетах Ирландии. Наибольшую известность приобрел рассказ «Владивосток», перевод которого выполнен по сборнику «Ирландский рассказ» («Irish Short Stories». London, Faber & Faber, 1960).

УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЕЙТС (WILLIAM BUTLER YEATS; 1865—1939) — ирландский поэт, один из создателей современной поэтической драмы. Лауреат Нобелевской премии (1923) и других литературных премий. Автор около двадцати книг стихов, в том числе «Роза» («The Rose», 1893), «В семи

лесах» («In the Seven Woods», 1903), «Дикие лебеди в Куле» («The Wild Swans at Coole», 1917), «Майкл Робартес и танцовщица» («Michael Robartes and the Dancer», 1920), «Башня» («The Tower», 1928), «Винтовая лестница» («The Winding Stair», 1933), «Последние стихи» («Last Poems», 1939) и др. В русском переводе стихи Йейтса печатались в книгах: «Антология новой английской поэзии» (Л., 1937), «Западноевропейская поэзия XX века» (М., 1977), «Английская поэзия в русских переводах. XX век» (М., 1984). В «ИЛ» (1986, № 1), «Поэзия Ирландии» (М., 1988). Том, специально посвященный творчеству У. Б. Йейтса, готовится к изданию в серии «Литературные памятники».
Пьеса «Единственная ревность Эмер» («The Only Jealousy of Emer») впервые была опубликована в 1919 г. и поставлена в Амстердаме в 1922 г.
Перевод выполнен по изданию: «Selected Plays». London, Macmillan & C°.

Ирландские пословицы, опубликованные в номере, взяты из сборника «Ирландские пословицы» (Irish proverbs. Appletree Press. Belfast, 1986)

ПЕТР ЛЬВОВИЧ ВАЙЛЬ (род. в 1949 г.) — литературный критик, журналист. С 1977 г. живет в США. В соавторстве с Александром Генисом написал книги: «Современная русская проза» (1982), «Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета» (1983), «Русская кухня в изгнании» (1987), «60-е. Мир советского человека» (1988), «Родная речь» (1990).

■ Переводчики:

ЛИВЕРГАНТ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1947 г.) — литературовед и переводчик с английского, кандидат искусствоведения. В его переводах публиковались романы: «Черная беда» И. Во («ИЛ», 1991, № 6), «Высокое окно» и «Вечный сон» Р. Чандлера, «Красная жатва» Д. Хеммета, «Пасынки судьбы» У. Тревора, рассказы Д. Кольера, Ш. О'Фаолейна, Дж. Тербера, эссе, статьи и очерки Дж. Б. Пристли, Г. Честертона, Т. Пикока и др.

КРУЖКОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1945 г.) — поэт и переводчик. Автор сборников стихов «Ласточка» (1982) и «Черепаха» (1990). Переводил английских, американских, ирландских, французских поэтов — Дж. Донна, У. Вордсворта, Дж. Китса, Г. Лонгфелло, П. Ронсара, А. Рембо. В «ИЛ» напечатаны его переводы Ш. Хини (1991, № 4), «Из английской поэзии XVI века» (1993, № 12), а также из английской детской поэзии — Э. Лир, Л. Кэролл, С. Миллиган (1989, № 6).

БРОДСКИЙ ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1940 г. в Ленинграде) — поэт, эссеист, переводчик. Лауреат Нобелевской премии (1987). В 1972 г. вынужден был эмигрировать из СССР и с 1974 г. живет в США. Автор многих книг стихов, в том числе «Остановка в пустыне» (1970), «Конец прекрасной эпохи» (1977). «Новые стансы к Августе» (1983), «Урания» (1987) и др., сборника эссе «Меньше единицы» («ИЛ», 1992, № 10). В «ИЛ» напечатан также его перевод пьесы Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (1990, № 4).

ВОРОНИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ (род. в 1931 г.) — переводчик с английского. В его переводах изданы романы: «Стрела Бога» Чинуа Ачебе, «Неприкасаемый» М. Р. Ананда, «Жизнь и время» Дж. Гарднера, повесть Э. Л. Доктороу «Жизнь поэтов» («ИЛ», 1988, № 5). В «ИЛ» печатались фрагменты книг Ф. Моуэта «Лодка, не желавшая плавать» (1972, № 5), Дж. С. Магрудера «Американская жизнь. Одна из дорог к Уотергейту» (1977, № 1) и др.

ЛОКШИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА — студентка Литературного института им. А. М. Горького. Перевод рассказа Морриса Кеннеди «Владивосток» — ее первая публикация как переводчика.

■

Британская Энциклопедия

"БРИТАННИКА" - самая знаменитая и самая авторитетная энциклопедия в мире.
"БРИТАННИКА" - это мудрость веков и американская полиграфия 1994 года.

Что общего между Генри Фордом, Зигмундом Фрейдом, Бернардом Шоу и Львом Троцким?
Все они были авторами "БРИТАННИКИ".
Что общего между Елизаветой II, Милошем Форманом, Полом Маккартни и Маргарет Тэтчер?
Все они - владельцы комплекта "БРИТАННИКИ".
Что общего между историей Франции, правильным питанием, игрой на бирже и Ф. Дзержинским?
Обо всем этом Вы прочтете в "БРИТАННИКЕ".

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" -

это 33 роскошных тома с золотым обрезом и черным переплетом из натуральной кожи. 82 300 статей, 23 000 фотографий, двухтомный **"ИНДЕКС"** с 500 000 ссылками, бесплатный **"ЕЖЕГОДНИК"** с последней статистикой о 146 странах и обзором мировых событий за прошлый год, а также специализированные медицинские и научно-технические **"ЕЖЕГОДНИКИ"**.

Каждый покупатель получает официальное свидетельство и становится членом элитарного
"Клуба Владельцев Британники".
Для членов клуба комплект "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" обновляется ежегодно.

Другая продукция компании "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA":

Полное издание словаря английского языка **WEBSTER'S** в 3 томах.
468 000 слов, 200 000 примеров словоупотребления, 3000 иллюстраций. В последенем томе - удобный англо-французско-немецко-итальянско-испанско-шведско-идиш словарь наиболее употребительных слов.
Крупноформатный Атлас мира **"BRITANNICA"**. **Одно из самых знаменитых изданий в мире. 558 стр. Формат 286×381. Подробный индекс географических названий. Справочные таблицы. Специальная информация для путешественников. Красочное подарочное издание.**
"GREAT BOOKS" - **"Великие книги Западной цивилизации" в 60 томах. Единственное в мире издание подобного рода, включающее полные тексты 517 произведений 130 авторов, наиболее повлиявшие на развитие западной цивилизации. От Гомера до Орвелла, от Плутарха до Кейнса, от Архимеда до Макса Планка. Уникальный двухтомный индекс 3020 тем, обсуждаемых на каждой из 37 000 стр. этого издания, делает его естественным дополнением к "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA". Незаменимый справочник для всех, кто пишет по-русски и читает по-английски.**
CD-ROM, содержащий двухтомный индекс "БРИТАННИКИ" и словарь WEBSTER'S.

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" для детей:

"ОТКРЫТИЕ МИРА" - **"Britannica Discovery Library"** в 12 томах.
Красочная энциклопедия для малышей, начинающих учиться читать одновременно по-русски и по-английски.
"БРИТАННИКА" для детей младшего возраста. **"Young Children Britannica"** в 16 томах.
"ДЕТСКАЯ БРИТАННИКА" в 20 томах. **Простой английский язык, доступный школьнику. 6 770 страниц, 6000 иллюстраций. Дальние страны, великие люди, диковинные звери, персональные компьютеры... И еще 30 000 тем! В составе энциклопедии - аннотированный Атлас мира.**

Весь этот мир знаний впервые делает доступным фирма

"Мир Знаний",

эксклюзивный дистрибьютор компании
"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"

Телефон в Москве : (095) 161 07 75, 924 90 02
Факс : (095) 923 78 91
E.-mail: mir@znanija.msk.su

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130—6545 «Иностранная литература», 1995, № 2, 1—256